95 коп.

23-14

Индекс 73276



«Нева», 1990, № 6, 1—208

6/1990

ISSN 0130—741X

А. СОЛЖЕНИЦЫН
Март
Семнадцатого

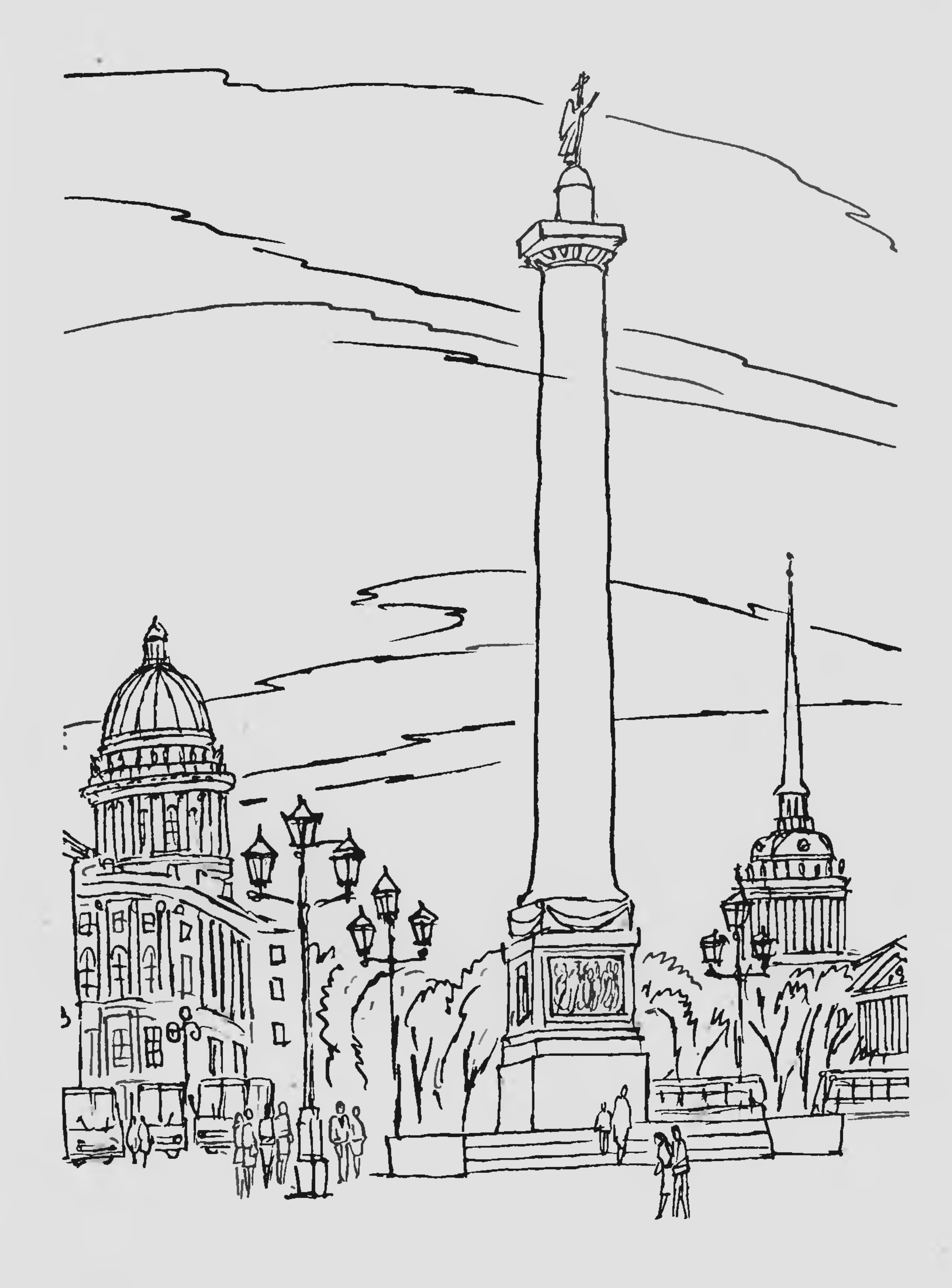
В. ПОПОВ
Любовь тигра
рассказ



Е. БОННЭР
Постскриптум

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»
В. ТОПОРОВ
После поражения

А. ЕВЛАХОВ
Анатомия кризиса



Ленинградский мотив.
Рис. Ю. Куликова

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

Нева

6/1990

Выходит с апреля 1955 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

М. БОРИСОВА. Стихи 3

А. СОЛЖЕНИЦЫН. Март Семнадцатого. *Окончание* 5

В. ХАЛУПОВИЧ. Стихи 91

И. КАЛИНКИН. Стихи 92

В. ПОПОВ. Любовь тигра. *Рассказ* 93

В. ЛАХНО. Стихи 105

В. АДМОНИ. Стихи 106

Е. БОННЭР. Постскриптум. *Книга о горьковской ссылке. Продолжение* 107

П. ЗАЛЬЦМАН. Галоши. *Рассказ* 130

Р. КОНКВЕСТ. Большой террор. *Продолжение* 136

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

В. ТОПОРОВ. После поражения. *Политическая гипотеза* 160

А. ЕВЛАХОВ. Анатомия кризиса 169

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА

Е. ЕРМОЛИН. Погоня за горизонтом . . . 180

Вспоминаем...

В. НЕКРАСОВ. И всегда — человеком. *Вос-*



Ленинград
«Художественная литература».
Ленинградское отделение

поминания об А. Т. Твардовском. Публикация С. Антоновой 188

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И. СУХИХ. Конст. Вагинов. Козлиная песнь.— А. ХОДОРОВ. Н. Эйдельман. Мгновенье славы настает...— С. ЛУРЬЕ. Е. Шварц. Стороны света.— М. ЗОЛОТОНОСОВ. И. Ратушинская. Серый — цвет надежды 191 192

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Э. МАТЮНИН. Петроградская премьера Коминтерна 193

Есть такой анекдот...

«Так что же они там перестраивают?!» *Из собрания В. Бахтина* 198

Поиски и находки:

П. СВИРИДЕНКО. Знаменитого деда внук 200

Из писем в редакцию:

Письма Л. КУКЛИНА, О. ФЕДОРОВА, С. СЛОНИМСКОГО, Ю. СОЛОВЬЕВА, Г. МИШКЕВИЧА 203

В номере цветная вклейка:
«Парижский художник Константин КЛУГЕ»

Майя
БОРИСОВА

Два Алешиных стихотворения

1

Вот и мы заимели земельный надел,
длинный дом с непрохожим крыльцом...
Брат, вселяясь, костюм понарядней надел,
навсегда посерьезнев лицом.

Взмыл янтарный песок и обратно слетел,
новоселье укрыв под собой.
Вот и мы заимели земельный надел
с одинокой покуда избой.

Огородимся, сладим скамью у ворот:
плашка к плашке и гвоздь за гвоздем.
Для родителей — двух крематорских сирот —
под бочком теремок возведем.

Станем ездить сюда, отрешившись от дел,
думы думать, сидеть на скамье...
Вот и мы заимели земельный надел.
Есть теперь где собраться семье.

2

По дороге к братишке черника цветет,
шмель чернику в цветочки целует.
Вдоль канав, где вчера еще плавился лед,
травы лезут напропалую.
Ночью в небе здесь тучка прикроет звезду,
днем веселое солнышко выйдет.
По дороге к братишке у всех на виду
то, что он никогда не увидит.
Тут и вывернуть шею, и глазом скосить:
точно ли на дороге одна я?
И зубами кулак побольней прикусить
и давиться подобием лая...
Добреду, и в оградке царимый уют
боль слегка усмирит и сравняет.
Ветер пахнет смолою. Пичужки поют.
Елка шишки сухие роняет.
А дорога от брата пуста и темна,
безотрадны обводы и пятна.
И раскаянье гложет, и корчит вина,
И как далее жить — непонятно.

◆◆◆

А прожили мы жизнь в другой стране.
Отцы сражались на другой войне.

Проламываясь к правде прямиком,
мы все перескочили Рубикон.

И те, кто здесь, и кто отныне *вне* —
все оказались мы в другой стране.

И взорван путь, и сожжены мосты.
Покинутая, какова же ты?

И я стою, как Лотова жена,
обратным взглядом окаменена,

в боязни оказаться сиротой
на полосе ничейной и пустой.

Маленькое частное обращение к любимым телепрограммам

Телевизорный мой информатчик,
управляющий злобою дня!
Ты и честен, и точен, и смачен.
Вот еще бы жалел ты меня...
Солью ты прикасаешься к ране,
полагая, мне все нипочем:
то ведешь на полночном экране
диалог с отставным палачом,
то в святом правдоборческом раже
для предсонной моей головы
поставляешь убийства и кражи,
то вскрываешь могильные рвы...
Утром, став с переверченной койки,
истерзавшись стыдом и тоской,—
ну какой я прораб перестройки,
конструктивный мыслитель какой?
И в делах-то дрова я ломаю,
и в речах-то двух слов не вяжу,
только уши к башке прижимаю,
только мелко всей шкурой дрожу.

◆◆◆

Диктует страх изъяны да изъятья.
Осталось нам с тоскою вспоминать
загара медь, нечаянность объятья,
морской, речной купели благодать.
Теперь во всем суровые порядки.
Задача — выжить на Земле живой.
А помнишь, как морковку ели с грядки,
ополоснувши в кадке дождевой?

Коса

Она все косу заплетала:
коса то висла вдоль виска,
то по спине вилась устало,
то дыбилась кольцом металла
на темени.
Тоска, тоска...
Она — газет читатель стойкий,
знаток последствий и начал.
Но к занемогшей перестройке
вставать не станешь по ночам!
Когда бы муж, когда бы дети,
докучные заботы дня,
она б остригла пасмы эти,
она бы бегала в берете,
жизнь сумасшедшую кляня,
и времени б недоставало,
чтобы собой заняться всласть.
Она
все косу заплетала,
угрюмо в зеркало глядясь.

◆◆◆

Цветик беленький возрос
на помоечной поляне.
Он — как маленький Христос
между гопников и пьяни.

Чуден ярко-желтый цвет
среди смрадного болота.
Можно бы нарвать букет,
да мараться неохота.

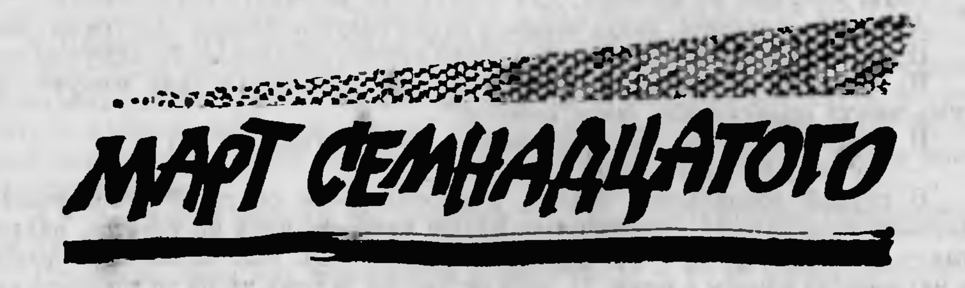
Но вполне доволен взгляд.
Он летит, как голубь светлый,
что летел на Арарат
за оливковою веткой.

И душа окрылена,
веря: что с ней ни стрясется,
но очистится она
и, Бог даст, еще спасется.

◆◆◆

Были в жизни
различные числа...
Но, поддавшись на мелкий испуг,
не спеши облегчить и очистить
грустной памяти грузный сундук.
Проявив в этом деле отвагу
и надейся:
в какой-нибудь срок
сквозняком сдует боль на бумагу,
стыд размоется струйками строк.
Ну, а выбросишь если, обронишь,
позабыв, где и что обронил,—
не бывать круговой обороне
из бумаги и четких чернил.
Тут, коль ветер,—
лихой, низовой лишь,
выскребающий воду со дна.
Тут уж вспомнишь —
и волком завоешь!
Вспыхнет жалость — и сердцу хана.

Александр
СОЛЖЕНИЦЫН



(23 февраля — 18 марта)

137

Перечитывал, вчитывался в письмо Аликс — и как сразу растеплилось, согрелось, породнело всё вокруг! Как сразу не одинок!

Большое письмо — и одну за другой каждую милую подробность прошедшего дня мог представить. И как нежна к его пришедшим двум письмам, и как одинока, не с кем поговорить. И всё время в уходе, Аня больна и капризничает, слава Богу две младших держатся и помогают. События в городе не так страшны, совсем не Девятьсот Пятый, вся беда от этой зевающей публики, хорошо одетых людей, курсисток и прочих, которых и подстрекают к волнениям. И — ещё о детях (готов перечитывать без конца): у кого какая температура, у кого как болит. Ездили на могилу нашего Друга — и вот тебе кусочек дерева с Его могилы, где я стояла на коленях. Солнце светило так ярко — и я ощущала спокойствие и мир на его дорогой могиле. Вера и упование! Так спокойно, что и ты был у дорогого образа Пречистой Девы. Но твоё одиночество должно быть ужасно — окружающая тебя тишина подавляет моего любимого! Навеки твоя старая Солнышко.

Кусочек щепы — уж вовсе лишний, поклонение Аликс Григорию просто культ,— но слава Богу душа её мирна, и мир обнимал Николая. Распечатывая письмо жены, он всегда мог ждать и строгости, и упрёков, и выговора — и растеснялась его душа, когда ничего этого не было.

Даром ответным сейчас же хотелось и поблагодарить. И — тотчас же, отчётливо, крупно на телеграфном бланке: сердечно благодарю за письмо! Выезжаю завтра днём в 2.30. (Теперь уже скоро свидимся, недолго ждать! Но чтоб ещё успокоить:) Конная гвардия получила приказание немедленно выступить из Новгорода в Петроград. Бог даст, беспорядки в войсках скоро будут прекращены. Всегда с тобой...

Но телеграмма так мало выражает! А если тотчас отправить и письмо с вечерним поездом — оно почти на сутки опередит самого. Моё сокровище! Нежно благодарю тебя за твоё милое письмо. Как я счастлив при мысли, что через два дня мы увидимся! После вчерашних известий из Петрограда я видел здесь много испуганных лиц. К счастью, Алексеев спокоен. Он полагает, необходимо назначить очень энергичного человека, чтобы заставить всех министров работать. (Хотя и отвергнутая, мысль зависла в Николае.) Беспорядки в войсках — удивляюсь, что делает Павел, он должен был бы держать гвардию в руках. Благослови тебя Бог, моё дорогое Солнышко, крепко целую тебя и детей...

Едва отправил — а вот и опять Алексеев. А вид-то больной, один сплошной сохмур, глаз совсем не видно, плечи поджаты, на щеках красные пятна.

Окончание. Начало см.: «Нева», 1990, № 1—5.

Печатается по изданию: А. Солженицын. Собрание сочинений. YMCA-PRESS, т. 15, Париж-Вермонт, 1986.

— Ах, достаётся вам, Михал Васильич! Зря, каверно, вы приехали, ещё бы в Крыму пожили.

Хотя, конечно, ко времени, для подготовки весеннего наступления.

А пришёл Алексеев, опять держа в руках голубые бланки телеграмм, две.

И обе — от военного министра. Совсем свежие, поданные 20 минут назад. И, странно: между их подачей был перерыв всего в семь минут — за семь минут происходило новое событие?

И Алексеев, на этот раз, поспешил с ними тотчас.

— Ну, сядьте ради Бога!

В первой докладывал Беляев, в противоречие со своей сегодняшней дневной телеграммой, что военный мятеж погасить пока не удается, напротив — многие части присоединяются к мятежникам. Ещё начались пожары, и нет средств борьбы с ними. И, чего не просил за семь часов до того: что необходимо спешное прибытие действительно надёжных частей — и притом в достаточном количестве, для одновременных действий в разных частях города.

Вот так-так. Николай кинул испытующий взгляд на собранную хмурость севшего Алексеева.

Во второй, через 7 минут, Беляев сообщал, что правительство объявило Петроград на осадном положении, а Хабалов проявил растерянность.

Но Хабалов — и просил войск на семь часов раньше, когда Беляев успокаивал. Что же воистину творилось в Петрограде и с людскими мозгами?

И больше — не было телеграмм в руках Алексеева. Ах, как бы прояснила и помогла телеграмма от Протопопова! Но — ни слова от Протопопова.

Защемило-защемило сердце. Как тяжело — ничего не понимать, быть в отдалении, а семья — там рядом, может быть в угрозе?.. И некому открыться в этой защемлённой тревоге, и нельзя посоветоваться с Аликс!

Но разговор с Алексеевым теперь был уже прост, нечего стесняться. Ясно, Михаил Васильевич, что надо посылать в Петроград войска. И срочно. И много. И немедленно.

Сжатый, серый, неподвижный Алексеев был вполне согласен.

Полков несколько? Пять, шесть?

Да, и с разных фронтов, чтобы не ослаблять никакого.

И конницу, и пехоту?

Да.

Так займитесь этим, Михаил Васильевич.

Алексеев поднялся.

По крайней мере главный вопрос был решён сразу и без колебаний. Стало сразу и легче.

Да, но вопрос: кого же поставить во главе посылаемых войск?

Кого бы? Ну уж, генералов ли не было в русской императорской армии! Генералов долгой, сплошной, блистательной службы, столько раз отблагодарённых на манёврах и смотрах, осыпанных орденами, потом и за бои! Но так сразу решительного, опытного, умелого — вот и не назовёшь. Надо признать, Суворова между ними всё-таки нет. Да разве на такое неблагородное дело, разгонять тыловую банду,— Суворова? даже стыдно и подумать. Как там ни серьёзно в Петрограде — но не настолько же. Да вот хоть Гурко вызвать, Гурко на близкой памяти, но и его жалко отрывать от гвардейской армии, да и пока приедет.

— А вот что! вот что! — вдруг осенило Государя.— Может быть, Николая Иудовича?

Действительно, ближе и быстрей назначить было некого.

Алексеев кисло морщился, от недомогания?

Вот мысль! Вот замечательная мысль! Государь был очень доволен своей находкой. Ведь Иванов сохранил ранг главнокомандующего фронтом, и генерал-адъютант, и крупный опытный полководец, и бесконечно предан. Георгий трёх степеней, золотое оружие с бриллиантами. И — свободен сейчас от должности. И — под рукой (в вагоне на могилёвском вокзале), просто ждущий „распоряжений" при Ставке, но никаких распоряжений он до сих пор, уже год, не получал. (Люди думали, что он так готовится чуть не на руководство всей Действующей армией, а Государь просто жалел его после отставки с Юго-Западного, куда деть старика? — вот и жил для почёта.) Да позвольте, да он приглашён к моему обеду, сейчас будет здесь! Так я ему и объявлю. (Удовольствие первому объявить лестную весть.) А вы уже затем введёте его в детали.

С Николаем Иудовичем было связано ещё одно воспоминание: это именно его фронтовая георгиевская дума наградила Государя крестом. И Государю было невыразимо приятно: он сам никогда бы не решился намекнуть, попросить,— а как же водителю русской армии и без георгиевского креста? Не то чтоб сию минуту он это вспомнил, нет, но благодарная память всегда присутствовала в нём.

А — в качестве кого мы его назначим? — предусмотрительно осведомлялся Алексеев.— В какой должности?

Подумали. Если ему действовать в Петрограде — то не может существовать в Петрограде сразу две военных власти. Да и Хабалов осрамился. Значит: командующим... нет, даже с сохранением ранга, Главнокомандующим Петроградским военным округом.

Но войска будут с разных фронтов, собирать их надо где-то под Петроградом, соображал Алексеев. А сам он с чем поедет? Какие-то хоть малые силы надо послать при нём отсюда.

Верно.

Соображал Алексеев, съёженный болезнью:

— Батальон георгиевских кавалеров?

Опять прекрасная мысль! Храбрецы на подбор, ни у кого не меньше двух крестов, и тоже — рядом. (Символически охраняют Ставку.)

Алексеев, бережно переступая, пошёл распоряжаться,— как всегда свободный от обязанности быть на высочайшем обеде.

А уже — и время обеда. И выйдя к собравшимся, откуда начинали закусывать и пить по рюмке стоя,— увидел Государь и самого Иванова, простого, немудрёного, утопающего в лопатной бороде, а что за молодец: с вереницей крестов, георгиевским оружием, в ремнях и при шашке — очень воинственен! И не стар: 65 лет — разве это для генерала старый?

Но неприлично было тут же, при всех, объявить ему о назначении. И невозможно было, нарушая распорядок, остановить обед, а Иванова увести к себе. Этикет есть этикет, и ближайшие полтора часа должны были быть отданы обеду.

Ставка считается постоянно „в походе", и потому из сервировки исключены все бьющиеся предметы, все тарелки, рюмки — серебряные, вызолоченные внутри, и подают лакеи в солдатской форме.

И только мог Государь — выделить Иванова своим вниманием, усадить его близ себя и навести расспросом — как Николай Иудович давил бунты в Девятьсот Пятом.

Чрезвычайно польщённый, сияющий генерал стал рассказывать, а рассказчик он был знатный! И все слушали с поглощающим вниманием, угадывая как бы намёк и надежду.

Широко, добротно рассказывал Николай Иудович, как он давил бунты без единого выстрела, лишь умением обращаться с солдатами. Знаменитые случаи в Харбине, в Кронштадте. Николай Иудович был сторонник мягких действий — не расстрелы, не военно-полевые суды (он не утвердил ни одной казни), а — поставить на колени, образумить, применить розги.

От всего простонародного, простосолдатского, бородатого вида генерала Иванова исходило надёжное успокоение. Вся свита повеселела, и Государю тоже стало намного легче.

Генерал сиял от необычного общего внимания — а ещё не знал он, какое ждало его почётное назначение.

Даже хотелось Государю послать Иванова прямо сегодня же, до полуночи, не дожидаясь завтрашнего утра,— но так быстро было бы безжалостно требовать от старика. Да и — разная подготовка.

Тянуло позывною тоской и самого Государя: как ещё долго-долго он не поедет в Царское, только завтра днём. Уже так увядал он быть без Аликс и без детей!

138

Особенно первые минуты в Таврическом Гиммер был исключительно счастлив!

В Государственной Думе он прежде бывал только среди публики, на хорах. А теперь — тут все были уже не гости. И не раздеваясь, да и не работал гардероб, в шубе, шапке и галошах Гиммер пошёл через Купольный зал, через Екатерининский, и с интересом рассматривал необычную дико-пёструю публику на торжественном фоне десятков колонн.

Но вот что он понял уже через пять минут и совершенно замечательное: если не считать солдат и другого бессмысленно бродящего народа — тут было очень много интеллигенции, и все узнавали всех! Здесь все — друг друга уже знали, если не знакомы, то в лицо, каждый с каждым когда-либо где-либо уже встречался, хотя бы в каком-нибудь заседании. Да что ж удивляться! — не так-то, увы, велик социалистический радикально-интеллигентский Петербург, вот он и весь здесь, вот он и стёкся.

И Гиммер на каждом шагу встречал знакомых, а значит сразу включился во все сведения и слухи. Тут он ещё раз убедился, что и по телефонам вызнавал: за все эти дни, кроме пятёрки большевицкого ПК да нескольких кооператоров в Рабочей группе, никто в Питере не был арестован — вот растерялись! Тут он и сразу узнал: что руководящий холоп царизма, бывший министр юстиции, при котором топили Бейлиса, уже сидит запертый в министерском павильоне с приставленными свирепыми часовыми! Это была замечательная подбодряющая новость! Затем: что Протопопов, наоборот, успел скрыться и не взят. Затем: разные случаи, где уже разгромили полицейские участки и убили немало полицейских. Затем: что Родзянко поехал в Мариинский дворец на переговоры с правительством, и думцы очень беспокоятся, благополучно ли он вернётся.

Да, но главное! но главное! — как бомба чернобородая налетел на Гиммера Соколов: уже создан Совет Рабочих Депутатов! и Соколов — член его! и Гиммер — сейчас тоже будет член!

И поволок его в коридор правого крыла.

Гиммер стремительно соображал. Вот как? — уже Совет рабочих депутатов? С одной стороны, это хорошо, и отчего же в нём не участвовать? А с другой стороны, это как бы претензия на власть? А — рано, рано, испугает буржуазию.

В комнате за большим столом уже сидела радикальная партийная публика, но ещё свободные стулья были, и для Гиммера. А над ними всеми сторожливо возвышалась крупная красивая голова Нахамкиса. Вот как? Перебирая возможных лидеров начавшегося движения, о Нахамкисе Гиммер как и позабыл: ну, потому что годы войны он очень себя оглядчиво вёл, таился, сторонясь партийной публики, дискуссий и публикаций, тихо жил на даче на Карельском перешейке. И даже позорно клянчил у царя сменить фамилию, пригладить. Уже думали — он совсем обуржуазился, а вот?..

Ну что ж, он имеет право. Он — член Совета Девятьсот Пятого года. И по фигуре, и по замашкам, и по характеру — он будет претендовать на лидерство, конечно. Ну что ж, разделим. Теоретической стези — ему всё равно не одолеть, тут Гиммер ни с кем не сравним.

Но посидел Гиммер немного членом Совета — и стал изводиться: скучно. (А Соколов ещё раньше убежал.) Куда до теории — они все были заняты минутной практикой: как набрать депутатов, когда открыть,— и как кормить бродячих солдат, если их не накормить, они сметут и всех нас, надо разыскивать по городу продовольственные склады, обирать их и везти в Таврический, и тогда можно будет сплотить солдат. Вбегали и выбегали Франкорусский, Громан, куда-то слались грузовики.

И пожалуй, они правы, должен был согласиться Гиммер. Обстановка момента такова, что надо сосредоточиться, увы, не на большой политике, как тянуло его по нутру и по специальности. Начинать сразу действовать политически — это только спугнуть буржуазные цензовые круги и помочь неумеренным группам — большевикам, межрайонцам. Да! Нет! Совету надо пока

сосредоточиться на *технике* революции, а ею владеет только революционная демократия, от буржуазии тут не дождёшься.

Но час истории — вот-вот стукнет. Вся демократия пусть занимается техникой, а Гиммер не мог искалечить сам себя. На свою долю он должен был оставить создание передаточного механизма от политики к технике. Сейчас — он хотел бы провести политическую разведку, ориентироваться в настроении буржуазных кругов. Сейчас дело не в Совете, а — в буржуазии. Если даже в умах думской левой, как Гиммер уже понял по первым сотычкам в зальной толпе, еще и не вентилировался вопрос о взятии революционной власти — то кольми паче должны быть не готовы ни к чему такому буржуазные круги?

Ушёл с Совета, вышел в Екатерининский зал — и вдруг увидел: идёт Милюков!

Не идёт — ходит!

Не ходит — расхаживает! Твёрдой походкой, и с твёрдой посадкой седой решительной головы. Ах, как верно! Казалось бы: отчего не сидеть в удобном кабинете, зачем толкаться в этом беспорядке? А — верно: в такие минуты вождь — должен показать себя: что он — существует, что он — думает за всех. Вот: ходит — и думает. В ожидании какого-то важного часа? события? Среди мелькания и баламутного движения старается выдержать прямую линию, как будто никого не замечая, никого не ища, никого не видя. Если к нему подходили, заговаривали — то он так явно неохотно отвечал, что оставляли. Он должен мыслить и ходить один.

И — какой умный, благородный, респектабельный вид. О, вот с кем Гиммер сейчас хотел бы поговорить! Со всеми его буржуазными ошибками — это единственный великий человек, изо всех цензовых. И они — равны теоретическими умами! Но Милюков этого не знает, они совсем не знакомы, и он не сочтёт подошедшего за личность, не станет разговаривать. Досадно всегда мешает и несолидный, щуплый вид.

И Гиммер — не подошёл. С большим сожалением. А пошёл на разведку — в левое крыло дворца, куда совсем не пёрла пришлая публика, и где оставались властны думцы и их порядки. Но можно было свободно идти, приставы не дежурили.

И даже — прямо в кабинет уехавшего Родзянки. В просторном его кабинете с одной зеркальной стеной, отчего он удваивался, собрались кто хотел и беседовали в разных местах за столами и в креслах. Верхом на стуле, как на коне, сидел разудалый терец Караулов в черкеске и разговаривал с прогрессистом Ржевским. А уж с этим вежливым уступчивым господином Гиммер был слегка знаком — подсел, и стал задавать ему коварные вопросы. Караулов-то всегда за восстание и переворот, был готов и сейчас на всё решительное, но он в Думе выродок и нетипичен для буржуазных кругов. А Ржевский — ни мычал, ни телился, просто совсем не представлял, что теперь будет и надо дальше.

Свободно перешёл Гиммер в соседний кабинет, товарища председателя, Коновалова, очень известного дружбой с левыми. У Коновалова сидел лидер прогрессистов неуёмный Ефремов. Так! Не проверяя знакомства, прямо и строго спросил их: как и кто будет создавать революционную власть?

Чистенький прилизанный толстый мануфактур-советник, в золотом пенсне и ослепительно выбритый, Коновалов только моргнул, моргнул, не понимая, что-то протянул, вежливое однако. А Ефремов, с разлохмаченной бородой, в своё пенсне посмотрел остро-искоса — и только хрюкнул.

Не понимали даже, о чём речь. О, убожество! Да-а-а... Ушёл от них, сильно расстроенный. Значит, наивны были его мечтания заставить буржуазию взять власть? Но если демократии взять на одну себя эту тяжесть — то ведь придётся бороться с объединённым царистско-прогрессивным блоком...

А в Екатерининском всё так же толкались, бродили, маячили (Милюкова уже не было), и солдаты плевали на паркетный пол. Набегал знакомый меньшевик Броунштейн: он только что, по пути сюда, прошёл большую часть города и навидался. По городу — полная анархия, солдаты всё грабят и громят,— и это несомненно погромно-полицейская провокация черносотенных банд, этих солдат безусловно науськивает чёрная сотня — какой для неё

случай разгуляться в отсутствие власти. Предводительствуют бандами вне сомнения переодетые городовые! И ещё стреляют с чердаков, чтобы провоцировать толпу на погромы. Броунштейн доказывал каждому, с кем разговаривал, что надо немедленно посылать во все районы группы вооружённых рабочих, давить анархию, пока не начался еврейский погром. Только рабочих, а на солдат полагаться нельзя, это разгульный элемент.

Но где их возьмёшь, вооружённых сознательных рабочих?

Набегал и доктор Вячеслов, тоже меньшевик, левый интернационалист, известный в левых кругах врач, который не прекращал толковать о политике даже во время выстукивания, выслушивания и впрыскивания дифтеритной сыворотки. Вот он тоже был здесь и, на коротких ножках суматошно бегая от одного к другому, от одного к другому знакомому, каждого переполошенно хватал за лацканы пальто или сюртука:

— Слушайте! На Петроград снаружи движутся свежие полки! Мы будем раздавлены! Организуется ли кем-нибудь какой-нибудь отпор? Что делает штаб обороны? Надо сейчас же открывать заседание об обороне революции!

И сказав одному, бежал дальше повторять следующим.

О, чёрт побери! — действительно не стукнул час теории, а нужна была — техника революции. Действительно, положение всей революции и всех их в Таврическом было весьма критическое. Пока они тут, по залам и коридорам, убеждали друг друга — а вся эта лаборатория революции плыла в пустоте, всеобщей анархии и зареве пожаров. Не то что батальона или роты, но даже взвода организованных солдат не было на её защите. Исчезновение офицеров объяснимо, поскольку их целый день разоружали, преследовали, даже убивали,— но вот оно становилось опасным для революции. Сейчас в Таврическом офицеров мелькало немало, но все — или приведены как арестованные, или сбежавшиеся беглецы,— и ни у кого никакой подчинённой команды. А революционные демократы — не обладали никакими военными знаниями. Даже успех восстания по городу — совсем не ясен, придуман, в чём и где уж такая победа? А правительственный паук даже тут, в Петрограде, может быть готовит смертоносный удар, может быть в Петропавловке: ведь сколько паведенных пушек и сколько солдат на стенах. Да может, через несколько часов они просто возьмут революцию голыми руками? А ещё же — миллионы Действующей армии все в руках царя. А тут — какой-то штаб обороны? Библиотекарь Масловский да с ним несколько невразумлённых? А заняты ли вокзалы против возможного прибытия царских войск? Никто этого не знал в Таврическом, да и кем они могли быть заняты, сели на одной организованной части? Взяты ли казначейство, телеграф? — никто даже не задумывался. Какие части гарнизона ещё совсем не перешли на сторону революции — и послан ли кто агитировать их? Никто не знал. Какие-то экспедиции снаряжались тут, перед Таврическим, но по расхлябанному, говорят, их виду трудно предполагать, чтоб они куда-нибудь доехали.

И Гиммер, теряя теоретическую высоту, сам стал метаться от одного к другому, как Броунштейн и Вячеслов. И вдруг — увидел необыкновенность: в Купольном зале стоял стройный подтянутый вооружённый молодой прапорщик с картинно смелым бритым лицом, открытым лбом, светящимися глазами и нескрываемой улыбкой радости. Это никак не был беглец, только что избежавший солдатской расправы,— нет, он просто радовался всему тут окружающему, впивал его и ждал уверенно.

И тут же — Гиммер узнал его, только не мог вспомнить фамилии: да, этот прапорщик представлялся ему на днях! Искал путей к революционной работе.

Узнал! Фамилию не вспомнил, но вспомнил кличку. И подошёл к прапорщику быстро:

— А, Ясный! Это вы?

Тот просиял — и ещё вытянулся, как перед строевым начальником. И заговорил, захлёбываясь от удовольствия, что целый день он действовал, что это так необыкновенно, он так рад служить революции, он и его команда...

Ах, и команда есть? Революционный офицер, да ещё и организованная команда! Это как раз и требовалось Храму Народной Победы! Не объясняя ему, как всё сложно и опасно, молодой энтузиазм в том не нуждался,— Гиммер сразу схватил его за рукав шинели — и потянул, и потянул — в штаб обороны, в левое крыло.

Они раздвинули перед дверью ожидающих, штатских и солдат, любопытных или посыльных,— и вошли внутрь. И Гиммер всё тянул, тянул прапорщика — прямо к Масловскому.

А тот — сидел в простом затрёпанном пиджаке, не в кителе даже, на бок склонённая голова, усталый, кислый, на десять лет старше своих сорока, вид его показывал, что отвратителен ему этот штаб обороны, и эта оборона, и он, вот, досидит и уйдёт, и ни во что он не верит, и какой зачем прапорщик?

И это был — глава штаба обороны! И это был испытанный эсер!

Правда, рядом с ним чернел мундир бодрого морского лейтенанта, и тот сразу принял прапорщика.

А Гиммеру — и хватит, Гиммер уже поработал на технику. Сказал, что знает этого прапорщика по революционной работе, ручается,— и ушёл. Предстояло к открытию заседания Совета рабочих депутатов обдумать для него общую политическую стратегию, может придётся её излагать.

В правом крыле дворца сгущалась теснота, толпились солдаты с винтовками и рабочие, все не раздевшись и не снимая шапок. Так это — не собранные ли, выбранные уже депутаты? Увы, нет. Аккуратный Эрлих толкался, спрашивал, есть ли *мандаты*, кто *депутат*? — его и не понимали. Всё же он кое-кого записывал в бумагу и втягивал в комнату Совета как депутата. И при этом на заводимого цепляли красный бант, если ещё не было.

У Гиммера тем более уже был мандат от Эрлиха: „представитель социалистической литературной группы".

Очень громко распоряжался и много бегал Соколов.

Совет уже прихватил себе две комнаты. В просторной, 12-й, рассаживались: ведущая радикальная публика — за большим столом, а для солдат и рабочих положили вдоль стен на стулья какие-то доски, и вносили ещё табуреты и стулья. Да всего-то, вместе, не наскребли ещё и полусотни, неудобно было начинать Совет.

Солдаты больше сидели чинно и молчали. Стеснялись перед образованными. Другие, поразвязней, рассказывали соседям, как и что сегодня произошло.

А лица-то — какие тупые, неразвитые!..

Ужаснулся Гиммер: да кого ж тут назвали? да разве готовы они в серьёзное заседание? Да разве перед ними можно излагать теоретические проблемы?

А что они сами понесут, если им достанется выступать?..

139

Хоть и согласился Родзянко вынужденно на создание этого временного думского Комитета и председательствовать в нём, но грызло его, что это — неправильный путь, незаконный путь, и обходный, и никакое не решение вопроса. И он пока не придумал этому Комитету никаких действий, ни заседаний. А взял с собой законную думскую головку — одного своего заместителя, Некрасова, секретаря Думы Дмитрюкова, одного лидера фракции, как раз не вошедшего в Комитет, октябриста Савича,— и именно с ними поехал на свидание с великим князем.

Родзянко имел такие цели. Спасти монархию. И не дать взбунтоваться самой Думе. И — может быть самому взять правительственную власть,— но только прямым законным государственным путём. Он был потрясён арестом Щегловитова: пусть политический противник, но занимал совершенно такое же положение в верхней палате, как Родзянко в нижней, и его арест был как бы зеркальным отображением ареста самого Михаила Владимировича, если дела пойдут вот так же. На аресте Щегловитова ещё прочней уяснил Родзянко, что надо искать законного пути, иначе всё погибло. (А со Щегловитовым что ж сейчас делать? Освободить его — значит только подвергнуть самосуду толпы.)

Если бы Государь был в Царском Селе — Родзянко поехал бы к Государю.

Теперь же — он ехал к его брату, единственному тут сейчас, кто мог бы помочь, нося на себе обаяние царского имени.

На автомобиль Председателя кто-то уже насадил спереди красный флаг — и на глазах возбуждённой солдатской массы было бы теперь рискованно этот флаг содрать. Пришлось с невозмутимым или даже довольным видом так и поехать. И на оба воскрылья прилегли по солдату с винтовками, штык вперёд: хотя и холодно было там лежать и свалиться можно, но за эти места почти дрались, всем понравилось. Да охрана автомобиля и полезна, но с каким это грозным видом!

Район до Троицкого моста считался эти часы *своим*, тут бушевал мятеж, и автомобиль с красным флагом ехал свободно.

Со стороны если кто узнавал Председателя Думы, странно он выглядел, наверно: как вождь революции.

А — никак им не был, и запретил бы всем так думать!

У Троицкого кто-то из кучки на пути махнул рукой, задержал автомобиль. Спросили, кто. Пропустили.

А дальше по набережным было совсем пустынно, и никто не задерживал, поехали совсем свободно. Эта пустынность в ранний вечер была необычна. Странная революция: проезжай по городу куда хочешь. Родзянко велел остановиться и снять красный флаг. Спрятали его на пол автомобиля.

Проскочили мимо Зимнего, мимо Адмиралтейства, завернули у Сенатской площади, так же пустынно, миновали Исаакий и выехали на Мариинскую площадь. Здесь народа было побольше, движение в разные стороны. У входа во дворец — две пушки и караул.

Приехавших пропустили без задержки. Самый крупный и тяжёлый изо всех, Родзянко сильным нетерпеливым шагом поднимался, всех обогнав.

С завистью заметил, что порядок здесь соблюдался: никаких подозрительных посторонних лиц, никто не рвался с оружием, на местах все служители в ливреях. Только не было верхнего света, все переходы и залы мало освещены.

От ротонды предупреждённый служитель повёл приехавших на сторону Государственного Совета, потянул перед ними палисандровую дверь, инкрустированную бронзой и перламутром,— и тут с неприятностью сообразил Родзянко, что входил в кабинет председателя, значит — Щегловитова.

Опять как символ. Щегловитов сидел в министерском павильоне запертый, ключ в кармане у Керенского, а Родзянко тут незванно входил в его же кабинет, как бы действуя заодно с Керенским.

Но и раздумывать и менять было поздно: уже великий князь Михаил сидел тут, не чинясь, что пришёл первый, и ждал. И легко, не царственно поднялся навстречу. Он был строен, с узкой, низкой талией.

С ним был только его неизменный секретарь, англичанин Джонсон. Думцы перездоровались с великим князем. Расселись за отдельным шестисторонним столом с инкрустациями, окружённым шестью стульями.

Неотверделое лицо великого князя, как всегда, не имело своего напряжения, своей заданной мысли, но открыто недоуменно смотрело на собеседника.

А голова у него была вся обритая, как у солдата, лишь чуть подросло.

Родзянко знал своё постоянное влияние на великого князя и теперь со всей тяжестью своего авторитета, вида и голоса, очень строго стал ему внушать. (Но — как бы советуя только.)

Вот каково было его рассуждение. Сперва — о положении дел в столице. Где что делается, что произошло за один сегодняшний день. Власть расшаталась — и её больше как бы нет реально, в Петрограде начинается самое страшное — народная анархия.

Тут, прослышав о приезде, вошли министр-председатель князь Голицын и военный министр Беляев. (Родзянко звал его генералом Пфулем.) Не очень они были Родзянке нужны, и даже странное положение: как будто возглавители другой воюющей стороны, вот они мирно подсаживались к тому же столу. Голицыну нашлось шестое место, а маленький Беляев с оттопыренными ушами сел сбоку сзади него, ещё как бы уменьшившись. Нисколько не стесняясь присутствием этих теней, Родзянко продолжал.

В такую минуту на обязанности лиц ответственных и поставленных высоко — спасти положение. Спасенье ещё возможно сейчас, сию минуту,— и оно в руках одного великого князя!

Всё отражалось на впечатлительном, отзывчивом и нетвёрдом лице Михаила. Он как будто удивился — но вместе как будто и обрадовался: частный житель Гатчины, правда и генерал-инспектор кавалерии,— вот уж он не ожидал, что может спасти Россию. Именно он?

И хотя трудно виделся в этих чертах властный спаситель России,— да, именно он! — с растущей надеждой, густо непререкаемо внушал Родзянко. Именно: из-за отсутствия Государя и трудности связи с ним — прерогативы невольно ложатся на Его Императорское Высочество. Он должен сейчас, немедленно, явочным порядком, не дожидаясь утверждения, принять диктатуру над Петроградом, понудить правительство немедленно уйти в отставку в полном составе, а от Государя потребовать по телеграфу дарования министерства, ответственного перед Думой. А уж Дума такое министерство сформирует мгновенно, в один час.

Родзянко гонко и настойчиво всё это выложил. Нисколько его не смущало присутствие здесь главы так называемого правительства: это правительство они, Дума, уже много раз гнали вслух и открыто, вот ещё один раз! Хуже этого бездеятельного Мариинского дворца нельзя было ничего придумать. Впрочем, Родзянко уже отведал и топкость, неустойчивость Таврического. И теперь между двух опасных болот нужно было найти одну твёрдую тропинку.

Оба министра настолько были ушиблены и потеряны, что и не пытались возражать в свою защиту. Однако резкое возражение услышал Родзянко позади себя: то был ещё к ним вошедший Крыжановский, ныне секретарь Государственного Совета, а годами виднейший государственный чиновник, когда-то и автор конституции 1906 года, и третьиюньского избирательного закона, и заместитель Столыпина по министерству внутренних дел. Он теперь наступил с упрёками Родзянке, что тот арестовал Щегловитова.

Родзянку проняло, очень обидело, он обернулся и честно стал объяснять, что — не он арестовал, он сделать ничего не мог, потому что сила у толпы и почему-то у Керенского. (Вспомнил „революционный закон" Керенского. Отсюда, из Мариинского, особенно было ясно: какой может быть „революционный закон" за два часа? до сих пор это называлось террором.)

— А если так,— ещё возмущённей выговаривал всегда сдержанный Крыжановский,— если вы не хозяин даже у себя в Таврическом, то как вы берётесь быть хозяином в России?

Родзянко покраснел — и действительно не нашёлся возразить (про себя решив и челюсти стиснув, что сегодня же ночью он свой Таврический обуздает).

Крыжановский ещё продолжал, всё так же наступательно: что правительство уже пожертвовало Протопоповым. (Как?! Думцы ещё не знали!) Что правительство и само послало просьбу назначить диктатора Петрограда, но послало Государю, кто единственный только и может это решать. (Он — косвенно для великого князя это всё говорил.) А Дума тем временем — виновница и глава революционного мятежа!

Так некстати он пришёл и так энергично повернул — сбил всё впечатление от родзянковского плана. И не сразу найдёшься ему возразить.

Да что теперь Протопопов! — махал Родзянко. Это поздно, нужно было раньше на месяц: бушует улица, и её уже не накормишь Протопоповым.

Тем временем набрался духу и запуганный князь Голицын и оправдывался перед Родзянкою, что он нисколько не держится за власть, что должности этой он не искал, взял её против воли,— и вот сегодня час назад послали Государю коллективную просьбу об отставке. И пока ответа нет — они сидят тут, во дворце, и рискуют арестом.

— Так уходите, в чём дело? — широкой рукой смахивал их Родзянко.

О нет, возражал Голицын: государев слуга не может уйти с поста самовольно, это бегство, это позор!

Действительно, тут были границы, которые забываются, когда знаешь, как топка стала почва и как бушует улица.

А если великому князю удастся восстановить единовластие и порядок — правительство будет только радо.

Но — не с *этим* правительством порядок был нужен Родзянке. Всё совещание пошло не так, как он хотел. А взятые им думцы, хоть и не брать бы их, молчали. Молчал и самый левый кадет Некрасов в волковатой замкнутости, как он бывал.

А великий князь смущённо слушал раздоры, будто он был последний, кого это касалось, и не к нему было обращено главное увещание. Взгляд его был светлый, почти детский.

Родзянко однако не утомился — и снова доказывал, что он — не революционер, но планом своим именно спасает монархию. И нет другого выхода.

И Голицын стал уговаривать на помощь: да, пусть великий князь, хоть с превышением власти, но возьмёт на себя диктатуру — и тогда пусть сразу уволит правительство, оно согласно.

А великий князь чем дальше, тем больше, слушал их не с решимостью, но с грустью. И с грустью, и с мягкостью наконец возразил. Он — всегда поступает, как надо для блага родины. И — готов. И — всегда сочувствует Думе. Но... Что от него просят — это было бы похоже на...

Не выговорил — *на что* похоже. Не хотел никого обидеть.

Так он отодвинулся, печально улыбаясь, и испытывал явное облегчение.

Но Родзянко знал, какой же камень была бы эта неудача, какой же камень опять на его плечи! Своею нерешительностью этот нескладный великий князь всё губил! Упускались последние часы — и потом все будут жалеть! И для всей России будет поздно!

И — с новым напором уговаривал. Сейчас Его Высочеству есть ещё время собрать непоколебленные части гарнизона!

Ещё уговаривал — тщетно.

Ещё уговаривал — зря.

Ну хорошо, пусть так. Пусть Его Императорское Высочество не объявляет себя прямо диктатором. Но — п о г о в о р и т ь со своим августейшим братом он может? Вот сейчас по прямому проводу? И всё это передать?

Может быть и говорить не так хотелось великому князю, но тут — из вежливости, из уважения — он согласился.

И преобразовалось это так, что начали тут же сообща составлять длинный текст того, что великий князь должен передать в Ставку от своего имени. Помогал и Голицын, и Беляев, и Крыжановский. Поговорить с Государем брату — это все одобрили.

Как э т о в с ё назвать? *Движение.* Оно приняло *крупные размеры.* И собственное мнение великого князя, что надо уволить весь совет министров,— и князь Голицын подтверждает это же самое. (А Родзянку при этом упоминать не надо, чтобы Государя не сердить лишний раз.) И великий князь полагает единственно неизбежным, чтобы Государь остановил свой выбор на лице, которое *облечено доверием...*

Общества? Нет. Великий князь за такое не брался. Нет... Которое облечено доверием Его Императорского Величества — но одновременно пользуется и уважением в широких слоях... И на такое лицо возложить обязанности председателя совета министров. Совета, ответственного перед... ?

У Родзянки не было сомнения: перед Думой! Иначе — никакого шага вперёд не будет сделано. Иначе — к чему весь этот разговор? При нынешнем положении на улицах...

Поддержали думцы. А те — молчали.

Эта тяжесть ложилась на плечи Михаила.

По его извинительному виду, при таких лихих разведенных белокурых усах,— нельзя было догадаться, как же он передаст.

Ну, хорошо хоть — согласился поговорить.

Положение, мол, чрезвычайно серьёзно, и не угодно ли будет Его Императорскому Величеству уполномочить своего брата безотлагательно объявить в столице о таком решении?..

Великий князь не откладывал: встал, поблагодарил, всем ласково улыбнулся, всем пожал руки. Он собирался теперь к прямому проводу со Ставкой в Главный Штаб. Но осмотрительный Беляев предупредил, что это может оказаться опасно, к Дворцовой площади уже близки мятежники, уже наскакивали. А можно поехать к нему на казённую квартиру, в довмин (дом военного министра), там стоит такой же дублирующий подсоединённый аппарат, да великий князь будет и чувствовать себя привольнее. Отлично, поехал с Беляевым.

Расходились и остальные.

Родзянко был сильно раздосадован такой слабостью великого князя, его неспособностью к государственным шагам. Но всё-таки не без последней надежды, что из этого разговора что-то и выйдет. И что Михаил назовёт же Государю *его* кандидатуру. (Если были бы наедине — он внушил бы это великому князю прямей.) Родзянко просил Беляева непременно потом телефонировать в Думу, сообщить результат.

В ротонде думцы чуть постояли с министрами, собиравшимися на новое вечернее заседание. Министры все были в безнадёжном обречённом состоянии и все ждали, что вот-вот ворвётся толпа. Они и в Мариинский дворец не все на автомобилях прибыли, а сходились и пешком, чтоб не обращать на себя внимания.

Между ними прошёл слух, что в Мариинский пришёл Гучков. И он — мог прийти, как член Государственного Совета. Но что-то покоробило: это был как торжествующий налёт ненавистника. Говорили, и вид у него такой.

Родзянко уезжал, испытывая деятельное превосходство перед ничтожным бессильным правительством, всё запутавшим — и вот теперь подавшим в отставку. О, е г о правительство будет не такое! Оно властно повернёт Россию.

Они возвращались уже без охраны на крыльях, их грозные сопровождающие куда-то подевались. Их автомобиль теперь несколько раз останавливали мятежники или просто озорники. Но узнавая, что едет Председатель Государственной Думы — громко приветствовали и пропускали.

А один раз они сами остановились, и шофёр снова прикрепил красный флаг впереди.

Неудобно было воротиться без этого.

140

А ещё после всех передряг на Невском и на Знаменской площади памятной — остался Кирпичников опять один: опять ни единого знакомого лица — все разбились, перемешались, куда-то подевались.

А и вообще толпа редчала, загустило автомобилей, грузовиков, на них солдаты. Кричали тем автомобилям, глазели, махали.

Глядел на это всё Тимофей — и не верил: неужели это он один всё управил? Неуж вся эта чертопляска по всему городу с него единого началась?

И вот опять он один.

Этим вольным можно глазеть и махать, у каждого какой-то дом, и вопоздны все разойдутся. А куда — солдату?

Солдату — в казарму, известно. Но куда — мятежному первому унтеру, зачинщику всей заворохи Тимофею Кирпичникову? А что, если в своей казарме как раз его ждут и схватят? Ночью, спящего — и схватят?

Лучше б не туда идти.

А больше некуда.

Взъерошил Тимофей целый Питер — а ни одного друга и заступника во всём Питере у него нет. Вот подкатит к военному суду, и ни у кого не спрячешься.

Так ли, сяк ли, раздумывая — а ноги сами его понесли к казармам. По Надеждинской.

Тут — волынцев увидел, троих, стоят. К ним. Курят, весёлые. На улице сласть солдату покурить, ведь до се запрещали. Нет, чужие, совсем незнакомые. Говорят — про раззор, про раззар.

Ни у кого и не спросишь, не посоветуешься.

Постоял с ними, дальше пошёл.

На углу Бассейной подумал — делать нечего, повернул к себе.

Сбоку так, подходя.

Фонтанная. Глушь уже, никто не ходит, где это всё многолюдство осталось? На главных улицах.

Ну, никого.

И сколько сегодня Кирпичников бесстрашно шёл против солдатских цепей, против стрельбы, насколько утром превозмог всю тягость страха — а вдруг вот тут стало сердце сжимать.

Да шутка ли? Первый бунтовщик — и вот он шёл в казарму один, без подмоги, без защиты, без проверки,— захватят и всё.

Вошёл в Виленский переулок — опять никого. И перед воротами часовых нет.

Вот попал! Сегодня утром здесь он вёл всю учебную команду строем — „умирать за свободу!" И разворачивал в узине переулка — и вот вернулся одиночкой, трусящим ареста.

Нет, не мог он своими ногами отнести голову в капкан.

Вот попал! Побрёл назад по Фонтанной, теперь по Бассейной в другую сторону, потом по Греческому,— опять никого.

Ну, хоть на снегу ночуй!

А морозик — ничего, берёт.

Только на углу Греческого и Виленского встретил своих из учебной команды.

— Ну что там у нас, ребята?

Только сейчас заметил: голоса совсем нет, охрип, всё выкричал.

— А ничего.

— В порядке?

— В порядке. А что?

— Ну, все дома? всё тихо?

Не стал им даже объяснять, что он тут раскладывал.

— Айдате!

Двор. Где лежал Лашкевич, уже убрали.

Лестница, которую думал пулемётами защищать, только как-нибудь в казарме продержаться бы, большего не чаяли, большее казалось несдвижимо. А только чуть пихнули, одной учебной командой,— и пошло. И — погрохотало.

В помещеньи команды — увидели его, закричали. Тут и Канонников, и Бродников. А, мол, фельдфебель! Думали, что уже убит.

Чаю поднесли горячего.

Сел Тимофей на свою койку — и с такой охоткой попил, с такой охоткой, сладкий.

Прочнулся: дежурных-то офицеров нет? Нет. Не, братцы, так не годится, так нас схватят. А ну-ка, дозоры высылаем по соседним улицам. А — только половине раздеться на ночь, а половине — спать в шинелях, в сапогах, с винтовками.

Заворчали, заворчали ребята: на кой они, дозоры? На кой это — на ночь не раздеваться?

141

Часть офицеров-московцев, свободная от своих подразделений,— перед вечером ушла через Большую Невку в расположение гренадерских казарм. Остальные ходили по офицерскому собранию, не находя себя.

Нападения больше не было — и стрельбы не было.

А по плацу уже свободно расхаживали и свои солдаты, и чужие, и штатские.

Капитан Яковлев снова собрал в библиотеке оставшихся офицеров — кроме братьев Некрасовых — это были сплошь прапорщики. И объявил, что бороться дальше надо не стрельбой, а словами. А для этого всем сейчас, на ночь, разойтись по ротам, в какие придётся, заменяя отсутствующих,— и там убедить солдат к порядку, и даже самим остаться там ночевать.

Даже Некрасовы удивились, а у прапорщиков вытаращились глаза: только что стреляли в этих солдат — и по одному разойтись к ним в роты?

Но, пожалуй, Яковлев был прав: если не бежать из батальона прочь, то ничего другого и не остаётся. Странная особенность войны против своих...

В 4-ю роту пошёл её командир штабс-капитан фон-Ферген, весь день просидевший с караулом в клинике у Сампсоньевского моста. Он был для роты новый, всего месяц как с фронта, но рота уже знала и любила его.

Братья Некрасовы пошли бы в 3-ю роту, где больше всего было фронтовых солдат,— но как туда идти, если именно по ним стреляли днём? Пошли во 2-ю роту. Там тоже были кадровые унтер-офицеры, после ранений, кого Некрасовы хорошо знали. С капитанами и маленький Павел Греве, прапорщик, совсем ещё мальчик, недавно из кадетского корпуса.

Пошли, только револьверы оставили в собрании.

Вступили в ротную дверь — не раздалось воя, не произошло нападения, но дневальный громко скомандовал и отдал обычный рапорт, а штабс-капитан Некрасов отдал „вольно", хотя на „смирно" кажется и не стояли.

И как будто не было во дворе стрельбы — вот, стояли солдаты в русской военной форме, и даже любимого Московского полка, с русским языком, многие бородатые запасники, невооружённые новобранцы, только что от семей,— и ждали разъяснения и успокоения от отцов-офицеров. Во много рядов тесно сплотились кругом. Даже доверчиво.

Всеволод опирался на палку, маленький Греве таял, говорить было Сергею. И он теперь понял, что прав был Яковлев: никакой стрельбы сегодня вообще не было, это наваждение. А стоял их запасной полуобученный батальон в странной полувоенной обстановке.

И Сергей Некрасов, со своего роста хорошо всех видя, возвысил голос и чисто звонко предложил успокаиваться, укладываться, утро вечера мудреней. (И самому так хотелось этой покойной ночи для раздумья и опоминанья.)

И с мужиков многих того было достаточно: они как бы прощёнными себя почувствовали за то, что поволновались сегодня, кто из казарм не выходя, а кто и побегал по плацу,— и теперь могли разоболокаться на ночь.

Но так просто не кончилось. Солдаты многие и расходились по нарам — а унтеры, напротив, приступили тесней, объясниться. И с ними тоже часть солдат.

Они, мол, унтеры, попали хуже всех, между двух огней. С одной стороны — присяга, им ли не понимать? А с другой — как же в толпу стрелять? Там же и бабы, и мальчишки, и все русские. Господам офицерам никакого зла не желамши, всегда защитят их от толпы. Но *вольные* — приступают, наседают, требуют разоружить офицеров, а иначе пушки привезут и все казармы им разнесут.

Некрасов встретил глаза Тарамолова, с кем под Тарнавкой опирались плечом, и у обоих Георгии оттуда:

— Ну ты-то, Тарамолов, неужели веришь? Какие пушки, кто разнесёт?

В пушки Тарамолов не верил, улыбнулся,— но какая-то сильная неназываемая причина была у него, как и у всех,— причина, которая кончала их прежний быт полка, ведомого офицерами:

— Ваше высокоблагородие, всех не перевозьмёте, от всех не отстрелитесь. Конечно, и и м отдать оружие вам не мочно, и мы такого не вносим. И они хотят оружию забрать, чтобы может вас перебить, да. Но отдать оружию н а м, с кем вы вместе под немецкой проволокой лежали, вам никак не зазорно. Вы нам отдайте, а уж мы вас, своих, защитим. Мы вольным скажем, что вот разоружили — и пусть ко́тятся. А чего ещё придумать, ваше высокоблагородие?

Убеждённая его речью, уверенно и доброжелательно загудела унтерская кучка, подпёртая и солдатами. Эта доброжелательность уже была чудо — после сегодняшней стрельбы, разделившей их во врагов.

И эта доброжелательность сразила Сергея Некрасова. Чего б никогда он не сделал ни под какой угрозой, чего вообразить не мог в своей офицерской карьере — за несколько небывалых часов перепрокинулось и оказалось движением доверия и дружбы.

Переглянулись с братом Всеволодом. Убеждён был и он. Да ему-то — шашки не отдавать, только палка при нём.

Штабс-капитан Некрасов вытянулся. Прижмурился. Нахмурился.

Отстегнул шашку. Протянул Тарамолову.

И маленький Греве отстегнул — и отдал бережно.

И загудели, загудели мужики с одобрением.

И опять Некрасов почувствовал себя со своими солдатами — заодно, как и был всю службу.

Расходились солдаты спать. И офицерам теперь тоже следовало остаться ночевать здесь.

Но совсем не оказалось места — нары в два этажа и все набиты, ведь роты по полторы тысячи.

В ротной канцелярии? Тесно. На одного место, на писарской кровати.

Но они уже успокоили роту — и можно бы уйти.

Однако — зачем же тогда оружие отдали?

И уже назад не спросишь.

Как обворованные, с острым ощущением ошибки — вышли наружу.

Да, собственно, не их это и рота: Всеволод заведывал школой солдатских детей, а Сергей, как батальонный адъютант, лишь штабными писарями. Так что они и свободны.

Но — куда ж теперь? Стали на плацу.

В собственной адъютантской квартире — стёкла выбиты, гуляет мороз и разгром.

По тёмному плацу мелькали чужие одиночные фигуры, которым по распорядку и времени не быть бы.

Да ведь одни ворота свалены. И часовых нигде нет.

Вспомнили Некрасовы: в новом офицерском флигеле — пустая квартира штабс-капитана Степанова, командира 3-й роты, уехавшего лечиться на Кавказ.

Пойти к нему.

У швейцара собрания взяли ключ и велели говорить другим офицерам.

142

Если бы Государь прошлым летом послушался советов генерала Алексеева, то уже давно всем тылом руководил бы единый министр-диктатор, и не произошло бы ничего похожего нынешним недостачам и уличным беспорядкам. Но все области тыловой жизни и отрасли руководства находились в разных несогласованных руках.

А если уж так, то, вероятно, лучше бы, чтоб этими руками были доверенные руки общества, нежели избранные в потайках Царского Села,— не возникало бы добавочного враждебного напряжения с обществом. Отчего уж и не дать всеми просимое и разумное министерство из общественных лиц, за какие такие таланты Государь предпочитал своих слишком случайных министров? (Дать — добровольно, не так, как предлагали заговорщики, приезжавшие зимой в Севастополь.)

А теперь трубил Родзянко, подглашал расчётливый Брусилов, вот с опозданием в сутки присоединялся к той же просьбе и осмотрительный двуличный Рузский,— однако время ли принимать столь серьёзное решение в этакой суматохе?

Теперь, по упущенному, надо было весь день ходить из штабного дома в дом Государя, носить сверхважные телеграммы растерявшихся генералов. Теперь вот во главе всех идущих войск назначался Иванов. Уж его ли не знал Алексеев, достаточно послужа под ним и в Киевском округе, и на Юго-Западном фронте: никакой полководец, никакой стратег, панически склонялся сдавать Киев, совсем не современный генерал, даже никудышный, только представительство — красиво молча гладит бороду и отечески разговаривает с солдатами. К нынешней роли он совсем не годится.

Но и знал Алексеев, что именно в выборе лиц, в личных назначениях

Государь и бывал особенно настойчив. И в них приходилось Алексееву уступать. Если ему уж так понравилось... Почему начальник штаба должен был и тут исправлять выбор императора?

Да и действительно так сразу и не придумаешь никого, назначение неожиданное — и масштабное.

А можно восполнить недостатки Иванова тем, что потребовать от фронтов назначать во главе посылаемых полков и бригад — подлинно боевых генералов.

Не хотелось, не хотелось снимать с фронта значительные силы перед самым наступлением. Ведь их потом так быстро не вернёшь. Любил Алексеев иметь все полки на своих местах.

Впрочем, и понимал, конечно, что сегодня — фронтовая обстановка позволяла снять сколько угодно войск.

Ещё ж и познабливало, и подмучивало грудь и голову. Перебарывая, Алексеев сидел за столом, подыскивал войска, где — из резерва, это лучше, где и, нехотя, снимая даже с боевой линии.

С трёх фронтов брать примерно по два пехотных и по два кавалерийских полка. С Северного оказывалось удобно и быстро послать твёрдую бригаду 1812 года — лейб-Бородинский и Тарутинский полки, стоящие в резерве. Через две ночи и один день, на рассвете 1 марта они могут быть уже в Петрограде. Почти сразу за ними поспевают, тоже с Северного, Татарский уланский и Уральский казачий полки. Сутками позже добросятся с Западного фронта Севский и Орловский пехотные полки, один гусарский и один Донской казачий. Наконец, если будет неизбежно,— снять с Юго-Западного, из армии Гурко, гвардейские полки, хотя бы даже и сам Преображенский.

Проще было предоставить выбор полков самим главнокомандующим фронтами, но, по своей въедчивой манере работать за подчинённых и всё самому знать до точки, Алексеев всё выбрал и назначил сам. Не мог он спокойно жить часа, не зная, какой же именно полк убудет.

В девятом часу вечера Алексеев аппаратно переговорил с начальниками штабов Северного и Западного фронтов. Хоть и мало сочувствуя всей затее, он однако отдал приказ недвусмысленный: войска отправить с возможной поспешностью, минута грозная, что вопрос нашего дальнейшего будущего. И послать генералов *прочных*.

Приняв решение, теперь уже нельзя было колебаться. Конечно, Ставка совсем не приспособлена к такой задаче — бороться с внутренними волнениями. Это не лучший исход гражданского кризиса, но тоже вполне возможный. Он обещает несомненный успех: в Петрограде нет войск, сравнимых по качеству с посылаемыми. Что такое восстание нескольких запасных необученных и почти невооружённых батальонов в изолированном углу страны, когда вся вооружённая Действующая армия остаётся верна? И вся Россия остаётся покойной? К тому же, на дни дезорганизации Петрограда Ставка, благодаря присутствию в ней Государя, может взять на себя не только военное управление фронтами, но и полное государственное управление страной.

После этого, уже в одиннадцатом часу, Алексеев телеграфировал в Петроград военному министру о назначении генерал-адъютанта Иванова, о высылке с ним войск на Петроград и просьбу сформировать для Иванова штаб.

Эта телеграмма едва только была передана по прямому проводу в дом военного министра на Мойке — как оттуда донесли, что великий князь Михаил Александрович просит генерала Алексеева подойти к прямому проводу.

Брат царя! Неожиданность.

143

Генерал Николай Иудович Иванов возвысился из самых нижних слоёв, происхождение его не было прозрачно известно, так что одни родовитые недоброжелатели утверждали, будто он из беглых каторжников, не то каторжник был его отец, другие — что он из перекрещенных кантонистов, отчего и отчество у него осталось Иудович и фамилия придуманная Иванов. А когда уже достиг он высоких постов и журналы печатали его фотографии в усеве орде-

нов, то подписывали: „дворянин Калужской губернии". Но обликом своим выражал он подкупающую простонародность — на кочанной коротковолосой голове да лопатная чёрная с сединою борода и простовато выставляемый взгляд. И в самом распорядке дня своего: очень рано вставал и ходил по штабу корпуса, порта, округа или фронта, чем командовал,— как по крестьянскому двору, высматривая недостатки и поднимая на распёку. И та же простонародность в манере говорить, а ещё больше — умно молчать, поглаживая бороду. И известна была его отеческая попечительность к солдату. И Государю он никогда не высказывал никаких неприятных соображений, а был бесхитростен и душевен. А после Пятого года побывал главным начальником Кронштадта, и сблизился с морскими офицерами,— моряков же Государь особенно излюбил. И от турецкой войны, и от китайского подавления, и от японской, и особенно от этой войны — каких только не было у Николая Иудовича орденов, Георгий 2-й степени лишь у него и у Николая Николаевича. И так прочно сидел Иванов на командовании Юго-Западным фронтом, что поражён был своим внезапным отрешением с него год назад. (И ничем другим это нельзя было объяснить, как интригой и местью неблагодарного Алексеева, которого он же, Иванов, и в люди вывел.) Тяжко было ему проститься со своими войсками.

Но снять с такой высоты его сняли — а куда же было переставить? Никуда ниже уже нельзя, а равные посты — заняты, а выше посты — только Алексеев да сам Государь. Придумать заменительный пост было никак не возможно. Но тут выручило благожелательство Государя: генерал Иванов был поселён при Ставке в своём отдельном, удобном, хозяйственно устроенном вагоне (а женат он не был), так что распекать по утрам мог теперь разных встречных воинских чинов на станции Могилёв, а все обязанности его за минувший год были: являться к некоторым императорским обедам.

В нынешний приезд Государя в Ставку Николай Иудович уже побывал раз на таком обеде, а сегодня был приглашён вторично. И тщательно помывшись, собравшись, препоясав своё хотя и объёмное, но совсем ещё здоровое тело, он надел китель со всеми крестами и орденами, прицепил золотое оружие с бриллиантами и поехал в присланном ему автомобиле.

И принят был как никогда почётно, и посажен по левую руку Государя. И государевой милостью был приглашён к рассказам о прошлом, как он успешно давил волнения в 1905 году.

Тут генерал внутренне стал смекать что-то нехорошее, при вытяжке его долгой жизненной школы он всегда жил настороже. А тут ещё были какие-то дурные вести из Петрограда, генерал прежде того не придал им значения, а за обедом не поясняли. Но всё это на ходу соединив, Иудович в рассказах стал выставлять себя помягше, поотечественней, несручным к грозному моменту,— и надеялся, что всё и кончится этим обедом и этими рассказами.

Однако после обеда Государь позвал его к себе, закурил из своего коленчатого мундштука, пенковая часть для папиросы, золотой скрепляющий шарик, а янтарная часть в губы,— и, стряхивая над пепельницей в виде старинного русского ковшика, торжественно объявил генералу, что он назначается главнокомандующим Петроградским военным округом вместо Хабалова и должен немедленно туда отбыть, о чём получит инструкции у Алексеева.

Куда как лестно. И до чего неожиданно. И как же спокойно, оказывается, Николай Иудович жил до сего дня! Горько захватило дух генерала. Перед лицом Государя он должен был сохранять выражение прямоты и честной готовности послужить и пострадать, но внутри него всё опало: трудно было не понять, что им хотят откупиться, посылают его мало что в опасность, но в самую неловкую затруднительную и может быть позорную миссию.

И чем больше вдумывался, тем грозней понимал все опасности своего назначения — ещё пока попал к Алексееву, и разговаривал с ним, а тот ещё отрывался к прямому проводу, и ходил к Государю. Вот какое складывалось: если генерал-от-артиллерии Иванов успешно подавит волнения — он навсегда прослывёт карателем, и его убьют террористы, и уж во всяком случае заклеймит общество, так что не будет жизни. Тем более укорительно будет его положение, что Государь вряд ли сохранится твёрдым, а вот-вот уступит

ответственное министерство,— и от нового министерства Иванову тем более не будет жизни. Если же волнения так велики, что подавить их уже нельзя, то положение генерала тем более опасно: ему не простят такого шага против Освободительного движения, а могут даже и повесить.

Со всех сторон рассуждая, его поездка была опасной и ненужной. Но, состоя на государевой службе и будучи доверенным лицом, он не смел выказать своё уныние или колебание. А что решил про себя за время алексеевских отлучек: во всяком случае замедлять поездку, сколько будет возможно. Опыт жизни говорил: во всех случаях, когда прижимают, самое верное — это затягивать.

И неприятно было получать задание от своего бывшего подчинённого.

Алексеев давал ему с собой георгиевский батальон. Ребята славные, но что ж это за войско, они привыкли состоять для парадности, да и мало их. Правда, обещал Алексеев придать к ним по пути ещё пулемётную команду. Изучили перечень придаваемых частей с Северного и Западного фронта и когда они смогут поступить — 1-го марта и 2-го. Да есть ли уверенность в тех частях? Алексеев уверял, что самые надёжные. Так что, восемь полков? Мало! Настаивал Иванов высылать и с Юго-Западного ещё три полка.

Но чем больше частей, тем трудней их собрать и тем, очевидно, позже надо выехать самому. (К счастью, никто ему пока точно не указывал, когда выехать.) Кроме того, местом выгрузки частей правильно давать не Петроград, но расположить их по дальним окрестностям.

Так утро вечера мудреней? — завтра утром генерал Иванов ещё раз придёт?

Алексеева знобило. Он не возразил.

Ото всех неприятностей Николай Иудович поехал пока к себе на станцию, в свой уютный вагон. Уж давно пора и на боковую.

События в Петрограде протекают быстро, может завтра вся эта поездка уже и не понадобится.

144

Не успел Саша осмотреться в диковинной обстановке входного зала дворца, где связки ручных гранат лежали подле бочонков с селёдками, ящиков с яйцами, по этой необычности больше всего и радуясь, она-то и была верный признак революции! — как к нему направился маленький, сухой, безбровый, заострённый — Гиммер! — вот так удача! Пригодилось знакомство!

Узнал:

— А-а... Ясный! — оживлённо принял его. И повёл, и повёл его по коридору, довольно многолюдному — куда? — в штаб обороны!

Штаб Обороны? Ну, не мог Саша попасть центральней! Чего ещё может желать в революции сердце! Он вошёл в эту комнату с сияющими глазами, даже мурашки по спине — от сбывшейся невозможности!

Это была просторная комната под сверкающей люстрой, кабинет кого-то значительного, дубовый письменный стол, а на других столах и креслах бархат,— а в комнате всего несколько человек — один моряк, лейтенант, один пехотный прапорщик, четверо солдат с винтовками в шинелях и неснятых папахах, в таком тепле,— и один штатский в поношенном пиджаке, с кислым, тяжёлым лицом. (Сашу толкнуло предчувствие, что это — революционер, только что вышедший из подполья.) И именно он оказался здесь старший. Гиммер указал ему Сашу, а после двух-трёх Сашиных ответов и ушёл.

Масловский требовательно смотрел и спрашивал: из какой части и есть ли у него в повиновении солдаты. Разочаровался, что из учреждения, но обрадовался, что солдаты — есть, человек 15, и все тут. (Саша отвечал уверенно, но вспоминая случайность своей гурьбы, не мог бы поручиться, что через полчаса они ещё будут перед дворцом.)

А ещё из принадлежностей штаба был у них план Петербурга, неаккуратно вырванный из справочника и разложенный на столе в ярком месте. Сидели как попало вокруг, и Масловский спрашивал того прапорщика, а потом солдат, а потом и Сашу, что они знают о расположении воинских сил в городе.

И Саша, который бывал же в армейской обстановке, всё-таки видел, как офицеры работают по картам, как наносится боевое расположение,— вдруг испытал к этому *штабу* — жалость и гордость. Жалость, что революция должна начинать с такой ничтожности: вырванный гражданский план, никаких цветных карандашей, планшетных досок, измерителей, штаб — на уровне солдат и прапорщиков, и ни один присутствующий не может толком сказать ни об одной неприятельской части, а о своих — всем известно, что рассыпались и их не существует,— а во главе их всех не полковник и даже не офицер, а — штатский. Но гордость: что они и с этим возьмутся начать — и ещё смотри победят! Что Революция — нарушает все правила, она — хулиганка, ей дозволено недозволенное, даже невежественное,— и всё равно она победит, такова инерция истории!

Тут вошли и выкликнули солдат на заседание Совета депутатов — они, оказывается, и пришли ни в какой не штаб обороны, их ткнули сюда временно для разговора,— а теперь пошли на Совет.

Только что удивлялся Саша, что набран штаб из солдат — а вот уже и солдат не стало.

И осталось их четверо, а из оружия — три револьвера да две шашки, на лейтенанте Филипповском не было и кортика, зато оказался он давний эсер и даже из боевой организации, Сашу очень к нему повлекло. А прапорщик был какой-то совсем глупенький и даже не петроградский, он только сегодня с поезда, ехал из Вологды и попал во всю эту кашу, никого ничего здесь не знал, но готов был участвовать.

Оттого что их так мало теперь осталось, Масловский и Филипповский не отъединились от них, а обсуждали вслух тут же, что ж была за обстановка. Обстановка получалась такая: движением совершенно не затронут Васильевский остров, занятый Финляндским батальоном,— и не принято никаких мер к разложению его. Петербургская сторона только начинает осваиваться. На Выборгской стороне сопротивляется самокатный батальон. По всему остальному городу положение вполне неясное. Все казаки, и 9-й конный полк, и гвардейский экипаж, и семёновцы,— у себя в казармах, пока нейтральны, но могут выступить в любую минуту на любой стороне, да если выступят — то против нас, потому что за нас только те части, которые отказались повиноваться, рассыпались,— и, значит, больше не существуют. Все *наши* войска — не существуют. Петропавловская крепость занята правительственными войсками, её пушки наведены, но пока не стреляют. Ни об одном военном училище не известно ничего — и все они могут выступить против, вероятней ожидать так. Какие-то войска днём строились у Зимнего дворца — значит, они хабаловские, все кто в строю — уже не наши, у наших строя нет. Вообще силы Хабалова абсолютно неизвестны, они собраны где-то в центре города, намерения их неизвестны. Днём они пытались продвигаться по Литейному, но продвижение их задержали толпы, в толпы они стрелять не решались, и их заглотило. Но сейчас с темнотой толпы уже расходятся, улицы очищаются,— и у нас не остаётся никакой защиты, и противник очевидно перейдёт в решающее наступление. С нашими солдатами мы не защитимся, мы их просто не сумеем построить, да их, очевидно, от Таврического и отвести нельзя, они не пойдут. Уж тем более у нас нет ни конницы, ни действующей артиллерии, есть пушки для украшения, четыре пулемёта — не могут стрелять, без глицерина,— и нет никакой ни с кем связи кроме городского телефона. Телефонная станция на Морской хотя и в руках хабаловцев, и под самым их штабом, но, удивительно, отвечает на все вызовы Таврического! Вероятно потому они так делают, что подслушивают нас. Они могли бы выключить всю сеть — и мы вообще стали бы слепы и разъединены,— а у них-то для связи остаются военно-полицейские провода на отдельных столбах. Наконец, у кого все южные вокзалы, что на них делается — тоже неизвестно, в любую минуту там могут выгружаться царские войска, а мы не только бессильны препятствовать, но даже ничего не узнаем.

Положение было — вполне катастрофическое, по правилам обычных войн впору было — просто разбегаться, пока не захватили и не повесили их самих. Но Революция — хулиганка! Саша испытал даже дикую радость, что всё так плохо, это — как музыка была зовущая, есть какое-то особенное веселье — веселиться не от хорошего, а от плохого: перевеселиться катастрофу — и победить её! Он-то — полдня сегодня воевал, и побеждал, и знал уже воздух улиц,— этот воздух и был за них, хотя и не размечается на военных картах.

— Вы разрешите — ходить? — спросил он у старших, и стал нервно ходить, хотя и не курил, он в движении этом, по ковру, уже зашлёпанному солдатскими оттаявшими сапогами, предвидел что-то найти. Вот будет юмор, если он придумает сейчас спасение!

Тут вбежал другой подвижный штатский и привёл им ещё одного пехотного прапорщика, а заодно сообщил, что в сквер въехал броневик, находится в их распоряжении.

Вот! броневик! Дела поправлялись.

Но новый прапорщик — ничего им не помог, он не знал, где какие части. А вологодский и даже ни одной петроградской улицы не знал. Чёрта с такой помощи и с таких прапорщиков.

Филипповский курил над картой, а Масловский не курил, как и Ленартович, но тоже стал нервно ходить.

— Тебе,— сказал он Филипповскому,— поручим защиту Таврического. Надо как-то эти противоаэропланные пулемёты привести в порядок, да как-то расставить. А то — налетят!

Филипповский дымил, дымил над штатской картой.

— Надо будет собрать охотников из солдат перед дворцом — и пойти двумя командами на Николаевский и Царскосельский вокзал, если не занимать, то для разведки. Двое из вас пойдут,— говорил Масловский.

Что ж, это чудесная задача — занять целый большой столичный вокзал! Саша подтверждал, что готов идти, но... но... Он искал, вот уже близилась, крутилась в голове какая-то ещё более великая задача.

А Масловский — за это время как-то подтянулся. Насторожился. Остановился у мраморного камина. Будто прислушался. Одной рукой держался за полку, другою стал помогать своим рассуждениям:

— Вся сила — конечно, на стороне Хабалова. На нашей — одна революционная атмосфера. Но именно тут он и проигрывает! Потому что он — колода, и не знает опыта революций. Он концентрирует свои войска в самом центре города — это ошибка! Столица — всегда пылает революционной атмосферой, и здесь его войска рассыпятся! Опыт революций показывает, что правительственные войска побеждают тогда, когда вырываются из заразительной зоны столицы — и потом обкладывают её или во всяком случае наступают извне.

Так удачно он это высказал, такая создалась красивая, умная минута: и всё теряется от промедления — и хочется поговорить! От этого напряжения постигла Сашу догадка, хотя кажется и связи тут не было. Он резко остановился посреди кабинета, повернулся к Масловскому и сказал звонко, гордо, сам отчётливо ощущая свой тон:

— Скажите, а где же находится так называемое правительство? Почему мы его нигде не чувствуем?

— В Мариинском дворце,— ответил Масловский.

Ответил, а ничего у него не родилось! И Филипповский поднял глаза в дыму — ещё не охватил.

— Так дайте мне броневик, и ещё грузовик! — вскричал Саша радостным постижением, чтоб только никто раньше этого не высказал.— И я возьму свою команду и ещё наберу охотников — и п о е д у а р е с т у ю п р а в и т е л ь с т в о! Или — разгоню его к чертям!

Все смотрели на него с изумлением. Но и с растущим уважением.

— Но вокруг Мариинского вероятно крепкая защита.

— Если крепкая защита — постреляю, попугаю и уеду. Но я сегодня целый день па улицах и уже несколько зданий взял! Я убедился, что это очень легко! Что защитники старого строя сдаются в одну минуту!

Да ещё несомненное: нападение — лучший способ обороны! Раз у нас всё так плохо, незащитимо — так наступаем!!!

Ну что ж? Ну что ж.— Переглянулись, подумали.— Ну что ж! Если вы предлагаете сами, если вы к этому готовы...

Саша — сейчас был готов ко всему! За сегодняшний день он понял сла-

дость действия. И не боялся — нисколько. Да тот, кто смело действует,— совсем и не находится в самой большой опасности.

Правда, с броневиком он никогда в жизни дела не имел. Но он почти и ни с чем в армии дела не имел. Это всё — освоится.

Главное — дерзость, мгновенность, сейчас — и ехать, сейчас и схватить, пока они этого не ожидают. Арестовать правительство — и кто у них останется? Один Хабалов?

Мысль всё больше нравилась. Но, кажется, колебался Масловский, по силам ли прапорщику арестовать правительство?

Вдруг — раскрылась дверь, и никем не представляемый, сам вошёл блистательный, с отличной выправкой, звеня шпорами, отстукивая сапогами, и доложился:

— Ротмистр Сосновский, гусарского полка! Отдаю себя в распоряжение революции!

И перед кем? перед младшими, перед штатским — ещё задержался в отлично откинутой чести, поражая их.

Все вскочили. Все сразу почувствовали природного военного! Начинало, начинало переходить царское офицерство!

Знакомились, все за руку. И какой симпатичный! — пушистые белые усы, живые остроумные глаза, роскошные рулады голоса, весёлая манера говорить,— просто очаровал и подбодрил их всех.

И Масловский, не теряя времени, предложил ему возглавить экспедицию на Мариинский дворец.

И Саша даже ничуть не обиделся: такое подчинение — по праву, и даже насколько легче ему будет с оружием и с распоряжениями. Да вот уж от чего он был ну совершенно свободен, это от какого-нибудь тщеславия, я или не я, кто старший. Он испытывал никогда не знаемую радость — служить, полностью отдавшись, ничего для себя.

Для себя — хоть смерть. Нет красивее смерти, чем в революцию.

Быстро распределили: Сосновский с Ленартовичем берут броневик, грузовой автомобиль, набирают солдат — и едут штурмовать Мариинский дворец. А два прапорщика, если наберут себе охотников в команды,— едут на Николаевский и Царскосельский вокзалы, тоже в автомобилях, автомобили близ дворца стоят какие-то.

А ещё из кого-нибудь собрать бы разведку в сторону телефонной станции и штаба Хабалова?

Сосновский и Ленартович дружно крупно зашагали по коридору. Саша наслаждался этой ровностью их движений, наслаждался, что нравится всем, что он у дела, что — настоящий военный и именно потому причастен к событиям. А Сосновский — какую-то несдержанную шуточку отпустил по поводу курсистки, промелькнувшей мимо них, даже протянул руку к ней, задержать. (Вот уж, гусар, нашёл время.)

Снаружи, в сквере, ещё сгустилось автомобилей и солдат, и разведено было несколько костров. Нашли они предназначенный броневик. Шофёр броневика сразу согласился ехать, а шофёр грузового требовал письменного распоряжения от депутата Керенского. Нашли другого, кто согласился без письменного.

Саша стал кричать „моя команда!", пошёл к тому месту, где их оставил, там были другие, но не свои. Тогда он стал ходить от костра к костру и выкрикивать просто добровольцев на операцию, разумеется не называя какую. Сразу не шли, спрашивали: пешком или на моторе? Узнав, что на моторе,— некоторые покидали костры и шли за ним. Один закричал: „только я на крыле!", и второй: „и я на крыле!",— значит, почётно лежать на неудобном крыле, высунув штык вперёд.

Перед посадкой Сосновский ещё раз и совсем уже не к месту сказал какую-то пошлость на женскую тему, так вольно, что Сашу покоробило.

Но от этого недостойного повода вдруг толкнулась его мысль к Еленьке. И садясь рядом с шофёром, уже под заведенный рычащий мотор, с дюжиной солдат за спиною в кузове и перед тем как рвануть с места, он подумал о ней с новым чувством: не в том унизительном уговаривании, как проходили их

последние встречи, но с властным чувством права: он выбрал её — и будет она его! по его воле, а не по своей!

Нет, что-то замечательное есть в войне! Революционной, конечно.

145

По дороге в Таврический привязался Гиммер и неумолчно болтал. Страх не любил Шляпников этих заумных книжных теоретиков, которые напильника или резца держать не умеют, револьвера — брать не брали в руки никогда, но наговорят тебе семь ворохов о пролетариате и о том, как революцию делать. Ты — пересекал границу под Полярным Кругом, ты таскаешься каждую ночь по новым ночёвкам, измучен от бездомья, от бессонницы,— а они в своей чистой одёжке, на чистой квартире, по своим паспортам, ходят в чистую контору — а теперь первые кинутся в прорыв, захватывать места.

А в эти несколько часов от предполудня до сумерок и произошёл великий Прорыв, которого и Шляпников-то всё не мог осознать, дотрясти себя до него, вот ещё на пути к Таврическому, озираясь, всё домекал: так — прорвало до конца? Всё, что загораживало нам годы,— и прорвало?

Но тогда, смекай, менялось и положение партий, и положение лиц.

Соревнование между партиями было и прежде, постоянное, но всегда в пользу левых, интернациональных и боевых, так что состязаться по-серьёзному приходилось только с межрайонцами, то и дело выхватывающими лучшие острые лозунги, ну отчасти с инициативниками,— а все остальные меньшевики, оппортунисты, оборонцы, гвоздёвцы всегда были в ауте, не говоря уже о трудовиках и об энэсах. (А эсеров вообще не было.) Но вот, если произошёл Прорыв, то сейчас, жди, в часы и минуты будет решаться совсем новая расстановка сил, кто какие места захватит. Прежние подлинные заслуги теперь станут ничто, а надо — вот сейчас захватывать.

И Шляпников — как никогда отвечал за то, чтоб не растеряться. Перед теми своими отвечал, кто вернётся из Сибири, из-за границы. И перед Лениным особенно, Ленин не простит никакого промаха.

И хорошо, что он поспешил в Таврический в первые же вечерние часы. Тут уже хорохорилась и петушилась вся мелкобуржуазная и литературно-социалистическая публика. Из рабочих районов — никого, а эти, кого давно что-то не видели, так и летели, как мошкара на огонь, носились из комнаты в комнату. И с большой значительностью расхаживали *выпущенные из тюрем*, хотя просидели кто три недели, как Рафес, кто две ночи — как Капелинский. Среди других как именинник болтался Хрусталёв-Носарь с шашкой на боку — и лез ко всем с объяснениями, что ему ещё сегодня утром грозило три года каторжных работ, и что он с Пятого года несменённый председатель Совета. И важно расхаживал крупнотелый Нахамкис, два военных года просидевший в обывательском футляре. Все уже носились с красными розетками, бантами — и хотели в 7 часов вечера поскорей открывать заседание Совета рабочих депутатов, и все интеллигенты требовали себе мандатов в Совет. Конечно, настоящих выборов на заводах и не могло пройти в сегодняшней суматохе, но хоть кого-то же дождаться рабочих, просто неприлично. Еле Шляпников их пристыдил, уговорил передвинуть открытие на 9 часов. (Про себя рассчитав, что пока, при здешнем составе, у большевиков никаких позиций не будет, и даже сам он не пройдёт в Исполнительный Комитет.)

Отговорил — и кинулся к свободным телефонам: разыскивать и созывать своих. Но все они были на улицах, в событиях — а тут меньшевицкие прыщи стянулись расхватывать исторические роли.

Тем временем в большую комнату сносили стулья, табуреты и пёрли любопытные со стороны, пришлось часового поставить на дверях. Кому выписали мандат, кому нет,— собралось всего до полусотни. Большевики не подоспевали, всего один-два. Удивительно, что и пробойных межрайонцев не было, и их бешеного Кротовского. Зато был такой же бешеный Дмитриевский-Александрович, эсер.

Открывать собрание полезли сразу и Соколов, и Эрлих, и Панков. Соколов,

с распахнутыми фалдами сюртука, конечно, чувствовал себя главным устроителем. Но и те перепере́живали. Ораторствовали сразу несколько, начинали говорить каждый раньше,— и какой вопрос первый, а какой третий — долго не было решено.

Затем пришёл Чхеидзе, с видом весёлым, а сам расслабленный и не претендующий быть вождём,— маленький, сутулый, с большой пролысью, а бородой задёрганной до бесформенности. Но меньшевики засуетились как вокруг несравненного лидера и посадили его на председательское место. Рядом с ним сел другой думский лидер — молодой, толстощёкий, с выложенной причёской Скобелев, ещё ни на что силы не трачены, богатый сыночек, болтался, потом Дума, и подполья не знавал,— да как все они тут почти, кто слетелся.

А перед самым открытием ворвался и тоже сел с ними рядом мальчиковатый Керенский, в костюме в обтяжку. Но и тут же соскучился, что здесь для него не аудитория. Поводил узкими плечами, быстрыми глазами, бросил фразу о торжестве революции — и деловито, быстро ушёл.

И Нахамкис на видном месте сидел, пальцами прочёсывал красивую рыжеватую бороду.

Довольно скоро и Чхеидзе ушёл. Ещё меньше стало порядка. Соколов захлебывался. Скобелев растерялся, не имея понимания и плана. А кто-то высказал, что для продолжения славных традиций Пятого года хорошо бы восстановить председателем Хрусталева-Носаря.

И сразу же полез выступать Носарь, уже без шашки. Но неряшливой сбивчивой речью не собрал себе сторонников.

Тут уже Шляпников не сдерживался, да чтоб и голос же большевиков прозвучал — выступил резко против. Что нельзя выбирать одного председателя, а сразу весь Исполнительный Комитет. И во всяком случае Носарь — этот ренегат социализма и антисемит, не может быть не только председателем Совета, но даже и среди почетных учредителей.

„Антисемитом" он сразу сбил Носаря, не стали ни слушать, ни обсуждать: антисемит — и зарезано.

Но не стали и избирать Исполнительного Комитета: слово схватил Франкорусский, от продовольственной комиссии. И успокаивал, что уже по первой проверке оказалось положение с хлебом совсем не катастрофическое, а надо только...

Но не кончили обсуждать и продовольственного вопроса — Гиммер тонким голоском и Броунштейн потребовали в первую очередь обсуждать охрану города.

Но тогда, кричали, более широкий вопрос: отпор царской реакции?!

Но Шляпников в эту гомозню больше не лез. Он, по-большевицки, обдумывал главное: как не упустить захватить побольше мест в Исполнительном Комитете? Пока что и численностью и ораторством оттесняли большевиков, мелкобуржуазная свора грозила захватить рабочий плацдарм.

А пока назначали литературную комиссию: писать воззвание к населению.

А тут какой-то солдат вылез рассказывать, как у них в батальоне сегодня все произошло, что он видел сам, как было в казарме и на улице.

Тогда и другой за ним, еле остановили.

Тем временем собрание все больше брал в руки Нахамкис — фигура крупная, сильный голос, а вид такой уверенный, будто он подполье на своих плечах пронес, умеют же люди!

Наконец, уже поздно, дошло до выборов в Исполнительный Комитет. Уже тем было сразу проиграно дело, что, конечно, Чхеидзе был единодушно выбран председателем, а Керенский и Скобелев — заместителями, и тут бой давать было невозможно. Руководство уже уходило к оппортунистам! И в секретариат сразу натолкались — Соколов, Шехтер, а он за собой дураковатого Панкова, но тоже инициативника,— и Гвоздева, которого сегодня тут все принимали с почетом. А когда стали выбирать рядовых членов ИК, то больше всех голосов набрали Нахамкис, Гиммер и Капелинский,— нефракционным и лишний шанс: за партийных голосуют только свои. Все ж инициативники поддержали большевиков — и Шляпников с Залуцким тоже протолкнулись в ИК.

Но соотношение в ИК не обещало успеха. Шляпников сидел, и место под ним горело; что придумать? Он представлял, как его будет уничтожать Ленин — что был здесь в такую минуту и упустил руководство. Ленинская выучка всегда была: захватывать руководящие места.

А что Шляпников мог сделать? Как он мог заставить их тут всех себя слушаться? Он против этих говорунов робел.

А! вот что придумал, хорошо ли, плохо: в Исполнительном Комитете кроме членов избранных пусть еще останутся места по назначению от партий, от каждой по три места.

Приняли. (Правильно рассчитал: все схватятся за лишние места.)

Значит, от большевиков будет и еще трое, всего пять.

Но и трое меньшевиков. Но и трое эсеров.

Только та выгода, что от групп, как межрайонцы,— не больше одного.

146

После того как была стрельба подле московских казарм — вдокон потерял Вахов последних своих волынцев и фельдфебеля своего Тимошу Кирпичникова, и уж такой стал сирота-сирота, и совсем потерял дорогу, даже не знал, где этот мост искать, по которому бежали надысь.

Шел, как слепой, по взбудораженной улице — и все куда-то, то ль от радости, то ль такие ж потерянные. Шел — и губы развесил. И чего б дальше делал, и куда бы брел — но заметил преображенского унтера с челюстью раздатой, а с малыми глазками, который тоже вел с утра,— и к его команде Вахов пристал.

А команда его пришагала в это гомонное здание под куполом, и тут преображенцы стали в караул.

А Вахова не взяли. Да и что ему с чужими? И затосковал он крепко.

На'б к своим ворочаться — а где ж их по городу будешь искать? Да может они уже не в городе, а в казарме? А может никого в казарме нет, а там западня для бунтовщиков? Как туда идтить? Сильно боязно. Пока по городу гоняли, кричали, стреляли, с налету брали здания — во всем была тысячная сила и заединство, и не страшно, а весело, как на лучшей гулянке, кружим как хотим. А где теперь та толпа? Да вольные погуляли — и по домам разошлись. А с солдата — голову.

Да ежели б от своих не отбился, так не страшно: со в с е х -то спросу быть не может. А вот — один.

А тут — хорошо: пребольшущий зал, как поле под крышей, и — народища! Сел Вахов у стенки на пол, винтовку положил, чтоб краем задницы её прижимать, не упёрли бы, солдат без ружья — тот же баран, а сам отслонился — да и стал подрёмывать. Брюхо грызёт, цельный день без еды — ну, зато тепло и в безопаске. Тут и переночевать, а утро вечера мудреней.

Не тут-то было. Рядом окликнули:

— Эй, волынец!

Прочнулся Вахов, обрадовался:

— Ну?

Думал — свои нашли, вот соединимся.

Нет, стоит солдат чужого полка и вольный с ним:

— Подымайсь! Будешь депутат от Волынского полка, никого от ваших нет. Пошли на совет депутатов?

На куда? Ещё во что встрянешь глубже? И место жалко у стенки, укромное, потом такого не захватить, а посередь пола, на проходе. Думал бы Вахов укрыться, отказаться — так командуют, наклонились над ним, куда от них сокроешься?

Пошли. Через коридор.

Там накололи ему на шинель большой кусок красной материи. Хотел Вахов не даться:

— На кой он мне? — эт'ещё занозливей куда-то втягивали. Солдату на шинели — нешто положено красное? Дурак любит красно, солдат любит ясно.

Но видит Вахов — тут у всех нацеплёно. Ну, ладно.

Сел у стеночки на скамью, винтовка стоймя меж колен. Слева, посмотрел,— вроде мастеровой. Справа, посмотрел,— вроде по торговой части. Ни с кем и не поговоришь.

А там, посерёдке, вокруг стола, сгрудились все образованные, ни одного меж них солдата, да и мастеровых не видать,— а все, знать, из одного места, и все друг со дружкой нанюханы. Ни разъяснения какого не заводят, да как бы уже третий день толкуют, и шибко друг друга понимают. А со стороны — мудрёно, много слов непонятных.

И чего Вахова позвали с хорошего плаца? Там бы и переночевал.

И все — лезут сразу говорить, перешибают, никому нельзя просторно, со стульев вскакивают и у стола друг друга отталкивают, суматоха. Никогда такого Вахов не видал.

И все до того радостны, ажник вот лопнут сейчас. И кого-то из себя куда-то определяют, руки подымают, опускают. Да вам-то что, вы-то через присягу ружья не подымали, вы все разбежитесь по домам, вас как не было. А солдату голову класть.

И — дело затолковали: что вот войска придут — чем и как отбиваться? И уже не такие стали радостные, а у Вахова прям'засосало сердце: ведь придут, придут наказывать! Ведь вот — и эти поджидают. Ведь без штрафу ничего не обходится, не бунтуй в военное время! И правда, шутка сказать: война идёт — а мы своих офицеров на смерть уложили? Да ошастенели, что ли?

Потом — лучше стали говорить: чтоб солдат кормить, вне частей. И здесь, в этом большом дому — тоже кормить.

Это б хорошо. Ка'б здесь кормили — можно пока в казарму и не соваться.

Тут ворвался от дверей какой-то солдат молодой и, между стульев пропихиваясь,— на серёд комнаты. Ворвался — как если б гнались за ним, вот уже подступали. И винтовку двумя руками над головой тряся — туда, к передним, главным:

— Братья и товарищи! Я принёс вам братский привет от всех нижних чинов в полном составе лейб-гвардии Семёновского полка! Мы все до единого постановили присоединиться к народу против проклятого самодержавия! И мы клянёмся служить до последней капли крови! Мы приветствуем совет депутатов и поддерживаем его своими верными штыками. И не потерпит больше петроградский гарнизон проклятого самодержавия!

Какой-то невразумный показался Вахову этот солдат, да ещё и паренёк совсем. Не понять: это что ж, он от самих семёновских казарм бежал? — так далече. Или только последний квартал? — так зачем? Потом: целый день нигде семёновских солдат не было, по казармам сидели, этот — первый появился, и сразу ото всех? Стрельба прошла — похвальба пошла. На лбу у него не написано, что ото всех, а чуди было б такого непутёвого юнца ото всего батальону слать.

А язык — свободно у него оборачивался, да по-ихнему, как вот тут говорят. Все кругом повеселели — и стали ему в ладошки хлопать.

А что ж? — начнётся над солдатами расправа — этих здешних заводил тоже ведь не погладят. Так что, видать, за них держаться, может они какую выручку и придумают.

За семёновцем — сапёр полез. И стал рассказывать — это уж вправду, как они сегодня на командира батальона своего решились — и загубили его. И как поручика Устругова прикончили. И ещё кроме...

И хлопали ему.

И слова сапёра грузились на сердце Вахову. Вот это — правда была.

Потом и из Литовского батальона говорил.

И тогда стали кричать:

— А ты, волынец?.. Что ж ты, волынец, молчишь? Да вы же — первые начинали!

И попался Вахов как волк в закуток, со всех сторон на него повернулись и понукали.

И поднялся он через прогвозд, только на винтовку свою и опираясь. И посмотрел на лица чужие. Как им говорить?..

Это надо б сперва объяснить, что весь их Питер для человека — хуже леса дремучего, сузёма, и для крестьянского сердца ни в чём тут заманности, а — тоска. Что в этом лесу только и держишься — отделением, взводом, знаешь своего ефрейтора, своего унтера, свою койку, свою кухню. По этим военным правилам, как слепые по бечёвкам, они только и пробирались. И нипочём бы эти бечёвки не порубили, когда б не послали их на такое нелюдство вчера (вчера, а как за горами): стрелять по народу. А только думали они — не идти в наряд, и лестницу свою оборонять. Капитана Лашкевича — и сговору не было убивать, кто его убил, как? А как убили — так и сами себя отрубили, и весь свет уже тесен. А сейчас, к вечеру, и вобрать в голову нельзя: да неужто всё так и случилось? Как будто Вахов в одиночку погулял топором — и уже откинуть поздно, и забыть нельзя, в той крови, в том мясе все руки забрызганы — и страшно вернуться на то место, где Лашкевича уложили.

Но всего этого, понял он, выразить им нельзя. Топора погулявшего они не чувствовали, убитым офицерам только хлопали. И потянул он им, потянул:

— Так вот, братья-товарищи... Мы, конечно, волынцы первые... наша учебная команда... Мы, конечно, первые, а потому уже все за нами...— И осмелел, тут, среди них: — И если нужно будет, мы опять же постоим...

И за него докончили, крикнули:

— Против самодержавия!

Вот и сплёл Вахов, не намного хуже других, хотя и голоса не узнавая своего. И все, кто тут был, и все образованные, плескали и ему в ладошки и радовались.

Как будто топор тот, несказанный, они ему с греха снимали.

И — поопустило маленько Вахова. Уже и в казарму он склонялся хоть и пойти бы.

Может, как-то и минуется, будто мы не мы, и я не я? Может, как-то и улягется, и в груди тоже?

Такую-то тьму — не загонят в тюрьму?..

147

Расхаживать по Екатерининскому залу Милюков вышел в надежде, что он дополнительным наблюдением и чьими-то сообщениями пополнит свои исходные данные, которых у него не хватало для верного синтетического суждения. В такие часы всеобщего сдвига и поиска от него требовалась, хотя бы прелиминарно, линия общественной равнодействующей, а она всё никак не определялась. Для самого же процесса мысли тут, конечно, было мало пригодно: Екатерининским залом почти нельзя было ходить по прямой, как обычно они тут прогуливались, а надо было то и дело отклоняться или останавливаться, пропуская. Набиралась публика, невозможная для Таврического, оскорбительная: совершенно распущенные солдаты, без водительства, кто курил (и окурки бросал на пол), кто сидел на стульях с шёлковой обивкой, кто топтался в грязных сапогах, там и сям подтаивали лужи на великолепном паркете, солдаты таскали за собою винтовки, потом надоедало им, и они их составляли в козлы по нескольку штук у колонн, преобразуя величественный зал в подобие бивуака. (Да хорош бивуак, если б они были готовы к отражению,— так ведь нет.) А ещё в несколько часов повылезала и вся стягивалась в Таврический полулегальная публика, много лет уже присмиревшая,— а теперь тут разживлялись. А депутаты, напротив, робели и исчезали — незаметно, потому что уйти от торжества революции выглядело неприлично. И крутились весьма подвижные девицы, тоже конечно из околореволюционных кругов. Уже и маленькие митинги со стульев возникали в разных концах зала. Да что! В Купольном носили и складывали у стены — мешки с мукой, просто как на складе. Опять-таки, для возможной (невозможной) обороны Таврического это было бы и неплохо, но что за вид, Боже мой!

Вот уже в комнате бюджетной комиссии эта полулегальная публика что-то

из себя формировала, ошибка была сюда их впустить, да не было сил не пустить,— а как теперь выгнать? А жизнь основная, высшее содержание этих валов, двенадцать лет составлявшая и высшее проявление русской истории,— таяла, отступала. И отчасти твёрдой своею походкой хотел Милюков напомнить о ней и отстоять. Пока эти деятели в бюджетной комиссии проворно там поворачивались — депутаты Думы подходили к Милюкову с такой растерянностью или даже глупостью, что и действительно не на что было отвечать. Одна только была прекрасная затея — думских журналистов, они пришли с таким предложением: газеты в городе не выходят, население ничего не знает, необходимо срочное оповещение — и они берутся такую газету выпускать сегодня же с ночи,— так можно ли считать её органом Временного Комитета Государственной Думы?

Отличная мысль, и Милюков ответил, что да. Но сразу встало: в наступившем хаосе какая типография будет их набирать? Сумеют ли они убедить и понудить кого?

Милюков дал согласие — от Временного Комитета. Временный Комитет становился реальной силой? Ещё несколько часов назад Павел Николаевич упирался и против создания такого Комитета. Но эти протекшие часы дали своё. От середины дня к вечеру картина событий быстро менялась. Шло ускоренное движение общего спуска, даже и к разгону, перевал перейден. И в этом спуске-разгоне упираясь, упираясь,— однако надо было и подаваться вперёд. И не слишком в этом отстать. Если мы не перейдём к действию — массы перестанут нас слушать.

Ещё недавно это было только эффектной фразой. После Рождества возвращался Павел Николаевич со своей крымской дачи, и в московской компании его спросили нетерпеливо: „Да что же Дума не возьмёт власть?!" И он тогда отгородился так: „Приведите к нам два полка солдат, и мы возьмём".

Но вот — полки, кажется, и были?.. Однако Дума...

Милюков ли не был главной фигурой Думы? Кто ж тогда была Дума, если не Милюков? И что была бы Дума без Милюкова? Но именно он сегодня и увидел дальше всех: это и хорошо, что Дума пока не заседает,— только сужала бы новые творческие пути. И тем более возражал он предложению объявить постоянную сессию Думы, сделать Думу государственной властью: это была неуклюжая крайность.

Сейчас требовалось нечто более поворотливое. Временный Комитет Думы? Сам же Милюков и притормозил его длинным названием „для сношения с лицами и учреждениями" — на случай прихода кары, чтоб не подпасть под криминал.

Но вот прошло несколько часов и стало выясняться, что Комитет не только допустим, но даже очень кстати, но даже нужно его динамизировать. Он может стать регулятивом всех сложных обстоятельств.

Он может стать начатком новой власти.

Может быть уже и пришёл исторический момент — брать власть? Как это узнать? Где это прочесть достоверно?

Всё искусство политики, по сути, ведь и сводится: когда взять власть? *как* её взять? и как удержать?

Да, вели конституционную борьбу, но время то перешло. Да, сейчас Дума только бы сковывала реальное движение к министерству. Брать власть — перешагнув и через павшее правительство и через Думу?

Тут была ещё неловкость личного вопроса. По сути, истинным главой новой России достоин стать только Милюков. Ведь он не просто — глава ведущей партии и глава Блока, но действительно только он может по-настоящему охватить, взвесить, направить.

Однако стыдливая ужимка истории такова, что самый достойный кандидат не только не может сам себя назвать, объявить, властно пройти вперёд (это у американцев замечательно честно: открыто выдвигай сам себя!),— но вынужден какое-то время стоять на втором плане, пока станет естественно передвинуться. А на первое место всегда выдвигают какие-то нулевые личности, которые всех претендующих устраивают своей невыразительностью, отсутствием воли.

Так и председателем Думы выбирали когда-то Родзянку: все сходились, что он недалёк и будет управляем. А он обманул надежды: слишком напористый нрав обнаружился в нём. И от самого создания Прогрессивного блока трудился Милюков всем внедрить и внедрил, что только не Родзянко должен возглавить будущее желаемое мечтаемое общественное правительство, а вот... (все подсказывали) вот князь Георгий Львов прекрасная кандидатура (по тому же принципу невыразительности), всероссийская репутация.

Поменять кавалергарда на толстовца. (Который и от заговоров непрочь.)

Родзянко — невыносим. И не радикален. Неизбежно было сдвинуть его с этого места, и Павел Николаевич не сожалел о совершённой операции.

А со Львовым — посмотрим. Сегодня уже вызвали его срочно из Москвы.

Сегодня обстановка сдвигалась в часах, и надо следить за нею зорко. Вот, пока Родзянко мотался в Мариинский дворец, а Милюков ходил тут, по длине Екатерининского зала,— уже как много менялось. Хотя на устах порхает слово „революция" — но это ещё не революция. И она нам никак не нужна. А выглядит так, что нельзя и медлить, надо ей помешать.

Да умеренная общественность всегда была против революционного переворота. Но если уже всё так быстро покатилось вниз — то надо успеть и возглавить движение, взять его в руки. Реальная политика всегда требует зигзагов и даже крутых перемен. А Родзянко — этому как раз и сопротивляется. Тушею своей он занял председательское место, забил собой единственную дверь свободы, единственный выход — и сопротивляется.

Вот благополучно вернулся он из своей поездки, никто его нигде не задержал (а рекламировал, что едет в опасность), и засел опять своим необъятным задом в своём необъятном кресле. И съездил — ни для чего, вернулся ни с чем: великий князь Михаил в диктаторы не идёт.

Так значит — брать власть самим?

Нет! И на это Самовар не решался! И сам не брал — и другим не давал.

А загораживал он дорогу уже не как председатель Думы и ещё не как председатель Комитета, но по своей видности, но потому что даже главнокомандующие фронтов были с ним в каких-то контактах, если не в сговоре. Обойти Родзянку — невозможно.

Сидел Милюков сбок его большого стола и рассчитывал только на свои дипломатические кружева. Задача и аргументация оказывались очень сложны: надо было толкать Родзянку как главное действующее лицо на взятие власти Комитетом — и одновременно же отстранять его с главного места. Кажется — не совершимо!

В голове, в лице Родзянки было что-то крупно-собачье. Тяжёлая широкая кость головы (по челюсти равнялись скулы и виски). Мясистое лицо. Под тяжестью мясистых век — суженные глаза. И портили бы картину какие-нибудь волосы, всякие волосы были бы тут лишние — но и не было их: он был стрижен под машинку первый номер — да только вокруг макушки и было насеяно.

Не заседание Комитета, а так, кто собрался,— себеумный Некрасов, рохля Коновалов, франтоватый болтун Шульгин и решительный и мрачный дурак Владимир Львов. Достойных союзников Милюкову — не было. Всё нужно было проплести самому.

— Но вы же сами, Михаил Владимирыч, говорите: правительства больше нет, оно распалось. Подумайте, какой неповторимый момент для взятия власти! Буквально через два-три часа может быть иначе, совсем другой баланс.

На лице губошлёпа Коновалова было написано на всё согласие. (Какими бездарными руками у нас делается история! — ведь этот человек возглавлял самые прогрессивные „коноваловские" совещания!) Владимир Львов смотрел напряжённо-мрачно, будто вся тяжесть решения ложилась на него. А Некрасов, как всегда, отведя глаза, спрятав губы под хитрыми усами.

— Не может же, Михаил Владимирыч, такая огромная страна — и быть без власти? Если власть уже всё равно сама упала — в такую грозную минуту кому ж её поднять, как не нам?

Родзянко на две руки опёр свою крупную голову, сам в ужасе от происходящего. Но:

— Я не бунтовщик, господа! Мятеж произошёл потому, что нас не послушались. Но я никакой революции не делал и не хочу делать! Против Верховной императорской власти я идти не могу!

Я! — как будто он один существует, не Дума, не Комитет.

Шульгин (со вскрученными усами и бабочкой на шее) мелодично:

— Михаил Владимирович! Но если упавшую власть не подберём мы, то поберут другие. Кто же вас зовёт идти против Верховной власти! Монархии — мы не касаемся. Вы берите — исполнительную, и как верноподданный. А всё обойдётся — Государь назначит новое правительство, и мы передадим власть, кому укажут.

Ну, как бы не так,— думал Милюков.

— А если — не обойдётся? — спрашивал ошеломлённый Родзянко, и кажется с усилием не давал челюсти опуститься.

— А если не обойдётся? Но чёрт возьми! — с лихостью выругался Шульгин, он любил острые ситуации.— Но что ж это за императорское правительство, если оно разбежалось без сопротивления? Им даже ещё не объявили уходить — а они уже ушли!

— Взять власть самим,— пыхал-шептал подавленный Родзянко,— это революционный акт! Я — не могу.

Опять — я! Заклинил собою единственную дверь к власти — и не решался.

И Милюков — не имел средств предпринять самостоятельного шага, а только через Родзянку. Оставалось перемалывать и перемалывать ему кости аргументами.

Весь Комитет должен был совместно толкать его в спину!

Уже закипало у всех раздражение против неподатливой этой туши. А он слабо оправдывался:

— Но ещё может быть Государь дал согласие Михаилу Александровичу на ответственное правительство? Может быть уже назначен и глава?

Но Беляев не звонил. Звонили ему в довмин — никто не отвечал. Потом подошёл унтер: военный министр отбыли в неизвестном направлении.

148

Что и где было правительство, что и где были министры — об этом императрица не могла судить весь день: как не было больше никакого правительства в Петрограде. Если Протопопова не дай Бог убили — то был же ещё честный Беляев,— что же он? За весь день ни одно официальное сообщение или обращение не достигло её дворца, а притекали всё случайные новости от случайных людей, и новости эти были ужасны: полиция исчезла, в городе пожары, грабежи, и почти весь город у мятежников, а верные сопротивляются лишь где-то в центре.

Только телефоны, на удивление, служили бесперебойно, и бесперебойно же, по расписанию, ходили местные дачные поезда.

В Царском Селе, слава Богу, сохранялась всё та же неподвижность.

В тёмных комнатах лежали больные дети.

Государыня переходила между ними, ломая пальцы.

Уже три отчаянных телеграммы в Ставку она дала за этот день, что она больше могла?

А Ставка — молчала...

Но не один же там был Государь, пусть Фредерикс, или держимый из-за Фредерикса его энергичный зять Воейков, дворцовый комендант, он-то должен был связаться — давно и первый.

И всего только вчера, в это же время, дочитывала Александра Фёдоровна наивные планы мужа о перевозке детей в Ливадию — и весили для неё практические соображения о трудностях переезда, даже когда дети выздоровеют.

О, на каких бы сильных крыльях она перенесла бы сейчас детей, вместе с постелями их,— в Ливадию!

Увы, как всегда предчувствия дурные имели власть над ней больше, чем добрые, так и сейчас говорило ей: никогда больше им не видеть солнечной сказочной Ливадии!..

Сколько лет Александра гордилась, что она — мужчина среди женщин, одетых в государственные брюки,— и как бы сильно и славно она управилась, будь у неё прямая власть и здоровье! Но вот когда, в эти часы, ощутила она себя женщиной безо всяких сил и преимуществ, и как же нужен был ей какой-то сильный, уверенный, старший мужчина рядом, кто бы сказал, что делать. И не было никого...

Был — Павел! Тут же, в Царском Селе, в своём доме-дворце жил великий князь Павел Александрович, государев дядя и генерал-инспектор всей гвардии. О, как хотела бы она сейчас — совета, защиты и помощи Павла. Но после убийства Божьего человека Павлу, как отцу убийцы Дмитрия, она сама же запретила доступ к себе.

О, хоть бы он попросился сейчас! Хоть бы он обратился первый — она тотчас бы его позвала!

Но он не обращался.

А почему не мчался из города милый верный смелый Саблин? — объяснить, подбодрить и выручить! Когда же он примчится?

А главный военный начальник под рукой — генерал Гротен — как назло новоназначен, ещё мало знаком с дворцовой службой.

Уже вечерело. Милая Лили, так скрасившая и облегчившая государыне этот день, должна была возвращаться домой к своему семилетнему ребёнку.

— Что вы думаете делать, Лили? — печально спросила государыня.— Не лучше ли вам вернуться к Тити сегодня вечером?

Изящная стройная Лили сказала, волнуясь:

— Разрешите мне остаться с вами, Ваше Величество.

Государыня обняла её и поцеловала:

— Но я не могу просить вас об этом.

— Но и я не могу оставить вас, Ваше Величество.

Ещё же у капризно-неумолимой больной Ани обязана была государыня просидеть два часа в день. Теперь — её могла заменить Лили, и у детей отчасти.

Уже темно было за окнами. Из Петрограда звонили, что он освещён пожарами, всюду революционные толпы, и власти уже никакой. С часу на час это могло переброситься в Царское.

А Ставка молчала.

И к чьей же помощи оставалось прибегнуть? В этом разъярённом разволнованном Петрограде — кто ж теперь мог быть оставшейся несомненною властью? Очевидно, один только отвратительный, развязный, враждебный и глупый толстяк Родзянко. Как она гневалась прежде на него! Но сейчас просить защиты императрица могла — только у этого неотёсанного грубияна.

В Павловске, в двух верстах, стояла гвардейская конноартиллерийская бригада, а командовал ею — флигель-адъютант Государя Линевич. Государыня протелефонировала ему и просила: съездить в Думу к Родзянке и спросить гарантий безопасности царской семье.

Уже не осталось у неё трёх четвертей прежней гордости. Опасность подливала к стенам дворца.

Устала ходить, ничему не помогало это смятение — прилегли с Лили в розовом будуаре, где висели иконы и картины Благовещения. Переговаривались — что́ может быть и как пойдёт.

В девятом часу камеристка внесла телеграмму от Государя. О, наконец!

Но какой спокойный тон! Как будто не было всего этого вулкана. Ники благодарил за письмо. Сообщал, что выезжает в Царское завтра после двух часов дня. Что конная гвардия из Новгорода получила приказание немедленно выступить в Петроград. И уверение, что беспорядки в войсках скоро будут прекращены.

О, Боже! О, какое облегчение! Сколько тревог снялось с души! Наступил первый спокойный час за этот день.

Вспомнили, что не обедали, и решили попить чаю.

И в самом деле — чего боялись? Тихо стояло в Царском Селе. Безупречно нёс службу вокруг Александровского дворца Сводный гвардейский полк. А близко — размещался гвардейский экипаж, они не только наши войска — они подлинные друзья! Да и вообще стояли в Царском гвардейские стрелки, стена! — запасные батальоны отборных полков, один из которых носит звание императорской фамилии.

А теперь, вот, скоро придёт и конница.

Надо было бы отменить поездку Линевича к Родзянке, если он ещё не уехал?..

Но — не кончился день так спокойно.

В десять часов вечера генерала Гротена вызвал к телефону Беляев — объявился наконец! За весь сегодняшний ужасный день он ни разу не дал о себе знать — а теперь с чем же?

Беляев говорил даже не от себя, а передавал совет того же Родзянки: чтоб императрица немедленно увозила детей из Царского Села — а завтра, может быть, будет уже поздно: петроградские толпы достигнут туда и нападут.

Пришёл Бенкендорф, с нероняемым моноклем в глазу, узкодорожными бачками и усами, всегда уравновешенный,— и передал это всё государыне. (А волновался.)

И — снова всё взвихрилось в безумной тревоге! Родзянко никак не был друг, но ещё до Линевича вот давал совет, и в его совете была какая-то несомненность: почему-то представилось, что именно так всё и произойдёт!

А — куда государыня могла двинуться с детьми, температурой по 39, раздирающим кашлем, больными глотками и ушами?

Только одно и было — телеграфировать в Могилёв (телефон туда, конечно, не работает), пока Государь там, и спрашивать указаний.

Указаний — о чём? Двигаться всё равно невозможно.

Государыня ломала пальцы.

149

Во всю бы жизнь никогда не прикасаться Михаилу Александровичу к государственным делам! Сколько есть достаточного для человека — военная служба, спорт, семья! Была когда-то насчастная полоса, после смерти брата Георгия считался он наследником престола. И тогда приучали его: членом Государственного Совета и даже, для государственной практики, отсиживал заседания в совете министров. И хоть никогда ничего там не высказывал, никогда ничего сам не делал — а стягивало его это под мундиром, лишало лёгкости.

Но однажды, в июле 1904, счастливой ночью в красносельском лагере принесли ему телеграмму. Он прочёл её в палатке при фонарике — и в бурной радости закричал адъютанту:

— Мордвинов! Вставай! Шампанского! Императрица родила мальчика! Я больше не наследник!

Так в 26 лет он освободился — и остался просто синим кирасиром, стоял в Гатчине, ездил на манёвры, отдавался верховой езде, теннису, конькам, посещал театры, имел свободу и погулять, и пошутить, и полюбить. Больше всего он любил спорт, во всех его видах,— и потому что он давал силу телу (в юности Михаил был слаб), и за азарт, и за риск. Мечта его была — управлять аэропланом, и он уже изучал машину, но ещё не знал до винтика. И кавалерийская ловкость была его гордостью. И никогда больше брат не путал его в государственные дела.

Но вот Михаил полюбил нешуточно, да женщину, разведенную дважды и с двумя детьми от последнего мужа Вульферта. Великому князю жениться на такой женщине абсолютно исключалось, двойное нарушение: неравнородная — дочь присяжного поверенного, и разведёнка. Но и, влюбясь бесповоротно, Михаил тоже решил бесповоротно.

С тех пор возникло большое напряжение с братом Государем, не стало постоянной между ними лёгкости. Хотя Николай был на десять лет старше

и с государственным опытом, и Михаил искренно почитал его за ум, за такт,— но была раньше межбратняя простота и лёгкость — а после самовольной женитьбы исчезла. Такой вообще мягкий, Николай рассердился неумолимо, негодовала и Мамá,— хотя больше бы имел прав рассердиться Михаил, что они отдали его под сенатскую опеку как недееспособного. А Михаил тогда только что получил командование кавалергардским полком! Пришлось оставить и полк, и армейскую службу вообще, да от обиды и саму Россию, и два года прожить в Англии и может быть больше бы гораздо, если б не началась война. Наташа не хотела всё равно возвращаться — из гордости, а поступал бы он в английскую армию. У Наташи острый ум, твёрдый характер, и Михаил припеваючи жил с нею в лад, но тут — она не понимала: как можно не быть частицей родной армии, когда она воюет, это как с вынутою душой! Миша дал телеграмму Николаю, прося разрешения воротиться, был зачислен в свиту Его Величества, получил звание генерал-майора и командование туземной кавказской бригадой — из одних добровольцев (кавказцев не призывали), отчаянных храбрецов. Но Михаил и сам в атаках не наклонялся от пуль, и сам был ловок на коне, и добр к подчинённым, и „Дикая" дивизия полюбила его.

А Наташа была затем пожалована в графиню Брасову. Но всё-таки прежняя простота между братьями уже никогда не возвратилась. И Михаил особенно это чувствовал последнее время, когда половина великих князей, как с ума сорвавшись, всё порывалась обличать Государя, пошли и на убийство Распутина, все они ждали от Михаила поддержки, а он не оказывал. А тут и общественные разные деятели искали через родственников повлиять на Государя — и среди них особенно Родзянко, которого Михаил почитал как выдающегося государственного мужа. Им всем единственный брат Государя представлялся очень влиятельной значительной фигурой, имеющей вход в государственные дела,— а Михаил ни входа не имел, ни охоты ни малейшей, он был насыщен жизнью частного человека и обсуждать государственные дела даже как посторонний никогда бы не хотел. Но вот навязывали. (И Наташа тоже интересовалась Государственной Думой и сочувствовала общественным настроениям.) Разговаривая с этими деятелями и с Родзянкой, Михаил легко убеждался в их правоте и что конечно Николай мог бы во многом распорядиться лучше. Но если, по сочувствию к этим хорошим людям, он пытался начинать разговор с братом, тот даже и приглашал высказываться,— то первые же возражения Николая, отягощённые многими-многими государственными обстоятельствами, сразу лишали Мишу языка и доводов. Да никогда такого характера у него не было — настаивать со своими убеждениями.

И сейчас: жил он спокойно-тихо в Гатчине с Наташей, её детьми, и своим уже трёхлетним сыном, день дома, а через день приезжая на Галерную в канцелярию генерал-инспектора кавалерии, которым его недавно назначили,— так вот начались городские беспорядки. И как же несчастно, что брат как раз перед ними уехал в Ставку. Был бы он здесь — никто бы Михаила и не теребил.

И сегодня, когда Михаил ехать в город не собирался, Родзянко настойчивейше просил приехать. Да не преувеличены ли страхи? Вчера, в воскресенье, днём Михаил и ездил в город, и с Ксеньей вместе они были в Петропавловском соборе на панихиде у гробницы отца — было вполне тихо на улицах.

Но Наташа убедила, что надо ехать: видимо, грозный момент. „Ты должен быть у места!"

А в Мариинском дворце, выслушивая все доводы Родзянки, Голицына, Крыжановского и видя крайнее их волнение и обескураженность, Михаил однако с первой минуты ясно ощущал и то, что обращаются они к нему ошибочно. Это всё были уважаемые государственные люди — и тем грустнее их слушать: ну разве он мог такое на себя взять? да когда ж ему брат что-нибудь подобное поручал? Да он справедливо изумится: зачем вообще Михаил лезет не в свои дела? Такой разговор и в комнате нелёгок, а вести его по телеграфному аппарату, когда слова, неудачно выраженные и не исправленные интонацией, утекают, утекают неостановимо по ленте — и дружеский братний совет превращается в какой-то ультиматум?

Правда, ему написали, чтó телеграфировать,— но ведь это выглядело как

самовольный захват власти в столице? Боже мой, чего они от него хотели? Он не взялся им напрямоту возразить — ему было неловко за них самих,— но как они могли до такого додуматься? Однако не имел он твёрдости им наотрез отказать. Что-то надо было сделать, уж он попался.

Ах, как ему не хватало сейчас Наташи рядом, для совета. Он привык понимать вместе с ней.

Но и перед чугунным куполом родзянковской головы Михаил уже знал, что конечно не будет просить министерства, ответственного перед Думой: ему известно было, как нетерпимо Николай относится к этому. А кто тут истинно прав — Михаил никогда не мог понять до конца.

И конечно же — он не посмеет предложить себя диктатором столицы.

Дом военного министра был на Мойке близ Кирпичного переулка. Беляев, за 40 лет не женат, жил один,— странный бумажный человек.

У аппарата был дежурный телеграфист. Наладили передачу, а сам Беляев пошёл к телефону выполнить ещё одно поручение Родзянки: позвонить в Царское Село и передать, чтобы государыня с детьми уезжала бы поскорей да подальше, сегодня же в ночь. Вот как размахивались события!

Впрочем, говорить предстояло Михаилу не с братом, но, конечно, с генералом Алексеевым. Да не говорить, а передавать через телеграфиста уже подготовленные ему соображения.

И — надо было назвать предположительную кандидатуру будущего премьер-министра. А ему — не сказали. Но уже не раз Михаил слышал это имя и повторил: князь Львов.

Вот на что Михаил самое большее решался: не поручит ли Его Императорское Величество своему брату тотчас же и объявить в столице, какие будут решения Государя?

И ещё, когда Алексеев уже принял телеграмму, смекнул Михаил и посоветовал по-братски: что намечавшийся возврат Государя в Царское Село надо было бы на несколько дней отложить.

Медленно протягиваемая лента и печатание по букве — это не разговор. Не помещается сказать: как тревожно здесь, как неуместно было бы сейчас Николаю тут появиться, просто нельзя быть уверенным за его голову. За ничью голову.

Алексеев там понёс ленту на доклад. А Михаил тут, не отойдя от аппарата, сидел в расслабленной позе. Вот — и ещё раз он вмешался. Последний раз при поощрении Наташи он вмешался в ноябре, письмом: со всех сторон очень настойчиво его уговаривали. Его и поразила эта перемена в настроении самых благонамеренных людей: недовольство и осуждение высказывали люди, настолько до сих пор верноподданные, уравновешенные, чья преданность выше сомнений, что страшно становилось за трон, за государственный строй — кто ж оставался поддерживать его? страшно за царскую семью и за всю династию. И Михаил тогда написал брату письмо. Что всеобщая ненависть к людям, будто бы близким к трону (он имел в виду Распутина, Протопопова, но не назвал), уже объединила самых левых с самыми правыми. И такое впечатление, что мы стоим на вулкане и малейшая ошибка может вызвать катастрофу. Но может быть, если этих лиц удалить и заменить чистыми — общество оценит такую уступку и расчистится путь для военной победы? Боится Михаил, что эти настроения общества, а значит и всей страны, не так сильно ощущаются в ближайшем окружении государя и он может недооценивать их опасность. А кто делает доклады по службе — тот боится высказать резкую правду. А Михаил решается высказать по любви.

Как и сегодня.

Ответил тогда Николай: *они* всех будут ненавидеть, кого ни поставь. Они Протопопова ещё два месяца назад сами превозносили, и с ними европейские союзники. Они на самом деле добиваются: лишь бы не так, как ведётся в России. И запомни, что *общество* — это не страна Россия.

Задвигалась лента. Так и есть, Николай опять всё отклонял. И о правительстве и обо всём он распорядится сам, когда приедет в Царское, а выезжает завтра же днём. Завтра же отправляется на Петроград генерал-адъютант Иванов в качестве главнокомандующего Петроградским округом, и завтра же

начинают отправлять с фронта надёжные четыре пехотных и четыре кавалерийских полка.

От этого ответа веяло твёрдостью.

Но вот что! — лента ещё текла. Теперь сам Алексеев, уже от себя, просил великого князя: при личной встрече снова повторить Его Величеству просьбу о замене министров и способе выбора их. Ходатайства Его Императорского Высочества есть бесценная помощь Государю в решительные минуты, от которых зависит ход войны и жизнь государства.

Ого! Какие сильные слова! — и уже как бы в тишке от Государя. И Алексеев — тоже думал так, как и все тут убеждали Михаила.

И только один Государь?..

Нет, что-то здесь не постижимое уму. Не Михаилу разрешить. Он сейчас вернётся в Гатчину к Наташе и будет опять простым человеком!

А Беляев — очень приободрился от вести, что восемь верных полков идут на Петроград. И что Хабалова ему не надо ни подменять, ни заниматься им больше. Совсем уже погасшее его пенсне опять поблестело. Прав он был, что отказал в этом безумном проекте — царскосельскому авиационному отряду бомбить Таврический дворец. Как можно брать на себя такую ответственность! А теперь придут полки, и всё будет в порядке.

Шёл двенадцатый час ночи, пора была великому князю ехать на вокзал. Но тут неожиданно на Мойке, рядом, поднялась сильная стрельба.

Странная стрельба: не носила характера огневого боя, совсем беспорядочная для тренированного слуха — а всё не утихала. Иногда звенели стёкла, кому-то в окна попадали.

Но задача прорваться через стрельбу уже была самая лёгкая из сегодняшних минувших. Беляев умолял обождать, не рисковать, но великий князь отклонил: глупо сидеть. Тем более, что если ворвутся во двор, то могут забрать и автомобиль, вообще не уедешь.

Выехали со двора сразу большим ходом — и погнали по пустынной Мойке к Красному мосту.

А Беляев, оставшись, решил прежде всего звонить в Мариинский дворец и поделиться новостями с министрами, и что им велено оставаться в должностях. Секретарь соединился, вызывал одного министра, другого,— подошёл будто бы Кригер-Войновский, но Беляев сразу узнал, что голос не тот. А пока трубку держали — услышал странную фразу на сторону о просмотре каких-то бумаг.

Кошмар! В Мариинском уже хозяйничали мятежники!? Правительство было разгромлено?!

Тогда и сюда, в дом военного министра, конечно могут явиться в любую минуту! (Ещё надо было звонить и Родзянке, но уже некогда!)

Одно спасение было Беляеву — переехать в штаб Хабалова, пока не перерезан путь.

Но поднялась опять стрельба и совсем рядом! — да не ломились ли уже и в ворота?

Было поздно заводить, выводить автомобиль. Да автомобиль и уязвим, и остановят!

Генерал Беляев накинул фуражку, шинель — и кинулся через чёрный ход. Если довмина уже не спасти — то спасти самого себя.

150

Назначили генерала Иванова, приняли решение о посылке войск — теперь всё будет хорошо, и петроградский вопрос решался, по крайней мере на сегодня. Сегодня — мог бы уже длиться и вечер — отдохнуть, поиграть с Граббе и с Ниловым в домино, почитать в постели историческую книжку, да и спать. Тихим поздним вечером все оберегательные силы организма так ощетиниваются: чтоб ничто не ворвалось и не нарушило!

Но — опять притащился хмурый Алексеев — и принёс телеграмму Рузского. Всё-таки, вот, Рузский — неискренний: сутки переждав, оглядясь, как

неблагоприятно развиваются события в Петрограде (он получил копию панической телеграммы Беляева),— тоже присоединялся к Родзянке, тоже передавал его взбалмошную телеграмму — и, тоже заклиная победой, продовольственными и транспортными трудностями, дерзал всеподданнейше доложить о срочной необходимости успокоить население, но что меры репрессий скорее бы обострили положение, чем умиротворили его.

Не писал он прямо о поддержке ответственного министерства, но получалось, что поддерживал его.

Да и сам Алексеев, в золотых очках, с хмуро-недовольным видом, будто Государь нанёс ему личную обиду, тоже был того же направления.

Да подозревал Государь, что и свита вся уже мыслит так.

Но — невозможно было им всем объяснять или отвечать.

Однако — денёк! Прошёл час — и Алексеев снова появился в царском доме, ещё согнутей, кислей и озабоченней. Оказывается, у него только что был прямой аппаратный разговор с великим князем Михаилом из Петрограда, тот и сейчас остаётся у провода. Он просит доложить Государю, что волнения приняли крупные размеры и единственный путь успокоения — по его глубокому убеждению — уволить весь состав совета министров. Он считает, что выход только: избрать лицо, уважаемое в широких слоях...— но ответственное единственно перед Его Императорским Величеством. И даже советовал, кого: князя Львова.

Ах, Миша-Миша, скрутили голову и тебе, думаешь ты — головой Родзянки. „Глубокое убеждение"!..

Как сговорились, все в одном кольце осады против Государя. Да, и вот ещё: Миша имел суждение не советовать Государю ехать в Царское в эти дни!..

Очень опечалился Николай этим вмешательством брата. Именно близость советчика зацепляла за душу. Но не давая увидеть Алексееву этого семейного — Николай ответил сразу, поспешил ответить — с неудовольствием, для передачи брату. Что благодарит его императорское высочество за совет. Но ввиду чрезвычайных обстоятельств не только не отложит своего отъезда в Царское Село, но выедет завтра же. Приехав, он на месте всё и решит касательно состава правительства.

Ну, пожалуй, и сообщить ему о посылаемых войсках и об Иванове. От великого князя это не секрет.

Алексеев ушёл — а Николай, освобождённый от необходимости держаться невозмутимо,— стал расхаживать по кабинету, поскрипывая сапогами и разглаживая усы. Это известие от Миши задело его. Зачем, зачем он вмешивался не в своё? Зачем он дал себя закружить? Какая сила речей у этих говорунов, они затмят кого угодно. До чего же дошло — Миша, всю жизнь занятый своей любовью и кавалерией, беспритязательный Миша даёт ему государственные советы, да какие — сдать позиции! Да разве у него есть государственный смысл? Он сам-то прощён и возвращён в армию и в Россию — ещё нет трёх лет.

А ведь именно он когда-то и был наследником престола — как же бы он повёл?

Николай перед собой и перед Богом знал свои недостатки. Он не только считал себя царём неудачливым, но — и недостойным. И не было у него ни грана тщеславия. И никогда не гнался за популярностью. Однако с годами всё больше, а от войны и полностью он отдавал себя всего этому званию, этому бремени — и уж теперь-то знал его вес и давление.

И тут — брат Георгий выдвинулся ему из голубой абастуманской дали, где умер он, и никогда не посещена его могила,— безвременно умер, бессмысленно, от запущенной простуды.

Да не бессмысленней, чем гигант-здоровяк Отец. Как-то внезапно ухватывало и уносило из жизни их ветвь.

Выдвинулся Георгий — не весёлым юным спутником дальневосточного путешествия, но уже с предпоследними своими печальными чахоточными глазами,— и так вдруг больно потянуло Николая к несостоявшемуся брату. Кто бы был он сейчас, и какой, может быть, сподвижник? И какая, может быть, опора в династическом раздоре?

Подходила полночь, кончался день. Удивительно, что за весь такой тревожный день не было ни единой весточки от Аликс.

Это могло только значить, что волнения не столь опасны, и она не хотела тревожить мужа зря. Но тогда отчего не успокоила?

За 22 года привык, прижился, прирос Николай к ежедневным беседам с нею о делах или к её ежедневным многостраничным письмам, наполненным государственными тревогами и разъяснениями о людях, кандидатурах, ситуациях. Как к ежедневному делу он привык и приуютился медленно читать и перечитывать, и обдумывать эти письма, и делать выводы. Он привык думать и решать только вместе с Аликс. За всю жизнь не было у него друга и советчика более честного, более преданного, более умного, энергичного и проницательного, чем жена.

Кончался день, но не кончались, а только раскручивались тревоги. Опять, тяжело стуча сапогами, уже даже по-солдатски, а не по-офицерски, бедняга Алексеев, ещё больше озабоченный, пригорбленный и горящий температурой, принёс теперь телеграмму Голицына, составленную вполне растерянно.

Сперва: совет министров дерзает представить Его Величеству о безотложной необходимости объявить столицу на осадном положении — впрочем, тут же и оговариваясь, что это уже выполнено властью военного министра.

Но Государь уже несколько часов как знал об этом! Он глянул теперь на пометки времени и изумился: принесенная телеграмма Голицына находилась в пути — пять часов! Что делалось с телеграфом, чьи злодейские руки могли так задержать телеграмму председателя совета министров — своему императору?

Но уже и доискиваться был недосуг. А — читать дальше.

Совет министров всеподданнейше ходатайствует о поставлении во главе оставшихся верных войск — одного из военачальников Действующей армии с популярным для населения именем.

К счастью, именно это и сделано. Хорошо придумали с Ивановым.

И наконец: совет министров предлагает себя распустить, а председателем назначить лицо, пользующееся общим доверием,— и было бы составлено ответственное министерство!

Редко-предредко Николай выходил из себя — но, кажется, начинал выходить. Это изумительно! — государевы министры, государевы слуги, поставленные самодержавной Верховной Властью, они не только потеряли голову и всякую волю, но брались ходатайствовать за уничтожение собственного существования, чего до сих пор добивались только их враги! В минуту опасности — хотели дезертировать всей своей кучкой.

И голос энергичного, всегда бодрого, уверенного Протопопова — не выделился среди них. Ничего отдельного не шло от него весь день.

Неумелый, слабый старый князь Голицын! — неужели именно сейчас было время для перестановок?.. Который уже раз, с какой стороны слышал Государь — но ещё ни разу от самого совета министров — это нудно однообразное и головокружительно безумное по смыслу требование ответственного министерства!

И не в Алексееве тут было найти сочувствие, даже напротив. Привыкнув к простоте отношений, Алексеев сейчас, не ожидая спроса, глухо-бурчливым голосом присоединился уговаривать: уж если правительство само о том просит? Решить раз навсегда этот проклятый тыловой вопрос — и вести войну к победе.

Со стариком Алексеевым, кроме того несчастного случая с гучковским письмом, Николай всегда говорил уважительно: как было не полюбить его за неусыпное кропотливое пристальное бдение в штабе! Но сейчас — даже говорить не захотелось.

Холодно отклонил, что на телеграмму ответит сам.

И ушёл больной старик, хмурый, пригорбясь.

Николай курил — и ходил. Он ощущал себя в глухой круговой осаде. Со всех сторон все добивались одного и того же, не понимая, о ч ё м просят. Это была бы совсем не малая проходная уступка: это — почти упразднение Государя. Республика.

Над Николаем сейчас парило особенно воспоминание октября 1905 года. Тогда тоже казалось — так неизбежно уступить, все вокруг за уступку, никто не поддержал! — и Николай соскользнул. И сколько горя от того! И как же потом жалел! Но соскользнутого — потом назад не возьмёшь.

Так сегодня он не допускал себя испугаться, не допускал повторить той уступчивости: опять у всех обман чувств.

Какое же отвратительное состояние: быть так далеко от событий и получать сведения столь опоздавшие, столь отрывочные и столь грозные.

А непереносимей всего — без Аликс. Получать все эти ужасные телеграммы — и без неё. Ощущение сирости. Боже, как дожить до завтрашнего дня, чтобы ехать к ней?

Вдруг мелькнула мысль: а что бы — не дожидаться завтрашнего дня? Взять — да поехать раньше, скорей. Что тут держало в Ставке? — один утренний доклад Алексеева да этикет завтрака?

Кто был вокруг него? (Вот, они сидели ещё за одним, последним вечерним чаем.) Свита. Как будто необходимые, при своих обязанностях, и милые,— а совсем не действенные люди, не советчики, не помощники. Министр двора Фредерикс — уже совсем в рамолитете, порой слабоумен, содержимый по жалости, из традиции. Маленький адмирал Нилов — хорошее сердце, горяч, да всегда нетрезв. Сопливый Нарышкин, услужливый Мордвинов. Один Воейков энергичен и голова работает практически, но больше всего практически — на собственное устройство. А досмотревшаяся до него Аликс предупреждала не раз, что при всей его внешней уверенности, самонадеянности и властолюбии — он внутренне трус и всегда может изменить.

Никем не подкрепляемый, Государь собственною рукой написал ответную телеграмму Голицыну: и новый воинский начальник, и войска прибудут в Петроград немедленно. Но перемены в личном составе гражданского управления (чтоб не назвать открыто для телеграфистов „правительство") при данных обстоятельствах считаю недопустимыми.

И — сам понёс телеграмму в штаб, чтобы своим появлением ещё раз внушить Алексееву, что никаких уступок по „ответственному министерству" не будет.

Оказалось, Алексеев настолько худо себя чувствует, что прилёг. Государь не велел его поднимать. Но передать ему, что *решение неизменно.*

Однако не успел Николай вернуться к себе, готовясь уже и почивать,— как снова, тяжёлой походкой, уже даже не военной, к нему прибрёл Алексеев. И — стал отговаривать от посылки такой телеграммы.

Какая-то часть мозга у всех у них была поражена! — и они не понимали, о чём просили.

Трудно было Алексееву подняться из постели и придти.

Ещё труднее — Государю устоять на своём.

Но, собрав всю волю, устоял перед умолениями.

Он сам не узнавал своей твёрдости! Аликс гордилась бы им!

Но вся эта последняя твёрдость, которую он в себе съёжил и додерживал, всё черезсильное состояние этого дня — могли вот-вот и рассыпаться. Тянуло прикоснуться скорей к спасительной силе жены и почерпнуть новой твёрдости.

Правда: что если б не откладывать на середину дня, а поехать в Царское раньше. Например, утром?..

Уже уходил спать в свою с наследником маленькую спаленку, уходил в нерешительности, уже как бы не веря, что день может так просто кончиться,— и тут доложился через камердинера и вошёл крупным решительным шагом Воейков. (По виду не бывало более уверенного и решительного человека, чем он.)

Вот с чем: только что из Царского Села поступил по перебивчатому телефону запрос обергофмейстера графа Бенкендорфа: *не желает ли Его Величество, чтобы Ея Величество с детьми выехали ему навстречу?*

Загадка!..

Николай изумился: при тяжёлой кори детей, по морозу — выехать навстречу? Как это понять? Только что, в последнем письме, отговорилась от поездки в Ливадию — весной и по выздоровлении детей,— а теперь готова в мороз ехать с больными?

Но поговорить прямо — невозможно, прямая линия с Царским всегда работала перерывисто, неразборчиво.

О, Боже! Как всё понятно: императрица — в отчаянном положении, она боится за детей, боится этого бунта больше, чем кори? Так каково положение там?

Практик Воейков быстро соображал: именно так и надо делать, немедленно выхватить семью из Царского, хотя бы на автомобилях, на аэропланах! А потом — в поезд, и в Крым. Именно так, Ваше Величество.

Но Государь представить такого не мог: дети, наследник пригвождены к постелям — и как же можно рисковать везти их по холоду? Не такой же бунт, преувеличение. Сама же императрица ни одной грозной телеграммы не дала за день. Ни Протопопов.

Но Боже! Как ей одиноко, и смутно, и тяжело. Как же он мог ещё раздумывать, ускорять ли свой отъезд?

Ответить, если удастся, или телеграфом: ни под каким видом не ехать! Государь немедленно выезжает в Царское сам.

Решил — и как сразу облегчилось сердце! Вся тяжесть этого дня, этих дней — как будто уже и спáла, пережита! Скоро — вместе! Скорей — соединиться! Всё изболелось! Как она одна там, бедняжка, как?!

И — послал Воейкова распорядиться подать царские поезда немедленно! Уже не ложимся спать в Ставке, а — сразу же едем!

Да мятежники может и правда угрожают Царскому? Но там — силища своих войск! И ещё едет георгиевский батальон. И начнут подъезжать полки с фронта!

Привычно, быстро уже собирал мелкие путевые вещи.

Но Воейков воротился с досадной задержкой: поезда технически не готовы к движению, можно приготовить только к концу ночи. А садиться в вагоны — можно около часа ночи.

Через час? Ну, хотя бы так. Собираемся.

Но — опять Алексеев! Прослышал о царском распоряжении — и снова поднялся и, пошатываясь, со сдвинутыми очками, пришёл уговаривать Государя снова, на этот раз: не ехать ни за что!

Так просил и Миша: только не ехать в Царское.

Так просил теперь и Алексеев: опасная минута, в Петрограде неопределённость, правильное место Государя — в Ставке. Вся Россия в покое, кроме Петрограда нигде беспорядков нет, вся Действующая армия — в порядке, строго подчинена державному вождю,— как же может Государь всё это покинуть и ехать сам на опасность?

Но — уже было радостно решено! И Государь просто не понимал бесцеремонного вмешательства начальника штаба в его личные дела. Какой зов над человеком властнее, чем зов семьи?

А Ставка? — оставалась в руках Алексеева. Государь уезжал спокойно.

151

Выйдя с рокового заседания кабинета, на котором он отказался от поста, Протопопов побрёл по залам и лестницам Мариинского дворца, не видя ковров и ступенек. В таком отчаянии и таком бессожаленном одиночестве был он, как ещё никогда не бывал: куда идти, куда ехать? — его дом разгромлен — и это уже не его дом — он сам отказался от своего сияющего поста — и кто же он теперь был? Легко сказать застрелиться — но как нажать гашетку? — да и пистолета нет, как решиться расстаться со всем, что есть жизнь, краски и движение?

К счастью, он набрёл на кабинет Крыжановского, и тот был у себя, и имел терпение и время беседовать, выслушивать страстную исповедь и жалобы на министров, на Думу, на всех,— и поддержать, и успокоить. Да всё бы кончилось благополучно, если бы три дня назад арестовали несколько ведущих

думцев. И обсудил с Александром Дмитриевичем, кончать или не кончать с собой, и уверил, что не надо.

Сам Крыжановский был весьма государственный человек и с большими познаниями: это он когда-то уверенно оппонировал Витте: что земство отлично совместимо с самодержавием и должно развиваться. Сегодня утром, не дозвонясь до Алексан Дмитрича, он телефонировал Курлову, в последней надежде на его полицейский талант. (Но тот — не захотел вмешиваться, или болен.) Крыжановский тоже едва не стал министром внутренних дел, уже побывав помощником. И этой осенью митрополит Питирим манил Крыжановского в премьеры, но не исполнил. И так — ему ни разу не пришлось занять подлинно крупного поста — что сегодня выглядело и безопаснее. (Но тревожился он за свои неосторожные дневники, где остался след многих государственных лиц и событий,— успеет ли дождаться ночи, чтобы сжечь их? И уже пора ли сжигать?)

И чем больше Александр Дмитрич выговаривался, изнемогая, в потерянности судьбы, тем всё же становилось ему легче. А Крыжановский тем временем обдумывал его положение и указал, что Мариинский дворец может подвергнуться разгрому и с тем большей опасностью, если Протопопов будет находиться здесь, это навлечёт толпу на дворец. Тем более это крайне опасно самому Протопопову. И он же, выручатель, догадался, куда Протопопову скрыться: в здание Государственного Контроля, совсем рядом, Мойка 72. Позвонил и получил разрешение переночевать в служебном кабинете. Ах, какой подарок судьбы и в какую минуту! И не надо пробираться пешком через разбереженный роящийся город, но — ускользнуть из Мариинского дворца чёрным ходом и шмыгнуть двести шагов позади него.

И вот — впустили. И вот за тобой заперта массивная дверь — благожелательный швейцар — пустой вестибюль — пустая лестница — о, надо испытать эти все опасности, уйти из-под молота судьбы, чтоб ощутить пустое вечернее учреждение как уголок спасительного рая! Во всём Петрограде нельзя было, наверно, сейчас придумать более безопасного места. За эту ночь могут разгромить все дворцы, все министерства, все частные квартиры министров — о, ни один из них, исключавших его, не посмеет сегодня спать спокойно! — а вот Александр Дмитрич пребудет совершенно бестрепетен. Одну ночь, но блаженно, как ангел: ни в какую же голову не придёт громить государственный контроль! Отвели его в кабинет помощника главного контролёра.

О, какое сразу освобождение нервов! Сразу утихла эта мучительная внутренняя дрожь, не отпускавшая весь день от утреннего звонка градоначальника. От этого резкого контраста, от этого спасения в десять минут — тёплые волны благодарного покоя заполняют душу, и как будто взносят, как будто взносят, и ты плаваешь, ногами бесчувственен к коврам. Так переволновался, так исстрадался,— но свалилась ответственность, но отпала опасность — и по контрасту теперь не хочется думать ни о чём дурном, но отдыхать, но может быть грезить,— а все заботы и огорчения пусть отодвинутся на утро!

А утром, может быть, всё и переменится?.. К утру, может быть, придут извне спасительные войска?

Целых двенадцать часов безопасности простирались перед ним! Надёжные каменные стены отгородили его от бунтующего моря.

Он долго с удовольствием ходил по кабинету.

А на столе стоял телефон.

Искушение телефона.

Его — не могли найти. Но мог найти — он...

Кого? Во всём Петрограде не хотелось ему никому позвонить. Жену — увели к смотрителю. Брату? Вот только брату. Бадмаеву? Да, ещё Бадмаеву, целителю тела и души. (Вот куда бы ему сейчас унестись по воздуху — на Поклонную гору к Бадмаеву. Но нет, там-то и нашли бы.) Во всей столице, во всём корпусе, составлявшем государственный мир России,— ни к одному человеку не тянулась такая сердечная нить, чтобы позвонить по телефону. Протопопов стал ото всех отринут.

Но он мог позвонить в Царское Село?

Теснились милые образы. Даже и будучи в отпуску по болезни, он продолжал посещать царскосельский дворец с неформальными докладами государыне, и сколько говорили с ней обо всём, обо всём! Царское Село — это райский привлекательный остров, отдых души! Боже, государыне ли он не угождал? Доклады у неё не были реже, чем у Государя, и всякий раз от Государя он переходил к ней и всё повторял, даже ещё подробнее. Как неизменно ласкова была с ним всегда императрица, как верила в него! — особенно после ареста рабочей группы, когда он предотвратил революцию. Нет, особенно после того, как он провёл энергичный розыск по убийству Распутина, самое предприимчивое его действие за всё министерство, добыл след от Головиной, любившей и убийцу и убитого,— он сам себя тогда не узнавал, как умно и удачно действовал.

И сейчас — государыня наверно ждёт от него известия. Но слишком многое случилось. О, гордая царственная страдалица с непримиримою душой! каково ей будет узнать обо всём? Может быть даже лучше ей — не сразу узнать.

Да ведь он теперь уже и не министр.

Нет, никому он не смел звонить отсюда: он бы сразу выдал себя, открыл бы своё место. Перед искушением телефона он устоял.

Но теперь, когда отступила стопастевая опасность — тем горше поднималась жёлчь: сбросили. Столкнули. Предали. И кто? Не думцы-враги, но свои же министры. Кол-леги. Ещё надо было, оказывается, лавировать среди министров. И Штюрмер и Трепов называли его перед царём — сумасшедшим. (Государь сам открыл ему.) Штюрмер ему много неприятностей сделал. А Трепов прямо просил у Государя увольнения Протопопова и самому говорил: „Уйдите! вы мне мешаете!" Жалкие недалёкие люди,— естественно, что и Александр Дмитрич не питал к ним добрых чувств. За пять месяцев пережившй трёх премьеров, естественно, что и он обходил их, в чём мог, не сообщал внутреннедельских сведений, а старался доложить это в Царском Селе сам, показывая себя наиболее осведомлённым изо всех министров. Порекомендовал заменить Шуваева на Беляева, с которым надеялся ладить,— и вот сегодня первый Беляев, безглазый предатель, толкал Александра Дмитрича в отставку! И Протопопов же предлагал в Царском чудный выход: Штюрмеру „заболеть", чтобы смягчить думский конфликт,— а вот сегодня заставили „заболеть" его самого.

А кого у нас не ненавидят? За что так люто, так уничтожающе ненавидели Распутина? За разврат? А многие ли удерживались от разврата, когда открывалось раздолье? А обличающие были сами намного святей? Разве дворяне не кутили? испокон? Как было простому мужику не сойти с ума, что высшие дамы кланяются ему до полу? Да не столько это всего и было, раздули. Надо напротив удивиться, как Распутин сохранил свой природный ум и сколько трезвых советов давал, до которых и Дума не доросла. А когда Протопопов уговаривал его поберечь царское имя — он прислушивался. В ноябре не взял от Трепова взятку 200 тысяч за то, чтоб оставить Протопопова, сказал: „Не надо мне ваших денег". Что он бесчисленно просил для кого-нибудь льготы? — но опутывали его дельцы, самому ему это не было нужно, они поживлялись больше, чем он сам.

За близкими крышами выдвигался корпус Мариинского дворца, хорошо видный из неосвещённого кабинета. Весь верхний этаж был залит электричеством — себе же на беду, привлекая толпу громил.

Александр Дмитрич успокаивался.

Не хотели вы Протопопова? Не хорош вам был Протопопов? — ну, как изволите.

Что они там заседают? что решают? что могут решить? Задумали спасти свои шкуры ценой Протопопова?..

Неужели всё его министерство оказывалось лишь короткой иллюзией?.. Нет, душа отринывала принять такое жестокое падение! Нет, ещё не вдребезги всё разбито! Это — только короткое испытание! Завтра, послезавтра войдут в столицу победоносные государевы войска — и чернь разбежится в порочном ужасе, и думские вожди кинутся на колени, и трусливая свора министров

будет просить извинения за этот вечер. Только бы простили ему государыня и Государь! — простили бы эту невольную уступку ничтожествам, эту отставку вынужденную, горькую, по соображениям тактическим, никак не измену государевой воле!

А Государь всегда так охотно всех милует, он всем находит извинение,— неужели же не помилует своего любимца? А какие с ним чудесные откровенные беседы вели (их взгляды совпадают по всем вопросам)! Как нужно всегда знать этот тон (и Протопопов знал) — никогда не быть чересчур настойчивым, никогда не передавать ничего неприятного, чем постоянно обременён министр внутренних дел (как ругают Государя в гвардейских кругах, что пишут в письмах,— Государь не терпит перлюстрации).

Мариинский дворец между тем погас, весь погас, не светилось больше ни одного окна, отчего и тут в кабинете стало темней. Теперь на небе справа, от Невского, отчётливо выступило зарево.

Что-то где-то горит! Может быть и дом на Фонтанке...

Ну что ж, здесь хорошо. Правда, валик диванный не так удобен под головою,— а то и мягко, и просторно, и тихо, успокоительно цокают пристенные часы. Придётся не раздеваться, а укрыться собственной шубой. Ах, это всё пустяки, это всё можно перенести.

Самое главное, что прошли благополучно роковые дни, предсказанные Перреном,— 14, 15, 16 и 24-е. А теперь уже — он уцелеет.

И опять вернётся на вершину министерства внутренних дел. (А может ещё и премьером?..)

И снова они будут собираться в интимной царскосельской обстановке — и так мило беседовать обо всём. О, эта благосклонность ещё вернётся к нему!

152

Ни дяде Антону, ни кому из прежних жертвенных революционеров не досталась, и примечтаться не могла такая доля: ночным перебудораженным и уже безвластным Петербургом нестись по улицам в каком-то сказочном аппарате, по мостовым со скоростью птицы, с двух сторон на крыльях — стрелки, нацеленные винтовками вперёд, за спиной ещё десяток солдат,— нестись на взятие правительственной твердыни — в трёхстах саженях от Сенатской площади! Саша уже до такой степени был заранее полон счастьем, до такой высшей вершины вот уже взметнулась его жизнь — что была как бы и увенчана, лучшего уже случиться не могло никогда, и теперь он без сожаления мог с нею хоть и расстаться.

Вот — наступила своя война! Прежде он берёг голову — только для своего часа.

Впереди ехал опытный Сосновский на броневике, он выбирал и маршрут. Пронеслись мимо Летнего сада — и Сашино сердце застучало ещё от этой символики: здесь Антон Ленартович стрелял в Дубасова, здесь был схвачен, да тут же прозвучали и первые выстрелы русской революции — каракозовские,— и вот отсюда нёсся Александр Ленартович на решающий последний штурм царизма!

Даже слёзную щемоту почувствовал в глазах. Как это бессмертно! Хотя бы он погиб сейчас — но этот подвиг впишется и будет вспоминаться: как Александр Ленартович брал оплот последнего царского правительства!

Так и повёл Сосновский по изогнутой набережной Мойки, так перескочили и Невский и Гороховую, не задерживаясь,— и вдруг, что-то заметив впереди, броневик круто остановил, а Сашин шофёр не сразу мог затормозить — и едва не налетел и не расшибся об зад его.

Высунулась рука Сосновского, показывающая круговыми движеньями назад. Набережная Мойки, суженная снежными кучами, не давала простора двум автомобилям разъехаться, и Сашин шофёр, матерно ругаясь, стал давать задний ход — до Гороховой и на саму Гороховую. Следом за ними вплотную своим грозным задом наступал и броневик.

Саша думал вылезти и узнать у Сосновского, что именно случилось, но мешали солдаты на крыльях,— да броневик, не задерживаясь и не объясняясь, повернул и рванул по Гороховой, а потом по Морской налево.

На середине квартала Морской Сашин автомобиль догнал броневик. Теперь тот двигался осторожно, с выключенными передними фонарями. Сашин тоже выключил. Впрочем, на Морской было довольно уличных фонарей, они оба оставались достаточно видны дворцу, как и им был виден дворец, весь сияющий многими окнами двух этажей, редкое не светилось. Там сидели сейчас все министры? Всех министров можно захватить сразу?

Далеко за дворцом, в стороне Мариинского театра, пламенело в небе сильное пожарное зарево.

А перед дворцом — стояли две пушки. Вот тебе раз!.. Правда — стволами пока на Исаакиевский.

А против них и броневик ничто?

Тут раздалась пулемётная очередь. Сперва Саша так понял, что начал стрелять броневик, но нет, при повторе очереди стало ясно, что бьют сюда, и пули где-то близко тут щёлкают. (Нисколько не боялся Саша! Он вдруг обнаружил в себе то военное хладнокровие, которым восхищался, бывало, у настоящих офицеров: во время боя только соображения боя!)

Саша ждал решения Сосновского. Оно было совсем неожиданным: броневик зажёг передние фонари, открыл пулемётный огонь — и так со светом и со стрельбою, совершил крутой поворот краем площади направо назад, мимо «Астории», к улице Гоголя.

И исчез.

Саша удержал шофёра от движения. Он ничего не понимал. Он не понял, в кого Сосновский стрелял. И не понял, куда тот поехал — совсем уже прочь от дворца. Они ни о чём не догадались сговориться заранее. Саша ждал теперь конца манёвра, он предполагал, что Сосновский обогнёт памятник Николаю I, уйдёт с линии пушек и выедет с той стороны против дворца, брать его в клещи.

Но Сосновский не ехал. Не ехал. Не появлялся.

Совершенно непонятно.

Как и непонятно, кто же открывал огонь по ним вначале. Больше не стреляли. Саша высунулся, обернулся, спросил своих в кузове, не ранен ли кто. Нет, никто.

А дворец светился, не гасил огней от стрельбы. Перед парадным входом, да, хорошо были видны две пушки — но без прислуги, вот что, сообразил Саша. Совсем без прислуги! Так они ни стрелять, ни повернуться не могут. У главных дверей стояло двое часовых и ещё с ними кто-то там рядом. И всё!

А площадь, сколько видел её Саша, от дворца до памятника и дальше в сквер за памятник и у той стороны Морской,— площадь была и не пуста и не полна: по ней не было обычного движения пешеходов, да мудрено бы к полночи, но какие-то кучки людей, не под фонарями, а подальше от них, собрались там и сям, в устьях улиц, у стен, у подворотен, у парадных, и как будто наблюдали, присматривались, ждали чего-то, несмотря на мороз. И все вместе — это много было.

Готовились ли они к атаке? На дворец? Чего ждали?

И Саша определил несомненный план: надо его грузовику ехать прямо на дворец! прямо на главный вход! Это — не больше минуты. Под прямой обстрел? Если поедет внезапно — не сразу откроют огонь и не успеют выбежать к пушкам. Можно ещё и на ходу открыть ружейный бесприцельный огонь. А тут повалят на поддержку все этих кучки из устьев. Да уж ничего нет опаснее, как он сейчас стоит. Конечно, без броневика меньше шансов на успех, но... Туда, ко входу, через полтораста саженей, может быть доедут они не все и сам он не доедет — но это единственно правильное. А подъезжать якобы с мирными намерениями — опаснее, подъехать вплотную не дадут, изрешетят.

Но не успел Саша снова высунуться назад и объяснить своим солдатам задачу — как во всём дворце одновременно погас внезапно свет! Весь сразу! Весь сразу дворец из оживлённого светового превратился в тёмный и затаившийся!

Для чего? Перед собственным нападением, прыжком? — но дворец не мог прыгнуть, а гарнизону довольно бессмысленно было бы наступать. Тогда для

обороны? Чтоб лучше видеть и лучше стрелять? Так тем скорей на него кинуться! А может быть просто от перепуга, не выдержали у кого-то нервы? Или хотят разбегаться изо всех задних дверей в темноте? — ах, нет сил оцепить задние все выходы!

Небо было морозное, звёздное.

Саша высунулся назад, но что ж тут объяснять! И воодушевлять не требуется, все добровольцы. Он просто крикнул:

— Стреляй на ходу по окнам, кто куда! — И шофёру, за руку на руле: — Поехали! Без фонарей.

Автомобиль не был заглушён, и сразу поехали, по прямой пересекая площадь. Свету сильно убавилось, но всё-таки при площадных фонарях шофёр различил и объехал снеговой гребень, в котором бы застряли.

Над головами их оглушительно били свои винтовки и вспыхивали выстрелы.

Они быстро катили прямо к главному входу. Сейчас решалось: успеют там выскочить к пушкам?

Боковым зрением Саша успел заметить, что несколько кучек бежали тоже ко дворцу, наперерез и на соединение с ним. Так! И в одной из кучек появился над головами факел. (Успел подумать: как красиво!)

Саша всем телом сорвался бы с сидения и полетел бы вперёд, обгоняя автомобиль, чтобы не быть изрешеченным!

Но автомобиль гнал хорошо, на фоне зарева тёмный дворец надвигался на них быстро! Стреляли по ним, не стреляли? — этого нельзя было понять из-за своих,— но вот уже оставались шаги до пушечных жерл — а из них не вспыхивал губительный огонь!

И уже проезжая мимо них, прямо к ступенькам и аркам парадного входа, Саша скомандовал:

— Включай фонари!

И осветили в углублениях арок заметавшуюся охрану, несколько человек, никто из них и не пытался отстреливаться, уже поднимали руки вверх вместе с винтовками.

Надеясь, что свои верхние держат тех на прицеле, но не выстрелят же в своих,— Саша столкнул стрелка с воскрылья, соскочил и с пистолетом в руке взбежал по ступенькам.

Теперь только и было света, что освещали фонари остановившегося их автомобиля. Охрана по-прежнему держала оружие и руки к сдаче, офицера среди них не было.

— Двери раскрыть! — закричал им Саша надорванно-громким голосом, боясь ли, что не послушаются.

И один унтер потянул — растворил — и держал открытой перед ними широкую высокую тяжёлую входную дверь. А там дальше — темнота, ловушка, только на первые шаги давали свет автомобильные фары.

Сашины солдаты соскакивали из кузова. Уже без его команды они обезоружили этих нескольких. Но дальше, внутрь, опасались.

Саша без колебания решил идти первый, придумывал команду, как оставить свою тут охрану снаружи. Но начали подбегать те кучки штатских людей, всё мужчины, и молодые, то ли рабочие, не рабочие, рассматривать было некогда. И первого же с факелом Саша взял с собой и повёл внутрь.

И остальные повалили за ними, вперемешку солдаты и не солдаты.

В вестибюле с красномраморными колоннами он остановился. Со смоляным факелом! Налево поднималась и потом раздваивалась парадная мраморная лестница. Наверно, все главные кабинеты и правительство помещались там наверху. Но был проход и по первому этажу, помимо лестницы.

И всякое незнакомое большое здание, если вот так в него ворваться, разрывает и затягивает — глаза разбегаются по лестницам, переходам, коридорам, в каждом направлении чудится самое-то главное помещение! Куда бежать сперва? Где искать? Кого захватывать? Где министры? Они ещё наверно не ушли, они где-то прячутся! Как успеть захватить? Или важнее брать бумаги на их столах? Да, бумаги захватывать — это важней! А где их столы?

— Где швейцар? — услышал Саша свой громкий злой голос.

И сразу перед ним вышел в свет факела толстый испуганный пожилой швейцар в ливрее, а сзади в большом зеркале его спина.

— Где комендант дворца? — кричал Саша.— Где управляющий? Кто выключил свет? Расстреляю! Немедленно включить!

И не слушая оправданий, объяснений:

— А ну-ка вы двое, со штыками — сопровождайте его и арестуйте коменданта, пока не появится свет. Скажите, что иначе я его расстреляю!

И двое повели швейцара куда-то в темноту.

Нет, и сам Саша оставался в темноте, при свете автомобиля, а главный свет факела уже без него избрал путь наверх по красному ковру — и с ним оживлённая кучка сбродных добровольцев.

— Пошли! — скомандовал Саша и тоже пошёл наверх, за факелом,— а кто-то пошёл за ним, а кто-то не пошёл. И тут он сообразил, что своих солдат, с которыми приехал, он не знал ни по батальонам, ни по фамилиям, ни по лицам, что он набрал их в тёмном сквере перед Таврическим — и так же в темноте вот сейчас потерял. И теперь о каждом идущем мог равно думать, что это из его команды или из охраны дворца, или вообще откуда-то со стороны.

Но рядом оказался невысокий симпатичный чёрненький студент с припухлыми губами — и Саша сообразил, что вот это сейчас — самый нужный ему человек.

— Пойдёмте смотреть и захватывать главные бумаги! — скомандовал ему Саша — и тот выразил полный восторг.— Стой, факел! — окликал он переднего.

Но внизу лестницы возник второй факел и тоже качался сюда.

Саша сообразил, что ничего не скомандовал шофёру, и тот вполне может уехать, оставив их тут.

Но это было уже и безразлично. Без всякого понукания какие-то тёмные добровольцы взбегали и взбегали по лестнице и радостно вопили. Если б они подчинялись, можно было бы сейчас оцепить дворец и захватить всех министров. Но они не подчинялись, и внимания не обращали на Сашу и его команды, а ещё опережали его и разбегались куда-то. Куда? кто такие? — непонятно, лестница дальше раздваивалась.

И тут — зажёгся яркий свет, сразу опять во всём здании, освещая белые лестницы, а выше — розовый зал.

И Саша увидел, что его площадные добровольцы уже возвращаются с какими-то старинными стульями, со скатертями под мышкой. А кто-то стал на подоконник высокого окна и с силою рвёт книзу дорогой занавес.

Трещала материя, сорвался и повис тяжёлый гардинный шток, едва не убив грабителя.

Гудели голоса по дворцу.

Но ещё с этим бороться — не было у Саши никого. Он оглянулся — никого, кроме этого студента.

Два каких-то солдата шли.

— Вы — мои? — спросил Саша.— Тогда станьте вот здесь часовыми. И если появится противник — стреляйте и предупреждайте меня. А мы будем дальше.

А дальше он видел круглый зал с бело-золотыми колоннами в два яруса. Ринулись туда.

153

* * *

1-й запасной полк на Малой Охте весь день удерживался: толпа прорывалась в казармы взять винтовки из пирамид — солдаты сами, без офицеров, выводили их из помещения, оружия не отдавали.

* * *

В одном из манежей эскадрон садится на коней, куда-то ехать. В манеж врывается с криками толпа, хватает коней за уздцы, всадников за ноги, те слевают, братаются.

Офицерам остаётся спасаться от самосуда.

* * *

В лейб-гвардии Финляндском батальоне на Васильевском острове привели роту в большую учебную залу, и командир роты выступил с речью: в городе началась смута, тёмные силы стараются посеять вражду среди русского народа. Ваш долг выполнить присягу. А кто этого не сделает — совершит тяжкий грех перед Богом и Государем и будет беспощадно наказан. Начальство принимает решительные меры по улучшению вашего питания, теперь будете получать и белого хлеба по полфунта в день.

Солдаты поразвязней бормочут между собой: „Белый хлеб нам подходит, а продаваться за него не будем".

* * *

19-летний студент Семён, арестовавший Щегловитова, рассказывает: пришли, а его дома нет. Стали швейцаршу допрашивать: где он? Выдала: „Да у зятя своего, Харитоненко".— „А где Харитоненко?" Рассказала. Кинулись туда. Так обозлились — не дали ему ни шубы, ни шапки надеть, повели. „А куда вы меня повезёте?" — „В Государственную Думу". Согласился. Посадили в извозчичью пролётку.

К концу дня и вечером небольшие вооружённые кучки, во главе всегда студент, бросились на обыски по квартирам всех членов совета министров, кроме либеральных Покровского, Кригер-Войновского. Но никого не оказывалось дома. Не застали и князя Голицына. Взяли с его стола портфель и отнесли в Государственную Думу.

* * *

Лейб-гренадеры на Петербургской стороне вернулись с дневных нарядов в казармы пообедать, уже к темноте,— вдруг крик по казармам: „Выходи на волю!" Выбежали во двор, а там, уже не первый раз, штатские с красным флагом, теперь человек сто: „Довольно вам подчиняться кровопийцам! Соединяйтесь с нами!"

Часть гренадеров пошла с ними, выломали дверь цейхауза, толпа вооружалась. А другие гренадеры не решились и никуда не пошли. В офицерском собрании уже не осталось ни одного офицера.

* * *

Семёновцы просидели весь день запертыми в своих казармах за Загородным, пока вечером не подошла восставшая толпа. Тогда — хлынули к ней. Ругань, крики, песни. Взяли оркестр и пошли к полицейскому участку. Разбили его, убили пристава. Подожгли.

Из толпы — увязали труп пристава в пачки бумаг и бросили в огонь.

* * *

К концу дня по всему городу уже закрылись все учреждения, магазины, рестораны, лавки, рынки, всякое предпринимательство. Никаких кинематографов и театров. Все — или по домам затаились, или валят на улицы, в толпы. Весёлые, дикие крики, стрельба в воздух повсюду. И — автомобили, и — автомобили всех видов.

Так много оружия стало у штатских и у молодёжи, что на Знаменской площади солдаты стали у них назад отбирать.

А с некоторых грузовиков, наоборот, раздают в толпу лишнее оружие.

Автомобили и толпы вытеснили с улиц всяких лошадей, телеги, сани, их почти не стало. Зато пугают всех легковые автомобили, где на воскрыльях лежат сумрачные солдаты и целятся вперёд из винтовок. Иногда и из грузовиков целятся в разные стороны, на тротуары. Страшно становилось, и нельзя понять: за кого они? Распоряжение ли им такое?..

Привести в изумленье и в ужас — всех, не покорившихся революции!

* * *

Солдаты останавливают любой автомобиль, где нет вооружённых, высаживают седоков, сами садятся и едут.

А ещё где добыть автомобиль? Да обыскивать дворы, взламывать гаражи, где-нибудь стоят. А нашли — теперь шофёра найти и пусть везёт!

Стали шарить по дворам.

* * *

У завода Сан-Галли на Лиговке была ожесточённая перестрелка. У пулемёта нашли убитого юнкера Николаевского училища.

В том училище разгромила толпа цейхауз, некоторые переодевались в юнкеров, разбирайся теперь.

* * *

К вечеру сильно ожесточились к офицерам, с некоторых срывали погоны. На Невском офицер без ноги, с костылём, отказался снять — и его закололи штыком.

* * *

А кого больше всего искали бить и убивать — городовых. При беспорядочной и неумелой стрельбе, когда пули шально отскакивают от стен,— в один голос решали, что это городовые засели на чердаках и отстреливаются. Но нигде не находили их. И тем больше на них ярились.

Вот на Пушкинской улице толпа людей что-то мутузит в своём центре. Потом перестала. Наклонились посмотреть — разбежались. На снегу остался убитый полицейский.

* * *

И куда-то всё спешат — студенты с винтовками, матросы с винтовками, женщины с винтовками. На улицах всё стрельба, стрельба, неизвестно кто в кого. Пешеходы при стрельбе жмутся к домам.

Вечером толпы редеют. Многие сидят дома и даже свет потушили или зашторились, зажгли самые маленькие лампочки, лампадки.

А по улицам, освобождённым от толп, ещё быстрей и бешеней несутся автомобили, автомобили, гудки непрерывные, выстрелы, крики. Кажется — вся армия переезжает.

* * *

Наступило такое, что каждый житель столицы, из двух с половиной миллионов, оказался предоставлен сам себе: никем не руководим и никем не защищён. Выпущенные уголовники и городская чернь делают что хотят.

Уголовники помнят камеры мировых судей, где их судили,— и громят их. На 2-й Рождественской сжигали все дела мирового судьи, ворохи бумаг, а заодно грелись.

С особым озлоблением и ничего не щадя, громят квартиры приставов, всем соседям известные. Из одной такой с третьего этажа швыряли на мостовую имущество, мебель, выкинули и пианино. И всё затем сжигали на костре.

* * *

А какой-то человек (позже узналось: освобождённый из тюрьмы неприятельский агент Карл Гибсон) звал толпу громить „охранку" — и увлек её громить контрразведку Петроградского военного округа на Знаменской улице. Служащих контрразведки отвели в Таврический и посадили как „охранников".

* * *

Но дошло и до Охранного отделения на Мытнинской набережной — разгромили, пылало, на мостовой горели папки „дел". Прохожие носками сапог подталкивали их в огонь. Другие выхватывали, просматривали. Третьи кипами уносили. Прохожий офицер сказал им: „И вам не противно брать в руки такую гадость? Бросайте, чтоб следа не осталось!"

* * *

И весь вечер и ночь Петроград ловил и убивал свою полицию. По ночному времени, далеко не отводя, убивал на улицах, топил в прорубях Обводного канала. Снаряжались автомобильные экспедиции за городовыми.

* * *

А мысль массы, освобождённой от полиции, быстро зреет: почему не погромить частные дома? В квартирах, хоть не найди офицера, ой-ой-ой сколько добра можно прихватить. И начали ходить по квартирам: „У вас офицеров нет? Разрешите проверить". Все ворота и подъезды велят держать открытыми — для поисков и обысков.

На Знаменской улице дворник не сразу отпер ворота прохожей банде — его убили за это.

* * *

За день были подожжены кроме Окружного суда: губернское Жандармское управление, Главное Тюремное управление, Литовский замок, Охранное отделение, Александро-Невская полицейская часть и много, почти все полицейские участки. Сожгли и здание полицейского архива у Львиного мостика.

Большой пожар был на Старо-Невском. Уже в темноте, при огне, из окон как будто прыгали с высокого этажа люди. Большая толпа стояла и глазела. Оказалось: это чучела одетые выбрасывают, горел полицейский музей.

Говорили: пристава Александро-Невской части подхватили на штыки и бросили в огонь.

* * *

А Финляндский батальон продержался и весь день, и эту ночь. Вечером от него были выставлены заставы между Горным институтом и Балтийским заводом, где несколько тропинок через Неву — и, после разгрома толпой Морского корпуса, остановили движение, не пропускали никого ни туда, ни сюда. Из-за Невы — пятна пожаров, глухой шум с выстрелами. Приблизился рёв ликующей толпы, рёв моторов — но через Николаевский мост финляндцы не пропустили их.

* * *

В Инженерном замке к ночи юнкера, не дождавшись атаки, так и ложились одетыми, винтовки у кроватей. А начальник училища решил не сопротивляться. И чтобы не волновать горячие головы, офицеры ночью собирали винтовки у спящих, не будя.

* * *

Поздно вечером на Почтамтской в казармах Кексгольмского полка — ворота нараспашку, большой тёмный двор, а все окна светятся. И — море криков. И шальная стрельба.

Напуганные редкие прохожие — перебегают, прижимаются к домам, ложатся на обледенелый тротуар.

* * *

Поздно вечером революционная толпа дохлестнула и до измайловских казарм. Эта волна лилась с восточной стороны — а в те же последние минуты на север, через Фонтанку в центр, вышло около двух рот измайловцев на подкрепленье правительственным войскам. И успели уйти. Разделил тех и других — массивный широкий тёмный в ночи Троицко-Измайловский собор.

Уцелевшие очевидцы уверяли потом, что в окружной темноте крест на куполе необъяснимо светился. И кто замечал — снимали шапки и крестились.

* * *

Всегда бывало: у ворот поздно дворники стоят, сидят в тулупах, шаги запоздавшего прохожего гулки по пустой улице — и безопасны.

Сегодня — вымело дворников, темны все окна, идти страшно.

Вот двое засели в подворотне и добрый час стреляют вкось улицы по чердаку трёхэтажного дома — мол, там полицейский пулемёт. (Хоть не ответил ни разу.) Кому-то и в окно вленили, звон стёкол.

* * *

Ночью, после разграба Мариинского дворца, многие охотники ещё тянулись к соседней офицерской гостинице „Астория": окна светятся, шесть этажей, и одни офицеры — во, где добыча!

Но — и отбиваться будут. Штурм никак не стягивался.

* * *

Вести о петроградском солдатском мятеже к вечеру достигли и Ораниенбаума. Там стояли два запасных пулемётных полка, единственная пулемётная подготовка на всю русскую армию. В них были мобилизованы и питерские рабочие с революционным духом. Теперь солдаты заволновались, собирались у казарм, разбирали пулемёты, винтовки, патронные ленты и патроны. В гуле, гомоне стихийно решили: идти на помощь петроградским полкам! Офицеры пытались остановить — тщетно, у них отбирали оружие.

Пулемётчики захватили железнодорожную станцию, приказали готовить себе поезда — но не решились ехать, боясь умышленного крушения. Уже после полуночи пошли большой колонной по шоссе на Петроград. По пути ещё присоединяли мелкие воинские части, ещё разбивали склады, брали вооружение и провиант. Шли через Старый и Новый Петергоф, Стрельну. Колонна растянулась на много вёрст, вели её унтеры.

ТЕРПИТ КВАШНЯ ДОЛГО,
А ЧЕРЕЗ КРАЙ ПОЙДЕТ — НЕ УЙМЕШЬ

154

Колоссальное четырёхквартальное здание Адмиралтейства, с четырьмя фасадами, семью подъездами и семью воротами, могло вместить десять и двадцать таких отрядов, несколько полков,— но, беззвучно темнея в самой ещё спокойной части города, никем не угрожалось и для защиты своей не нуждалось даже и в пришедшем отряде. И эта неясность задачи, беспреимущественность такого решения перед каким-то другим, не найденным, костенила не только штаб генерала Хабалова, но невольно сообщалась и рядовым. После целого дня бездействия и потерянного резерва Дворцовой площади — просто чувствовалось каждой душою, что делается что-то не то.

Хотя по городу всюду стреляло буянство, но без единой организованной воинской части, без единого строя и цепи. А улицы посвободнели ввечеру — и на самом деле отряду Хабалова были открыты все направления, он мог наступать на Таврический дворец или без помех вовсе уйти из столицы, мог пойти и взять любое намеченное здание, освободить любых схваченных,— нет, Хабалов уже прочно отвёл такую мысль, или не мог её понять. Он без труда и без надобности самовогнал себя в торжественный грандиозный саркофаг Адмиралтейства.

Тут неприязненно встретил их помощник начальника морского генерального штаба, уже снесшийся с морским министром Григоровичем (он жил в этом же здании, но якобы болен был сейчас): морской штаб не может быть обращён в военный лагерь, это повлечёт приостановку текущих дел.

Генерал Хабалов потупился и обмяк: теперь уже и вовсе он не знал, куда ж идти.

Но вмешался генерал Занкевич и дипломатично уладил: отряду дали главный вестибюль и бесконечные коридоры первого и второго этажа вдоль Александровского сквера и Дворцовой площади. Пехоту и пешую полицию

ввели в коридоры, кавалерию, конных городовых и артиллерию — в обширные дворы.

Сам штаб Хабалова и группа градоначальника разместились в вестибюле, тут было довольно мебели и кресел, и телефон.

Учебная команда Измайловского батальона продолжала удерживать телефонную станцию, и телефоны работали бесперебойно. Только никто не знал, что штаб ушёл из градоначальства — и долго не звонили на новое место.

Из первых новостей узналось, что разграблено и сожжено Охранное отделение.

Затем из совета министров приказали прислать сильную охрану Мариинскому дворцу.

Но кого послать? Нельзя разбрасываться. Занкевич ответил, что войска мало и нечем растянуться до Мариинской площади. А не желают ли господа министры сами пожаловать в Адмиралтейство?

Тем временем подходили подкрепления — ещё около двух рот измайловцев, хорошо. И вот — эскадроны гвардейской конницы из-под Новгорода, вызванные в субботу. И — куда их теперь? Тут поместиться им негде, а главное — негде конницу поить и нечем кормить. Отправили их в манеж Конной гвардии.

Тут и полицейский вахмистр доложил, что кони с голоду дрожат, надо кормить.

А запасы фуража остались в градоначальстве! Вот те на.

Послали туда на фуражировку добровольцев-жандармов — тихо, через Александровский сквер. В градоначальстве оказалось спокойно и никого. Принесли оттуда овса и хлеба, а себе прихватили ещё и колбасы из незакрывшейся мелочной лавки на Гороховой.

Сотню ратников, зачисленных в полицию, решили распустить: толку с них! Пусть спимают жгуты да расходятся.

Наружную охрану — всё-таки мороз был градусов 10, и солдаты одеты легко,— заменили наблюдением из окон второго этажа. Решётки ворот заложили досками и дровами, а позади каждых ворот поставили по орудию.

В коридорах и на ступенях спали солдаты с винтовками, там и сям прикорнув. Офицеры — на стульях.

Во дворе на морозе ёжились кони и люди при них. И постовые.

Штабу Хабалова нашлась наконец отдельная комната с дверью, а в буфете — немного еды.

Хабалов, кажется, исчерпал все свои командные силы. Имел он всё-таки какой-то план или мнение? Да. Он так понимал, что надо продержаться ещё сутки — и с фронта подойдёт большая помощь. А сейчас в городе — может быть 40 тысяч восставших? может быть 60 тысяч? — и справиться с такой силой ему невозможно.

Ото всего города слышно было постреливание, иногда пулемётное. Но неблизкое.

Так и надмирали они в огромном пустынном Адмиралтействе, в опустевшем центре города. Надо было вот ночь так пересидеть, потом и день.

Ещё и к полуночи докладывал по телефону околоточный из градоначальства, что и там всё в порядке. Можно было и оттуда не уходить.

И зачем они здесь, в пустоте морских коридоров? Какой-то сон.

Около 11 часов вдруг промелькнул по Адмиралтейству великий князь Кирилл. Никаких указаний не давал, ни за что не бранил, но обходил помещения — и посматривал, посматривал. Сказал, что ищет две свои роты экипажа, будто бы пропавшие с тех пор, как послал их днём на Дворцовую площадь.

Вполне может быть, что и ушли к мятежникам...

Уехал великий князь — появился пешком, без шинели по морозу и запыханный военный министр Беляев. Щуплый, маленький, прошёл по плитчатому полу вестибюля торопливой щёлкающей походкой. Выслушал рапорт. Ничего не сказал о военных действиях — не похвалил, не укорил. Объяснил, что его квартира в довмине, у Мойки, стала совсем не безопасна, отступил оттуда под выстрелами. А Мариинский дворец уже захвачен мятежниками, и в бумагах правительства там хозяйничают.

Уединился позвонить по телефону.

После того распорядился: пока не идут военные действия, надо срочно обратиться к населению. Пользуясь тем преимуществом, что в Адмиралтействе помещается постояннодействующая типография и дежурные типографы налицо,— немедленно отпечатать и развешать по городу новое объявление командующего Округом. Во-первых: по высочайшему повелению город Петроград с сего 27 февраля объявляется на осадном положении. Во-вторых: что впредь жителям воспрещается выходить на улицу после 9 часов вечера. И в-третьих: что, вследствие болезни министра внутренних дел действительного статского советника Протопопова, в его должность вступает товарищ министра по принадлежности. (Беляев забыл, кого там решили назначить.)

У хмурых генералов, защитников Адмиралтейства, о Протопопове только то мнение могло проступить, что — ловко заболел мерзавец, ускользнул в последнюю минуту.

На „высочайшее повеление" Беляев, очевидно, имел распоряжение. Осадное положение можно было объявить, но не добавляло оно ясного смысла к тому, что творилось. Хорошо, тут же Беляев уже писал черновик, и типография оказалась готова, и распорядился Хабалов печатать тысячу экземпляров. Но вот насчёт невыхода после 9 часов возникал такой постыдный курьёз, что и Хабалов отказался. Где находясь, что́ видя глазами и что́ имея в голове — можно было такое сочинить? Нельзя уж так давать над собою смеяться.

Довольно скоро принесли и отпечатанные объявления. И тут хватились: а что же с ними делать дальше? Во-первых, не было того города, где бы их расклеивать. Градоначальник возразил, что расклейщиков пришлось бы охранять воинскими нарядами. Да ещё, простое: ведь нужны клей и кисти! А их тут нет. И где их среди ночи взять?

Без клея никак не расклеить, да.

Что ж, распорядился Хабалов: пусть полицейские нацепят несколько объявлений вот тут, на ограду Александровского сквера. А остальные — просто разбросают по Дворцовой площади и в начале Невского. Да можно нацепить и на решётку ограды Зимнего.

Так и сделали.

155

В преображенском офицерском собрании, в комнате за биллиардной (старинные портреты и гравюры, кресла красного дерева, крытые серым штофом банкетки) сидело и после ужина два десятка обескураженных огорчённых офицеров, пытавшихся разобраться в несчастной путанице минувшего дня. Были и те, кому опасно вернуться во взбунтовавшиеся казармы на Кирочной. Из биллиардной доносилось неизменное постукивание шаров — тех упорных киёв, кому бесчувственно-неведомы все сотрясения внешней жизни.

Как знаменательно и обещательно начинался этот день! — и каким ничтожным пшиком кончался, нельзя примириться! Как это могло произойти, где сделана ошибка? Они разбирали.

Не надо ли было тогда же всё объявить и обяснить солдатам? — спрашивал теперь Розеншильд-Паулин. Может быть, наша ошибка в этом? Мы опоздали объявить?

Но два капитана, сидя рядом на диване, уверенно возражали, что это внесло бы раскол и сумятицу, преждевременное объявление могло бы всё испортить.

Да кое-кто, по соседству со строем, и намекал унтерам, разговоры были — но они не дали явного отзыва.

Да и — что объявить? Главная трудность — что объявить? Сама задача была расплывчата, непонятна офицерам — и днём, как и сейчас.

А потом этот ликующий восторг, когда шёл с музыкой Павловский батальон, и, казалось, силы удесятерятся — и вдруг павловцы оказались п р о т и в парода? Как это вместить и понять?

Так ведь — и гвардейский экипаж приходил, чернел, как будто был против Государственной Думы? И егеря?.. И кексгольмцы?

Прапорщик Гольтгоер, пользуясь известным правом младших начинать суждения, заявлял теперь резко, что не надо было ждать никаких подкреплений, а сразу идти и арестовать всю хабаловскую головку. Если капитан Скрипицын смог пройти туда безо всякой задержки, то очевидно, что атаковать их не составляло труда даже кучке, не то что двум ротам. И преображенцы оказали бы этим неоценимую услугу Освободительному движению: сейчас, в данную минуту, уже не с кем было бы в Петрограде воевать!

Прямо действовать против правительственных войск? Нет, они так не думали. Соображение, может быть, и интересное, но никто не помнил, чтобы Гольтгоер высказал его на площади.

Нет, это должно было совершиться гораздо тоньше,— но как? Днём утеряна была и свежесть настроения и величественность задачи. Так ничего не совершив, только озябнув и духом упав, все стали расходиться, и преображенцы тоже захотели обедать и ужинать, вернулись в казармы,— а теперь куда уже на мороз и ночью? и зачем? И солдат не подымешь легко, и офицеры не видели смысла.

Но как этот Смысл за несколько часов — просеялся? продробился? провалился? Какая обида! Какое даже унизительное состояние неудачи!

Офицеры поужинали, но все оставались в Собрании, не расходились: ясно, что в такой день надо быть при казармах.

Но — идти в сами казармы? но — разговаривать теперь с солдатами? Нет, это тоже казалось нескладно, упущено.

Убедительные доводы были такие: солдаты — и сами из народа, и так по природе своей не могут быть против народа. И на тот момент, когда конфликт зияюще обнажится,— их поведение однозначно определено. Но наши теперешние солдаты слабо подготовлены в военном отношении, а в интеллектуальном тем более слабы, и такой психической нагрузки, данной заранее, могут не выдержать. Освещать им задачу преждевременно, сейчас — не надо, а только в самый момент действия.

Приложить силы батальона не поздно будет и завтра, конфликт продолжится,— хотя силы правительства будут подкреплены извне — и сойдётся ли ещё такой драматический, такой декабристский, такой неповторимый удобный момент?

И вдруг — в комнату вошёл — в гвардейском морском мундире, с аксельбантами генерал-адъютанта, с золотыми царскими вензелями на погонах, с тремя крестами, нашейным и грудными, бледный — великий князь Кирилл Владимирович!

Как кстати! Офицеры все поднялись и стянулись к нему. Вот от кого узнать и с кем посоветоваться! Контр-адмирал, командир гвардейского экипажа, видная фигура династии, старший сын второго колена, в случае сотрясений возможный кандидат на престол! И — многое знает. И — что он думает?

Но Кирилл не спешил ни приободрять, ни обескураживать преображенцев. Он стоял вытянутый, смотрел со своим значительным надменным видом (а если вглядеться и понять — так и неуверенным) — и слушал от них, как от подчинённых, соображения. Всё лицо его было чисто брито, только густые короткие усы.

Капитан Приклонский, переглянувшись с другими, решился сказать:

— Ваше Императорское Высочество! Мы считали бы нечестным разговаривать с вами, не заявив, что мы — на стороне Государственной Думы.

Кирилл — не вздрогнул. Поднял брови, но не с гневом. Поискал слов. И вдруг протянул капитану руку.

— Господа. Я благодарю вас за откровенность. Сердцем — я понимаю ваши сердечные чувства.— Глаза его были холодные, а слова предназначены выразить сильные эмоции: — Мы просили, мы молили, но это ни к чему не привело.

Все стояли, замерев от ужаса: дальше! дальше! Вот сейчас великий князь объявит себя их вождём — и победёт!!

А он стоял всё такой же холодно-прямой, даже при самых крайних последних словах:

— До чего они довели Россию!

Приложил руку к козырьку, чётко повернулся — и к выходу. Два-три офицера поспешили проводить его к гардеробу.

Не обещал прямо союза и помощи, не сказал определённо — но как подбодрил преображенцев! Если так рассуждает великий князь — то до чего же дошло?

И отчего же преображенцам не открыться и дальше — ещё, прямо! Да отчего же сама Государственная Дума так и не узнала об их сегодняшнем высоком революционном настроении?!

Тут порывисто вмешался подпоручик Нелидов:

— Господа! Вот э т о как раз не поздно исправить! Все члены Думы сейчас на месте. Телефоны работают. Мой дядя Шидловский — председатель бюро Прогрессивного блока. Если только, господа, вы меня уполномочиваете — я сейчас же ему звоню и официально от имени батальона объявляю преображенскую поддержку Государственной Думе! — Он волновался, все возможности упущенного утра как будто вставали вновь.— Если только дядя сейчас там — он узнает мой голос и поверит.

Шумно вскричали, как за столом после удачного тоста. Очень понравилось всем!

Это и было единодушное одобрение. Гурьбой пошли к телефону. Упёртых биллиардистов нечего было, конечно, и спрашивать. Столовая была уже пуста. Полковника Аргутинского-Долгорукова не было все часы. Но капитаны Приклонский, Скрипицын, по батальонный адъютант Макшеев — все тут, и согласны.

Довольно быстро барышня соединила: удивительно, что телефон служил, несмотря на все уличные события.

На том конце взял трубку один, передал другому, а третий был уже и сам Шидловский.

— Дядя Серёжа! Дядя! — радостно и даже чрезмерно кричал в трубку Нелидов, но оттого, что и слышно было плоховато.— Ты узнаёшь мой голос? Слушай! — И торжественно: — Я звоню из преображенского офицерского собрания! Мне поручено объявить, что офицеры и солдаты Преображенского полка постановили предоставить себя в распоряжение Государственной Думы!!

Это само так вымолвилось — не батальон, а полк. И — сам язык ввернул сюда и солдат, без этого бы не звучало.

Да как они уже убедили друг друга — с солдатами-то вопрос решённый.

156

Что же было делать?
Что же делать?
Что делать!

Как скалами стиснут был Родзянко, после того как Беляев сообщил, что Михаил получил от Государя полный отказ.

А окружающие — наседали, советовали, толкали: брать реальную власть в столице.

Милюков для этого уселся вплотную, со своей неотвязчивостью он бывал как клещ, пока своего не докажет, Родзянко всегда побаивался слишком долгих с ним бесед, боялся уступить чрезмерно.

Но и простодушный Шидловский склонялся к тому же. И мямля Коновалов. И наскочливый остренький Шульгин. Тем более Караулов, бешеный казак, когда имел минуту забежать. Да вот и Некрасов, проделавший с Председателем всю сегодняшнюю петлю, немногословно переклонялся туда же. (Он любил долго молчать, поздно высказываться — и всегда оказаться правым.) После того, что переговоры Михаила с царём провалились (даже и лучше, события пойдут своим размахом, и чего можно было ждать от царя?),— нам остаётся продолжить поручение Государственной Думы, взять на себя охрану порядка.

Да вот почти и весь Комитет. А что думали Чхеидзе и Керенский — это

вовсе было неизвестно, они сюда что-то и не заходили, они с кем-то другим совещались в другом крыле дворца.

И доводы были все — как будто верные. Правительство впало в паралич, да, если не разбежалось полностью. Никаких распоряжений не приходило и от Государя. Императорская власть в стране была — и как будто не была: куда она затмилась? Императорская власть над столицей не осуществлялась ни в чём — кроме единственного вялого генерала Хабалова, который тоже себя нигде, ни в чём не проявлял.

А между тем по городу разливалась анархия. Что днём казалось силой доведенного до отчаяния народа — то теперь превращалось в опасный сброд. Полицию — уже разгромили повсюду, никакой силы охраны порядка не осталось. Приходили сведения, что задерживают на улицах офицеров, оскорбляют — а то и убивают. Разгул черни в любую минуту может обрушиться и просто на мирное население. Два с половиной миллиона жителей не могут жить без власти над собой, должны же кого-то слушаться. Для спасения жителей, и особенно офицеров — уже стоит взять на себя охрану порядка. А кто будет охранять банки, казначейство, винные склады? Караулы отовсюду сбежали.

Всё — так. Но давайте подумаем. Но нельзя решиться так сразу и быстро.

Да нельзя ждать! — чернь обрушится и на саму Думу, перебьёт и её! Для спасения Думы и для спасения Отечества — нет иного выхода, как обуздать анархию.

Наконец: пока мы будем думать да собираться — власть возьмёт кто-нибудь другой. Вон, уже затевают совет рабочих депутатов — да он и подхватит? Недаром Чхеидзе сюда не заявляется — он уже там у них председатель.

Всё так. Родзянко пересматривал лица. Мирного Дмитрюкова. Одышливого пожилого Ржевского. Гололобого, узлолобого мрачного Владимира Львова. (От Милюкова старался отворачиваться.) Всё так. Но все его советчики, все члены Комитета не на столькое решались и не так отвечали, как Родзянко. Это о н был Председатель их — и его решение единолично, и ответственность единолична.

Но это была дерзость выше его разумения и прав.

Но — никакого ответа он не получил из Ставки.

Но — ничего определённого не ответил Михаил.

Но — анархия бушевала по Петрограду.

И на что не решался Михаил — теперь предлагали ему самому?

Все до единого вокруг убеждали — брать власть.

Как скалами стиснут был Председатель.

Не говорил Милюков, этот твёрдый кот в очках с оттопыренными жёсткими усами, что надо создать правительство, вместо одного правительства — другое, вместо императорского — ответственное перед Думой. На совет министров Родзянко согласился бы легче. Но нет, его толкали самовольно взять власть больше, чем правительственную, объявить небывалую власть Комитета — по сути Верховную?

То есть — власть, как бы равносильную власти Государя!

То есть — совершить государственный переворот? Переступить присягу и клятву? Выступить — первым мятежником — и против помазанника Божьего?

Но Родзянко не был мятежник!!

Но — Отечество погибало, а Родзянко за него отвечал!!!

Да может от этих назойливых голосов, обступивших лиц он и решить не мог? Ему надо было сосредоточиться, так хорошо подумать, как никогда в жизни не думал. Собственный его кабинет, всем думцам открытый, перестал быть таким местом.

— Вот что, господа. Если так — то оставьте меня в уединении. На четверть часа, на полчаса. Я должен подумать наедине со своей совестью.

Согласились, некоторые неохотно, особенно Милюков, не хотел отрываться. Стали выходить гуськом в соседний кабинет Коновалова.

Увы, как бы и не отгородился. Там, за этой одинарной дверью, он их всё так же видел и чувствовал: как они собрались, ждут, понуждают. Для них — решение уже было как бы и принято.

А ему без подставленных советов — тоже оказалось не на что опереться. Помолиться? Это он оставлял на потом.

Что ему ещё мешало всё время, обидно? А вот что: к т о же будет власть? Каким молчаливым заговором, терпеливыми интригами Милюкова они вытеснили Председателя Думы с кандидатов в премьеры? Почему — Львов? С какой стати — Львов? Какой у него государственный опыт? Да его и в Петрограде нет, а тут каждая минута...

Но сам Родзянко — не мог же им сказать об этом. А никто другой не догадывался? Все его так уважали, а никто не предлагал.

Нет, что же было делать?? Что делать?

Он представил себе хорошо знакомое лицо Государя — и мягкое, и такое иногда светлое, а — плохо проницаемое. И последние их крутые тяжёлые разговоры на аудиенциях — в январе и в феврале. Родзянко никогда не умел сдержать своего раскатистого гнева, а Государь всегда умел. Но в последний раз был так его лоб тёмен, что вот-вот промелькнёт и зигзагом молния.

И что ж он скажет, когда узнает, что Родзянко сам объявил себя властью?

А — почему не мог он ответить ни слова ни на вчерашнюю телеграмму, ни на сегодняшнюю? — как будто Родзянко жаловался ему на своё здоровье, а не доносил, что Россия гибнет.

Уже устав держать руками голову, он теперь руки держал над собой, сплетённым замком.

Ах, как невозможно было решиться! как — не на что было опереться! И истекали четверть часа. Большие настенные часы показывали полночь.

Вдруг (он еле успел опустить руки с головы) приоткрылась дверь из кабинета Коновалова — и всунулось обросшее лицо Шидловского. И заговорил не нудновато, как всегда он тянул, но необычно для него, крайне взволнованно:

— Михаил Владимирович! Простите, что я беспокою вас и в эту минуту. Но чрезвычайно важное сообщение.

— Да? — не досадливо, но с надеждой спросил Родзянко. Какого-то экстраординарного известия ему именно и не хватало для решения. Может быть, вот оно и есть? Какого-то малого довеска не хватало на весах, в ту или другую сторону.

Шидловский вступил весь:

— Сейчас звонили из Преображенского полка. По поручению офицеров полка — мой племянник Нелидов, он служит там. Он просил меня передать вам и всем здесь: что офицеры и солдаты Преображенского полка предоставляют себя в распоряжение Государственной Думы!

С неожиданности Родзянко выслушал, сидя за столом, но тотчас и встал, старый кавалергард. Это звучало как клик десятка фанфар: любимое Петрово детище, Преображенский полк, первый полк русской армии! — предлагал ему поддержку! склонился под знамя Государственной Думы!

(Такими фанфарами прозвучало — не ухватывала мысль поправить: Преображенский полк — весь на фронте, а здесь — тыловой запасной батальон.)

Родзянко ощутил могучие волны подъёма в своей могучей груди. Он сам стоял как на параде преображенцев, он слышал их марш!

И — голосом для плаца, не для одного Шидловского в кабинете, объявил:

— Благодарю за весть, Сергей Илиодорович! Я — принимаю власть!

Поправился:

— Государственная Дума — принимает власть!

157

Проникнув в Таврический, Пешехонов стал на каждом шагу встречать знакомых, как будто нарочно все его знакомые сговорились в этот вечер устроить всеобщее свидание под сводами Государственной Думы.

И не забывая о жгучей заботе, он каждого спрашивал: предусмотрен ли захват охранки, послан ли автомобиль? Большинство не знали, а кто говорил, что послан. Не было такого распорядителя, к кому бы обратиться. Народу было очень много, а — ни головы, ни смысла.

В Екатерининском зале в разных местах солдаты располагались, как в третьем классе вокзала, лёжа на полу, а ружья в козлах.

Солдат-то было разрозненных сотни — а офицеров не видно. И странно, и тревожно. Странно, потому что в столице много офицеров передовых, правильно думающих — и как же в такой день и при таких событиях они все куда-то скрылись? На улице не было ни одного офицера, а здесь какие-то прижатые. И какая же судьба ждала восставшие солдатские массы без офицеров? как же они поведут бой?

В больших залах Пешехонов по близорукости не всё видел в глубину, и ему долго пришлось толкаться, осматривая странное состояние Таврического и публику в нём. Во всяком случае, было сейчас тут людей в тридцать раз больше, чем в перерыв самого людного думского дня. А если толкаться по густоте коридоров и открывать подряд двери — то и в каждой комнате тоже сидели или заседали или беседовали по десять — по двадцать человек.

В одну из таких комнат заглянул Пешехонов, ещё никого не разглядел, а услышал голос Громана:

— А-а, Алексей Васильич! Очень кстати, заходите, заходите, сейчас мы вас кооптируем.

Оказалось, это заседала только что созданная Продовольственная комиссия Совета рабочих депутатов, ушедшая с общего заседания Совета для того, чтобы ускорить работу.

Можно было остаться и включиться, но Пешехонов заинтересовался самим заседанием Совета и вообще больше увидеть и ориентироваться. А в коридоре ему не пришлось расспрашивать, где же дверь Совета,— появился один из партийных товарищей, народный социалист, и подхватил его под локоть:

— Алексей Васильич, скорей! В Совете нет нашего представителя, сформируют всё без нас!

Пешехонов дал себя подогнать, подвести — и вступил в заседание Совета.

Там оказалось человек шестьдесят, почти все — знакомые, как скоро оказалось, лишь немного тихих солдат. Но ещё раньше чем Пешехонов в этом разобрался, едва только он переступил порог — его фамилию тотчас громко выкрикнули. Он решил, что здесь такой порядок — каждого новоприбывшего объявляют, а оказался забавный qui pro quo: это — предлагали кандидатов в литературную комиссию Совета, и его предложили без его присутствия. А уж тут явился — так тем более.

Литературная комиссия — не самое было лучшее, к чему б он сейчас хотел приложить силы, и таким образом, кажется, он не захватывал для своей партии места в Совете. Но он не нашёлся возразить при баллотировке — и вот уже был избран.

И тотчас же, торопясь к делу, вся литературная комиссия вышла из общего заседания, и так Пешехонов тоже вышел, не успев полюбоваться на Совет и повлиять на ход его.

В комиссию кроме Пешехонова попали — Соколов, Нахамкис, Гиммер и Шехтер. Соколов, тут уже всё знающий, бодро вёл их занимать помещение. Всё правое крыло стало нашим, всё забито и полно. Тогда Соколов повёл их на левую половину, думскую, и там они самовольно захватили кабинет Коновалова.

Вокруг его письменного стола с телефоном расселись, но непоседливый юркий Гиммер отпросился на пять минут, пообещав им собрать новости из штаба обороны, который тут близко. Действительно, неплохо было бы им, прежде чем составлять воззвание к населению, хоть узнать, что делается в боях.

Гиммер вернулся с ворохом новостей, хотя признался, что собрал не от членов штаба, а у дверей. Новости были скорей грозные, чем радостные. С одной стороны: Кронштадт перешёл на сторону народа! (Но в Кронштадте никто и не сомневался, зная его традиции.) С другой: царские министры собрались

в Адмиралтействе, и там их охраняют с артиллерией, много войск. Так что враждебный центр был налицо — сохранился и готовил удар. И ещё какие-то новости о Петропавловке, но никто точно не знает: не то она сдаётся Таврическому, не то прислала ультиматум, чтоб сдался Таврический, иначе откроет огонь.

Последнее было гораздо более вероятно. Вообще, кто годами испытывал на себе неумолимое давление царского режима, знал его когти,— тот скорей мог поверить, что реакция собирает силы отпора — и удар будет сокрушительный.

Да вот и самое страшное: правительственные войска уже прибывают в Петроград! На Николаевском вокзале уже высадился не то 177-й, не то 171-й пехотный полк — и на Знаменской площади ведёт бой против революционного отряда.

Шехтер хватал себя за голову при каждой новости и только повторял:

— Погибнем мы! Погибнем!..

Лучше б Гиммер за этими новостями не ходил — только перебил всё настроение. Какой там „революционный отряд" может удержаться на Знаменской площади! — могут быть депутаты от полков, могут быть бродячие солдаты,— но боеспособного революционного отряда быть не может.

Под этими впечатлениями овладела литературной комиссией вялость, и вместо того чтобы спорить оживлённо — а о чём поспорить, было, при большом политическом диапазоне между участниками и необычной сложности задачи,— высказывались нехотя, умолкали. Думали, только не об этом воззвании. Даже Гиммер в своём витье понеподвижнел, Соколов лишился неистребимого оживления. И Нахамкис при своей видной мужественной фигуре — рухло осел.

Может быть, им всем не миновать близкой расправы.

— Но, товарищи,— бодрился и стыдил их пятидесятилетний Пешехонов, старше их всех,— но мы так и до утра ничего не составим. Давайте же думать!

Никак бы им не сговориться, если б они стали давать политическую оценку момента: что именно произошло и что ожидалось бы завтра,— даже среди меньшевиков было четыре линии, а тут ещё Пешехонов. И даже *почему* произошло — тоже им было трудно согласовать: одни предлагали сослаться на военные неудачи, другие не соглашались, потому что армия и оборона не должны были быть поставлены под сомнение. Тогда о нехватке продовольствия в столице? И тут находились голоса против, Нахамкис считал, что это принизило бы значение революционного момента.

А тогда — почему же? Почему, правда, всё началось? Они сами не могли себе этого объяснить: п о ч е м у? Почему именно в эти дни, когда никто не ждал? И почему сразу в один день, так быстро?

Но если сама литературная комиссия этого не понимала, то что же поймут народные массы?..

Наконец, написали: „Старая власть довела страну до полного развала, а народ до голодания. Терпеть дальше стало невозможно". А там как по накатанному: массы вышли на улицу — им вместо хлеба дали свинец. „Но солдаты не захотели идти против народа — и восстали".

Тут случилась новая помеха: открылась соседняя дверь и оттуда стали выходить думцы, члены Временного Комитета: сам хозяин этого кабинета Коновалов, Милюков, Некрасов, другие.

Их новость была, что Родзянко уединился, попросив время на размышление.

Но стол-то Коновалову пришлось освободить. На гостей косились, однако гнать не смели, как представителей революционной демократии.

Литературная комиссия сдвинулась в сторону и при громком разговоре думцев пыталась продолжать обсуждение, Гиммер набрасывал на коленях.

Борьба ещё не доведена до победы. Старая власть должна быть низвергнута окончательно — и только в этом спасение России.

„Низвергнута окончательно" — но не знали они, доредактируют это воззвание, или поднапрёт 177-й полк от Знаменской площади — и побежит во все стороны Таврический дворец, а те, что в сквере греются у костров или разлеглись в Екатерининском зале,— не защитники. Это просто удивитель-

но! — хотя бы одна единственная рота была на защите революции — ведь ни одной.

...Для успешного завершения борьбы в интересах демократии... в столице образовался Совет рабочих депутатов из выборных представителей заводов и фабрик...

В это время зазвонил телефон — и требовали Шидловского, непременно его, а он вышел. Кто-то его позвал. А аппарат был такой, что надо было под рычагом держать палец или карандаш, а то разговор исчезал. Научили Шидловского держать карандаш.

Он очень оживился. Можно было понять, что говорят из Преображенского полка.

Так и есть! Шидловский закончил сияющий. Объявил всем в комнате, что Преображенский полк в полном составе поддерживает Государственную Думу!

Фу-у-у, намного стало легче.

Посоветовался с Милюковым и пошёл стучать к Родзянке.

Литературная комиссия, оживлённо пообсуждав Преображенский полк, опять уткнулась в своё воззвание, бодрей. Надо было сформулировать основную задачу Совета Рабочих Депутатов и основную цель его.

Скоро Шидловский вернулся и взволнованно объявил, что Родзянко согласился взять власть!

Присутствующие думцы захлопали.

Итак — революционная власть создалась! Литературная комиссия не удержалась и тоже захлопала.

(А 177-й полк может уже наседал?)

Но как же быть с Советом депутатов? Он же — тоже революционная власть, и даже более демократическая. А какая его цель?

...Организация народных сил? Упрочение политической свободы? Установление в России народного правления? Или как его назвать?..

Ещё много тут было вопросов.

И надо ли говорить об Учредительном Собрании?

Нет, тут оставаться невозможно, думцы шумно разговаривали. Хотя интересно посмотреть-послушать, но и наш Совет ещё идёт, тоже интересно. А без воззвания вернуться нельзя.

Потянулись искать другую комнату. Тем временем в Екатерининском всё больше ложились спать, а в Купольный всё больше натаскивали каких-то грузов: пулемётные ленты, пироксилин, мешки с чем-то.

Нашли комнатушку вроде складской, со старыми изданиями, и там, застревая на каждом слове, еле дотянули воззвание до конца.

Пешехонов отправился на заседание Совета, но не дошёл до него: его перехватили и втащили в заседание финансовой комиссии, куда он тоже был кооптирован.

Там обсуждали, откуда Совету рабочих депутатов брать деньги на свою работу. Пешехонов сразу вошёл в проблему, что думать не об этом надо, а как сохранить казначейство и банки, чтоб их не разграбили.

158

Все права свои забирала уже ночь — и спали на полах и лестницах ратники хабаловского пёстрого отряда. А у начальства — нет, по-прежнему не было покоя.

Ненасытно подвижный генерал Занкевич, обходя посты, составил впечатление, что настроение солдат ненадёжно, и не только не готовы они к наступлению, но даже — оборонять это непонятное Адмиралтейство.

И снова горячо вернулся к своей идее и докладывал Беляеву: что разумней и достойней было бы перейти в Зимний дворец — и уж его защищать как эмблему царской власти.

И Беляеву, и Хабалову, и Тяжельникову очень трудно было думать ещё над новыми решениями. И так уж они, как будто, упокоились тут — а снова куда-то идти?

Но вот чем убедил Занкевич: сегодня люди голодные, и завтра с утра кормить их нечем. А в Зимнем дворце — много запасов в погребах, и будут варить горячую пищу, там можно выдержать любую осаду. А тут — и встретили недружелюбно. Григорович не вышел, ни привета не прислал, ни помощи. Да он и всегда играл в пользу Думы.

А правда, в этом есть благородство и честь — умереть, защищая царский дворец!

Согласились. И Хабалов отдал распоряжение — переходить.

Уже после полуночи — будили, поднимали, топали, собирались по огромным гулким коридорам. Люди среди ночи, среди тяжкого сна — не удивлялись, не волновались, выполняли механически. С усталости хотелось спать, а больше того, перебуженным,— есть.

И шире пошло по отряду впечатление, что начальство — силы не имеет и само не знает, что делает.

Морское начальство очень любезно провожало, радуясь, что отделалось.

Переходили — в темноте и в молчании, без громких офицерских команд. Тихо погромыхивала артиллерия. Фыркали кони.

Переступали, переезжали колёсами собственные разбросанные хабаловские объявления.

Стояла великолепная морозная ночь, в полную яркость мерцали звёзды — над тою самою площадью, где так ещё недавно в июльский день толпа на коленях пела гимн перед царём. И только вот этот последний обоз дотащился ото всего того.

В темноте и не догадались проверять — кто-то свернул и ушёл, по казармам, по домам. И крупные полицейские офицеры из свиты градоначальника исчезали, не попрощавшись. Да и весь вечер кто-то исчезал.

Освещённый собранными звёздными отблесками в темноте неба различался петропавловский шпиль.

И взглядом на небо видны были изощрённые фигуры по периметру зимнедворцовой крыши.

За площадью, за Александровским столпом, темнели обнимающие крылья Главного Штаба.

И ни единого прохожего.

Из города слышна была одиночная стрельба, да кой-где догорали зарева.

Пехота стала втягиваться через подъезд Александра II. Артиллерия с кавалерией — в ворота.

159

Глыбистый Родзянко вышел в кабинет Коновалова торжественно как именинник — ровный, готовый к приёму поздравлений, только со щёк на голые темена красный от перенесенного напряжения.

Вошёл — и раздались аплодисменты. Но так немного, не совсем уверенные хлопки: процедура не выглядела в простой комнате, число людей было малое, да и слишком всё качалось во тьме, не до ликования.

А Родзянко, вступив шага на три, стоял перед своим Комитетом, как перед думским залом, и басово рокотал:

— Я — соглашаюсь, господа! Извольте, я соглашаюсь. Но на условии, разумеется, полного мне подчинения всех членов Комитета! Как и вообще всех членов Думы.

Милюков смотрел на эту тушу безнадёжно. Поморщились и некоторые другие: вот уж чего Родзянко никогда не понимал — ни коллегиальности, ни республиканского духа. Я — и всех дави.

— И особенно,— заметил Родзянко тут Керенского,— особенно я жду подчинения от вас, Александр Фёдорыч.— И выразительно-красно на него смотрел.

Это он явно напоминал ему давешнее столкновение о Щегловитове. (Да наверно готовил и освобожденье его? Но пока не вслух.)

Керенский, в своих летаниях по дворцу заскочивший сюда и тут заинтересованно дожидавшийся решения,— однако не ответил как-нибудь дерзко,

а только выразительно качнул подвижной головой и проиграл бровями. Значение принятого решения осенило и его и задерживало тут.

Да и Милюков был доволен, несмотря на авторитарную форму объявления: он добился своего, сделан был важный шаг, которого не мог он сделать сам, а только через Родзянку. Теперь надо было закрепить публично, отрезать пути отступления, чтоб это не было кабинетным обещанием, которое можно взять и назад легко.

Неполная дюжина Комитета перешла в кабинет Председателя, там расселись. Родзянко за своим массивным председательским столом, а Милюков — у начала поперечного, но по сути повёл заседание.

Момент был переходящий: Комитет становился уже не „для сношений с учреждениями и лицами", а что-то новое. И надо было как-то известить население? Выразить публично свои намерения?

Да у Милюкова уже был подготовлен и текст, вот он, за этим у Милюкова никогда дело не стояло.

При тяжёлых условиях внутренней разрухи, вызванной, как это всем ясно, банкротством старого правительства, Временный Комитет Государственной Думы вынужден — просто вынужден — взять в свои руки — не власть, нет, это звучало бы неблагоприлично, а — взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка. И при этом выражает уверенность, что население и армия помогут ему в трудной задаче.

(Какой именно задаче? Тут-то и было самое важное, мысль Милюкова забегала вперёд, он готовил уже следующий мостик, для следующего шага.)

В трудной задаче создания нового правительства, которое бы соответствовало желаниям населения (то бишь — не императора) и пользовалось бы его доверием.

(Временный Комитет потому и Временный, что является только мостиком для создания *правительства* — которое уже не будет этот Комитет, но будет иметь реальную власть,— и к той-то власти ступал Милюков. Для того, чтобы возникло правительство, Комитет должен отмереть,— это пока один Милюков прозрел.)

Комитет слушал — возразить нечего. Даже всё очень разумно и умеренно. Правительство доверия? — так об этом Дума только и говорила всегда. Вот — „банкротством"? Может быть мягче сказать — „мерами старого правительства"? Хорошо, мерами, Милюков был мастер уступать в формулировках, сохраняя суть. (Кто-то подал: да хоть и „маразмом" назови, не ошибёшься.)

А всё согласовано — так Милюков просил извинения и вышел на минуту в зал. (Опередил и Керенского!) Там уже его ждали журналисты — и подхватили коммюнике для издаваемой газетки. И бродячие из Совета депутатов тоже услышали, и в общем все приободрились.

А Родзянко, всё ещё переполненный звонком преображенцев, тем временем просил Шидловского поехать после заседания в их офицерское собрание и поблагодарить от его имени.

Было заполночь, но члены Комитета не только не расходились, но приступили к разговору: что же именно делать? Отовсюду продолжали приходить вести, что разгулявшееся население разбойничает, офицеров бьют или убивают, бессмысленно портят имущество, и обыскивают частные квартиры. Удержать, защитить — не было никакой военной силы. Значит, надо было выпускать ещё одно воззвание?

В этот раз у Милюкова проекта не было. Стали составлять. Керенский уже улетучился, лихого Караулова не было, поэтому и резкостей не произносили, а — предложения умеренных разумных людей. Некрасов сидел волковато, непроницаемо, своих фраз не добавлял.

К жителям Петрограда. К солдатам. Во имя общих интересов щадить учреждения и приспособления, такие как: телеграф, водокачки, электрические станции. (Можно себе представить, если всё сейчас погрузится во тьму, а уборные перестанут сливать!) И трамваи же! (Досталось уже им.)

Комитет стал очень един, да и население должно на этом объединиться. Вставить такое разъяснение: порча и уничтожение имуществ, никому не

принося пользы, причиняют огромный вред всему населению, ибо всем одинаково нужны вода, свет и прочее.

А заводы и фабрики? Комитет поручает их охране самих граждан.

Об офицерах? Прямо сказать нельзя: будет зафиксировано, что офицеров травят, да и будет выглядеть, будто Комитет защищает реакционный строй. Но можно выразиться уклончивей, как-нибудь в самом общем виде: что недопустимы вообще никакие посягательства на жизнь и здоровье частных лиц. Да и на частное имущество? Вот так написать: пролитие крови и разгром имущества лягут пятном на совесть людей, совершивших подобные деяния.

Шульгин потряс головой и съехидничал:

— Не много же у нас прав для начала, если только и можем мы призывать к совести населения.

— Да чего ж больше, батенька! — с облегчением выдохнул Ржевский.— Да что ж вам больше совести!

Всё же докончили, выслали второе воззвание журналистам...

Но в груди Родзянки поднималась гордость. Нет, не робкого он десятка! Да, он сделал такой шаг, и сделал его для спасения России. И теперь надо привести столицу в порядок, а значит прежде всего собрать распавшиеся войска.

Но для этого — Временному Комитету нужен свой полководец.

Высказал. Обсуждали.

Однако все полководцы на фронте. А в Петрограде — негожие канцелярские генералы, вроде вот этого Беляева. Да и те, если не у Хабалова — так где их искать?

Стали думать, сразу в восемь голов. И в одной голове просветилось: да Энгельгардта!

Энгельгардт — полностью свой, член Государственной Думы. В прошлом — улан-гвардеец, любитель скаковых лошадей,— и окончил Академию Генерального штаба, хотя никак это не направило его последующей жизни. И ещё не стар.

Так великолепно! Он кто по званию? Не то подполковник, не то полковник. Отлично! А где он сейчас? Да где-то здесь, был на частном совещании, и ещё потом оставался.

Искать его!

И нашли.

Пришёл — в сюртуке, в белой манишке с бантиком, ничто не напоминало в нём военного. Но свой же человек, думский, октябрист!

Никогда он не возвышался до общества лидеров Думы, а тут — все лидеры ласково приветили его. И во мгновение кооптировали в состав Временного Комитета (получился — тринадцатым, а так подгонял Родзянко, чтобы было двенадцать!). И назначили — как он будет называться? — поскольку командующий войсками пока Хабалов,— пусть будет „комендант Петрограда"! И теперь он должен будет возглавить все воинские части, перешедшие на сторону народа. Собрать их, вновь организовать. А если придётся — то, да, и вести военные действия против войск реакции.

Но, господа, но так сразу?..

Вот сразу, двумя руками депутата, даже не надев мундира. (А мундир дома есть? — Есть.)

С опозданием ворвался длинноусый терец Караулов — с газырями на черкеске,— чем не главнокомандующий? вот он я!

Но не хватало терцу образовательного ценза.

— И как же безо всякого штаба? — спрашивал Энгельгардт.

Да позвольте, господа, тут какой-то штаб у нас уже есть по соседству, да вот в кабинете Некрасова.

В кабинете Некрасова? — изумился Родзянко. Вот тут, за стенкой штаб — и никто не доложил?

И воззрился на своего молодого, слишком ловкого заместителя.

Но Некрасову не добавилось румянца, и так же непроницаемо смотрели его синие глаза. А голос умел бывать таким искренним, простодушным: а что такого? товарищи из Совета депутатов попросили помещения...

Родзянко возмущённо поднялся. Нет! Так он не может руководить, ничего не ведая в собственном доме! Он не стал обходить кругом по коридору,— а властно толкнул заклеенную небольшую скрытую дверь — и прямо вступил в кабинет Некрасова.

И за ним — Некрасов, Энгельгардт, ещё некоторые. (Милюков как сугубо гражданский человек не пошёл.)

А там тоже не ожидали, эта дверь, думали, не открывается. И вдруг — сам Родзянко!

Какой-то сидел угрюмый исподлобный, в мятом пиджаке и с мятым лицом. Какой-то лейтенант-морячок с косым начёсом. Один прапорщик. Несколько ожидающих. И груда винтовок в углу, на полу, вот и весь штаб.

Родзянко с неудовольствием быковато осмотрел весь этот непорядок. И очень бы сейчас ругал Некрасова. Но может быть это как раз и было то, что нужно?

Кивнул им.

— Господа офицеры,— процедил, не находя подходящей формы обратиться.

Перед его величественной фигурой все давно вскочили и подтянулись.

— Временный Комитет Государственной Думы принял на себя восстановление порядка в городе. Для этой цели комендантом Петрограда назначается Генерального штаба полковник Энгельгардт, вот, прошу любить,— которому вам всем и надлежит подчиниться.

Тут — никто не возразил. Но последние слова Родзянко слышали и несколько других, вошедших из противоположной комнаты (да они уже тут все комнаты захватили!). И во главе их какой-то лысый малорослый припрыгивающий штатский с расстёгнутым сюртуком, со смоляной прямоугольной бородой вырвался:

— Не надо нам вас, толстопузых, цензовых! Это — штаб обороны Совета рабочих депутатов, и он никому не подчиняется!

То есть как? Родзянко остолбенел как от удара палкой в лоб. Ведь он только что, принимая власть, предупредил: при условии всеобщего полного ему подчинения!

И вдруг — такие оскорбления? такой невозможный язык?

И это — рядом с его кабинетом?!

Но как раз оттуда, из кабинета, стал слышен настойчивый звон и звон телефона. А Родзянко приказал секретарям только самые важные звонки на него переключать. Значит важный.

Без сожаления ушёл от этой несуразной сцены, из этого анекдотического штаба, за ним пошли и другие думцы.

Крупной лапой взял трубку, зовко отозвался — и впился слушать, уже только односложно отвечая.

И все тут замолчали, перейдя во внимание, стараясь уловить, о чём разговор. Кто говорит — не сразу поняли, но, видимо, кто-то связанный с правительством и с Государем.

И вдруг Родзянко посерел, и голос его пал. Переспросил:

— Восемь полков?!

И сразу всем понятно стало: откуда полков и куда.

Восемь боевых полков? А в Петрограде был десяток стадо-овечьих батальонов!

Проняла Председателя испарина — даже на шее и на груди. Ах, поторопился! Теперь если кто бунтовщик — так он первый.

Ну, что бы стоило Беляеву позвонить на час раньше! — и ещё можно было... ещё можно было... Что стоило ещё немного подождать? И зачем Милюков бегал к корреспондентам? И зачем разослали воззвание?

Поднялось в нём раскаяние: ликвидировать бы сейчас этот комитет, пока не поздно!

Но смотрел на своих коллег — не посмел вымолвить.

И всех проняло молчание. И Родзянко мутно осматривал этих беспомощных, из которых ни один же не был настоящим военным, не то что кавалергардом, и ни один не мог постоять с ним плечо к плечу,— ни развалина Ржевский, ни простяга Шидловский, ни тихоня Дмитрюков, ни попрыгун Шульгин,— а уж Милюков предаст первее всех.

Много лет Дума атаковала, изобличала, насмехалась — а правительство сжималось трусливо, а Верховная власть не подавала признаков: слышит она? не слышит? И создался в Думе особый климат: говорить о верхах развязно, вести себя так свободно, как если бы верхов не было. И привыкли, что их — как бы нет.

А они — вот они. Восемь боевых полков.

Вдвинулась императорская рука — и прихлопывала их тут, вместе с их успехами, их Комитетом и воззваниями...

160

Уж лучше Сергея Масловского кто и представлял, как надо совершать революцию? В Девятьсот Пятом он написал (анонимно) листовку-инструкцию по тактике уличного боя с баррикадами. Правда, сам не проверял её на практике.

А то, что началось сегодня,— началось совсем не правильно, с каких-то вздорных эпизодов: по плацу Академии Генерального штаба стали летать пули, неизвестно кем и куда выпущенные, так что нельзя было по библиотечной службе даже пройти от главного корпуса ко флигелю. Потом вдруг побежали, пригибаясь за рядами дровяных штабелей, какие-то солдаты — но то не были ни инсургенты, ни правительственные войска, а, без фуражек, кто и без шинелей,— солдаты, еле выскочившие из своих казарм и удиравшие от своих товарищей, чтоб их не втянули в бунт. Это были частью преображенцы, частью гусары,— и некоторые из них ткнулись просить пристанища в подъезде Академии. Но при таком смутном уличном состоянии и швейцар, и дежурный офицер побоялись держать их в подъезде, а спрятали в подвале, в типографской кладовой, между большими рулонами бумаги,— и туда любопытствующие офицеры Академии ходили на них смотреть и расспрашивать.

Если б это было серьёзное революционное движение, то уже то неправильно, что оно началось не в рабочих кварталах, не около заводов, даже не на проходном для всех Невском,— но в центре военных кварталов Литейной части, уж самой надёжной правительственной цитадели. (Потому и переполох был изрядный в академической профессорской.)

Да, одиннадцать лет назад, а под свои тридцать и после многих личных неудач, Масловский вступил в партию эсеров и, можно сказать, был участником той революции. Но всё было жестоко разгромлено, и он сам едва не угодил в Петропавловскую крепость,— и на последующие годы устроился в тихой должности библиотекаря Академии (по знакомству, отец его раньше был профессором тут) — и задыхался здесь, как заложник революции в стане оголтелой реакции, мракобесной преданности трону, и среди большинства должен был передвигаться невыразительно замкнуто, деревянным голосом говорить, чего не думал, и лишь некоторым мог едко открывать свои вольные мысли. О его революционном прошлом и революционной сути знала, конечно, петербургская революционная демократия, но встречался он с ними редко, а не делал ничего, потому что вся жизнь замешалась в безнадёжном быте. С начала войны библиотекарство стало ещё и хорошим прикрытием от фронта, и Масловский вовсе закрылся. И так надо было эту войну пересидеть в покое — а вот, началось что-то...

Сегодня занятия в Академии рано прекратили — и профессора и военные слушатели, прежде чем расходиться по домам и услышав, что на улицах офицеров обезоруживают,— сдавали свои шашки на хранение в академический музей. И Масловский внутренне жёлчно хохотал над их беспомощностью: вот и герои, вот и рыцари трона! — ничего не могут, и ничего не пытаются. Сам он тоже, стало быть, ушёл с работы, но у него шашки не было, не офицер. А жил он в соседнем доме.

Решили с женой, что в такой день никуда идти не надо, можно влипнуть,— и только посматривали в окна на Суворовский. На проспекте не утихало, а всё

новые и новые разворачивались революционно-народные сцены. Закружились рои подростков, пошла бесцельная стрельба, крики „ура'', шапки в воздух, как будто уже одержана победа,— а ещё ни одного и боя на Суворовском не произошло. Так Масловский, растревоженно взволнованный, и просидел дома до темноты, наблюдая и рассчитывая, что завтра обстановка станет ясней. Но допустили такую ошибку: жена вышла в город посмотреть и разузнать лучше — а тут зазвонил телефон. И не удержался Масловский от соблазна взять трубку: может быть что-нибудь сенсационное, и без труда узнать? И — попался: это звонил из Таврического Капелинский — и кипел от радости, и звал его, именно его, первого изо всех — немедленно в Таврический, на помощь в организации.

Ах, досада какая! Но уже местопребывание открыто, не скажешь, что дома нет,— отступления нет. Свою революционную репутацию тоже нельзя было опорочить. Подвела старая слава.

Некуда деться. Масловский сбросил военную форму, надел неновый пиджак, неновое пальто, ботинки в галоши — и пошёл, сутулясь, к Таврическому. Это близко.

А там партийные товарищи, считая Масловского образованным военным специалистом,— посадили его руководить штабом восстания! Вот так дело, затрясёшься: из мирного обывателя — и сразу штабом всего городского восстания! И показать нельзя, до чего это тебе некстати, все друг другу: „дождались!'', „дождались!'', „наконец настало!''

Правда, к его распоряжению были — настоящий морской лейтенант Филипповский, очень серьёзный и подвижный, и несколько зелёных прапорщиков. Но всё это — разве штаб? Никакой организации, и ни малой подчинённой воинской части, а какие-то суетливые автомобилисты и солдаты без команды в сквере перед дворцом. И по приносимым клочным сведениям — неоправданно лёгкий успех революционного дня проступал к вечеру полным кризисом, разрухой.

И Масловский двигался и что-то говорил товарищам — автоматически, не пытаясь овладеть событиями. Его раздирала тревога неопределённости. Он примерял к себе смертную казнь или каторжные работы, и в отчаянии был, что так глупо влип. Может быть ночью, к утру будет удобная минута — ускользнуть отсюда незаметно?

А тут ещё раздирали душу благожелательные посетители штабной комнаты, ведь она была нараспашку для всех желающих, как и любая комната дворца в эти часы. С того часа, как двери Таврического заперли для толпы и пропускали по выбору,— дворец наполнился людьми „общественного Петербурга'', кругами приреволюционной демократии и просто сочувствующими. И они (вперемешку с журналистами) лезли непременно в штаб восстания и давали какие-нибудь советы: „А почему вы не захватите воздухоплавательного парка? у вас будут аэропланы!'' — „А почему вы не прикажете перекопать улицы, чтобы не могли проехать броневики? Ведь у Хабалова сто броневиков, это абсолютно точно!'' — „А почему вы до сих пор не взорвали несколько столбов военно-полицейского телеграфа, чтобы нарушить их связь?'' — „А почему вы не штурмуете Петропавловскую крепость?''

И каждый же запоминал и будет свидетелем на суде, что именно Масловский руководил штабом восстания!..

А тут — даже нечем было оборонять Таврический. Правда, кто-то откуда-то привозил оружие — винтовки, револьверы, патроны, и несколько студентов приспособились в вестибюле снаряжать пулемётные ленты. Но не было самих пулемётов. Стояли на крыше два противоаэропланных, да были два в запасе — но стрелять они все не могли. Послали одного студента в аптеку хоть за вазелином для них — он вернулся с пустыми руками: уже поздно, всё заперто. *Революционер* — постеснялся дверь сломать!..

К полуночи из коридоров приносили слухи, что Хабалов вот-вот начнёт генеральное наступление. Да и естественно: ведь он за весь день себя ничем не проявил, очевидно был в том какой-то расчёт.

Вся революция висела в воздухе, не опираясь о землю ни одной реальной точкой.

Следовало ждать прихода возмездия. Но теперь и вырваться нельзя, не навлеча презрения революционных кругов.

Вдруг, уже около часа ночи, внезапно раскрылась глухая заклеенная дверь в стене кабинета — и появился сам Родзянко, распаренный до красноты, а за ним небольшая свита думских. Вид Родзянки был даже разгневан. Он посмотрел с изумлением, что здесь кто-то заседает, хотя он не приказал. И глыбою своей, кажется, мог их сейчас стереть. Но — только объявил с задышкой, что: назначает комендантом полковника Энгельгардта — и чтоб все ему подчинялись.

Комендантом *чего* — здания? города? Масловский не ухватил, но уже испытал облегчение. Однако ни он, ни штаб его не успели пошевельнуться — как из открытой двери противоположной смежной комнаты вырвался Соколов — и звонким адвокатским голосом стал оскорблять Родзянку. За несколько часов в Совете рабочих депутатов Соколов стал больше чувствовать себя хозяином этого здания, чем Родзянко.

Распаренный Родзянко, с потом на лысине, выслушал с недоумением. И — не взорвался дальше. Но, крупный, даже отступил от наскока маленького лысого.

А Соколов бушевал и размахивал быстрыми маленькими руками:

— Штаб уже сложился! Штаб действует! При чём тут Энгельгардт? Чтобы разбить Хабалова и Протопопова нужны не ваши назначенцы, а настоящие революционеры! Они и есть! И вашим тут делать нечего.

С Родзянкой — наверное, никто так не смел разговаривать. Он опешил, омрачился — и забурчал скорей по-домашнему:

— Нет уж, господа. Раз я согласился взять власть — то уж теперь потрудитесь мне подчиняться.

Ах вот что, он решился брать власть!? Масловский тут же сообразил, что это даёт всем хороший шанс. Председатель Думы! — законность!

А неуёмного Соколова узда не брала, он упивался своим достигнутым криком. Он кричал и брызгал, что Совет революционных рабочих и восставших солдат один будет руководить обороной, а думский комитет может прислать наблюдателей, но не начальников. И опять оскорбительно выразился о Родзянке, так что уже не выдержали прапорщики, бывшие тут, стали теснить Соколова и возражать. Принялся возражать и Масловский.

Он-то лучше всех знал, что никакой штаб тут не сложился и не действует — и это замечательно, что думский Комитет и Энгельгардт в самую страшную минуту возьмут всю ответственность на себя.

А Энгельгардт, мало кому известный немец, тоже, оказывается, присутствовал здесь,— тоже в штатском сюртуке, и стеснён, и неловко краснел. После того как права его утвердились и Родзянко с думцами ушли, он остался тут.

Поспорили — умерили Соколова. То, что здесь находилось, называлось уже от Совета — Военной комиссией. Вот — пусть она и будет такова, но — общий орган и Совета, и думского Комитета. И во главе Энгельгардт. Поладили. Масловский очень был доволен.

Присели, поговорили, что надо бы такой приказ издать: всем воинским частям и всем одиночным нижним чинам немедленно возвратиться в свои казармы; всем офицерам — прибыть к своим частям и принять меры к водворению порядка; начальникам отдельных частей — явиться завтра в Государственную Думу для получения распоряжений. И так — мы возьмём в свои руки армию? А чем же иначе воевать? Вмиг создать революционную армию невозможно.

И Филипповский с косым падающим начёсом на голове и подувая в тёмные усы, сел писать приказ. А потом отослать его в одну из захваченных типографий.

Но — призрачным представлялось, чтоб офицеры после убийств — вернулись бы к своим частям и обращали бы их к порядку.

Тут у Энгельгардта возникла мысль: обратиться к помощи Преображенского батальона, чьё счастливое вмешательство повлияло в полночь на Родзянку, и где офицеры, очевидно, остаются на своих местах и сейчас. Так Энгель-

гардт — поедет туда! Сперва поблагодарить их, потом и опереться. Только они одни и могут атаковать Хабалова.

Разумная мысль! Согласились.

Но тем самым — Энгельгардт исчез, а Масловский опять остался поджариваться во главе заклятого штаба.

И прапорщиков поредело. Неизвестно, с кем он и оставался — а уйти не мог. И все гости, общественные деятели из Таврического разошлись. А думцы больше не приходили.

Посылать ещё куда-нибудь команды добровольцев — уже трудно было и найти командиров, и добудиться солдат. О многих посланных командах так и не было слуха, они растеклись и исчезли.

Зато позвонил молодчина Ленартович: он-таки взял Мариинский дворец! — но без единого министра и теперь там занят проверкой и захватом бумаг.

Однако это не меняло густой тайны вокруг намерений Хабалова. По случайным донесениям Масловскому стало казаться, что всю Таврическую часть города в тиши окружают кольцом пулемётов.

А телефоны действовали безотказно по всему городу. Но телефонная станция была у Хабалова. Из Михайловского манежа взятый броневик посылали к телефонной станции на Мойку — он попал под пулемётный обстрел, пробили ему шины. Пришлось броневик бросить, вернулись и конники.

С Выборгской звонили, что самокатный батальон отстреливается и не сдаётся народу.

С Николаевского вокзала требовали подкреплений. Но сколько ни посылали туда — никто не дошёл, куда подевались? (Вот это и доказывало, что где-то проходит невидимое сжимающее кольцо.)

Даже с Финляндского звонили, требовали подкреплений, хотя там-то не было никакой угрозы. Ночь — и все нервничают.

Таврический дворец по комнатам и залам — разлёгся спать. Но Военная комиссия — да Масловский с Филипповским вдвоём, потом добавился Добраницкий, не могли ни уйти, ни глаз смежить.

А сделать — ничего не возможно. Кто получает приказы — тот их не выполняет. Кто действует — тот без приказа. И на улице перед дворцом обезлюдело, не кишели добровольцы.

А тут известие, что толпа собирается громить казённый винный склад на Таврической улице, рядом. Значит, надо собирать и посылать охрану, а то пьяные и нас разнесут.

А хабаловское наступление всё не разражалось — хотя уже и ночь в глубине, и улицы все пусты, никто ему не загораживал.

161

На всякого мудреца довольно простоты. Теперь, час за часом сидя запертый в так знакомом ему министерском павильоне, куда столько раз он приходил на заседание Думы, Щегловитов уже хорошо понял, что надо было ему сегодня с утра — скрыться полностью, уехать прочь из города, — и даже может быть жене любимой — не говорить? Хотя и скрывать же невыносимо! А вот...

И ведь столько он уже переполучал за эти годы — посылок с гробиками и писем с виселицами, из России и из Соединённых Штатов, что можно было предвидеть: первый удар и должен прийтись по нему. Рука мщения и должна была проявиться в революции самой быстрой.

Но этого явления — „революция" — мы же не знаем в обычной жизни, она не входит в наш накопленный жизненный опыт — и ошибаешься на первом же шагу. Особенно если всю жизнь провёл между натянутыми юридическими струнами. Трудно было осознать сегодня с утра, по первым забунтовкам в запасных батальонах, что отныне понятие закон прекращает существовать, и даже он, глава верхней законодательной палаты Империи, не защищён более никаким регламентом. Щегловитов был из самых сильных юристов России, всю жизнь его держал юридизм,— и юридизм же подвёл. Щегловитов был настойчив, суров и находчив — пока находился на стезе закона. А чуть не на ней — вот и потерялся. Сидел у зятя, постучались нормальным стуком в квартиру — а за дверью вооружённые саблями и револьверами два студента-еврея, с ними два солдата. И маленький студент сразу закричал: „Щегловитов? Вы арестованы!" Прирождённый юрист не мог не возразить: „Кем? По какому ордеру?" — „Волей революционного народа!" — заносчиво вскричал тот и положил руку на саблю.

Глава законодательной палаты, никак не менее рядового члена палаты, до снятия своей неприкосновенности не может быть арестован ничьею волей, это ясно. Но тут был перевес четырёх молодых вооружённых над 55-летним штатским, и оставалось — подчиниться? Но ещё так бешено почему-то торопили они, тащили за локти и толкали в спину, что не дали надеть ни шубы, ни шапки: „Через пять минут будем в Таврическом, а там тепло!"

Таврический? Ну, это неплохо. Это такая же вторая законодательная палата, и там сейчас всё разъяснится.

Но Родзянко?! — трусливо отступил, отказался освободить. А ничтожный адвокатишка Керенский, который и юристом-то никаким не был, но собрал себе дешёвую славу демагогическими речами на политических процессах,— пронзительно кричал и показал распалённому конвою вести арестованного за собой.

Но с какой же совестью отступил Родзянко?

Впрочем, и он не успел сообразить? — так всё было разительно-неожиданно. Ведь ещё больше не сообразил сам Щегловитов: почему не скрылся? почему поддался аресту не только послушно, но даже без шапки и шубы? Эти короткие минуты, когда решается судьба твоей жизни и тела,— почему вдруг соображение может так покинуть нас? — и ты оказываешься телесным мешком, вот запертым простым дверным замком, а ключ — в кармане у твоего врага.

И припомнилась ему одна страшная его ночь тридцать лет назад — весной 1887 года. Как самого младшего в петербургском окружном суде его назначили присутствовать при казни группы Ульянова в Шлиссельбурге. И он поехал туда накануне, ночевал в крепости, и — как будто его самого должны были казнить — всю ночь не сомкнул глаз: ждал и жаждал телеграммы о высочайшем помиловании. И ещё утром своею властью оттягивал, оттягивал казнь, всё ожидая телеграммы. Не пришла.

Да. Что-то похожее.

Щегловитов был ровесник александровских реформ, полюбил их идею, в их либеральном воздухе прошёл училище Правоведения и долгие годы не отличался от общего потока тех либералов. Он стал профессором правоведения и печатал статьи в защиту закона от нажима. (Хотя и тогда уже видел радикальный распад александровской судебной реформы — оправдание засуличей и десятков таких, и тогда уже порицал адвокатские извращения в публичных процессах, высмеянные Достоевским. И восторженно принял Манифест 17 октября как открытие эры правовых норм — и в те же месяцы его вынесло к высшему законодательству, а от самого рождения нового государственного строя он стал, и девять лет пробыл, министром юстиции. Смена нашей служебной позиции не должна бы менять наших убеждений, но и не может остаться без влияния на наши взгляды: становится зримо то, что скрыто от сторонней критики. Хотя ещё и через год, после 2-й Думы, Щегловитов спорил против столыпинского третьеиюньского изменения избирательного закона, но тем более считал теперь нужным железно защищать и созданный конституционный строй и правительственную политику — в годы разгула террора, когда либералы не только рукоплескали убийствам, но и теоретически оправдывали террор тем, что общество не удовлетворено государственным устройством. И так Щегловитов потерял всякую либеральную репутацию, да уже и не пытался её удерживать. Но его законы об исключительном положении всегда бывали *законы:* с указанием точной процедуры, точных сроков и ответственных лиц, никого не могли арестовать п р о с т о т а к, как вот сегодня его самого. Да в революционные годы он несколько раз уже назначался мишенью

террористов, в 1908 сидел дома в двухмесячной осаде, а один раз не был убит лишь потому, что случайно задержался в подъезде, не вышел к карете, а к ней уже кинулись трое.

С годами Щегловитов видел переполнение судейских рядов расслабленными болтунами, делавшее суд плохой защитой не только государственного строя, но самой жизни граждан. Однако — не давал себе произвола насильно формировать суд, нарушать закон несменяемости судей. А лишь прибегал к таким хитростям, как соблазнять негодных подачей в отставку с получением пенсии, что облегчалось, если судья проявлял пороки личного поведения и мог попасть под дисциплинарное разбирательство. Это была медленная работа: воспитывать в судах сознание государственной устойчивости. Верных тридцать пять лет бешеные волны размывали, разрушали её. А остальное общество, и дворянство, и высшие государственные слои всё это как будто видели — и не видели. Никто не хотел поверить, что устои могут рухнуть. Всё правящее держалось в раскачке вяло и спокойно, в малодушии и бесхарактерности старались как бы не замечать угрозы. У своих чиновных коллег видел Щегловитов лишь переползание из шкуры в шкуру, да с должности на должность, при равнодушии к сути дела. Так, много лет отдав укреплению русского государственного строя, Щегловитов привык, что в России не с кем соединяться, не с кем действовать вместе, а только что сделаешь сам. И как было не заразиться этим всеобщим покоем? Щегловитов тоже отдал ему дань. В таком ли настроении не остановил он недолжно начатого киевскими судебными властями дела Бейлиса. А когда оно стало принимать мировой размах, отступать показалось поздно, и при раскале страстей сам Щегловитов тоже не остался бесстрастен, финансировал приезд экспертов обвинения,— однако процесс прошёл в строгих рамках закона, весь стенографировался, был открыт репортёрам, было допущено столько свидетельств и адвокатов, сколько требовало дело, и, по логике закона, подсудимый был начисто оправдан.

Но этим процессом Щегловитов был пригвождён обществом навсегда. И в те же самые годы он потерял поддержку трона: императрица не прощала, что он был непримирим к Распутину — не только не льстил ему, но не льготил ни в чём, даже не принимал его самого вне очереди посетителей, а уж прошения, идущие через него, разрывал. (Но всё равно в обществе утвердилась клевета, что Щегловитов — подручный Распутина.) И в Пятнадцатом году, перед думскими тучами, Государь уступил его в отставку.

В царских касаниях, которых немало было за девять лет его министерства, суждено было Щегловитову испить всю горечь государственного человека, чьи знания, умственные силы, труд, воля и служба оказываются прахом для неуверенного ветерка: бывало, он горячо убеждал Государя в каком-то решении или уже проводил его месяцы — и вдруг Государь всё отменял под влиянием случайно слышанного мнения. Государь всегда чуждался сильных характеров.

И редкие консерваторы в России имели мужество открыто заявлять о своём веровании. Со всей страны нельзя было натянуть съезда правых иначе, как взяв половину с улицы — какие-то бедные, грубые, непросвещённые силы. Такой съезд собирали в ноябре 1915 — на нём не появились сановники, крупные чины,— стыдились. И сам Щегловитов, не будь уволен из министров весною того года,— почти наверное бы не пошёл. Правые предпочитали встречаться малыми скрытыми кружками — Римского-Корсакова, Ширинского-Шихматова, и шушукаться. Потеряв равновесие на отставке, Щегловитов пошёл возглавить этот съезд и, с перебором ожесточения, заклиная будущее словом,— обозвал ту конституцию, которой сам девять лет служил,— „пропавшей грамотой".

Это — он сорвался, оттого что никто не шёл к правым. Он не только не думал так — но ещё летом 1914 это он помешал Государю изменить конституцию в пользу самодержавия, сдвинуть палаты от законодательности к совещательности: „Я считал бы себя изменником своему Государю, если бы сказал: Ваше Величество, осуществите эту меру!"

Теперь весь одинокий запертый вечер, и уже в ночь, Иван Григорьевич бродил по комнатам министерского павильона. Удлинённый, но не слишком

большой зал заседаний, стол под сукном в окружении кресел и несколько диванчиков. Два кабинета. Людская. Уборная. Сколько раз тут бывал — а мог ли предположить, что окажется в таких обстоятельствах?

Предположить — не мог. А предвидеть — должен был.

Полтора года Щегловитов наблюдал развал — со стороны, бессильно. А с этого Нового года Государь вернул его к деятельности, поставил председателем Государственного Совета — Щегловитов взялся со стеснённым чувством, но решительно. И первое же февральское заседание не дал профессору Гримму развалить демагогическим „внеочередным заявлением", и вся левая группа — уже гнездилась она и в Государственном Совете! — ушла с заседания. Это было — только-только вот в феврале, только вот обещало начаться.

И вот, в необитаемых комнатах призрачного недавнего правительства — отведено было Ивану Григорьевичу, без еды, без питья и без общества,— ходить беспомощно взаперти, уже и заполночь — и думать вволю.

Щегловитов вообще держался независимо от Двора и подальше от великих князей. Своей любимой дочери Анне он запретил стать фрейлиной, как ей предлагали, считая, что это — почти горничная. И когда у него осведомились, как отнесётся он к получению титула графа (Витте был без ума, получивши),— Иван Григорьевич ответил, что иностранный титул будет смешон при его исконно-русской фамилии. (Щегловитовы — старинный род Шаклавитовых — указом Петра должны были слегка изменить буквы, чтоб отмениться от казнённого Шакловитова, фаворита Софьи.)

Дочь Анечка — была сердце его. Он дважды вдовел, вторая жена умерла, рожая Аню. Иван Григорьевич близко участвовал в её воспитании. На Пасху в имении заставлял её христосоваться с каждой мужицкой семьёй. Стала старше — возил её в итальянскую оперу, даже выбирал ей платья. И с нею же ездил, приглашённый в царскую Ореанду в Крым.

А третья жена — красивая, умная, пианистка, из общества, и с властным характером,— владела им, направляла, он сознавал и не мог изменить. И с Анечкой она — разошлась и рассорилась. И — разрывало сердце.

И что будет с Анечкой, когда она узнает об аресте отца?..

Последний человек, с кем Иван Григорьевич разговаривал,— был Керенский, с тяжёлым ключом в руке, комично высокомерно предложивший Щегловитову протелефонировать в Царское Село о бесполезности сопротивления и посоветовать сдаться на милость народа.

Этот выскочка уже командовал Трону — сдаваться?

Щегловитов и полного взгляда ему не отпустил.

Юридический ум всё же успокаивал, что арест! — из ничего, быть не может, всё разъяснится благополучно.

Но, два десятка лет наблюдая размыв и разрушение при апатии всех,— мог ожидать он всего плохого. По пути сюда на извозчике Щегловитов повидал взбудораженные улицы и тут роящийся дворец — и объём происходящего выступил перед ним.

Что это — не эпизод с растерянной петроградской администрацией, но — крушение, которого и следовало ждать в непрерывно раскачиваемой, подрываемой стране.

И он не внушал себе, что завтра утром будет освобождён.

162

От полутора лет тесного общения с Государем не осталось у Алексеева почтительно-дистанционного отношения к монарху, никакого облака тайны или мистического порога превосходства. А был для него Государь — самый простой человек, любящий Россию и армию, но стратег — никакой, впрочем весьма покладистый сослуживец, приёмистый к решениям Алексеева. Сам про себя Алексеев отлично знал, что он — совсем не блестящего десятка среди военачальников, только незаслуженно возвышен Государем,— но это не мешало ему понимать про Государя, что тот и менее способен и слабей его. И это превосходство Алексеев по смежности начинал ощущать и в других областях, вот — как относиться к общественным возбуждениям.

Поэтому-то, передавая по телеграфу ответ царя своему брату, Алексеев от себя добавил великому князю просьбу: когда Государь вернётся в Царское Село и они увидятся — не остыть и снова ходатайствовать о замене нынешнего совета министров, а главное — как их выбирать. (Он не решился вымолвить — пусть будет ответственное, но думал именно это.)

Впрочем, виделось теперь Алексееву, дорог каждый час и не опоздать бы с уступками в то драгоценное время, пока Государь ещё будет ехать до Царского Села.

А тут же в подтвержденье и от безудачливого князя Голицына пришла умоляющая телеграмма — уволить их всех и передать власть ответственному министерству. С разных сторон решительно все в один голос просили одного и того же, такого простого,— и почему ж было не уступить? Удивительно умел и упираться этот человек!

Ещё и генерал-квартирмейстер Лукомский (при Гурко заменивший Пустовойтенку) побуждал Алексеева не сдаваться и уговаривать. Как люди, всё же касающиеся образованных слоёв, они понимали друг друга, им доступен был стон и ожидание общества, чего венценосец никак не воспринимал.

Но уговоры Алексеева прошли зря, и, не дотягивая вечера, он лёг.

Тут вдруг — сам Государь пришёл в помещение генерал-квартирмейстерской части, принёс телеграфный бланк для Голицына и ещё специально передал Алексееву через Лукомского, что решение окончательно и докладывать ещё что-либо по этому вопросу — бесполезно.

И именно от такой передачи Лукомский стал уговаривать Алексеева — снова подняться и идти обламывать: в этой оговорке Государя не было ли уже начала сдачи?

И в своём дурном состоянии Алексеев снова побрёл убеждать царя: упущенное время бывает невознаградимо и от таких минут может зависеть жизнь государства. Правильно было посылать войска, но и правильно уступить с правительством. Гораздо лучше бы — обойтись без всякого кровопролития и насилия, а скорей обернуть все силы страны к делам войны.

Всё снова зря. Хотя довод избежать кровопролития всегда отзывен был у Государя — а сейчас он не слышал о министерстве, как заколодел. И стал у него голос глухой, без тембра, без окраски, и щёки впалые. Да таким осунутым он и вернулся из Царского Села.

Ладно, в конце концов, не больше же всех Алексееву нужно было решать государственные вопросы за всю их династию.

Пошёл лёг.

Но тем временем Государь принял внезапное, а в нынешних условиях ошеломительное решение: немедленно, сегодня же ночью, выезжать в Царское!

Ведь вот же и брат разумно просил его не ехать! — зачем же ехать при таком опасном положении? Алексеев надеялся ещё завтра отговорить Государя — а он ехал уже сегодня? Это не вмещалось ни в какую нормальную голову! Как же мог в такую смутную минуту глава государства и Верховный Главнокомандующий покинуть центр командования и центральный узел всех воинских телеграфов, покинуть верный ему 7-миллионный фронт от Балтийского до Чёрного моря, и с этой превосходной устойчивой позиции, откуда направлялись действия армий,— поехать без реальной охраны по незащищённым путям в самую близость бушующей взбунтованной столицы?

А ещё и того опасался Алексеев, что когда Государь соединится с супругой — его уж не уговоришь ни к малой уступке, только здесь и пробовать.

Свинцовыми сапогами опять потащился начальник штаба.

И опять бесполезно.

Такой у Государя твёрдости, такой ослеплённости и оглушённости не помнил Алексеев за полтора года.

Ладно, закусил удила — пусть и едет.

Только непонятно было, как же они будут связаны с утра, когда поезд будет в движении?

Ещё послал двум фронтам распоряжение охранять примыкающие к маршруту железные дороги от беспорядков.

Тут Северный фронт доложил, что полки в Петроград назначены и через сутки будут там.

Ну, как будто всё предусмотрено и всё налаживалось. Теперь-то, в час ночи, мог, наконец, Алексеев дотянуться до постели?

Дежурный подполковник доложил ему о таком разговоре с Главным штабом из Петрограда: что по всему городу стрельба, доставка телеграмм невозможна, все телеграммы с двух часов дня лежат на телеграфе, и там опасаются, что вот-вот прервётся телефон.

Но тут принесли ещё более странную телеграмму, не от кого-нибудь, а от самих петроградских телефонных чиновников: что они окружены со всех сторон мятежниками, стреляют пулемёты. Не могли переслать даже высочайшей депеши председателю совета министров, ни единой вообще, и есть опасность не успеть уничтожить все прежние, не попали бы в руки мятежников. Просят больше никаких депеш в Петроград не посылать!

А царь уже уехал на вокзал, в свой поезд.

Ну, упёрся, так пусть едет.

Что ж поделать: распорядился Алексеев никаких телеграмм в Петроград не передавать, лишь поддерживать техническую исправность линий.

Ещё подали запоздавшую телеграмму Хабалова, пять часов в пути вместо часа: что большинство частей изменили своему долгу, что к вечеру мятежники овладели большей частью столицы, верными присяге остаются лишь небольшие осколки разных полков, стянутые у Зимнего.

Эту телеграмму Алексеев ещё послал царю вослед, в поезд. Пусть почитает.

163

Зимний дворец был нежилой — и жилой (часть залов под лазаретом и прислуги же сколько). После холодноватого темноватого Адмиралтейства эти тёплые, ярко освещаемые вестибюли с зеркалами и цветами, мраморные лестницы под коврами, первые же комнаты с мягкой красивой мебелью, дорогими занавесями,— одно преддверие нескончаемых богатых анфилад было воистину царским местом. И жаль было эту красоту и лепость разрушать обороной.

Но и старшие, знавшие о богатстве дворцовых кладовых, и рядовые, могущие догадаться, что такая роскошь не живёт без изобилия припасов,— все предчувствовали, что сейчас по крайней мере наедятся за день.

Конечно, не диваны были здесь для людей, но сами тёплые наблещенные паркетные полы уже манили сесть и лечь. Люди размещались. Поставив во дворах коней и орудия, через внутренние двери втягивались кавалеристы и артиллеристы. Офицеры сами, или посоветовавшись со старыми доброжелательными дворцовыми лакеями, искали и указывали своим, где лечь. Ставили наряды у многочисленных дверей, а с пулемётами поднимались на второй этаж, проходили сказочные пустынные залы — с пустующим троном, изукрашенные гербами, в колоннаде белого мрамора и с Георгием Победоносцем, малахитовый, широченные коридоры, изувешенные портретами сотен генералов наполеоновской войны,— и занимали позиции у окон по нескончаемо-длинным стенам на площадь и на набережную.

Ночь должна была пройти как-нибудь и так благополучно, без стрельбы, а утром просить смотрителя распечатать окна, глухо закрытые на зиму, чтобы стёкол лишних не бить.

Странно переместилось: постоянный житель этого дворца, чьё величие должна была хранить и возвышать эта роскошь,— давно пренебрег этим местом, покинул втуне, не жил здесь, но когда подошла решающая минута, то последние верные пришли именно сюда.

Всем, кто переступил порог этого дворца, хотя бы дверей задних и боковых,— сообщалась особенность места.

Штаб генерала Хабалова разместился на первом этаже в больших комнатах с коврами, картинами, мягкими диванами и креслами. Даже ещё не расположились, ещё не имели времени обдумать новый план действий и обороны —

как с опозданием спустился к ним поднятый ото сна управляющий дворцом генерал-лейтенант Комаров и решительно протестовал против их самовольного военного вторжения по праву силы и категорически заявил, что он не может допустить пребывания их здесь без разрешения министра Двора, графа Фредерикса, находящегося как известно в Могилёве.

Если из командующих генералов кто и был поражён, то только не Хабалов (да и не Тяжельников). Весь минувший день Хабалов не командовал, а стыл в ожидании того, что произойдёт само. А происходить могло только всё худшее и к худшему, он уже понял и теперь ничему не удивлялся — и покорно принял, что в Адмиралтействе они нежеланные гости, и вот — нежеланные гости в Зимнем. Он уже много часов ощущал отряд как тяжесть на себе, и не радовался никаким подкреплениям, потому что тяжесть только увеличивалась,— впрочем, не увеличивалась, а со всеми подкреплениями всё такая же и оставалась, полторы-две тысячи человек, остальные незаметно подтаивали. И всё такой же малый запас патронов. И никакого фуража. И никакой еды. И с этой полудюжиной рот он готов был брести куда-нибудь и дальше.

И Беляев как-то не чувствовал себя министром, особенно против дворцовых царских порядков. Да он — потерян был, он сам еле ушёл из-под стрельбы, и ему тоже некуда возвращаться: в довмин уже наверное нагрянули с арестом. (А собственно: что он плохого успел сделать за своё короткое министерское правление? Почему Государственная Дума так несправедливо плохо относится к нему?)

Но энергичный Занкевич, который и придумал весь этот символический переход и понимавший, что уже и выбора никакого не остаётся,— стал настойчиво спорить с управляющим дворца. Нужно получить разрешение? — будем его получать, а пока остаёмся здесь.

А связь была — особым (и ещё не повреждённым) проводом с Царским Селом. Не Могилёв, так можно получить все разрешения из Царского Села.

Стали телефонировать туда.

Оттуда подошёл царскосельский помощник дворцового коменданта генерал Гротен, затем обер-гофмейстер граф Бенкендорф. Нет, связи с Могилёвым у них сейчас нет, и испросить мнение графа Фредерикса они бессильны. Тревожить докладом Ея Величество — до утра невозможно. Сами они тем более не могут решить такого вопроса.

Генерал Занкевич быстро смышлял, что — и не надо, сами тут останемся. А вот — дайте разрешение накормить отряд из дворцовых запасов.

Но к удивлению — и это малое Бенкендорф тоже был не в праве разрешить. Он уверял, что продуктов во дворце вообще мало, и надо кормить лазарет на 350 человек, и врачебный персонал лазарета, и именно в такие дни их запас должен быть длителен. И ещё же дворцовая прислуга. И звал к телефону генерала Комарова — и тот говорил ему то же самое. Но что-то, что-то может быть попробуют всё же выделить?..

Самому-то штабу лакеи по собственному почину уже принесли горячего чаю с хлебом.

У телефона менялись. Генерал Гротен, несмотря на глубокую ночь, разговаривал бодро и начальственно:

— Что там, у вас в Петрограде, происходит?

Градоначальник Балк ответил:

— Уже всё произошло. Теперь генерал Хабалов с войсками не может найти места, где расположиться.

— Меня интересует,— настаивал Гротен,— наступил ли уже порядок в городе?

Стали ему объяснять подробно. Тон его переменился.

— Тогда я прошу вас утром своевременно мне сообщить, если мятежные силы направятся в Царское Село.

А вот что, пусть перечислят, какие силы у генерала Хабалова сейчас. Какая конница? Великолепно, так конных жандармов отправьте немедленно в Царское Село для несения разведывательной службы.

Начались ещё эти новые переговоры. Командир жандармского дивизиона генерал Казаков доказывал, что их казармы заняты бунтовщиками из первых,

ещё утром, и люди и лошади не кормлены уже скоро сутки. Что лошади не подкованы на острые шипы — и если пройдут 25 вёрст, то не смогут нести разведывательной службы.

А генералу Хабалову было всё равно — так ли, этак, он ни на чём не настаивал.

А военный министр, как будто старший из генералов тут, не участвовал во всех этих спорах. Он спросил, где есть ещё телефон, перешёл туда и в укромпости позвонил в Государственную Думу Родзянке: предупредить его, что на Петроград посланы с фронта войска.

В прошлый звонок из Адмиралтейства он не поспешил сообщить эту новость мятежникам, чтоб не увеличить их сопротивление. Но это — неверно. Недопустимо рассматривать Государственную Думу как врага правительства. И Беляев говорил сейчас с Родзянкой очень любезно, если не даже предупредительно. Охотно сообщил, что звонит из Зимнего дворца, где находятся сейчас последние войска Хабалова. А новость о полках он никак не мог передать раньше, ибо был обстрел дома военного министра и пришлось оттуда отступать. Эту новость он передавал теперь со стыдливостью за армию, как если б сам не был военным министром: да, вот так: четыре пехотных полка и четыре кавалерийских, под общим командованием генерал-лейтенанта Иванова.

А к Хабалову явился обескураженный командир гвардейского кавалерийского полка, чьи эскадроны разместились в манеже Конной Гвардии: к нему пришли какие-то выборные от эскадронов, что они не хотят оставаться без пищи и фуража и сейчас уходят в свои казармы под Новгородом, а офицеры пусть как хотят.

И эти офицеры тоже теперь притянулись кучкой сюда, увеличивая собою штаб Хабалова при всё уменьшающемся отряде.

А Хабалову было всё равно: чему наступить — тому наступить, и ничего не может исправить воля никакого генерала.

От старшего до младших весь отряд закисал, дремал, ждал решения,— да ждал же и еды. Никто о том не объявляет — но сама опускается вниз эта тягучая неопределённость.

И вдруг! — сверкнуло по всему дворцу, по всем его помещениям, коридорам и дворам — известие, что приехал родной брат царя — великий князь Михаил Александрович! Никто о том не объявляет — но стремительно доходит такая весть до всех.

И оживила всех! и придала новых сил! Целодневное их мучительное, бесцельное перетаптывание, переживание измучили людей пуще голода. Таких же не было глупых солдат, кто бы не понимал, что дело проигрывается час от часу, что городом завладевают восставшие — а положение их, всё ещё зачем-то чему-то верных, становится всё безнадежней и безнадобней.

Но вот, в этот царский дворец, в тяжкую минуту последних верных войск — среди ночи примчался сам брат царя! — чтобы возглавить их на смертный бой! а если нужно — с ними вместе умереть за это священное царское место.

И — все взбодрились! И откуда прилили к ним вновь — и терпение, и смысл, и отвага! Они оказались именно в том главном месте, для чего была вся присяга их и вся служба!

Брат царя — почти всё равно, что сам царь!

Ждали, что он — построит, выйдет, скажет! Да и накормит.

164

С квартиры Беляева, после неудачного телеграфного разговора со Ставкой, великий князь Михаил Александрович в сопровождении секретаря Джонсона поехал на автомобиле к Варшавскому вокзалу, ещё рассчитывая застать последний ночной гатчинский поезд.

Но от Троицко-Измайловского собора и дальше к вокзалу всё колыхалось в мятежной неразберихе: бродили какие-то толпы, ездили шумные грузовики,

стреляли, кого-то тащили на расправу, били,— докатился мятеж и до измайловских кварталов, ещё перед вечером тихих. Тогда удалось тут проехать на автомобиле спокойно — сейчас нечего и думать, до вокзала не допустят.

После нескольких попыток выжидания, объезда, потом попыток вырваться прямо на Гатчинское шоссе — хотя 50 вёрст по ночной снежной дороге в мороз тоже были риском, приходилось великому князю с досадой признать, что захлопнуло его в Петрограде и где-то придётся переночевать. Проклинал Михаил Александрович этого неуёмного Родзянку. (Да ведь Наташа сказала — поезжай!) Проклинал весь свой бесполезный приезд, только обидел, очевидно, брата и вступил в размолвку с ним.

Так хотелось сейчас к Наташе! Но не избежать ночевать где-то в Петрограде. К Джонсону? Как раз тот район бурлит. В своё управление на Галерную? Тоже там неизвестно что делается в тёмных улочках. Да и по любой улице Петрограда сейчас опасно ехать, даже и ночью, даже и с большой скоростью,— могут остановить. Не обидно погибнуть с достоинством на фронте — но обидно попасть в грязные руки мятежников. Да не всякого и хорошо знакомого потревожишь во втором часу ночи с ночлегом. А вот что! — более спокоен остаётся район Дворцовой площади. Мелькнула мысль поехать просто в Зимний дворец, хотя никогда не было обычая останавливаться там.

Но каково было его удивление: застать не дремлющий тёмный дворец, с одною прислугой,— но светящийся и наполненный войсками! Ну и сюрпризная ж выдавалась ночь.

Лёгким невесомым шагом Михаил Александрович поднялся на второй этаж, в один из кабинетов,— и тут же нагнал его управляющий дворцом Комаров с жалобой на захватное самоуправство войск, которые выставить следует сейчас же, иначе утром начнётся бой и пострадают бессмертные ценности Зимнего. Комаров отчаялся связаться с Могилёвым, из Царского Села не взялись ему отчётливо приказать, собственной власти ему тем более не хватало — и он безмерно был рад приезду великого князя (на которого во всяком случае и перекладывалось теперь всякое решение). А лучше бы — выставить.

Как перед всяким ответственным решением, отяготился Михаил Александрович. Но предполагаемое выглядело весьма справедливо. Взять на себя разрушение Зимнего, этой жемчужины Романовской династии, Михаил Александрович не мог, тем более теперь, ожидая упрёков от брата, разгневанного его сегодняшним вмешательством в государственные дела. И что, в самом деле, за нелепая мысль была — ввести войска в Зимний? Будто на одном здании сошлась им вся столица, мало было места, где биться без него? Эпизод с восстанием окончится через несколько дней — а вечный Зимний будет разрушен? Нет!

Да и какие потом будут разговоры, что в народ стреляли из семейного дома Романовых! Зимний дворец — и против народа? Как ясно он увидел решение на лице умницы Наташи. Наташа всегда внушала ему, что красиво и благородно сочувствовать общественному движению. Она и принимала многих из них. Сейчас — категорически бы заявила: и разговору быть не может!

Увидел Наташино решение — и как сразу стало легче. Боже, как она нужна ему всякую минуту! Как он любит её, как полюбил её с первого момента, едва она появилась, жена его полкового офицера, и сразу их потянуло друг ко другу, и она стала любовницей задолго до того, что женой. Какой жар. Какой дар. Какая умница!

Велел призвать к себе Беляева и Хабалова.

Пришли — маленький насупленный большеухий Беляев, съёженный и почерневший за эти два часа, что они не виделись. И свинцово тяжёлый, невыразительный Хабалов, медлительная развалина.

По своей большой природной мягкости Михаил Александрович не стал ругать их за промах. Но указал, что они совершили ошибку и надо её исправить немедля: войска — вывести из дворца.

Хотя два часа назад великий князь был запросто гостем Беляева, пил чай в его кабинете — но генерал Беляев от того не сохранил никакого права обсуждать или оспаривать мнение государева брата. Да не он, а Занкевич

придумал этот Зимний дворец, Беляев и не считал это здание пригодней какого-либо другого, он и не имел довода возразить.

А Хабалов, кажется, не имел силы и вообще языком шевельнуть и выразить хоть какое-нибудь мнение.

И они ушли распоряжаться. А великий князь стал готовиться ко сну, лакей уже постелил ему в одном из покоев.

Итак — уходить, но куда же было уходить?

Кто-то предложил перейти в Петропавловскую крепость.

Правда, Петропавловская и весь день была их. Там стояло гарнизоном несколько кексгольмских рот, и никакого боя не вели.

Позвонили туда. (Телефоны действовали безотказно, измайловцы всё удерживали телефонную станцию.) К телефону подошёл помощник коменданта крепости барон Сталь. Спросили его: есть ли возможность пройти к ним без боя, и что в крепости? Сталь ответил, что крепость свободна, но на Троицкой площади видны вооружённые мятежные толпы, и у них есть броневтомобили, а на Троицком мосту, кажется, баррикады.

Не обрадовал.

Набережную до Троицкого моста да и сам Троицкий мост, даже и площадь за ним — в полчаса можно было исследовать собственной разведкой. Но раз говорил офицер из крепости — что ж тут было проверять?

Пробиваться? Было у них при пушках 60 снарядов да полторы тысячи человек. Но если не нашлось духа на атаку минувшим днём, когда ещё не были изморены голодом и бессонницей,— то сейчас и вовсе не теплилось порыва ни у кого.

Стояла первоклассная крепость, вот она, через Неву, подать рукой,— а дотащиться до неё порыва не было.

Все генералы — устали, и все впали в уныние.

Куда ж? Опять в Адмиралтейство...

Будили. Велели строиться. Так и не покормленным.

Поднимали, строили людей, не дождавшихся выхода сияющего государева брата.

И командовали им выходить на мороз, и тем же путём назад опять.

Сияли звёзды, крепчал мороз. Город — смолк, уже никакой и стрельбы. Заснул наконец.

И ворчали солдаты: куда нас опять? что мы дались? что за безголовые у нас командиры?

Тихо переступала конница. Хрустели по снегу колёса пушек.

В холодном неуютном Адмиралтействе садились как попало. Головы сваливались на сон.

Скоро уже и утро.

* * *

Ни куса, ни крова холопу,
Одна заклёпа.

165

Гиммер в этот вечер ставил своею задачей всюду успеть, всё видеть и всё знать. Хоть один человек в этой грандиозной неразберихе должен же был знать всё,— так пусть этот человек будет Гиммер!

Попасть в литературную комиссию ему сперва казалось по принадлежности, и он туда охотно пошёл. Но никак не думал, что влипнет с этим больше, чем на два часа. И не такое уж, кажется, расхождение между пятью социалистами (впрочем, Пешехонов — с раздражающим буржуазным уклоном), а то ли игра самолюбий, или отупели все к глубине ночи после такого дня, или грозность боевой обстановки,— но на этот документ в полстранички они по-

тратили сил, времени и споров, будто сочиняли проект новой конституции России. Сам Гиммер это воззвание написал бы в 15 минут — и оно было бы блестящим. Он и так всё время пытался писать собственной рукой, фразу за фразой и поскорей,— но от него требовали отчёта, что он написал, критиковали в прах — и надо было начинать всё с начала. Когда очень уж упирались друг между другом медлительный респектабельный Пешехонов и упрямый подавительный Нахамкис — Гиммер клал листок, говорил: „я сию минуту",— и убегал.

Ему надо было успеть знать: а) что делается в штабе обороны; б) что делается в думском Комитете; в) что делается в центре царских войск.

Последнего он ни от кого, никак узнать не мог — но и никто в Таврическом этого не знал тоже. Перед Военной комиссией толпился всё время народ и стояли несколько церберов, не пропускавшие внутрь, и скамейки поставлены, как баррикады,— но всё равно и в главной комнате, куда Гиммер пробирался, было полно бездействующей и посторонней публики. Масловский всё крутил глубокомысленно карту Петрограда и выслушивал всякие внеочередные заявления и неотложные вопросы. Не подтвердился слух с переходом Кронштадта, не подтвердился слух с капитуляцией Петропавловки, но и не подтвердилось, что сто семьдесят какой-то полк движется с боями от Николаевского вокзала сюда: то ли он вообще не прибывал и не высаживался, то ли был распропагандирован уже на Знаменской площади, этого выяснить так и не удалось.

Зато новость из думского Комитета сама ввалилась к ним на заседание литературной комиссии — и Гиммер искренно аплодировал ей: это и был как раз его замысел, о котором он толковал последние дни,— заставить буржуазию взять власть! И вот — она взяла!! Без этого — был бы военный бунт, городской мятеж, никакого авторитета в обществе и легко бы подавлялся. Но теперь цензовая общественность легально закрепляла происшедший переворот, брала всю ответственность за него — на себя! Это и требовалось! Теперь намного ослаблялось положение царской власти и намного укреплялось положение революции!

Правда, возникала другая опасность: опасность создания буржуазной диктатуры. Но именно её-то и могла не допустить демократия, Совет рабочих депутатов, выгодно находясь за спиной думского Комитета и даже в его собственном помещении.

Перед лицом царизма надо было заставить буржуазию взять власть. А за спиной буржуазии — позаботиться, чтоб эта власть не стала реальной.

Наконец, вырвался Гиммер из несчастливой литературной комиссии, оставили Шехтера перепечатывать воззвание на машинке — и с Соколовым и с Нахамкисом ринулись в заседание Совета, который всё ещё продолжался, хотя заходило уже за два часа ночи.

Работа Совета была в полном разгаре! — но уже и с признаками разложения. Уже не сидели на всех стульях, ни на всех скамьях, но некоторые стояли, переговаривались и проявляли нетерпение. В комнату насочилось посторонних, и они тоже не держались у стен, но надвинулись на собрание и смешивались с депутатами. Все уже плохо друг друга понимали и плохо держались на ногах.

Последний час, оказывается, вёлся спор: входить или не входить членам Совета во Временный Комитет Государственной Думы? Была точка зрения Керенского и точка зрения Чхеидзе (хотя Керенский больше в Совете не появлялся, а Чхеидзе присутствовал лишь временами). По Керенскому было: входить без сомнения (там он и кипел уже). Чхеидзе считал, что нельзя украшать своим присутствием и освящать авторитетом социал-демократии орган Прогрессивного блока; сам он вошёл в этот Комитет только до вечера, до апелляции к Совету.

Наконец, после утомительных прений, склонились к тому, что надо входить. Входить — и следить, чтоб ни одно важное действие не предпринималось без Совета рабочих депутатов, чтоб за спиной восставшего народа они не протаскивали остатки царизма.

Теперь Совет мог расходиться или считаться разошедшимся,— но доставалось бурлить Исполнительному Комитету. Во-первых, заявил Гиммер (наперебой с Соколовым), что сейчас принесут воззвание, и надо его обсуждать. Во-вторых, поднимался вопрос, где ж его печатать. В-третьих, ещё более общий вопрос, что не может Совет Депутатов существовать и действовать, не имея собственной газеты. Питер уже три дня без печатного слова и нуждается получить первые сведения из рук демократии.

Но тогда возникал ещё более широкий вопрос: а как с другими газетами? Возникли прения уже по этому вопросу, некоторые садились снова. Соколов отстаивал принцип свободы печати, и чем быстрей восстановятся нормальные условия жизни, тем крепче будет стоять революция. Но Нахамкис грузно выступил, что неразборчиво и опасно было бы дать свободу всей прессе, это может привести к печатной черносотенной и контрреволюционной агитации.

И Исполнительный Комитет принял его предложение: разрешать выпуск газет лишь в зависимости от их индивидуальности.

Гиммер был на стороне Соколова, но всё равно его восхитило это голосование! Восхитительно здесь было то, что ни у кого из голосовавших ни одну минуту не возникло сомнение: а Совет ли рабочих депутатов должен решать свободу газет? Никому в голову не пришло, никто и полслова не прохрипнул, что этот вопрос надо бы уступить власти думского Комитета!

Это был — акт защиты революции, и нельзя было его предоставлять правительству из думского крыла! Даже не было нужды доводить до его сведения.

Да кому ж подчинятся типографские рабочие, если не Совету? Надо назначить комиссара по типографиям — и брать их в свои руки. Сразу выдвинулся и был признан комиссар по типографиям — пузатый Бонч-Бруевич, перепоясавшийся ремнём: и чтоб военный вид себе придать и чтоб живот подобрать. Он объявил, что типография газеты „Копейка" уже и без того захвачена, сейчас он отправится туда — и будет печатать воззвание. (Воззвание прослушали один раз через зевоту — и приняли без прений и без голосования.)

Сунулся Пешехонов с обывательским возражением, что недопустимо захватывать частные типографии,— подняли его на смех, слушать не стали.

Гиммер стал собирать своих сотрудников по „Летописи" — как захватить редакцию подготовляемой газеты Совета, создать там своё большинство.

Шёл уже четвёртый час ночи или утра — но всё не кончалось заседание Исполнительного Комитета или ещё полного Совета, а расползлось в многоголосую беспорядочную беседу кого попало с кем попало, и, кажется, никаким нормальным образом оно уже не могло кончиться, как только если снаряд разорвётся в куполе Таврического дворца. Так разболтались, как будто вся судьба революции уже была обеспечена, и только оставалось решать будущее направление республики.

Гиммер снова сбегал в Военную комиссию за новостями, опять пробрался через часовых и через баррикады скамеек — но застал всё тех же Масловского и лейтенанта Филипповского, ещё появился известный инженер Ободовский, нервный от бестолковщины,— всю ту же картину полного незнания обстановки, бесплановости, безаппаратности, беззащитности, беспомощности, ни одной воинской части — и только слухи: из Ораниенбаума и из Царского Села движутся полки на Петроград — неизвестно какие, неизвестно с какой целью, но скорей же всего — для подавления. А о Петропавловке снова шёл слух, что оттуда звонили и нащупывали, как бы сдаться Государственной Думе.

Вот и помогало звание Государственной Думы, помогал Родзянко! Отлично!

Впрочем, переставал уже бояться Гиммер и Петропавловки, и этих полков. Хотя эту ночь Таврический, кажется, держался ни на чём, в сквере — несколько костров, несколько пыхтящих военных автомобилей, пара никем не обслуживаемых пушек, ничто бы не устояло против единственной организованной роты,— но ночь проходила — а Хабалов такой роты не присылал.

В Военную комиссию кто-то принёс кастрюлю с котлетами, без вилок, и белого хлеба. Гиммер тоже пристроился.

166

Близ кабинета Родзянки была полукруглая комната с мягкой мебелью, которую называли „кабинет Волконского" по прежнему товарищу председателя, последнее ж время она кабинетом не была, служила для частных бесед, малых совещаний.

Для бесед была очень удобна, а вот для ночёвки никак: не было в ней ни одного большого дивана. На маленьком поместился, скорчась, Коновалов, на единственном тут столе, сняв ботинки, улёгся Милюков на своей меховой шубе (из гардеробной все думцы разобрали своё верхнее платье, при таком нахлыне народа опасно было оставлять) — и уже спали! Что спал Коновалов — нечего и удивляться: здоровый, телесный нестарый мужчина, кроме того всегда с налётом сонности, даже когда усердно работал. Но поразительно было, что так быстро и крепко заснул Милюков: казалось бы, вождю Прогрессивного блока в такую ночь не уснуть, должны были разрывать его мысли, планы или сожаления, или он должен был раздавать поручения своим сторонникам,— а вот, показывая, насколько он ещё не истрачен нервами, спал в неудобном положении, даже не ворочаясь, и равномерно уверенно прихрапывая.

Горел в комнате верхний свет.

Сколько лет работали вместе ведущие думцы, делили заседания, беседы, завтраки и обеды, но в простом бытовом виде никогда друг друга не видели: с распущенным галстуком или вот ботинки сняв, в одних носках, или узнать, кто храпит, кто нет.

А Шульгин с Шингарёвым, обсудив, что слишком далеко им идти на полночи в глубь Петербургской стороны, на Монетную, да ещё под обстрелом, однако прозевали захватить где-нибудь диванчик или кривоспинную козетку, как Керенский в одной из комнат. Шингарёв где-то лёг на полу, подстелив ненужные бумаги, нравы опростились за один день. А Шульгин нигде не пристроился и пришёл доночёвывать сидя, в мягком кресле за овальным столиком.

А в другом кресле тут же сидел самый приятный сосед — Василий Алексеевич Маклаков. Ему не так было далеко домой, но он тоже почему-то остался в Таврическом.

Да что-то было в этом моменте — парадоксальность, неуяснимость, тревожное ожидание,— отчего даже и не хотелось в кровать домой, но — быть здесь, наблюдать, думать, лучше почувствовать. Ещё так колыхалось в них возбуждение этого дня, что они и без большого усилия сидели, хотя два часа пополуночи.

Да уже то было хорошо, что как будто сюда, в эту комнату, к ним не могли ворваться. Всего несколько часов наплыва этих масс, или рож, или черни, или народа испытала Дума,— и вот уже в собственных думских залах они стали с радостью видеть знакомое думское лицо как соотечественника на чужбине.

Кто бы не понял, что миновал самый необыкновенный день их жизни! Ещё он не обмысливался и не укладывался. Впрочем Шульгин, не без злорадного удовольствия и к самому себе, предупредил:

— Попомните, Василий Алексеич, это — первая наша неудобная ночь, но далеко не последняя.

Маклаков с подкупающей своей улыбкой:

— Какая задача может быть благороднее, чем наблюдать нравы?

И тут — не только шутка была, Шульгин тоже это чувствовал: да! чёрт с ним с сидячим положением, а хотелось именно — наблюдать. И думать высоко. Как бы смотреть на всё происходящее с высокой-высокой-высокой вершины. Да ведь это и был тот радостный толчок, прыжок, которого почему-то вопреки всем соображениям безопасности всегда жаждет наше сердце.

И он напомнил:

— Да это и был ведь ваш тезис: если у нас власть не умеет быть мыслью — пусть мысль станет властью!

Да у Маклакова было много тезисов. Был и такой, напечатанный в „Русских ведомостях": когда же наступит то вожделенное время, когда мы с *Ним* рассчитаемся! Последние месяцы Маклаков не очень скрывал, что заранее знал и о замысле убить Распутина и даже сам дал Юсупову свинцовый кистень из своей адвокатской коллекции. Как-то это не считалось выходом за законность.

Маклаков глубоко внимательным взглядом встретил фразу, как будто с удивлением: его ль она?

Ответил тихо-явственно — они одни разговаривали в комнате — и тем отчётливей было всякий раз заметно его смягчённое „р":

— Да, но мне противен меч. Я не хочу меча. Мы ведь всегда хотели избежать революции. Мы для того и добивались свалить правительство, чтоб избежать революции. И вот...

А Шульгина подымала какая-то романтическая лёгкость:

— Во-первых, это ещё не революция, ещё посмотрим. А произошла — так пусть! Непреднамеренный путь, неожиданный поворот — но в этом история! Мы же любим читать о великих событиях прошлых веков — почему не любим переживать сами? А рассуждайте от обратного. После отступления Пятнадцатого года мы все говорили: э т о г о простить правительству нельзя! Отчего мы все и пошли в Блок. Правительство, которое сумело отступить до Ковно и до Барановичей, и дало возникнуть панике даже в Риге и в Киеве,— какое имеет право оставаться у власти? Вот его и устранили, одним ударом. И мы даже обязаны радоваться. Даже если оно восстанет без *облечённых доверием народа* — то уже не в прежнем позоре, нет! У нас никогда не хватало сил разорвать этот обруч, который нас душил,— и вдруг в один день они все разбежались?!

— Как ска-зать...— потягивал Маклаков. Никаким спором его никогда нельзя было увлечь на одну сторону: он всегда сохранял холодок равновесия и внимание к противоположным доводам.— Ещё надо понять, в каком направлении мы идём, и продолжаем ли мы дело России. Ведь лозунг Блока был: „всё для войны"? Ведь это же не отменено? А сегодня всё, что произошло,— это для войны? Или для немцев? Вот начнут сейчас бить свои фабрики и заводы — кончилась наша оборона и война.

Бурные события этого дня как бы оставили Маклакова в стороне: он не выступал на частном совещании, он не вошёл и в думский Комитет. Происходящая постепенно передача власти всё ещё не затянула его в свою воронку — хотя он был несомненный первый кандидат стать министром юстиции. Но пока отстранённо и свободно он мог размышлять:

— Русский народ — великолепный материал. В умелых руках. Но предоставленный сам себе он может проявиться дикарём. Как научиться нам исправлять недостатки, не нарушая самого государственного здания?

— Да помилуйте! — воскликнул Шульгин.— Да кто же трогает всё государственное здание? Да оно незыблемо во веки веков! Это — всего лишь петроградский эпизод, он за два дня войдёт в колею. Идут же войска какие-то с фронта.

— А Дума — во главе мятежа,— указал Маклаков.

— Ну-у, не во главе! Мы — во главе народного доверия. Хотя,— засмеялся и сам себя исправил,— в буфете пока разокрали все серебряные ложки. Да, русский народ должен состоять в хороших руках. Но монархия и есть такие руки.

— Монархия — лучше управляет страной, да. Но настроению общества больше соответствует парламентарный строй. Самодержавие приспособлено для бурь. А в мирные эпохи оно вырождается. Очевидно, неизбежно.

— Да-а, времени терять нельзя,— согласился по-своему Шульгин.— Надо укреплять центральную волю, иначе может и разлететься. Кто-то должен молниеносно сообразить и действовать. Заставить себе повиноваться. Но где этот кто-то? — Вздохнул.

Не знали они такого. Милюков? — даже смешно сказать, поглядев на него на спящего, без очков.

Маклаков смотрел в ковёр под ногами, выискивая в узорах:

— В смутные эпохи выдвигаются люди по тщеславию, по зависти, по злобе. По неумению быть справедливыми. Настоящие великие люди, то есть

кто видят Россию дальше других,— они мало участвуют в таких событиях. Да всякая партийная борьба отучает быть справедливым.

Да что ж это, к трём часам ночи — и негде было спать, да и не засыпалось. От бессонницы не на что себя употребить.

И ещё Маклаков, полузвучно:

— Все мы чувствовали, что идём к какому-то рубикону. И вот дошли. А если уж раскачается Россия — никакая сила её не остановит...

Насколько же кресла хуже стульев, никогда этого не понимали: стулья можно сдвинуть три-четыре, вот и постель. А из лучших кресел никак не составишь постели, подлокотники мешают.

Но ждём же мы иногда железнодорожных пересадок и спим сидя? Надо научиться спать и в кресле. Вряд ли завтрашний день будет покойней сегодняшнего.

Маклаков взвешивал довольно мрачно:

— Самое опасное, что мы с первых же шагов — не ведём событий. И куда же они зайдут? А если солдаты не вернутся в казармы — что мы с ними можем поделать?

И ладя голову к спинке кресла:

— Мы привлекли Ахеронт к борьбе — мы сами изменимся в этом.

167

Но — не дали поспать старику-генералу! Часа в два ночи в вагоне адъютант разбудил Николая Иудовича: что Государь внезапно уезжает из Могилёва, сейчас уже в своём поезде и вызывает его к себе.

Что ещё приключилось? Не худо ли дело? Трясущимися руками одевался, перепоясывался.

Как всегда начальство: вызывает потому, что самому удобнее. Как и Иванов же поднимал подчинённых в пять утра. Государь был в поезде, а поезд не шёл, вот и вызвал.

Императорский поезд стоял изнутри тёмен, без единого огня, с наглухо зашторенными своими широкими окнами. На перроне никого не было близ. Только стояли конвойцы-часовые, при кинжалах и в чёрных мохнатых папахах.

Нет, было у Государя и прямое дело к посылаемому генерал-адъютанту: только что пришла новая телеграмма от Хабалова: большинство петроградских частей отказались сражаться против мятежников и даже некоторые братались с ними, обращая своё оружие против войск, верных Его Величеству. И вот уже едва ли не вся столица в мятежных руках, стянулась защищать последний Зимний.

(Ох-хо-го, ох-хо-го, куда закатилось!.. Куда ж и зачем теперь Иванову ехать?.. Каким же Округом там командовать?)

Всякий раз, когда через силу встаёшь, натура противится тому, что хотят тебе навязать. Но постепенно бодрь перебарывает ночную лень, и начинаешь соображать, что нужно делать.

Надо было: каким-то обиняком получить согласие Государя на не слишком уж решительные действия. И смекнул Иудович представить дело так: воинские части будут прибывать из разных мест. В эшелонах они уязвимы и к бою не готовы. Для того, чтобы их правильно развернуть и друг с другом согласовать — потребуется время, подержать их на дальнем кольце, не вводя сразу в столицу. Такой образ действий имеет преимущество, что можно избежать лишнего кровопролития, не начинать усобицы прежде времени.

Государь и всегда был за миролюбие, на чём они с Ивановым и сходились. А тут — повеселел с вечера, оттого что был уже в вагоне и ехал в Царское. И не оспаривая, отчасти и рассеянно ответил: „Да, конечно".

А Иудовичу — большего и не нужно было! Это „да, конечно" он мог развернуть теперь на вёрсты и на дни миролюбивых действий. Это „да, конечно" он имел право теперь принять себе за основное указание. К тому ж, кроме Петрограда, была и другая цель его экспедиции: защитить от угрозы мятежных войск Царское Село, императрицу и августейших детей.

Государев поезд ещё не скоро отходил, Государь разговаривал охотно, и генерал долго просидел у него. Говорили, как это всё постепенно уладится. (Нелегко было вообразить Иудовичу — как, если вся столица у мятежников, но они не говорили — именно к а к.) Николай Иудович выставлял разные трудности с возможной ненадёжностью войск, забастовками, с продовольствием в столице. Очевидно, ему понадобится, чтобы министры незамедлительно выполняли его просьбы.

Государь оживился и даже схватился за это: они оба с генералом Алексеевым именно и хотели иметь диктатора, единую твёрдую власть по тылу. Так вот что:

— Передайте генералу Алексееву утром, чтоб он телеграфировал председателю совета министров, чтобы ваши все требования исполнялись советом министров немедленно и беспрекословно!

Перемахнул Государь, Иудович так не продумал и не хотел. Даже дух захватило у старика: он становился не только главнокомандующим Петроградским округом — но верховным диктатором всей России?! Нет, Николай Иудович не добивался такой чести в смутных обстоятельствах. Напугался ещё больше.

— Да как же мне генерал Алексеев поверит?

— Поверит!

— Ваше Императорское Величество, вы знаете: моя честная чуждая искательства офицерская служба 47 с половиной лет...

Но — уже свершилось! Назначено бесповоротно.

На прощание предложил Государь, что завтра утром они снова увидятся с генералом в Царском Селе? (Где генерал будет уже сегодня?)

Иудович не возразил, что может ещё и не так скоро...

168

Но и в четыре часа утра, это удивительно, Исполнительный Комитет не стал хозяином в комнатах Совета: уже давно не было общего заседания, а всё стояли, гудели, не расходились — и кучка солдат, и какие-то рабочие, не рабочие, но представители районов, или просто кто ночевать тут собрался,— невозможно было Исполнительному Комитету позаседать и поговорить откровенно. И отяжелённые бессонницей, усталостью, уже отгрызшим неутолённым аппетитом, с головами тёмными, побрели, да не все, а остатки И-Ка — где б ещё им устроиться позаседать?

И брели неловкой вереницей. А Чхеидзе вовсе шаркал, не по силам ему достался этот день, был он не из орлов кавказских, а уже и за пятьдесят. И подкрепил же его этот день как восторжествовавшего патриарха, вот собрались во множестве его пасомые, но что именно они делали, решали, постановляли — он, счастливый и измученный, успевал только кивать головой или качать, согласен или не знаю. Вообще — он был согласен со всем, что делали в Совете, и не согласен ни с чем, что делали в думском Комитете. И праздником для него было председательствовать на Совете, и вот его под руку вели всё для того же.

В Купольном зале стучала машинка, заряжала пулемётные ленты. Патроны лежали грудами.

Комнаты думского крыла были заперты одна за другой, и ключи вставлены изнутри.

Екатерининский зал выглядел весь как огромная спальня. На скамьях с шёлковой обивкой и на полу лежали сотни солдат, положив под головы винтовки, подсумки, папахи, руки. Натаяло под их сапогами. Или это была — как большая поляна, где воины, застигнутые ночью на переходе, свалились, даже не выставили часовых.

Но кликни сейчас тревогу — эти воины ни на что построиться не могли.

В двух противоположных концах удлинённого зала стояли полукруглые столы с креслами вокруг, для бесед. Один такой стол члены ИК сейчас попробовали освободить себе под заседание — ничего не вышло: спящих не растолкать, не разогнать.

Тогда, измученные, потянулись по лестничке вверх, устроиться на хорах

зала заседаний. Но, оказалось: там, в прилегающих комнатах, содержат арестованных полицейских, жандармов,— и караул не пропустил даже членов Исполнительного Комитета.

Так пошли просто в большой зал заседаний?

Пошли. Тут препятствий не было.

В этом Белом зале, столько слышавшем сотрясательных речей, откуда и раскатывалось волнение общественной России, где столько гремливало аплодисментов, и проганивалось корреспондентских карандашей,— теперь почти не было света, разумно выключенного приставами, лишь одиночные слабые лампочки над дверьми. Зал перекатил своё бурление дальше на столицу, а сам отдыхал. И отдыхали одинокие фигуры, темнеющие в разных местах, в креслах амфитеатра. А кто-то лёг на полу в покатых проходах. А кто-то, оказывается, лежал и на дне лож. И тоже не сгонишь.

Но одна ложа, именно корреспондентская, осталась свободна. Исполнительный Комитет вошёл в неё, переставили удобнее стулья, и начали заседать.

Кроме живчика Гиммера, дородного Нахамкиса да двужильного Шляпникова, не оставалось, кажется, члена, который мог бы выдержать ещё это новое заседание. Чхеидзе доспотыкался, сел — и ссупулся носом.

И всё-таки заседание возобновилось.

Но теперь над ними издевательски возвышался на стене за кафедрой Председателя, в дорогой массивной раме с венком — репинский портрет царя, роста в два человеческих! Вот именно сейчас в эту сонную ночную минуту, когда весь революционный народ исполёг от усталости — над его последним недремлющим Исполнительным Комитетом так же недреманно стоял раздражающе царь и как бы наблюдал,— правда в фигуре почтительно идиотской, с расставленными носками, с фуражкой в опущенной руке, косой ленте по мундиру через плечо, как будто он не проверять пришёл, а доложиться.

Но всё равно раздражал ужасно. Тот самый царский портрет, про который Чхеидзе когда-то восклицал думцам: „вот он, смотрит на вас своими безумными глазами!" Но — и не безумными были глаза царя, и не угрожающими, и даже не величественными, а — воззрительными. Но всё равно надо его убрать поскорей, это непереносимо!

Тем временем Гиммер успевал соображать, что их воззвание приняли, понесли печатать, так и не усмотрев, не потребовав, чтоб яснее сказать о взятии власти. И — хорошо. Это сейчас лучше всего оставить недомолвкой.

А Шляпников настаивал не откладывать и вот сейчас же вводить в Исполнительный Комитет поимённо представителей от партий. От большевиков вот он уже сейчас диктует: Молотов, Шутко...

Другие завозражали: дайте же подумать! Ещё же будут назначать меньшевики, эсеры, Бунд...

Нет, не довели обсуждения, нет сил, бросили на завтра.

А вот что срочно, надо было вот что: назначить районных комиссаров, чтоб они с утра... Стали называть кандидатуры комиссаров. На Выборгскую сторону сам вызвался Шляпников, на Петербургскую придумали — назначить, он там живёт, Пешехонова, хотя он задевался куда-то. Но на все районы тоже не хватило памяти, фантазии, сил, языков. Запнулись. А что ж, принимать царское деление полицейских участков? Ну и не менять же впопыхах.

А Шляпников гнул: немедленное вооружение рабочих Петрограда.

Заспорили: рабочая милиция при заводах? порайонные сборы вооружённых рабочих?

Всё же Шляпников добился: вооружить — десятую часть рабочих. И поручили — ему.

Ещё решили: Соколова и ещё кого-нибудь командировать в Военную комиссию для наблюдения за её действиями, поскольку она подчинялась теперь родзянковскому комитету.

Пока обсуждали, спорили,— а со всех концов зала к их ложе стали собираться фигуры — растяпистые, сонные солдатские образины: о чём тут гуторят?

При них и не поговоришь. Ну, всё равно кончать.

Так в этом знаменитом зале свет люстр перешёл в тёмную погружённость, прения — в журналистскую ложу, хоры публики — в арестантские камеры, самоуверенные дневные думцы — в ночных солдатских призраков.

Кто уходил. А Гиммер кинул свою тяжёлую ватную шубу на пол ложи Государственного Совета — и лёг там.

Председатель же того Государственного Совета сидел, арестованный, через коридор — в министерском павильоне.

Темно и тихо стало в думском зале с пяти часов утра.

Но вот-вот должен был забелеть стеклянный его потолок.

Обвалившийся ровно десять лет назад.

169

Тупоносая шестиэтажная с закруглённой крышей „Астория",
часть окон светится,
как она видна мимо памятника Николаю I
вдоль Вознесенского проспекта, близко упёртого в башню Адмиралтейства.
Ночь, редкие фонари.
В полутьме на площади почти никого.
Только кучки совещаются.

Ближе.

Кучки солдат толкуют между собою,
с оглядкой,
с поглядкой на „Асторию".
Видно, что сброд, не из одной части. У кого винтовки, у кого палки.
И матросов с пяток.
Закинулись на гостиницу.
Где окна светятся в рядах, где темны.
Нижние витринные — все темны.
Ещё оглядка.
== Пустая полутёмпая площадь.
Только настороженные кучки солдат
против обоих фасадов „Астории".
А вот, ты нам и нужна!
И — сигнал! махнули!

резкий свист двупалый!

и — кинулись с обеих сторон угла!
кто откуда,
все с винтовками, с палками, с ломами!
А широкие, более двух ростов человеческих, сверху полукруглые окна-не окна, двери-не двери,—
а стёкла цельные, а за ими видно плохо, без света: что там?
А ну, как ты колешься? — тычком приклада!

Брень!

И разбилось и не разбилось, тёмная рваная дыра — а всё стекло сразу не подалось. Не как стекло бьётся, скорей как фанера.
Так по другому месту!

Брень! Брянь!

Так по третьему! — в несколько рук.
Так и рвёт дырами, ни прохода, ни проёма, гляди обрежешься.
Сгрудились у такого окна, бьют чем попадя.
А коли винтовку безо штыка обернуть, за дуло перехватить — то далеко вверх достаёт приклад,
и там садит. Такая ж дыра!
А кто-то и пульнул вверх!

Выстрел.

Да дырка мала.

Выстрел

для забавы больше.
А там — тьма.
Кто пролез — тащат изо тьмы чего-то,
тащат сюда наружу — тяжёлое.
Здоровая кадка с деревком диковинным.
Сломали ему стволок о зазубры стекла,—
да и кинули кадку на мостовую, боле насмех.
Делов! Неча тут и шарить.
Кто поумней — налево, налево побежали,
мимо ещё одного окна разбитого,
мимо ещё разбитого,
перепрыгивая ещё через кадки с цветами тоже, но помене, выброшенные,
не добычливо, а помни нас, побывали! —
дале, дале!
Спешит солдатня навыпередки, тут може на всех хватит, а може не на всех, переднему сподручней захватывать!
Дверь!! вот она, не спутаешь, тут главные ходють! Заперта.
Сгрудились, самим же доступа нет.
Бей её! прикладами! палками! матросики!
Дзень! тресь!
Шибки малы, не пролезешь.
А прикладами сюда, рассаживай! Пошла, пошла!
Тресь! крах!
Уж видит око ихнее благоденствие, там свет, да рука неймёт — ещё одна дверь, запертая!
= Но внутрях бежит генерал, руками машет!
У генерала по чёрному околышу фуражки — золотыми буквами: „Астория"!
Сейчас мол, сейчас открою, только не бейте, ради Бога!
— *А чего запираешься?*
— *А чего тут позапирались, падаль такая?!*
Дверь — на одну половинку открыл. В проходе чуть не подавились, друг друга отталкивая, кто раньше:
— *А кто тут живёт такой?*
— *Кто тут живёт? Ахвицера?*
Светло тут!
Генерал — руки распялил перед лестницей, задыхается:
— *Господа офицеры проживают. И вообще господа всякие. Одумайтесь, господа солдаты! — ведь спят оне. Приходите утром.*
— *Ха-га-га-а!.. Ха-га-га-а! Утром?!*
— *А мы из постелек повытаскиваем! Пощупаем нежно тельце!*
— *Там и барышни, надоть, с ими?*
Да кинулись — а навстречу такая ж лава! другие солдаты! и тоже-ть с матросами! и тоже-ть с оружием! и лихо на нас!
Ну, сейчас сполосуемся! Вся лава и стала.
И та, встречная, стала.
Один наш винтовку замахнул — и там замахнул, сходный.
Догадались!!
— *Эт зеркало во всю стену, не робь!*
Зароготали.
— *Ну, живут!*
= А матросики, самые быстрые, прежде всех догадались, и уже по лестнице вверх, взмётом!
вверх! вверх туда, где уметнулся кабыть в офицерской форме.
— *Бе-е-ей! Бе-ей, погоны золотые!!*
И солдаты наверх гурьбой. Туда! Шесть етажей, есть где разгульнуться!
= А самые-то сметливые — тут, внизу, приступили к этому слуге:
— *А вино — где у вас? Вино, вино показывай!*

ОТВЯЖИСЬ, ХУДАЯ ЖИСЬ!
ПРИВЯЖИСЬ, ХОРО-О-ШАЯ!

170

— Ваше Императорское Высочество! Ваше Императорское Высочество, проснитесь!

Голос был такой ласковый, такой прислужно-домашний,— он почти не будил, а сам входил как часть сна. Но тёплой хрипловатостью он повторялся, повторялся — и наконец заставил проснуться.

Это старый седой зимнедворецкий камер-лакей, с пышными струистыми бакенбардами, давно уже не избалованный, чтобы кто-то из царской семьи тут ночевал, вместо радости покоить сон высокого гостя решился войти в комнату и наклониться над постелью:

— Ваше Императорское Высочество! Во дворце становится опасно. После того как ушли войска, уже несколько раз в разные двери ломились какие-то банды. Держат только замки. Какие ж у нас есть силы отбиться?

Холодное и мерзкое пробуждение вошло в Михаила. Вот этого он не ожидал! — чтоб на дворец посягнули какие-то банды? Какие же банды могли быть в столице?

— Откуда банды?

— Бог их знает, откуда,— сокрушался камер-лакей.— Соберутся по нескольку и дикуют. Есть и солдаты. И всякая чернь. Небось, знают, сколько сокровищ у нас тут. Какие погреба.

Вполне уже проснувшись, вытянутый на спине, Михаил лежал среди атласа, в алькове. Между раздвинутыми занавесями смутно была видна крупная голова камер-лакея — там, позади него, какой-то малый свет на столе, свеча, он не посмел зажечь лампы.

Но почему ж Михаил, едва ото сна, должен был сообразить, что им делать с дверьми и как защищаться? Такая охрана должна быть кем-то предусмотрена, а что ж генерал Комаров?

— О Боже, Ваше Императорское Высочество! — всё тем же тёплым, глухо-домашним голосом няни квохтал камер-лакей, которого Михаил помнил с детства, он и в гатчинском дворце бывал одно время, и в Аничковом, вот только забыл, как звать.— Не извольте подумать, что я обременяю вас этой заботой. Я взял на себя дерзость прервать ваш сон лишь в тревоге о вашей безопасности. Ведь у нас нет вооружённой охраны, мы все старики. Этой ночью ворвались в Мариинский дворец — кто ж помешает им ворваться к нам? Они может уже и ворвались бы, да думают — здесь засели войска.

Михаил живо повернулся:

— В Мариинский? Когда же?

— Да вот после полуночи. Нам звонили.

— Так а...— Он же сам там совещался только что! — А совет министров?

— Не могу знать, Ваше Императорское Высочество. Вероятно тем и сохранился, что разошёлся.

И всё ж ещё Михаил не понимал до конца! И старик дояснил:

— Нельзя вам теперь пребывать во дворце, Ваше Императорское Высочество. Ворвутся, найдут. Здесь вам — опасней, чем где бы то ни было. Надо вам... Пока не рассвело... Перейти... Переехать... А при свете узнают.

И только вот когда вся горечь влилась в пробуждённую грудь, в очнувшуюся голову из-под родного крова он должен был ночью, сейчас, тайком, поспешно — бежать?!

Михаилу постелили на третьем этаже, рядом с неприкосновенной спальней отца, где тот жил ещё цесаревичем — но ни дня не провёл с того громового, когда деда — уже без ноги и обливая кровью мрамор лестниц, паркет полов — едва донесли до первого одра, на последние минуты жизни.

С тех пор отец — должен был скрыться в Гатчину от новых покушений. Бежал.

И — брат за 23 года царствия почти не жил в этом дворце,— бежал в Царское, бежал в Петергоф.

И вот Михаилу, пришедшему всего лишь на ночь,— предлагали так же: бежать.

Как легко подниматься в ночи по боевой тревоге — и сейчас же куда-то скакать в темноту, в строгом строе полка. Но что за мука и боль, когда при дрожащей свече тебя поднимают изгнаться из твоего родного!

Лежал Михаил на спине, как придавленный, не в силах подняться, ни даже голову, но всё ясней соображал.

И теперь ему так было видно: да, наивно же он отправился спать в Зимний дворец. Сам себя и подставил под разбой.

Спать во дворцах как бы не миновало время?

Сидел бы сейчас с Наташей в Гатчине — и горя мало. Ах, Родзянко, Родзянко, большеголовый! — заманил в западню! И мало того, что вызвал в этот хаос,— ещё и покинул без своей защиты: ведь его автомобиль пропускают везде, мог довезти до вокзала. А теперь вот здесь...?

Опасность от распущенной пьяной банды была унизительна, в ней нельзя биться как с равными и в окружении боевых друзей. Что бы ни делать, как ни поступить,— всё равно позор, оскорбленье, ущерб. Михаил не боялся скачущего немецкого гренадера — но русский пеший озлобленный солдат представился ему страшен, он почувствовал.

А что же делать? Он приподнялся. Ехать на автомобиле через город сейчас? — вряд ли безопаснее, чем оставаться во дворце,— автомобиль и вовсе бы не имел защиты от такой банды.

Куда же? В свой штаб, на Галерную? Тоже слишком известное место.

К адъютанту, графу Воронцову? Не близко.

Так он ничего и не мог? Выхода не было вообще?

Нежноликий, в ночной сорочке, великий князь с растерянным изумлением смотрел на старого камер-лакея.

А тот уже обо всём подумал, ах, старче. Ни ехать, ни пешком идти по городу нельзя, всё равно опасно. Но может быть Его Императорское Высочество может припомнить какую-нибудь вполне надёжную семью совсем близко от дворца? А лучше бы всего — на Миллионной, потому что туда выход хороший.

Если б он не сказал „на Миллионной" — быть может Михаил и не сообразил бы, долго блуждал бы мыслью. А по Миллионной только стал перебирать по домам — и вспомнил: да его же кавалергард, полковник князь Путятин, шталмейстер двора! Двенадцатый дом.

Старик обрадовался, взялся пойти телефонировать и будить секретаря Джонсона, а великого князя просил одеться, и если можно — то при свече: по внешним комнатам не следует сейчас зажигать большого света, привлекать внимание, пусть дворец как бы спит.

При свече всё выглядело иначе — лепка потолка, гардины, старинная мебель — как в начале прошлого века, как при прадеде. И дышало — веком тем и веком ещё предпрошлым. Михаил и не думал, что так глубоко чувствует эту связь с династическим гнездом,— однако же вот сегодня сразу отказал войскам расположиться здесь — потому что не место это для боя. Этот дворец — сокровище воспоминаний.

Впрочем, если б войска оставались — то не пришлось бы, пожалуй, и бежать?

А, бедные, куда они поплелись ещё? Может быть, надо было их остановить?..

Возвратился камер-лакей, ободренный: телефоном он разбудил княгиню Путятину. Самого князя нет, он на фронте — но княгиня гордится оказать приём Его Императорскому Высочеству и будет бодрствовать в ожидании его прихода.

А секретарь уже встал, сейчас присоединится.

Ещё кого-нибудь разбудить?

— Ваше Императорское Высочество,— дрожал голос камер-лакея.— Если вы доверите мне ваш вывод, то не надо более никого и посвящать. Ещё будет знать один сторож Эрмитажа и привратник Эрмитажного театра. Вы выйдете на Миллионную всего в нескольких домах от 12-го номера. Распорядитесь, как пройти по второму этажу,— я могу отпирать вам все пустые залы парадной стороны, но это дольше. А можно пройти через лазарет.

— Хорошо, родной, ведите через лазарет. И дальше как знаете.

Камер-лакей припал с благодарностью к руке великого князя. Он едва не рыдал — и от этого ещё удвоилась горечь в сердце Михаила: ещё раз передалось ему, что он не просто меняет место ночлега, перебегает на несколько часов в укрытие,— но делает что-то важное, бесповоротное, чего и не охватывал ум.

Старик принёс с собой другую свечу, заправленную в фонарь. А эту — погасил при уходе.

Он пошёл впереди и держал фонарь повыше, так чтоб сфера дрожащего света раздавалась шире.

Михаил шёл сбоку него и сзади шага на два.

А ещё сзади — Джонсон.

По адмиралтейской стороне третьего этажа они дошли до угловой лестницы, тут горели слабые лампочки. Спустились на второй. И пошли всей анфиладой, отданной под лазарет, окнами на площадь.

Этот лазарет открыла Александра Фёдоровна с самых первых дней войны, и с тех пор он был тут. Многие сотни раненых уже прошли через него, и сейчас полны были все койки.

Камер-лакей опустил свой фонарь и нёс у колена. Горели ночники кое-где на стенах и у столиков дежурных сестёр. Больные спали, не метался никто — не было свежих тяжёлых, давно не было крупных боёв, долечивались больные долгие. Один-два вставаsших, там, здесь, увидели проход молодого генерала — может быть, удивились, но не узнали. Сёстры, кажется, узнали.

От прохода лазаретными залами — отпустило томительное разлучное сжатие сердца. Вот, все мы здесь вместе, русские, скованные единой войной, единой цепью забинтованных ран. Мы все — на одной стороне. А те банды — то не мы.

Залы так высоки, что при свете ночников снизу не разглядеть потолков. Много уже лет не бывало тут балов, но Михаил ещё застал молодым, помнил. Стены тогда украшались ветками тропических деревьев и цветами из царских оранжерей. Вдоль лестничных подъёмов и зеркальных стен выставлялись ряды пальм, всё это залито было сверком люстр и канделябров — и блистали многоцветные мундиры, шитые золотым и серебряным, а на женщинах диадемы и ожерелья неисчислимой стоимости. Всё открывалось всегда полонезом. И только тут, кроме Польши в единственном месте, танцевали быструю мазурку.

Всё изчезло давно,— всё круженье, многолюдье, и погасли все света,— а вот и ночники остались за спинами. Из последней лазаретной комнаты старик отпер дверь, переходили закрытым мостиком в Эрмитаж. И он снова поднял фонарь, освещая.

Освещая петербургские виды — галерею, увешанную видами старого Петербурга, в золотых рамах. Старого Петербурга.

Промелькнули окна висячего сада, беззащитные зимние жасмин и сирень, занесенные снегом.

И ещё такой же переход-мостик, ещё порог расставания, перешли в Новый Эрмитаж.

И — опять перевилось и сжалось сердце роковым предчувствием. Почему бы, кажется, не вернуться через неделю при полном свете дня, и звеня шпорами, пройти уверенно?

А чувство было — прощания. И даже в полной тишине позвякивали шпоры чуть-чуть.

Теперь шли залами картин. Ни одну нельзя было на ходу и при фонаре увидеть как следует, а тем менее — вспомнить, Михаил и залы эти путал, а только виделись на стенах огромные натюрморты, то животные, то — лавки

с дичью, кричащее изобилие, от которого совсем не радостно сжатой душе.

А посреди залов стояли то порфировые вазы, то порфировые торшеры.

Двумя свободными ладонями Михаил закрыл лицо, сделал умывающий жест.

С каждой новой комнатой, с каждым рядом картин, этой навешанной набитой мёртвой дичью, мёртвой рыбой, бесчувственными фруктами,— заслонялась та милая домашняя покинутая часть дворца, где живал его незабвенный отец, и куда теперь не возвращалась матушка.

И так показалось: а зачем это всё собирали? А зачем не жили проще?

В зале на завороте — монеты, медали, монеты, медали...

И пошли галереей, которую спутать нельзя уже ни с чем,— лоджиями Рафаэля.

И плыл впереди поднятый фонарь — не затекала рука старика — как будто нарочито показывая по стенам библейские сцены.

Михаил обернулся проверить Джонсона — и увидел грозную тень свою, плывущую по лоджиям,— как видение ещё одного предка ещё одному потомку.

Но неуклонно надо было идти дальше. Нести эту тень, в назиданье кому неизвестно.

И ещё раз они свернули — в фойе Эрмитажного театра, через длинный остеклённый переход над Зимнею заснеженной канавкой, французские окна до полу.

В окна через небо отблескивало дальним пожаром.

Верный старик остановился, обернулся:

— Ваше Императорское Высочество! Если сейчас по чёрной лестнице выйти — то будем во дворе, но с него только на набережную, и вам придётся огибать, далеко. А вот этим коридором — через казармы преображенцев, и тогда сразу выйдете на Миллионную, а там ещё дома четыре и перейти только Мошков переулок. Как велите?

Какое ж сомнение? Да он не хотел ли тем спросить, не боится ли великий князь гвардейцев-преображенцев?

— Велите мне вас сопровождать по казармам?

— Нет-нет,— тихо ответил Михаил.

Преображенцы — свои.

И одной рукой вдруг приобнял старика.

А тот зарыдал и ловил кисть поцеловать.

И это рыдание камер-лакея как прорвало последнюю плёнку сознания: что произошло?

Он — разумно перекрывался? Или — бежал? Или — ушёл из-под крова семи поколений Романовых — последним из них?

Правнук жившего здесь императора, внук убитого здесь императора — он бежал как за всех за них, унося с собою и их?

И не заметил, на каком же это пороге произошло. На каком переступе?

Беря военный шаг, пошёл последним коридором.

Вадим ХАЛУПОВИЧ

◆◆◆

Успеть бы выдохнуть, промолвить, прокричать,
Пока рассвет, пока просвет и прояснилось,
Покуда время вдруг у нас переменилось,
Покуда уст не жжет молчания печать.

Успеть бы... Маятника тяжкий маховик
Застыл на время в левом положенья,
Но тянет вниз его земное притяженье.
Звучи, звучи, заветный черновик!

Звучи скорей, ты создан, чтоб звучать.
Ты не состарился от стольких лет молчанья.
Звучи, чтобы несвязное мычанье
Не заглушило голос твой опять...

Какое счастье вытерпеть, дожить,
На миг забыть, что время быстротечно,
На миг вздохнуть свободно и беспечно,
А после можно голову сложить.

◆◆◆

Это с нами было, как запой,—
Долгое и тяжкое затменье.
Мы живем, оставив за спиной
В ямах трупы, в душах запустенье.

Да, не мы расстрельщики, не мы...
Ну а кто? —
Мы с ними рядом жили,
Поклонялись вместе духу тьмы,
Вместе яд из общей чаши пили,

Вместе, уши воском залепив,
Крики истязаемых не слыша,
Бодренький мурлыкали мотив,
Думали: идем «вперед и выше»...

Нам не откреститься от вины.
Воздухом отравленным дышали
Мы, кто верил в сказки сатаны,
Мы, кто в ожидании дрожали.

Это было с нами, как запой...
А у скольких он и нынче длится? —
Живы жаждой темной и слепой
И никак им не опохмелиться...

Утро

Запах сена ностальгический.
Снова август. День Ильин.
Голос времени провидческий
Над туманами долин.

Над российскими просторами
В небе медленный рассвет.
Чем он станет для истории?
Кто сумеет дать ответ?

Кто сумеет, кто осмелится?..
Горло пробует петух.
Тишина под ноги стелется.
В небе свет звезды потух.

Иван
КАЛИНКИН

Полынь

Душа полыни — в горечи ее.
А горечь мы не любим и не ценим.
Полынь сухая на ветру осеннем
Поет про одиночество свое.

Прислушайтесь когда-нибудь в пути,
Проникнитесь однажды состраданьем:
Как хочет горечь вылиться рыданьем,
Вся, без остатка, песней изойти!

Семья

Он все в нее, как юноша, влюблен,
Она — в него. И не шутите плоско.
Он — как поется в песне — стройный клен,
Она при нем — кудрявая березка.

И, как бы ни был этот мир жесток,
Трепещут в лад, свой день встречая новый,
Мужское сердце — словно лист кленовый —
И женское — березовый листок.

◆◆◆

Сегодня на снегу при ясном свете
Увидел стайку серых воробьев —
И вздрогнул сразу, вспомнил сорок третий,
Суровый год решающих боев.

Я удержать волненье не могу:
Перед глазами — серые шинели
Бойцов, открытых пуле и шрапнели,
Перед броском в атаку, на снегу...

Могила матери

Здесь мать лежит. Синеет летний день.
В траве чуть-чуть виднеется тропинка,
И тонкая печальная рябинка
На холм свою отбрасывает тень.

И показалось мне: сама любовь
Святая, материнская, живая
Взошла, пласты земные пробивая,
Детей своих скликает вновь и вновь...

Перевел с эрзя-мордовского
Илья ФОНЯКОВ



Валерий Попов

ЛЮБОВЬ ТИГРА

Рис. Л. Каминского

Рассказ

Я выскочил из лифта с ключом наперевес и в ужасе застыл: двери не было! Вернее — она была мощным ударом вбита внутрь и безвольно висела, припав к двери ванной. Я бросился ее поднимать, как человека, потерявшего сознание. Она прогнулась в моих руках, как женщина: чей-то молодецкий удар сделал ее гибкой.

— Так... видать, грабанули! Хорошо хоть, не гробанули!

Пол в прихожей был усыпан известкой, влетевшей вместе с дверью. Оставляя белые следы, я быстро вошел в кабинет, со скрипом вытянул ящик стола... Бумажник лежал наверху, распластав крылья, как раненая птица... так ли я его оставлял? Дрожащей рукой я распахнул его... Деньги на месте. Ф-фу!

Я медленно опустился на стул, утер запястьем лоб, потом слегка уже насмешливо оглянулся на выбитую дверь: что ж это за гости меня посетили, не сообразившие, где деньги лежат?

Я уже не спеша пошел в кухню. Так и есть: фанерная дверка возле умывальника была зверски выдрана, в полутьме маячили ржавые трубы и вентили, вокруг валялись клочья пеньки. Ну ясно: опять прорвало этот проклятый вентиль, хлынула вода, и водопроводчики, ненавидящие воду больше всего на свете, таким вот образом выразили свою ярость: надо было перекрыть воду, а они заодно и разгромили квартиру. Я открыл кран — вода булькнула перекрученой струйкой и иссякла. Все ясно! И ничего не докажешь и не объяснишь: можно только, если есть желание, обменяться несколькими ударами по лицу, но такого желания у меня не было.

Вздыхая, я собрал с пола мусор и отнес его в мусоропровод — доступ к нему теперь был свободен, дверь не мешала. Потом я сел к телефону — благо, он остался цел и невредим, и позвонил своему деловому другу.

— Ясно... тут тебе нужен Фил! — проговорил мой друг.

— Фил?.. Что-то такое помню...

— Ну... тогда еще... вместе с Крохой ходил!

— Но они, вроде... тогда же еще... вместе и загремели?

— Ну да — и он все Крохины дела на себя взял — у Крохи уже сын тогда был!

— М-гм...

— Да сейчас он уже крепко стоит — зам по капстроительству одного крупного объединения!.. Да он отлично помнит тебя: недавно керосинили с ним — он все расспрашивал! Все тебе сделает.

Заманчиво, конечно, сделать «все» — но какою ценой?

— А больше... никого у тебя нет? — поинтересовался я.

— У меня есть, кто угодно,— усмехнулся друг.— И скрипачи, и оперативники, и даже могильщики... но сейчас тебе нужен именно Фил!

— Ладно... диктуй координаты,— сломался я.

...В приемной стоял стол с машинкой, за ним сидела роскошная блондинка с горделивой прической... такая могла сидеть в приемной любой конторы... впрочем, без удивления я встречал теперь таких и среди учителей, и в учреждениях, управляющих искусством... названия места в наши дни не имеет решающего значения: дело в возможностях — не так существенно, в какой сфере.

— Простите, нельзя ли вас попросить...— начал я.

— Нельзя,— мгновенно отрезала она.

— Но... будьте все же так любезны...— настаивал я.

— Я буду вам любезна в другом месте! — произнесла она грубую, но довольно таинственную фразу и, резко встав, с треском вывинтила из машинки лист и, покачивая бедрами, пошла к главной двери.

Я втиснулся вслед за ней. В большой пустоватой комнате, в конце длинного стола под портретом сидел человек с бледным покатым лбом, закавчивающимся на затылке седым пушком. Вдруг на лице его, сильно выдвинутом вперед, появилась улыбка — полумесяц из железных зубов.

— Ну что, зверюга — и ты, наконец, обо мне вспомнил? — ласково-сипло проговорил он.

Я решительно не помнил его — сколько всего за последние годы произошло! — но он, видно, все помнил ясно... говорят, что у людей, находящихся там, память консервируется — им все ярче и милее представляются все подробности жизни их дотюремного существования. Такой же дорогой подробностью оказался, видно, и я.

— Ну, здорово...— не совсем уверенно поприветствовал его я.

— Помнишь, как у Боба ураганили с тобой? — улыбка его стала еще шире.— Да-а... нехорош ты стал... но джазмен джазмена через полвека узнает!

— Ну! — воскликнул я.

Его я, честно, не помнил, но «ураганы» у Боба — как можно их забыть? Отличное было времечко — уже лет тридцать тому назад, когда мы все вместе играли джаз и называли друг друга сокращенно на заграничный манер: Ник, Фрэд, Боб. Все исчезло, развеялось, в хозяева жизни вышли совсем другие люди... Но что делать? Хотя бы ностальгия теперь связывает нас!

— Ну ты знаешь, конечно,— доверительно-тихо проговорил он,— Вэл снова сел, Джага уехал...

Я почувствовал ностальгическую связь и с севшим Вэлом, и уехавшим Джагой, хотя конкретно не помнил их.

— А за тобой я давно слежу,— имея в виду, очевидно, мои литературные опыты, произнес он, растроганно глядя мне в глаза.

— Да ну... ерунда! — я смущенно отмахнулся.

Спрашивать, «как ов?» — я пока что стеснялся, во-первых, при его трудной жизни вопрос может быть неприятным, во-вторых, он может тут усечь намек на дела, с которыми я к нему пришел.

Мы, не отрываясь, смотрели друг на друга — от долгого напряжения глаза наши стали слезиться.

— Может, Филипп Клементьич, вы все же взглянете на бумаги? — ревниво произнесла секретарша.

— Да не тренди ты — видишь, друг пришел! — отмахнулся он.

Он явно досадовал на присутствие здесь человека из чуждого нам поколения и даже — чужого пола. Но она решила, видно, что если — друг, так и не стоит с ним церемониться!

— Слушай, Фил, ты совсем, что ли, озверел? — она глянула на часики.— Нам полчаса уже у Зойки надо быть!

— ...Тафайте, тафайте! — Фил холодно, даже несколько враждебно помахал ей ручкой.

— Разорвать бы тебя на части и выбросить! — резко проговорила она и, повернувшись, направилась к выходу.

Такой накал чувств — тем более из-за меня — несколько смущал.

— Ко мне можно пойти,— неожиданно для себя пробормотал я.

Она, повернувшись, застыла у двери, но глядела не на меня, а в сторону окна.

Фил, словно не слыша моей последней реплики, продолжал с застывшей улыбкой глядеть на меня. Немая эта сцена тянулась довольно долго, потом он вдруг медленно пошел к вешалке в углу, натянул плоскую клетчатую кепочку, которая как бы еще крепче вдавила его огромную птичью голову в грудь, потом он надел длинный черный плащ и направился к выходу. Мы в некоторой растерянности следили за ним... видимо, следовало считать, что мое приглашение принято: объяснять что-то дополнительно он считал явно излишним.

На улице я сделал движение к винному магазину.

— Взять что-нибудь?

— Ну возьми конины, что ли? — небрежно проговорил он.

...«конины»? Это значит — коньяка?.. Да — круто начинается это дело, но хорошо, что хоть как-то начинается!

От моей выбитой двери он почему-то пришел в полное восхищение.

— Вот так вот, Ирина Евгеньевна, настоящие люди живут! — поучающе обратился он к подруге.— Не то что вы, нынешние жлобы, понаставили дверей!

Она презрительно дернула плечом... черт! — вряд ли после этого она особенно будет меня любить, а от женщин на практике зависит довольно много.

Фил вошел в мою пустую, слегка ободранную квартиру (давно я собирался сделать ремонт!), и то ли изумленно, то ли восхищенно покачал головой.

— Вот так вот! — снова обратился он к Ирине.— Никаких тебе стенок-гарнитуров, ковров и прочей лабуды! У людей все дела здесь! — он шлепнул себя по бледному покатому лбу.

— Мне как раз не очень нравится моя квартира,— слегка смущенный таким успехом, проговорил я.— Она такая не специально у меня! А дверь вообще — только сегодня, наверное, выбита или вчера...

— Ясно? — он снова строго обратился к ней.— Человек даже не знает, сколько дней без двери живет! — для него я был дорогим воспоминанием о давних, святых временах бескорыстной дружбы. В глазах Ирины я явно становился все большим идиотом, но в оценке Фила все поднимался,— во всяком случае, на время отдыха.

Он взялся за ручку ванной, но я с испугом удержал его:

— Постой... там, понимаешь... раковина разбита!

Дело в том, что мне на день рождения один приятель подарил пузатый пузырек английского одеколона, и это проклятое орудие империализма, выскользнув у меня из рук, стукнулось в раковину. С ужасом я сожмурился... услышал треск... все, накрылся подарочек! Когда я, наконец, решился разожмуриться, изумлению моему не было предела — пузырек лежал целым и невредимым, раковина же была расколота на крупные куски!

Я рассказал это Филу — он посмотрел на меня со снисходительной усмешкой:

— Ну ладно — ты лучше историю эту в какой-нибудь рассказ свой вставь, а мне мозги не пудри — я все же инженер!

Я давно уже замечал, что люди, сами живущие по фантастическим законам, от искусства требуют строгости и поучительности — так же и мой друг.

— Ну хорошо! — я вытащил на середину комнаты мой «журнальный столик» — старый испорченный приемник, расставил рюмочки.

— Ну, у тебя кайф,— усмехнулся Фил.— Как в монгольской юрте.

— Ну прямо уж! — непонятно обидевшись, сказала Ирина, словно она всю жизнь провела в монгольской юрте и знает ее.

— К ним входишь,— не реагируя на ее реплику, продолжал Фил,— на стенах юрты полки, и на каждой стоит наш старый ламповый приемник «Рекорд»! Батарейки кончаются — монгол едет в улус, везет новый приемник!

Он явно предпочитал, чтобы истории звучали его, а не чьи-то другие.

— Ну, прямо уж! — проговорила Ирина.

— На кухню,— приказал ей Фил.

Ирина, взмахнув хвостом, ушла, куда ее послали.

— А когда ж ты... в Монголии был? — пытаясь нащупать основные вехи бурной его жизни, вскользь спросил я.

— Ну как...— спокойно ответил Фил.— Оттрубил, потом в Сибири работал — я же строитель! — а потом в Монголии, прорабом уже.

— Да... неслабо! — восхищенно произнес я.— Так сколько же тебе? — я пригляделся к его выдвинутому вперед, словно обсыпанному мукой лицу.

— А сколько дадите? — он гордо-шутливо задрал над плечом свой наполеоновский профиль, застыл с дурашливой важностью, как мраморный бюст.

— Ну... давай! — мы торжественно выпили.

— Мне про тебя первая еще Полинка сказала — помнишь Полинку? — мол, есть такой замечательный человек! — расвспоминался он.

Полинка! Ну как же можно не помнить Полинку — мою первую, самую отчаянную любовь!

— А ты... откуда с ней? — ревниво воскликнул я.

— Сахадка! — он пошевелил в воздухе пальцами.— Так мы же с ней до второго курса вместе учились!

— С Полинкой? — воскликнул я.

Тут я вдруг увидал, что он склонился к моему столику-приемнику и, покряхтывая, снял заднюю картонную стенку.

— Да не надо! — со страстью, совершенно не соответствующей предмету, воскликнул я.— Не надо! — я отодвинул приемник.— Давно уже не работает — бог с ним!

— Ладно... так и ходи! — сурово произнес Фил свою любимую, видно, присказку, властно отстраняя меня, засунул свою маленькую белую ручку внутрь, по очереди покачал лампы в гнездах, потом воткнул вилку в сеть, нажал клавишу... сочный, ритмичный джаз потряс мою душу, и стекла, и стены!

— Потрясающе! Как это ты?!

— ...Сахадка! — усмехнулся он.

Единственное, что меня смущало, что он по-прежнему игнорировал свою даму — видно, вымещал ей за какой-то прокол — но сколько же можно?! Вот она гордо появилась с кухни с подносом, холодно расставила чашки, разлила чай.

— Смотрите — пар танцует под музыку! — воскликнул я, но они продолжали держаться отчужденно.— Ребята,— обнимая их за шеи, воскликнул я (в одной руке плескалась рюмка с коньяком),— ну не ссорьтесь — я вас прошу! Так хорошо все, ей богу! — я стал сдвигать их головы, они с натугой сдвинулись...

Проснулся я почему-то в кабинете, на диване, абсолютно одетый... Окно было настежь распахнуто, и высоко-высоко в небе параллельно шли два невидимых самолетика, оставляя белую пушистую «лыжню».

Потом вдруг — явно у меня в квартире! — бухнула дверь. Прошел холодный сквознячок, осушая мгновенно выступивший едкий пот на лбу. Вдруг стали приближаться быстрые дребезжащие шаги. Сердце испуганно оступилось. Я попытался подняться, но почувствовал такую слабость и тошноту, что снова сполз.

Кто ж это ходит по моей квартире?.. Так у меня и двери же нет! — с ужасом вспомнил я.— Сколько же там человек? — я напряженно прислушался... один? Шаги продребезжали на кухню, послышалось сипенье крана. Странный грабитель — решил побаловаться чайком! — я усмехнулся, и сразу же голову стянула боль. Потом вдруг шаги стремительно приблизились. Сердце остановилось.

Дверь кабинета со скрипом поехала... Я героически поднялся навстречу опасности. В щель просунулся серебристо-грязный надувной сапог, потом колено в изжелтевших джинсах, потом поднос с чашками и, наконец, сияя железом зубов и лучась глазками, знакомая голова. Со стоном я рухнул обратно.

— Ну ты, аверюга беспартийная! — ласково просипел он.— Жив еще? Сейчас врежем чайку!

— Чайку? — пробулькал я.— ...А кофе нельзя? Там... кофе с молоком в банке было.

— А кофе с молотком ты не хочешь? — оскалился он.— Ты вчера так тут ураганил! Удивительно, что стены стоят!

— ...Я?

— Ну а кто — я, что ли?.. Всем девчонкам по четвертаку!

Как — «девчонкам»? Я снова упал.

— Не помнишь? — он усмехнулся.— Ну, так и ходи!.. Ничего — я в свое время тоже ураганил, как зверь! Всю Сибирь заблевал, пока пить выучился. Но нам, строителям, без этого дела ни шагу!

На кухне засвистел чайник, и он, развернувшись, ушел туда. С колотящимся сердцем я кинулся к столу, выдвинул ящик — бумажник лежал сверху вывернутый,

пустой... Снова пошла слабость. Услышав приближающиеся шаги, я торопливо задвинул ящик.

— Ну ты, аверюга,— появляясь с чайником, произнес Фил.— Подниматься собираешься, нет?

Придерживаясь за стевку, я сел.

— Скажи,— сделав мизерный хлебок чая, решился я.— А ты, случайно, деньги мои из ящика не брал?

Некоторое время он неподвижно смотрел на меня.

— Взял! — сурово сказал он.— Ты так ураганил вчера, что все бы приговорил!

— Да понимаешь вот... на ремонт копил,— я обвел руками обшарпанные стены.

— Ладно — сделаю я тебе ремонт! — хмуро произнес он.— Что я могу уж — то могу. Что не могу — говорю сразу! Сделаем в один удар. Я так хочу тебе сделать, как недавно в Москве у одного видел.

— А во что... это встанет? — хоть таким хитрым образом я попытался выведать, сколько моих денег у моего сурового друга.

— Что ты дергаешься, как вор на ярмарке?! — рявкнул он.— Не бойся — на тебе не поднимусь! Без тебя есть, на чем подняться, а уж на друзьях — последнее дело! — презрительно проговорил он.

Пот тек с меня ручьем. Получалось, я допускал мысль о такой гнусной возможности — подниматься на друзьях!

С тревогой я чувствовал: он почему-то усиленно внушает идею о старинной нашей дружбе, о неразлучной компании, все входящие в которую до сих пор связаны святыми узами... Зачем-то это нужно ему... или просто для самоподъема?

— ...Да — и раковину бы, раковину! — вскричал я.

— Ты как японец — все кроишь! — презрительно произнес Фил.

Действительно, стыдно: человек с дружбой, а я с сантехникой! Позор!

— А скажи... очень плохо я себя вчера вел? — от весьма мучительной темы я перешел к другой, менее мучительной.

— Что значит — плохо? — сурово сказал Фил.— Как хотел, так себя и вел! Ты ж дома у себя, а не у тещи в гостях!

— Правильно! — воскликнул я, резко поднимаясь.

Тут стукнула дверь — из ванной в моем халате выплыла королева, роскошным движением закинула влажные волосы за плечо, уселась с нами.

— У Фила что нехорошо? — уже доверительно, как к своему, обратилась она ко мне.— Друзей никого нет — всех презирает! Теперь хоть, слава богу...

— ...Кто?! — испуганным взглядом спросил я.

— Как — кто? Ты же дурачок! — ласковой улыбкой ответила Ирина.

— Вам бы, Ирина Евгеньевна, на рабочем месте давно пора быть! — прохрипел Фил.

— Алкаш ты чумовой! — она, как на пружине, оскорбленно вскочила, мгновенно оделась, подошла к двери, вернее, к месту отсутствия ее.— Ну, ты об этом пожалеешь! — мстительно проговорила она.

— Так и ходи! — рубанув ладошкой, произнес Фил.

Ирина выскочила. Для чего же я тратился, покупал коньяк, отравлял себя, если все кончилось еще хуже, чем начиналось?! Фил даже не глянул в сторону выхода, сидел абсолютно неподвижно, потом медленной, шаркающей походкой подошел к телефону, набрал номер.

— Здравствуйте,— отрывисто произнес он, потом долго слушал какой-то крикливый голос, не умещающийся в трубке.— ...Какие-то хадости вы ховорите...— брезгливо произнес он, двумя пальцами положил трубку. Уже фактически забыв обо мне, он хмуро наматывал шарф.

— Ты в контору сейчас? — поинтересовался я.

Он долго мрачно смотрел на меня.

— Пойдем, если не противно,— усмехнулся он, пожав плечом.

Как это мне может быть противно?!

Мы пешком двинулись к его управлению... словно полководцам, приближающимся к линии фронта, нам все чаще попадались следы сражения: разбитые дома, костры, перевернутые фуры. Какие-то люди подбегали к нам и что-то кричали. Фил шел медленно, опустив свой наполеоновский профиль, не реагируя.

По мосткам над канавой мы вошли в сырой колодец-двор разрушенного дома — без стекол, дверей и перекрытий. Откуда-то издалека шли звонкие удары. Во втором дворе, возле маленького двухэтажного флигелька, где пахло гнилью из оставленного без крыши помещения и из разрытой канализационной канавы, я увидел зрелище, поразившее меня в самое сердце. Небритый человек в берете и землистой робе огромной кувалдой разбивал белые фаянсовые раковины. Он ставил раковину вверх дном и звонким ударом разносил ее на крупные куски. Рядом была уже высокая груда черепков. Молотобоец швырнул туда вновь полученные осколки, подтянул к себе новую раковину

в упаковке, ломиком отодрал доски, поставил раковину в позицию и нанес зверский удар. Это совершенно необъяснимое, на мой взгляд, занятие Фила, наоборот, совершенно не удивило. Он сухо кивнул молотобойцу и, пружиня мостками над канавой, вошел во флигель.

— Детсадик тут делаем! — счел нужным объяснить он.

Молотобоец шел за нами, скребя молотком по земле.

На каком-то сооружении, похожем на покосившуюся столовскую раздачу, стоял черный мутный телефон.

— Завтра пойдешь к нему! — прижав трубку ухом к плечу, Фил кивнул на меня, и стал щелкать диском, набирая цифры. Молотобоец не среагировал. И Фил, что характерно, моего адреса не назвал. Может, он считает, что я так популярен, что адрес не нужен?

— Аппликациями все обклеить хотим,— обводя рукой голые стены, произнес молотобоец.

— Лучше — облигациями,— продолжая накручивать диск, усмехнулся Фил.

Молотобоец побрел обратно, и скоро опять послышались зверские удары. Фил снова накручивал диск. Я вдруг почувствовал, что причина всех наших блужданий в том, что Филу просто неохота появляться у себя на рабочем месте, где уже ждут, свернувшись, как змеи, груды надоевших проблем, а также несколько новых, заботливо приготовленных Иришкой.

Брякнув трубкой, Фил двинулся прочь. Я как верный секундант следовал за ним. Фил все больше мрачнел — видно, какие-то мысли все крепче одолевали его.

— Тысячу рам привезли, и все кривые! — с каким-то торжеством прокаркал бросившийся к Филу тип в плетеном строительном шлеме.

— Так и ходите! — прохрипел Фил.

Вестник, явно ликуя, удалился. Удивительное это свойство, которое, наверное, можно встретить только у нас: упоение масштабами разрухи. Поразительное злорадство, обращенное на себя,— пусть нам хуже, а все равно приятно! «...Что твои пятьсот миллионов! Тьфу! Вот у нас строили комбинат — девятьсот миллионов коту под хвост!» — рассказчик застывает в мрачном упоении, а собеседник буквально дрожит от нетерпения, чтобы выпалить об убытках гораздо более мощных! Да — трудно при таких настроениях быть *созидателем.*

Мы вошли в контору.

— Филиппа Клементьевича нет!.. Понятия не имею! — звонко-торжествующе чеканила Ирина, и торжество ее было понятно: да мол, нет уважаемого начальника на рабочем месте, и где он находится, неизвестно — вряд ли по делу!

Когда мы приблизились, Ирина вскрывала почту, и нетерпеливо вспоров большой конверт с каким-то официальным грифом, быстро прочла бумагу, мстительно-удовлетворенно произнесла «мгм» и тут увидела нас. Фил молча и неподвижно смотрел на нее, она же поднимала голову все более независимо и надменно. Господи, на что уходят силы!

Повернувшись, мы пошли по коридору — как сквозь строй: вдоль стен почему-то стояли женщины, причем исключительно с детьми, и ели нас глазами, как врагов.

— Дружок его,— услышал я сзади зловещий шепот.— С ним все средства и прогуливает!

Я невольно дернулся. Мое какое-то слишком стремительное восхождение до ближайших друзей Фила несколько смущало меня. *Сам* шел молча, не реагируя. Ира, с полученным письмом в руке скромно шла сзади. У самых дверей кабинета, положив руки на папку из кожзаменителя, сидел милиционер — судя по очкам с выпуклыми стеклами, из ОБХСС. С ним Фил поздоровался, но крайне сухо, и зайти не пригласил.

— Еще в апреле должен был детсадик сдать, а у него там конь еще не валялся, знай только керосинит со своими дружками! — видимо, не в первый уже раз, но сейчас специально для нас прокричала здоровенная бабища с усами.

Отрубив гвалт тяжелой обитой дверью, мы вошли в кабинет.

Фил медленно прошаркал к своему столу, мрачно сел. Ирина торжествующей, почти танцующей походкой подошла к столу и пришлепнула свежеполученную депешу прямо перед носом шефа — видно, в ней содержалась какая-то крепкая плюха моему другу! Да, видно, он немного пережал, и победительная наглость его, всегда приносившая ему успех, наконец, вызвала бунт особенно страшный — женский: когда дело касается детишек, детсадика, тут тигрицы обретают невиданную отвагу!

Дверь со скрипом отворилась, и за ней показалась группа, опять же состоящая в основном из женщин, по с агрессивным старичком во главе.

— Комиссию вы вызывали? — обратился старичок к Ирине.

Ирина с некоторой опаской глянула на Фила, но потом надменно проговорила:

— Я!

Фил с ослепительной железной улыбкой поднялся из-за стола и направился к ним, как бы желая прямо на пороге обнять долгожданных гостей. Дойдя до двери, он взялся

за ручку и яростно захлопнул дверь прямо перед носом комиссии. Комиссии, что интересно, больше не возникала — видно, с ходу направилась в вышестоящие инстанции.

— Спасибо, Ирина Евгеньевна! — усмехнулся Фил.— За мной не пропадет!

Ириша, оставшись без поддержки, чуть дрогнула, но заговорила еще более надменно:

— Скажите, Филипп Клементьевич, а когда будут материалы для детского садика?

— ...Сегодня,— безжизненно обронил Фил.

— Вы уже полгода говорите — сегодня!

— Я сказал. Сегодня,— еще более безжизненно произнес он.

Он медленно застегнулся — плащ он так и не снял — и уверенно двинулся к двери. Я неуверенно двинулся за ним... Видно, наступит когда-то этап, когда он займется и моими делами?

Баб в коридоре уже не было: видимо, вслед за комиссией умчались в верха. Остался только недвижный милиционер.

— До свидания,— сказал ему Фил.

Не оборачиваясь, Фил (и я за ним), вышли прочь. У подъезда стоял синенький пикапчик. Из задней дверцы высунулся знакомый молотобоец.

— Я нужен, Филипп Клементьевич?

— Кому ты нужен? — мрачно пошутил Фил. Молотобоец оскалился. Фил, сгорбившись, полез внутрь. Я тоже забрался... Наверное, на этом пути мне не светит ничего, но на других-то — тем более!

— Куда, Филипп Клементьевич? — оборачиваясь с переднего сиденья, спросил шофер.

— На склад,— веско обронил Фил.

— М-м-м! — радостно-удивленно произнес шофер и захрустел рычагами. Видно, эта поездка была радостной неожиданностью, я смутно чувствовал, что происходящее как-то связано со мной... но как именно — не мог сообразить...

— Филипп Клементьевич! — вежливо обратился к шефу молотобоец.— Японец звонил, завтра бой заберет, но ему нужно целых восемьдесят тонн!

— Так делай! — яростно рявкнул Фил.

Я, вроде бы, разгадал эту хитрую шараду: какой-то японец, как это теперь модно, скупает у нас всяческий бой и строймусор — и Фил со своими помошничками усердно поставляет его. Я только испугался, что Фил с его неукротимым упорством превратит в строймусор все окружающее!

Примерно так оно и выходило. По обеим сторонам дороги шла абсолютно разоренная жизнь: разрушенные дома, какие-то задранные кверху ржавые конструкции — ну просто мечта японца, любителя утиля!

Вот мелькнул красивый, отдельно стоящий дом — может быть, в прошлом даже вилла — сейчас у нее не было стекол и крыши, а на крыльце красовался транспарант «Опасная зона!». Что значит — «опасная»? Кто сделал бывшую зону комфорта и отдыха опасной? Для чего? Для того, может, чтобы скрыть от глаз все, что там происходит?

— Да... надеюсь... с японцем этим... официально все сделано? — выйдя из задумчивости, проговорил я.

— А наш шеф не любит официально! — проговорил молотобоец и гулко захохотал.

— Сниму с пробега! — сурово оборвал его Фил.

Мы зарулили в какой-то глухой двор. Спустились по лесенке под ржавым навесом к двери, обитой светлой жестью. Фил морзянкой застучал по звонку. Дверь тяжело отъехала, и мы вошли в подземелье. Тут было все: импортные цветные газовые плиты, во тьме маняще белела сантехника, на грубо сколоченных стеллажах сверкали целлофановой оберткой невиданные обои. Был ли у этого подземелья другой вход, официальный? Очень сомневаюсь. Нас встретила тучная женщина в халате.

— Ну что, все худеешь? — дружески прохрипел Фил. Они похохотали, потом скрылись в конторке, пошуршали какими-то бумагами, потом вышли и Фил сказал:

— Грузите!

Сам он, что характерно, не грузил, дружески зубоскалил с хозяйкой — но и это, наверное, тоже важная деятельность, может быть, даже самая важная?

Мы погрузили восемь раковин, четыре унитаза, шесть рулонов линолеума, двадцать рулонов обоев, десять пачек дефицитного клея. Тут было много такого, что бы нужно было мне — но никакого обнадеживающего намека я не получил. Более того (и это очень встревожило меня), во время прощания хозяйка подошла ко мне и сказала с признательностью:

— Ну, спасибо вам, хоть детишкам садик будет теперь!

Странно!.. При чем здесь я? Что она хочет этим сказать? Ведь, надеюсь, все это сделано по безналичному, или как это там? А вдруг, черт возьми, по безналичному для них — по наличному для меня — за мои денежки? Я яростно глядел на Фила, но он сидел абсолютно непроницаемый.

Неужто я, кроме других глупостей в жизни, сделался еще и спонсором — чем-то это слово было мне неприятно.

Раковины ездили по кузову, били по ногам — я принципиально убирал ноги: не такой уж я друг детей, чтоб ради них еще и ноги ломать!

С какой-то незнакомой стороны мы неожиданно въехали в знакомый двор и остановились у флигелька, в котором, надо понимать, скоро зазвенят звонкие детские голоса. Я вылез из кузова, и увидел, что засада переместилась сюда: тут были и исстрадавшиеся женщины с детьми, и члены комиссии во главе со старичком, и с виду неподвижный обэхээсник, который, однако, как в известной сказке про ежика, оказался тут раньше нас.

Фил молча, не реагируя, вылез из пикапчика, потом мы стали вытаскивать наши богатства и, пружиня мостками над канавой, как волжские грузчики, понесли груз в помещение.

Гвалт, поднявшийся в толпе, по мере все новых и новых наших ходок менялся с злобно-презрительного на восторженный. Первым ко мне (когда я стоял, тяжело отдыхиваясь) подошел обэхээсник:

— Спасибо вам! Вы настоящий друг! — он стиснул мою руку, сел в свой зеленый, как кузнечик, «Москвич» и с облегчением умчался.

Я был в растерянности... чей я друг?.. Детей?

И тут нахлынули женщины.

— Ну, спасибо вам... хоть один хороший человек!

Может, я и хороший человек — но как они-то об этом догадались?

— Федя! Дай дяденьке конфетку!

Федя, поколебавшись, залез в ротик и протянул мне обсосанный леденец. Я, растрогавшись, взял, положил в карман. Радостно гомоня, женщины со старичком во главе покинули двор. Было ясно, что в их жизни произошло нечто радостное и неожиданное, во что они уже не верили и устали ждать.

Фил деловито ходил над привезенным и записывал в блокнот.

— За что это... все меня благодарят? — спросил его я.

— Да это все лабуда! Мы тебе все финское зарядим! — уходя от прямого ответа, Фил презрительно махнул на привезенные изделия рукой.

— А разве это... не по безналичному куплено? — все яснее понимая горемычную свою судьбину, поинтересовался я.

— По безналичному ты себе... и гроба не купишь! — уже победно усмехнулся Фил.— Тут нужен счет по капстроительству, а зверюги эти открыли по капремонту — приходится кроить! — он слегка виновато взял меня за рукав.

— А все это... разве нельзя было... за валюту купить... которую вам японец дает?

— Валюта наверх вся уходит! — прохрипел Фил.— Зверюги эти уважают валютку!

— А зачем... им давать?

Фил, чувствуя уже полную моральную победу, улыбнулся совсем широко.

— Ты говоришь — зачем? А ты думаешь, они хоть одну бумажку тебе подпишут просто так?

— Ну неужели ничего на свете уже нельзя по-честному сделать?!

— По-честному? — Фил оскалился, чувствовалось, я его своими наивными вопросами довел наконец.— По-честному хочешь? Тогда бери! На твои деньги все куплено! — он, тяжело дыша, стал вдруг швырять прямо в грязную лужу передо мной рулоны сверкающих обоев, раковины, унитазы, один раскололся.— Бери!.. Детишки обождут!

— ...Да ладно уж...— вздохнул я.

— Валерки-ин! — он радостно сделал «козу».— ...Да не дергайся ты, как вор на ярмарке! — он перешел на суровый дружеский тон.— Все финское поставим тебе, сделаем в один удар!

...Да, здорово они раскалывают меня, как говорится, «в один удар»! Моментально, главное, вычисляют, на лету! Порой даже на огромном расстоянии! Помню, прошлой весной мне позвонил режиссер аж из Ташкента! — и с комплиментами и уверениями пригласил приехать для свершения, как он сказал «одной деликатной миссии». Наслышанный о восточном гостеприимстве, и к тому же находясь на нуле, я тут же приехал. Миссия действительно оказалась весьма деликатная — я должен был написать сценарий уже снятого фильма! То есть они три года снимали трехсерийный фильм — не имея сценария, рассчитывая, что «сообразят на ходу», и так досображались, что в конце концов сами перестали понимать, что сняли! Кроме того, все эти годы они, видимо, очень неплохо жили — фильм, без всякой на то суровой необходимости, снимался на Черном море, в кадре было бешеное количество красивых баб, никоим образом не связанных с сюжетом, которого, кстати, и не было... Теперь на этом режиссере висело несколько миллионов, а предъявить что-нибудь связное худсовету он не мог. Неприятности светили ему крупные — и спасти его мог только я! И тут он абсолютно был прав — ни в одном из городов нашей необъятной страны такого идиота не нашлось — пришлось выписывать из далекого Питера! Я в ужасе просмотрел показанный мне материал... кто-то — абсолютно неизвестно кто — входил в какие-то роскошные комнаты, выходил, танцевали какие-то пары... причем — ничего нельзя было ни доснимать, ни выкидывать — делать надо было из этого, разве что менян порядок эпизодов и придумывая слова под снятую мимику. Не скрою, такая сверхсуровая проверка моего воображения возбудила меня. Два месяца я сидел в плохоньком номере, оскорбляемый горничными, абсолютно, кстати, не сталкиваясь ни с каким восточным гостеприимством — и в конце концов сложил из этой мозаики довольно складную картину — я был доволен и горд. В день моего отлета растроганный режиссер сообщил мне, что, к сожалению, сберкасса в этот день закрыта, поэтому он, увы, не может дать мне обещанных денег. «Так, может быть, мне остаться?» — уже обреченно, все уже поняв, пробормотал я. «Зачем,— возмущенно закричал он.— Ты прилетишь — деньги будут уже лежать! Телеграфом пошлю!» Думаю, не надо объяснять, что деньги еще идут. Но — надо отдать должное ташкентцу — он хоть моих денег не отбирал, как Фил! А в принципе, все удивительно повторяется — какой характер, такая и жизнь! И если мир делится на две части — на обманщиков и обманутых, то мне все равно как-то приятней быть среди вторых!

— ...товарищ таракой,— вывел меня из прострации говорок Фила.— Фсе рапотаете, рапотаете, надо и оттыхать! — он манил меня из пикапа.

— Да нет, я пойду... Я уже как-то устал отдыхать.

— Да встряхнемся давай. К Ирише заедем. Хочу с ней крепко потолковать — пора на уши ее поставить!

— Не надо! — я метнулся в пикапчик.

— В контору! — захлопывая за мной дверцу, скомандовал Фил. Снова нас мотало на поворотах. Я как-то боялся, что отдых с Филом окажется еще тяжелей, чем работа. Фил гнусавил под нос лихой джазик, время от времени дружелюбно подмигивая мне — он был абсолютно уверен, что купил мою привязанность навсегда (причем, что характерно, за мои же деньги!).

Мы подъехали к конторе, стали вылезать. Все как раз дружными толпами выходили на обед.

— Мадам что-то не видать! — сказал Филу молотобоец.

— Видимо, говеет! — усмехнулся Фил.

Уйти?.. Но мне кажется — когда я с ним, что-то все же сдерживает его!

И тут появилась наша Ириша — она шла с гордо поднятой головой, игнорируя нас. Рядом с ней крутился какой-то чернявый парень на высоких каблуках. Фил стоял неподвижно, глядя в землю, и у меня мелькнула безумная надежда, что он не видит ее. Но по той абсолютной неподвижности, с которой он стоял, было ясно, что он видел. Взяв себя в руки, она хотела было проплыть мимо, но в последний момент сломалась и резко подошла.

— Филипп Клементьич, я вам зачем-либо срочно нужна? — подчеркнуто официально проговорила она.

Он продолжал стоять абсолютно молча и неподвижно. Ситуация явно становилась напряженной. Это молчание и неподвижность пугали даже больше, чем шум и скандал. Проходящие мимо стали умолкать, останавливаться, с изумлением смотреть.

— Русланчик! Подожди меня, я сейчас! — ласково сказала она своему спутнику, несколько демонстративно прикоснувшись к его плечу.

Русланчик сделал несколько шагов и, не оборачиваясь, стоял.

— Ну? — прошипела она.

— На рабочее место,— безжизненно проговорил Фил, указав рукой.

Ирина довольно явственно выругалась и, повернувшись, пошла в контору. Фил, абсолютно без всякого выражения на лице, шаркая надувными пимами, медленно прошел в свой кабинет, уселся за стол. Ирина, явно куражась, с блокнотом и ручкой подошла к нему. Фил молчал, не обращая на нее никакого внимания.

— Может быть, я все-таки могу пойти пообедать? — наконец, не выдержав, проговорила она.

— Будешь выступать — сниму с пробега! — еле слышно проговорил Фил.

— А что я такого сделала? — уже явно сдаваясь, проговорила она.

— Слушай, ты... Если бы не этот... слишком нежный паренек,— он кивнул на меня,— я бы сказал тебе — что!

— Ну что ж — хоть в качестве «нежного паренька» пригодился! — подумал я.

Открылась дверь, и появился взъерошенный Русланчик.

— Иди, Русланчик, у нас с Филиппом Клементьичем важные дела! — капризно проговорила Ириша.

— О! — привстав, радостно завопил Фил.— Вот кто сбегает нам за водкой! Пришлите червончик,— вскользь сказал он мне.

С какой это стати я еще должен оплачивать его дурь?.. Но я не мог больше видеть стоящего, как столб, Руслана — и протянул последний червонец.

— Ну вы даете, Филипп Клементьич! — вдруг расплылся в улыбке Руслан и, топоча, выбежал.
— Коз-зел! — вслед ему презрительно произнес Фил.
— А ты — человеческий поросенок! — кокетливо ударяя его карандашом по носу, проговорила Ирина.
Вскоре вбежал запыхавшийся Руслан, радостно отдал бутылку шефу. Шеф зубами сорвал жестяную крышечку, сплюнул, разлил по стаканам.
— Я не буду,— сказал я, но он не среагировал.
— Филипп Клементьич! — деликатно прихлебнув водки, произнес Руслан.— У меня к вам производственный вопрос!
— Ты бы лучше о них на производстве думал! — усмехнулся Фил.
— Но можно?
— Ну?
— Мы сейчас дом отдыха по новой технологии мажем...
— Знаю, представь...
— Ну — и многие отдыхающие от краски отекают, их рвет... одному даже «скорую» вызывали...
— Это их личное дело. Дальше!
— ...Так мазать?
— Тебя конкретно не тошнит?
— Да нет... я уж как-то привык...
— Так иди и работай!
С ним все ясно! Там, где нормальный человек засовестился бы, заколебался, задергался — этот рубит с плеча: «Так иди и работай!» И все проблемы, которые других бы свели с ума,— им решаются с ходу, «в один удар». С ним ясно. За это и держат на высоком посту, и будут держать, сколько бы нареканий на него ни поступало,— именно за то, что он сделает все — даже то, чего делать нельзя!
Появился молотобоец.
— Филипп Клементьич...— он столкнулся со мной взглядом и слегка запнулся.— Так делать... для японца? — он смотрел то на Фила, то на меня.
— Иди и работай! — хрипло произнес Фил.
Молотобоец вышел.
Вскоре послышались звонкие удары — рушилось мое состояние. Фил был мрачен и невозмутим.
Ну все — я вроде был больше не нужен. Круг на моих глазах четко замкнулся. От чего начиналось все — с разбивания раковин — к этому и пришло. По пути я сумел успокоить Фила, матерей с детишками, обахаэсника, теперь обрадую ненасытного японца, а что я сам немного расстроился — это несущественно!
— Швыряло давай! — Фил кивнул на Иркин стакан.
— Поросенок! — она игриво плеснула в него остатками водки.
Больше я находиться здесь не мог. И даже как «нежный паренек» я уже абсолютно был не нужен: нежность и так хлестала тут через край!
— Чао! — я двинулся к выходу.
Фил даже не повернулся в мою сторону. Может, ему был безразличен мой уход? Но тогда, наверное, он бы рассеянно кивнул мне вслед и даже бросил какую-то малозначащую фразу — но в этой полной его неподвижности, абсолютном безмолвии читалась огромная трагедия, неслыханное оскорбление!.. Он ввел меня в святая святых, распахнул душу (пусть не совсем стерильную), раскрыл методы работы (пусть не совсем идеальные), а я свысока плюнул на все это и ушел. Как говорится: такое смывается только кровью! Ириша четко уловила состояние шефа.
— Конечно, когда не о его делах речь,— ему неинтересно! — бросила она мне вслед.
Как это — речь не о моих делах? Ведь именно мои раковины сейчас в угоду японцу звонко разлетаются вдребезги! Парадокс в том, что Фил отдает их японцу, а если бы я отнял их — я отнял бы их у детей! Но — хватит! Еще помогать матерям с детишками я хоть со скрипом, но согласен, но поднимать своими скромными средствами и без того высокий уровень японской промышленности — пардон!
Я взялся за дверь.
— Да куда он денется! — хлестнула меня на выходе вскользь брошенная реплика Фила.
...Как это — куда я денусь?! Да хоть куда!
Я вышел на улицу, в слепящий день. Водитель пикапа бибикнул мне. Я подошел.
— Садись, подвезу!
— Денег нет! — я сокрушенно развел руками. Опричники Фила мне тоже были как-то ни к чему.
— Да садись! — горячо сказал водитель. Я понял, что это зачем-то нужно ему, и сел. Поехали.

— А если шеф позовет?
— А! Он сейчас с места не стронется, будет пить до посинения — но зато на посту! Вечером — другое дело — вози его!
— А куда — вечером-то?
— По ресторанам — куда же еще? Сперва объедем всех зверей, соберем, а после — в кабак. Но все — мне это надоело уже: столик в салоне я отвинтил,— он кивнул назад, на пустое пространство между креслами.— Тут у меня они пить больше не будут! Сказал, что крепления не держат! Они нешто разберутся? И убрал. А то сиди, жди их, пока они с кабака выберутся, потом заберутся сюда и на столик все вынимают из сумок! Раньше двух ночи домой не прихожу — жена уже разговаривать перестала. И главное: хоть что-то бы имел, хоть раз угостили бы чем, предложили — попробуй. Я, может, тоже хочу рыбкой красненькой или икрой дочку угостить?.. Никогда! Сожрут, выпьют все, расшвыряют: «Вези!» После — каждого еще до дому волоки! Все — распивочная закрыта! — он снова кивнул назад.
— И с кем... он тут? — поинтересовался я.
— С кем! Понятно, с кем — у кого все в руках! А им такой, как Фил, позарез нужен: при случае и посадить можно, а потом вытащить! Исполкомовские, да еще покруче кто. Вот уж действительно — нагляделся я на них в упор: свиньи свиньями! Нажрутся до усеру да еще норовят баб затащить! — он сплюнул.— А те раковины, что вы оплатили, Гриня наш расфуячил уже, японцам отдадут — те из них какой-то редкоземельный элемент берут. А нашим — плевать! Но у меня тут больше они пить не будут — конец!
Мы свернули.
— А жена дочку в садик через весь город таскает, к ее заводу: трехлетку в полшестого приходится поднимать! А детсада нашего — как десять лет не было, так нет и сейчас... Дай им волю — они все разнесут!
«...так уже дали им волю!» — подумал я.
— ...и в общежитии нашем до сих пор раковин нет на третьем-четвертом этажах!
— И у меня нет раковины! — вспомнил я.
— И у тебя нет? — он обернулся.
...Ремонт, который сделали мне ребята, встал мне ровно вдвое дешевле той суммы, которую у меня взял и не собирался, видимо, возвращать мой в буквальном смысле драгоценный друг.
Хоть мы теперь и не виделись с ним, я, как ни странно, все четче видел его. Водитель Николай, появляясь у меня по делам ремонта, каждый раз рычал, что опять до глубокой ночи развозил пьяных клиентов. Все они — и особенно рьяно Фил, требовали обязательной доставки их домой, в каком бы состоянии они не находились. Дом, оказывается, для них — это святое!.. Выходит — тогда, заночевав у меня, Фил сделал редкое исключение?.. Как трогательно!
По словам Коли, дома у Фила был полный порядок: квартира отлично отделана, три сына — спортсмены, красотка жена. Значит — дом его держит на плаву, там он отдыхает душой?! Но я как-то не верю, что жизнь можно поделить перегородкой на два совершенно разных куска.
...Сейчас он исчез, как бы смертельно обидевшись, что я бросил его, пренебрег духовной его жизнью (если можно назвать духовной жизнью то, что происходило тогда в конторе)... Одновременно, как бы вспылив из-за обиды, можно было не отдавать и деньги... очень удобно! Но главное тут, несомненно, его оскорбленная душа! Мол — как только мои корыстные интересы не подтвердились, я тут же немедленно ушел, наплевав на узы товарищества. Примерно так он объясняет это себе... Версия, конечно, весьма хлипкая, и чтобы Филу поверить самому, что все рухнуло из-за поруганной дружбы, а не из-за украденных денег, ему все время приходится держать себя в состоянии агрессивной истерики: все сволочи, зверюги, к ним с открытой душой, а они!.. Жить в таком состоянии нелегко — я сочувствовал ему.
Только в невероятном напряге, раскалив до полного ослепления все чувства, можно проделывать такие безобразные операции, как он проделал со мной, и при этом считал себя правым и даже оскорбленным! Легко ли? И все для того, чтобы потом в грязном пикапчике глушить с крепкими ребятами водку, снова накаляя себя до состояния правоты?
Ежедневное преодоление непреодолимого, перепрыгивание всех устоев может и позволяет ему чувствовать себя человеком исключительным... но к чему это ведет? Может — и мелькнуло в день нашей встречи с ним что-то светлое — и тут же было разбито вдребезги, как раковина. Окупится ли?
А теперь ему особенно нелегко. Раньше он имел хотя бы утешение — марать меня — мол, знаем мы этих идеалистов... но теперь и этого (как и столика в пикапчике) он лишен.
Казалось бы, при его образе жизни всякого рода переживания давно должны были бы исчезнуть, но он явно не был уверен, что взял надо мною верх, и фанатично про-

должал разыскивать доказательства своего морального (или аморального) превосходства.

Одним из таких доказательств должен был быть поздний его звонок, примерно через полгода после того, как мы расстались.

— Слушай, ты! — прохрипел он, даже без тени прежней теплоты, словно я все эти месяцы непрерывно оскорблял его (а я и действительно, наверное, его оскорблял, даже не пытаясь требовать с него деньги, ясно давая понять, что с *такого* и требовать бесполезно). Мог ли он это простить?

— Слушай, ты...

Далее следовало сообщение: все, что он обещал мне,— он достал, причем, финское, все ждет на базе, а сейчас мне надлежит привезти в ресторан «полторы тонны» — а завтра безвылазно ждать дома. Я не сомневался, что судьба этих денег будет такая же, как у предыдущих... но что его снова толкало ко мне... неужели только ощущение безнаказанности? Да нет... наверняка его скребли сомнения, что я не уверен в абсолютной его честности, в абсолютной его верности дружбе,— и это бесило его. Желание доказать свое совершенство в сочетании с привычной необходимостью воровать и составляло главную трагедию его жизни.

Но все-таки хорошая закваска в нем была, раз он еще что-то пытался доказывать. И именно мне-то и стремился он доказать свою честность — всех остальных в его окружении не занимал этот вопрос, и тут вдруг — я. Может, я и был его последним шансом на спасение, Полярной звездой на фоне тьмы? Наверняка в общении со мной он тайно надеялся обогатиться духовно, а я обогатил его лишь материально, и на этом успокоился!

Конечно же, с виду он суров — на любое подозрение ответит оскорблением, на нападение — зверским ударом, на обвинение — обвинениями гораздо более тяжкими... неужто уже нет хода в его душу? Похоже — единственный крючок, которым его можно еще поднять,— это крючок «верной дружбы», «дружбы, не знающей пределов»... Правда, этим крючком он тянет в основном вниз, на себя — но, может, еще можно его поднять этим самым крючком вверх?

Что-то, наверное, все-таки сосало его, если уже больше чем через год он вдруг остановил у тротуара рядом со мной свой «Жигуль».

— Ну ты, зверюга, куда пропал? — распахнул дверцу, оскалился он.

Все зубы уже золотые... молодец!

На заднем сиденье маялся мужик, одетый добротно, но без претензий.

— Клим! — пробасил он, сжимая руку.

— Из Сибири пожаловал! — усмехнулся Фил.

Значит, была у него потребность: показать, какие у него друзья? Выходит — не успокоился он: иначе зачем нужно было ему останавливаться, а не ехать мимо?

— Зарядил тут ему отель, приезжаем — болт на рыло! — прохрипел Фил.

— Да чего уж там... уеду, если так! — пробасил Клим.

— Может — ко мне? — неожиданно проговорил я.

— Валер-кин! — Фил потряс меня за плечо.

Неужели все повторится?

Владимир
ЛАХНО

Попутчики Чехова

Шуршит рессорная коляска,
ветлы мерцает седина,
луна — припудренная клякса —
в пыли небес едва видна.
Попутчик, суетен и вздорен,
витийствует, всегда румян,
сравнив огни на косогоре
с кочевьями филистимлян.
А пылью, как и в Таганроге...
Вблизи хатенки — землемер,
и с ним сидящий у треноги
тоскует нервный инженер,
что вот уже пустеют хаты,
каменотесов наглый гам,
что все же строим, Геростраты,
былых соблазнов новый храм...

◆◆◆

А. Д. Сахарову

Зачем, зачем огромная война
учила нас жестокосердой песне,
и гордости, и подлости, и лести?
Зловещие роились имена.
Убийцы века со святыми вместе
в нас навсегда свои вонзили письмена.

Зачем свои неправые права
возложены войною на столетья?
Бессмысленность приравнена
к бессмертью —
ложь любит наивысшие слова.
К высотам лозунгов опять стремятся дети.
Опять за молодость лишь мстила в ответе
да сердца стук, да неба синева.

Архивная опись

Не хватает листов казенных
в корках строгих — изъят, заменен —
с именами людей казненных,
даже с отзвуком этих имен.
В те изъятия, словно в провалы,
обрывается зябко душа
и кричит средь потемок кровавых,
бесполезно хоть отзвук ища.
Только в описи штамп осторожно,
аккуратно графу заследил:
«УНИЧТОЖЕНО», «УНИЧТОЖЕНО»...
И — ни жертв, ни судей заполошных,
и — ни крови, ни даже чернил.

Старая вахтерша

Здесь девушки спешат или зевают,
как волны набегая, убегая,
и каждая из них с собою вносит
особенный позыв слезы иль смеха —
в немолчный улей жизни коммунальной.
А перед ними, смутная, стоит
ветшающая вечная вахтерша,
похожая на кряжистую липу,
уставшую в туманах и ветрах
от плясок весен или склок осенних.
Напитанная жаждою губа,
ядреный нос, обрезок подбородка —
громоздкая, седая от страданий
иль ненасытности померкшая бабница.
Всю жизнь она стояла на часах —
в годины рева, радости иль стона...
Она внезапно будет умирать
на серой и засаленной постели,
как липа, сокрушенная годами,
с последним хрипом задранных корней.
В ее сознании затихнут крики жизни
и страсти отгоревшие, и страхи,
и стоны виноватых и безвинных.
Земля в ее рассудке повернется
понурым севером, беспутным югом,
где скрашивали день ее скворцы
да соловьи — объятий дирижеры.
И север хрипотой конвойных псов
пролает ей проклятье обреченных...

В городе юности

Будит улицы гул разноликий,
свежий ветер кричит жизни вслед,
кто-то холит оконные блики,
кто-то — щеки, до времени сед,
кто-то душу свою подновляет,
коль судьбу не дано подновить,
коль судьба, как собачка, виляет
и готова на звезды завыть.
Но, как прежде, кричит за оградой
неизжитая бабья беда,
и тасуется пьяненький, праздный
здесь дурак подкидной, как всегда...
Я ль отсюда нелегкую душу
как пушинку пустил со стиха?
Но, как прежде, страдальчески трушу
барабанных словес пустяка.
Прохожу по старинной аллее,
где базар воробьев заводной,
где, пред девушкой пав на колени,
вновь хохочет дурак подкидной.

Владимир
АДМОНИ

СТЕЗЕЮ ВЕКА

Памяти Тамары Сильман

◆◆◆

Очевидец последнего века
Уходящего тысячелетья,
Позову — и не будет ответа,
Ибо некому мне ответить.

Это значит — пора оглянуться.
Это значит — пора оглядеться.
Чтобы ожили, ожили чувства,
Наплывавшие с самого детства.

Вот и строки приходят свидетельств.
Строки, строки про разные сроки —
И про те, что в конце столетья,
И про те, что в его истоке.
1987

◆◆◆

Ну, как мы с тобой разочтемся?
Когда же увидимся вновь?
Недолгое это знакомство —
И долгая эта любовь.
И нету улыбки лукавей.
И нет потаеннее слов.
Но всю эту землю восславить
За то, что ты есть, я готов.
И в час барабанного боя,
Когда подступает беда,
Ты, кажется, станешь судьбою,
Судьбою моей навсегда.
1928

◆◆◆

Тоска двадцать восьмого года.
Тоска шумящих площадей.
Тоска измученных людей.
Тоска смятенного народа.
Все оковавшая тоска,
Простершая свои объятья
И в пламенеющем закате
Сжигающая облака.
1928

◆◆◆

За январем крупнопанельным
Пришел, как водится, февраль.
Таким рассыпчато-метельным,
Каким бывал едва ли встарь.

Для новоселий и поминок,
Для свадеб и для похорон
Пригодно реянье снежинок,
Кружащихся со всех сторон.

Они скользят все ниже, ниже,
Утяжеляясь на лету,
Чтоб стать той самой черной жижей,
В которой жить невмоготу.
1937—1958

◆◆◆

Живу, как прежде, стороной.
Живу, как жил перед войной.
Живу. И ты живешь со мной.
А как, не знаем сами.

И снег январским серым днем
Ложится в городе моем.
И мы живем, живем и ждем
Вороньими ночами.
1946

◆◆◆

Ничего, что чистосердечные
Мой голос, мой голос и стих.
Новою человечностью
Я обозначил их.
1988

Елена
БОННЭР

ПОСТСКРИПТУМ

Книга о горьковской ссылке

2

За несколько дней до Нового года (похоже, в канун Рождества) меня попросили прийти в консульский отдел США. Там меня ждал доктор Стоун [1]. Он привез Андрюше в подарок фотоаппарат и калькулятор. Сказал, что разговаривал с руководством советской Академии об Андрее, но, к сожалению (нашему), этот разговор не сопровождался никакой гласностью. А разговоры с глазу на глаз — это игра, которую советские власти даже поддерживают. И от них никогда никому проку никакого еще не было. Однако именно так действуют многие западные друзья моего мужа. Я сказала доктору Стоуну, что муж вновь обращался к Президиуму АН и президенту с просьбой помочь получить разрешение мне поехать на лечение и не получил ответа, что он решил вновь объявлять голодовку и что он написал письмо Андропову. Стоун сам попросил у меня это письмо и сказал, что он лично передаст его Велихову [2] для передачи выше. Мы полагаем, что доктор Стоун выполнил свое обещание. И это означает, что руководство Академии знало о предстоящей голодовке Сахарова, знало, чем вызвана ее необходимость. И так же, как в предыдущий раз, ничего не сделало, чтобы ее предотвратить!

Перед самым Новым годом в Горький приезжал Виталий Лазаревич Гинзбург [3]. Он был у нас 29 декабря, и Андрей ему рассказал все о своих планах. Таким образом, круг посвященных расширялся, и Андрей считал, что это хорошо: чем больше людей будет знать, тем больше возможность того, что власти не захотят скандала и мне просто дадут разрешение. Возможно, это так и было бы. Но все, кто знали, мне кажется, считали, что это их знание — «вещь в себе» и они вроде как об этом не знают.

Пришел праздник Новый год и прошел. Мне эта зима была очень тяжела, я отсчитывала даты по принципу «дожить бы». Прошел Старый Новый год. В начале февраля я ездила в Москву проститься с Наташей. Ехать провожать ее в Ленинград уже мне было совсем не под силу, хотя во время пребывания в Москве дела были все время и мне приходилось их делать, даже если «не под силу».

Сегодня мне 63 года, по странной случайности или закономерности, я нахожусь во Флориде, в Disneyworld'е. Воспринимается это как нереальное существование, хотя я не ощущается сном. Я здесь с тремя своими внуками, о встрече с которыми очень много думала в Горьком. Может быть, потому, что Горький так далеко, не географически, а по-другому далеко, они мне казались другими. Я испытываю при общении с ними чувство неловкости к некоего не то что разочарования, а невстречи того, что думала встретить. Они оказались другие: не хуже и не лучше — просто другие. К ним надо долго присматриваться, а этого «долго» у меня нет и не будет. Видимо, поэтому я, в общем, никогда не смогу сказать, какие они, мои внуки. Во всяком случае, сейчас они увлечены Disneyworld'ом, как и взрослые, которые здесь вместе со мной, как и я сама.

Я тут с очень хорошими взрослыми; сказать «друзья» — это сказать очень мало. И хорошие они не потому, что они наши друзья, а потому, что от них исходит некая аура приязни к миру и взаимной любви. Обращенная ими друг на друга, она согревает и тех, кто рядом.

Быть вместе с внуками и с друзьями, да еще в таком безоблачном месте, как Disneyworld, а он, этот мир, действительно безоблачный, ни одного облачка на голубом небе, а ночью — луна и звезды такие яркие, что кажутся сделанными, как и всё в этом микромире,— было бы счастьем, если бы...

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1990, № 5.
[1] Джереми Стоун, математик, глава Федерации американских ученых.
[2] Евгений Павлович Велихов, вице-президент АН СССР.
[3] Академик, заведующий теоретическим отделом Физического института АН СССР.

Сегодня 15 февраля 1986 года. А 15 февраля 1984-го? Ровно два года тому назад в этот день... и потом! Господи, сейчас вокруг меня температура 20 градусов с лишним, дети и Джил ушли на пляж, где-то музыка, все земное здесь кажется таким беззаботным, и цветущие деревья сбивают с толку — где же зима? Два года тому назад день был холодный, ветреный и пасмурный. Мы с Андреем праздновали мой день рождения, как всегда, с традиционным пирогом, вином, свечами на столе. И, как всегда, вдвоем, вместе мы были счастливы. Потом я поехала в Москву. Я пробыла в Москве неделю, поехала в Горький. Приехала назад; в общем, я не помню, почему я моталась взад-вперед, какие-то у меня были дела нужные. В этот раз я тоже, как и всегда, встречалась с представителями американского посольства. Опять меня звал на чай посол Норвегии, и у меня был с ним разговор, когда он мне сказал, что норвежское правительство не может хлопотать по поводу моей поездки на лечение: это лучше и легче делать правительству Италии, так как я собираюсь лечиться в Италии. Разговор этот вызвал у меня неприятный осадок, как будто мы просители, а не приглашены норвежским правительством: и приглашают, и отмахиваются от того действия, которым могут реально помочь.

Приехала я в Горький, но числа 7-го или 8-го вернулась в Москву: у меня была договоренность с детьми, что они будут звонить в начале марта, а кроме того, я хотела добиться консультации Сыркина.

Я сделала в Москве анализ крови и ЭКГ. Приблизительно в середине марта я лежала у Галки, где и была консультация Сыркина. Когда я стала договариваться о консультации, у Гали сразу выключили телефон. Все переговоры с поликлиникой Академии наук — кроме самого первого моего разговора — Галя вела из телефона-автомата. За ней при этом, как за мной, ходили сотрудники КГБ: они, видно, боялись, что я к ней в дом приглашу иностранных корреспондентов. Когда я уехала в Горький, телефон ей снова включили.

Сыркин приехал не один, а с моим участковым врачом, Людмила Ильинична ее зовут, фамилии не знаю, и с врачом-мужчиной, фамилии которого тоже не знаю,— он был у меня дома вместе с другим врачом, заведующим отделением, когда был диагностирован инфаркт. После осмотра они закрылись и довольно долго, минут 40, а может, целый час, что-то обсуждали шепотом. Н. К., которая была при этом у Галки, пыталась подслушать через дверь, но ничего из этого не получилось.

Мне же они после своего совещания сказали, что я должна быть пока что очень осторожна: похоже, что я снова перенесла какие-то нарушения кровообращения, очаговые или микроочаговые. И Сыркин сказал, чтобы до тепла, не до календарной весны, а до настоящего тепла, я, по возможности, на улицу не выходила. С этим я вышла на улицу и поехала в Горький. Еще были назначены лекарства, которые я взяла с собой.

Был разговор с детьми по телефону, и мы договорились, что я буду разговаривать с нимв 8 апреля. Исходя из этого, я планировала, что выеду из Горького 7 апреля.

Когда я приехала в Горький в конце марта, у Андрея немножко побаливала нога, потому что ов ударил ее мусорным ведром. В области колена был небольшой синяк, ссадина даже внднa не была.

30 марта Андрея вызвали в горьковский ОВИР. Как ни странно, вызвали Андрея, хоть он никогда в ОВИР не обращался. Зав. ОВИРом сказала, что ей поручено сообщить, что ответ на его заявление будет после 1 мая. Андрей сказал ей, что он никаких заявлений в ОВИР не подавал, что заявление в ОВИР подавала его жена. «Я ничего не знаю, меня просили вам передать, и я передаю, что ответ будет вам 2 мая».

С этим Андрей пришел домой. Нога у него все больше болела, и, как всегда, когда что-нибудь болит, неизвестно откуда узнают, но появляются Феликс с Майей... Она посмотрела ногу, решила, что это тромбофлебит, и назначила согревающие компрессы, которые я стала ставить. На следующий день после прихода Майи приезжали физики, и Евгений Львович сказал, что появилась такая очень хорошая мазь — триоксавазан, и она тоже хороша была бы Андрею.

...Евгений Львович очень возражал против решения Андрея о голодовке, впрочем, как и всегда. Он настоятельно убеждал, что раз Андрея вызывали в ОВИР и сказали, что надо ждать мая, то надо ждать мая. А Андрей считал, что это просто жульничество, в котором КГБ хочет перехватить инициативу. Кроме того, тогда мы этого не понимали, но позже стали понимать, что этот вызов в ОВИР вызван еще тем, что действительно КГБ хотел перехватить инициативу, но было решено действовать после 1 мая — видимо, заключение Сыркина и других врачей о моем состоянии возбуждало их опасения. Вызов в ОВИР был именно таким шагом со стороны КГБ: после вызова, рассчитывали они, Андрей будет ждать до мая. Но Андрей как раз решил не ждать.

Мы по Майкиной рекомендации ставили два дня компрессы, но ноге стало хуже. Я перестала ставить компрессы. Несмотря на то, что у него болела нога, Андрей считал, что отменять мою поездку не надо, и 7 апреля я поехала в Москву. Поехала с твердой договоренностью с Андреем, что я ухожу в американское посольство, а он начинает голодовку.

Мысль об уходе в американское посольство была вызвана тем, что Андрей боялся, что если я останусь в Москве на Чкалова одна или, тем паче, в Горьком одна, то меня могут забрать в больницу или еще куда-то, и со мной может вообще неизвестно что случиться, что мне небезопасно быть дома и поэтому я должна уйти в посольство. Вначале он думал, что лучше всего мне уйти в норвежское посольство, и просил меня еще зимой выяспить, есть ли в норвежском посольстве врач. Оказалось, там врача нет, и они сами, если им нужна срочная медицинская помощь, обращаются в поликлинику для дипломатов. Андрей считал, что это нам не подходит и в таком случае я должна уйти в американское посольство.

Надо сказать, что мне американское посольство совсем не нравилось: я думала и сейчас думаю, что, уйди я в американское посольство, ко мне еще легче было бы прилепить всякие названия, вроде как сотрудник ЦРУ, сионистский разведчик или еще что-либо в этом роде. Правда, я не ушла, а все равно эти названия ко мне прилепляют, но хоть с меньшими, даже и на их взгляд, основаниями.

Я вообще была против того, чтобы мне идти в посольство: я не пятидесятник и прекрасно понимаю, что посольство помочь в решении моей проблемы не может. Но и Андрей считал, что нам нужна не помощь посольства — нам нужно только убежище для меня, как таковое.

7-го числа у Андрея болела нога, но мы думали, что все это пройдет, по рекомендации Евгения Львовича мазали этим триоксавазаном, который у меня нашелся. Андрюша поехал меня провожать, в купе он сидел, подняв ногу на сиденье, потому что опущенной она сильно болела. Но мы оба не придавали этому особого значения. Я виню себя: я медицински более грамотна, должна была в этом случае насторожиться,— однако я слишком волновалась, поскольку уже окончательно было решено, что я из Москвы не возвращаюсь. Это означало, что я иду в посольство, предварительно послав Андрею телеграмму с указанием даты, а он в этот день посылает телеграммы председателю Президиума Верховного Совета СССР и в КГБ и начинает голодовку. Кто у нас тогда был? Я уже забыла — Черненко, кажется, а может, и не Черненко. Так я была занята мыслями об этом, что о ноге много не думала.

8-го числа я разговаривала с детьми. Мне кажется, дети поняли, что готовится голодовка, только не понимали, когда она начнется.

Я встречалась с сотрудниками посольства, договорилась с ними, что они 12-го за мной заедут и повезут на встречу к послу.

...10-го числа ко мне неожиданно пришел Дима и сказал, что у него свободные дни и он едет к отцу. Я обрадовалась, дала ему кое-какие продукты и триоксавазан, который уже к этому времени купила. Дала деньги на билет, и он уехал 10-го числа.

11-го вечером я пошла ночевать к Галке. 12-го я вернулась от нее в час дня, в два часа у меня была встреча с американцами. Я собрала сумку с вещами: белье, платье, какие-то книги, чтоб ехать с этой сумкой в посольство,— и в это время принесли телеграмму от Андрея: «Ноге хуже, рекомендуют госпитализацию, согласился». Я оставила свою сумку недособранной и решила немедленно ехать в Горький. Спустилась к двум часам вниз. Еще не приехали американцы, вдруг вижу — бежит Галя, размахивая моим мешочком с лекарствами. Она пришла совершенно случайно, потому что я забыла свои лекарства и она решила мне их принести. Я ей сказала, что получила телеграмму от Андрея и еду в Горький.

...Галя отдала мне лекарства и ушла. А в это время приехали посольские. Я им сказала, что к послу не поеду,— они, по-моему, очень растерялись от моих слов,— и попросила их отвезти меня на вокзал. Показала телеграмму от Андрея. Сказала, что я еду туда, вернусь 2-го числа, что 3-го я их прошу приехать ко мне на встречу и что по возвращении, видимо, состоится мое свидание с послом, если он согласится меня принять.

...В Горький самолет прилетел почти вовремя, и домой я приехала в восемь вечера. Такси я не отпускала. Дома застала большой разгром и Диму, курящего и листающего все журналы, какие есть, подряд,— во всяком случае, весь стол завален разными журналами, и Дима в этом царстве дыма и полном довольстве собой. Он сказал мне, что отец в больнице. Я поехала туда, меня не пустили, но взяли записку.

Я написала: «Приехала, не волнуйся, завтра утром буду у тебя. Целую. Люся». Вернулась домой. Утром поехала в больницу снова. Андрюшу я застала уже после того, как ему вскрыли нарыв. Они важно называли это «после операции». У него оказался карбункул в области коленного сустава, но сустав не был затронут.

Андрюша, очень растерянный, сразу мне сказал, что накануне, когда его привезли в больницу, во время обследования в рентгеновском кабинете и еще где-то, его сумка оказалась не с ним. Он считает, что она была в руках КГБ. Из сумки исчезли адрес посольства, фамилии посольских сотрудников, с которыми я разговаривала, и еще какие-то бумаги. А копии писем послам, обращения и другое в сумке осталось. Но Анд-

рей считал, что сумка была не у него в руках, а сама по себе, достаточно долго, чтобы успеть сфотографировать эти документы. Он был очень расстроен этим. Я ему сказала: «Наш поезд ушел, считай, что из-за ноги, считай, что из-за помойного ведра,— в этот раз надо остановиться». Он ответил: «Нет, я ни за что не остановлюсь, я все равно буду делать то, что решил».

Чувствовал он себя вполне прилично. Я не понимала вообще, почему его положили, назначили строгий постельный режим, ногу упаковали в гипс, назначили сердечные лекарства, ну, ладно, дают антибиотики, это еще оправдано. Этот день я провела полностью с Андреем, уехала в 8 вечера. На следующий день, когда я приехала, у него состояние было в смысле сердечном хуже. Врач сказала, что у него появилось много экстрасистол. ЭКГ ему делали. Я еще в этот день не спрашивала, какие медикаменты ему дают. И только на пятый день его пребывания в больнице, после подробного разговора, выяснила, что ему дают изоптин и дигиталис — и про то, и про другое по предыдущему его пребыванию в больнице было известно, что действуют они на него плохо. И вообще такую экстрасистолию, как у него — одна-две в минуту,— лечить не надо.

У меня был очень сердитый разговор с врачом об этом и о том, почему его держат лежачим — лежать после такой операции совсем не надо, он вполне может вставать и мог бы быть дома. Кроме того, я стала настаивать, чтобы меня оставили в больнице. Андрей тоже настаивал, чтобы его отпустили из больницы или меня оставили с ним, собственно, второе — это была уже его идея, когда он понял, что отпускать из больницы они его не хотят.

«Они» — это не врачи, конечно; врачи во всем этом были только исполнители. На то, чтобы меня оставили в больнице, мы разрешение получили. Скандал же с врачом по поводу медикаментов перерос уже в некий более широкий.

Врач пришла и сказала, что звонила Таня Сахарова и настаивала, чтобы папу лечили, чтобы папу никак не выписывали из больницы, что у него много всяких заболеваний и даже дизентерия и что-то еще, какие-то заболевания, о которых я никогда не слышала; сейчас я забыла, что Таня говорила. Через несколько часов снова пришла врач и сказала, что ей звонил «друг Сахарова доктор Ковнер» и настаивал, чтобы Сахарова держали в больнице, чтобы его лечили, не слушались его жены, которая против того, чтобы Сахаров получал нужное ему лечение.

...Андрей уже больше не может быть в госпитале, на людях. Ему продолжают делать перевязки, медикаментов он уже никаких не принимает, но ЭКГ действительно с большим количеством экстрасистол. Но, несмотря на это, он, по собственному настоянию, 21-го числа выписывается из больницы, договорившись с хирургом, что будет приезжать на перевязки. Потом на следствии мне скажут, что я заставила Андрея выписаться. И действительно, мы еще два или три раза приезжали на перевязки, потом Андрей меня спросил: «А что, ты сама это не можешь делать, что ли?» Я сказала, что могу. И он сказал: «Ну, я больше не поеду». И езда на перевязки на этом кончилась.

...Мы до 2-го числа жили спокойно и нормально, хотя уже внутренне я вся тряслась, как и в апреле, от ужаса перед тем, что мне надо ехать в посольство, что Андрей начинает голодовку. И одновременно я думала, что из всего этого ничего не выйдет. Ведь мы оба знали, что ГБ все известно, а остановить это я уже не могла, а Андрей уж, конечно, не остановит.

И с этим настроением 2-го числа мы едем на аэродром.

...Мы оба очень волновались в ожидании посадки. Я сидела, Андрей стоял рядом, держал мою руку. И снова: «Кто может знать при слове расставанье...». Эти слова стали как лейтмотив нашей горьковской жизни. На аэродроме, когда повели к самолету, меня обступили человек пять, я оглянулась на зал, но никого не увидела. Они меня отделили от других пассажиров, взяли под руки и провели к машине — такой маленький «рафик», похожий на «воронок». Я сразу поняла, что арестована, тем паче, что, когда мы прощались, мы уже ожидали чего-то в этом роде.

Завезли в другой конец аэродрома. Небольшое приземистое здание, второй этаж, кабинет какого-то начальника, там две женщины в форме МВД и высокий мужчина в штатском. Он представляется: старший советник юстиции, еще что-то (так и не помню всех его званий) Геннадий Павлович Колесников [1]. Предъявляет мне обвинение по статье 190-1 и постановление об обыске; что точно было написано в этих бумажках, я не помню.

Меня провели в соседнюю комнату, где две женщины сделали личный обыск и обыск моих вещей — всего одна сумка. Отобрали только копии тех бумаг, которые были в том конверте, что я в Москве отдала дипломатам. Явно было, что Колесников уже с ними знаком, потому что он на них едва глянул.

[1] Старший помощник прокурора Горьковской области по надзору за следствием в органах КГБ.

...Не помню ни одного вопроса на первом допросе, однако помню свой ответ. Он был один и тот же на протяжении всего следствия. Иногда в беседе со следователем я говорила какие-то другие вещи, но для протокола, для записи существовал только один этот ответ:

«Так как никогда и нигде и ни при каких обстоятельствах не распространяла заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный или общественный строй, а также государственный или общественный строй других государств, а также частных лиц, в следствии не участвую и на поставленный Вами вопрос не отвечаю».

Этот ответ, конечно, громоздкий и довольно длинный, повторен мною во всех допросах. Несколько раз следователь говорил, что, может быть, будем кратко записывать ответ, но я не соглашалась, и он всегда записывал ответ полностью, таким длинным и таким нескладным. В конце концов с меня была взята подписка о невыезде из Горького.

На первом допросе я заметила, что кисть правой руки у Колесникова деформирована ранением и писать ему трудно. Наверно, не убыло бы моей позиции, если б я согласилась, чтоб он писал «ответ тот же», как он предлагал, а не тот длинный и громоздкий, который я сочинила.

Обыск и первый допрос продолжались больше двух часов — я думаю, часа два с половиной, если не все три. После этого мне дали повестку на допрос на 2-е число, посадили в тот же самый «рафик» и повезли домой. Везли меня человек пять, наверно, если не больше. Когда я вышла из машины около нашего дома, ко мне обратился какой-то мужчина и сказал:

— Елена Георгиевна Боннэр? Разрешите представиться.

Я испугалась, что это какой-то проситель на виду у всего ГБ пристает ко мне, и стала ему говорить:

— Уходите, вас сейчас задержат.

А он говорит:

— Разрешите представиться — начальник УКГБ по Горьковской области.

Положение какое-то дурацкое. Я на него смотрю и не очень знаю, что я должна сказать. И с этим «не очень знаю» иду к лестнице и прохожу в подъезд. Он идет за мной. Я иду мимо милиционера, прямо в дверь, и он за мной в квартиру.

Андрей бросается ко мне:

— Люсенька!

Я ему говорю:

— Андрюша, это начальник ГБ Горьковской области.

А надо сказать, что к этому времени мне ужасно захотелось в уборную; если учесть, что из дома я выехала четыре часа назад и давно должна была быть в Москве, то это вполне понятно. Я прямо ставлю сумку на пол и бегу в уборную. Когда я выхожу, то здесь уже полный крик. Разговор идет на самых высоких тонах. Начальник КГБ кричит, что «о ней я вообще разговаривать не хочу. Боннэр является американской шпионкой, сотрудником ЦРУ и сионистской разведчицей. Будем ее судить по 64-й статье. А вот вы...» — и чем-то грозит Андрею. Андрей кричит ему, совершенно не помню что. Тот вылетает через дверь, продолжая выкрикивать угрозы по моему адресу, а Андрей бежит в коридор за ним и что-то кричит ему. Спустя несколько секунд Андрей возвращается, и тогда выясняется, что Андрей уже начал голодовку. Он видел, как меня посадили в машину и увезли, и понял, что меня арестовали. Вернувшись домой, он сразу послал телеграммы председателю Президиума Верховного Совета и КГБ о том, что начинает голодовку за мою поездку. Пришел после этого домой, принял слабительное, сделал себе клизму и уже сидит, попивает водичку. И уже все мои многомесячные возражения: начинать голодовку, не начинать голодовку, имеет это смысл, не имеет это смысла — повисли в воздухе.

Я ему рассказала, что мне предъявлено обвинение, что с меня взята подписка о невыезде и что формально я в данный момент нахожусь под следствием и завтра надо являться на допрос. На этом «рабочий день» 2 мая у нас кончился.

Можно считать, что вызов Андрея в ОВИР 30 марта был вполне оправданным: они дали ответ после 1 мая, начав против меня 2 мая следствие. Андрей был прав, когда говорил о вызове в ОВИР, что это КГБ хочет перехватить инициативу.

3 мая я на допрос не пошла. Мы поехали, но такси не сумело подъехать к прокуратуре — там закрыто движение,— а пешком я не пошла, я плохо себя чувствовала. 4-го я пошла на допрос, мне 3-го принесли повестку на 4-е. О чем был допрос, я не помню, ответ был всегда один и тот же, как я уже говорила, и поэтому у меня очень плохо в памяти сохранились вопросы, хотя я все вопросы записывала. 4-го вечером по телевизору была передача, где сказали, что я вступила в преступную связь с американскими дипломатами и еще что-то в этом роде. 5 мая был день без особых событий.

6-го Андрей чувствовал себя еще вполне прилично, хотя это был уже четвертый день голодовки. Я решила сажать цветы. Андрюша начал вскапывать клумбу перед

балконом, а я на балконе возилась с землей в ящиках. Это было часов около 12-ти, может, начало первого, когда к Андрею довольно близко подошла Ирина Кристи [1]. Она была одета в бежевый плащ, у нее в руках была сумка, а в сумке букетик цветов. Андрей — как всегда с ним бывает, если он не подготовлен,— не узнал ее. Я ее узнала сразу. И сразу начала говорить, что меня задержали на аэродроме, что против меня начато следствие и что Андрей голодает со 2-го числа. Я ей сказала, что следствие начато по 190-й статье, но одновременно меня заманивают, пугают 70-й или даже 64-й. Объяснить я ей ничего не успела. (А 70-я выплыла на допросах, потому что Колесников все говорил, что это не 190-я, это гораздо больше, это 70-я. 64-й он не называл ни разу — о 64-й говорил начальник КГБ.)

Все это я объяснить Ире не успела: набежали гебешники и Иру утащили, буквально уволокли в соседний дом, в помещение, которое они называют «Опорным пунктом охраны порядка». Когда ее оттуда вывезли, мы не видели, хотя ждали у окна по очереди почти весь день. Я все жалела, что мы не успели взять у нее цветочки.

Это было 6-го числа, 7-го мы пошли на допрос. На допрос я была вызвана во второй половине дня, где-то часа в три. Поехали мы на такси. Я была у Колесникова, а Андрей сидел в коридоре. При нем была сумка и термос с горячей водой, которую он попивал. Допрос был какой-то вялый, недолгий, в конце допроса Колесников сказал, что ему надо поговорить с Андреем и не возражаю ли я, если он его вызовет в кабинет. Я не возражала, он его позвал и сказал: «Андрей Дмитриевич, за вами приехали врачи, вам надо ехать в больницу». Андрей стал возражать. В это время вошли несколько человек в белых халатах, человек пять-шесть опять же, и предложили ехать в такой форме, что возражать им было явно бессмысленно. Тогда Андрей попросил, чтобы разрешили мне ехать с ним в больницу. Они разрешили.

Нас привезли в больницу на «скорой помощи» и провели в ту же палату, где мы лежали вместе после Лизиной голодовки и Андрей один, когда у него болела нога. Одна кровать в палате была занята каким-то мужчиной. Нас ввели в палату и на некоторое время оставили одних — впрочем, не совсем одних: этот мужчина из палаты не выходил. Надо сказать, что у меня в эти дни очень болела спина, я вообще чувствовала все эти дни себя плохо и полуприлегла на Андрееву кровать, и Андрей тоже прилег рядом со мной. В это время пришел Обухов и сказал, что мне надо уйти. Андрей стал возражать и настаивать, чтобы меня оставили с ним, как было в предыдущее его пребывание в больнице. Обухов категорически возражал против этого, а потом предложил, что я могу остаться в больнице, только в другом отделении и в другой палате. Он так это сказал, что было совершенно ясно — обманывает. Андрей на это не соглашался, вошли несколько мужчин, и мы поняли, что меня будут удалять силой. Я встала с постели. Андрей тоже вскочил и обхватил меня, стоя сзади, поперек живота двумя руками. Меня стали вырывать из его рук. Он меня тянет к себе, а меня вырывают. Тут я на какое-то мгновение ничего не помню — просто не помню, как я оказалась в коридоре. Меня силой вырвали; может быть, я даже на мгновение потеряла сознание. Утверждать я этого не могу, но как оказалась в коридоре, я не помню. Я только слышала, как Андрей что-то кричит, но, видимо, его держали там силой в комнате, в коридор он не выбежал. Меня протащили по коридору на весу, как детей за руки тащат. В конце коридора поставили на ноги, дали мне мою сумку в руку — значит, кто-то из них ее нес. Мы на лифте спустились вниз, меня посадили опять в машину и отвезли домой. Это было около восьми вечера.

Осталась я одна — как провела ночь, не помню. Утром разбудил меня звонок в дверь. Когда я открыла, в квартиру вошли Колесников, две женщины какие-то с ним, одна в милицейской форме, несколько мужчин и понятые — две женщины из нашего дома. Они предъявили постановление об обыске. Это было около девяти утра, и начался обыск, долгий, нудный. По-моему, им самим надоело рыться в Андреевых бумагах. Забрали они безумное количество, всего 319 наименований, причем некоторые — наименование одно, а содержит папку в 300 страниц, папку в 119 страниц. Забрали много книг, все английские, немецкие. Забрали, конечно, и пишущую машинку, и магнитофон, и фотоаппарат, и киноаппарат, и, самое главное, радиоприемник. В общем, забрали все, что можно. Обыск был нарочито тщательный: выстукивали стены, выстукивали мебель, искали всякие тайники. Очень странно и неожиданно для меня было, что в конце обыска приехал еще какой-то мужчина в штатском и в разные пробирки забирал образцы продуктов и образцы лекарств, видимо, на наркотики. Ну, тут была одна накладка. У меня вообще все продукты в стеклянных банках с надписями, а одна баночка без надписи. Там какой-то желтовато-грязный кристаллический порошок. Он меня спрашивает: «Что это такое?». Я говорю: «Понятия не имею». Он растирал между пальцев, нюхал, потом взял в пробирку. Потом взял всю эту банку, и, уже когда они

[1] Ирина Григорьевна Кристи — математик, участница правозащитного движения.

ушли, я вспомнила, что Андрей одно время покупал иодированную соль, это она и есть. Я ею не пользовалась и совсем забыла, что это такое.

Ушли поздно, в 10 часов. Я легла спать, вернее, не легла, а повалилась и как провалилась в сон, такая была усталая.

На следующий день, 9 мая утром, я решила ехать в больницу, взяла такси, по дороге попросила таксиста свернуть к маленькому рыночку купить цветов. Я видела, что за мной едут две гебешные машины. Когда я подошла к женщине, которая продает цветы, выбрала тюльпаны и, расплачиваясь, держала их в руках, ко мне подошли два гебешника и спросили, что я делаю. Я сказала: «Что, не видите, цветы покупаю, а что? Нельзя?» — «Нет, цветы можно,— сказал один из них.— Но в больницу нельзя. И не вздумайте подъезжать даже близко. Вас все равно туда не пустят, а у вас будут большие неприятности». Я сказала, что больше уж некуда, все неприятности, которые могут быть, уже есть.

В больницу я не поехала. Ну что ехать! Силой прорываться бессмысленно. Никуда я силой не прорвусь. И вернулась домой. Таким образом я провела 9 мая, не увидев Андрея, расставив по всему дому цветы, которые собиралась отвезти ему.

...Допросы продолжались все эти дни. Числа 16 или 17-го я получила телеграмму от Димы, Тани и Любы. Текст этой телеграммы приведен Андреем в письме маме и ребятам в Бостон [1]. Для меня она была тяжелым добавлением ко всему, что уже случилось, и самое неприятное было то, что телеграмма стала чуть ли не ведущей темой в ближайшие дни на допросах. Колесников меня все время спрашивал об этом, все время доказывал мне, исходя из этой телеграммы, что меня еще надо судить и по статье 107 или 103 — это принуждение к самоубийству и прямо «умышленное убийство». Я послала ответ, тоже телеграфный [2], на Любин адрес, потому что других адресов я не знала, у меня на обыске забрали все записные книжки. Я могла пользоваться только тем, что помню.

Я написала Любе, что я не знаю, что́ с отцом, с 7-го числа, что остановить голодовку и спасти его я не могу и что их телеграмма... Ох, я не помню, что я им ответила. Только я им написала, что понимаю: не Люба инициатор этой телеграммы, а отвечаю я на ее адрес, потому что у меня нет другого. Это я помню, а остальное не помню.

И следователь, когда меня потом допрашивал, все время упрекал за этот ответ, за то, что я им написала, что я не знаю, что́ с отцом сейчас происходит, и никакой связи у меня с ним нет, это вроде как я неправду говорю, в то время, как прекрасно знаю, что отец лечат и он находится в больнице, и что именно это я должна была написать его детям. Тогда я не понимала, почему именно в эти дни была телеграмма, почему именно в эти дни им было важно такое давление на меня. Теперь, уже постфактум, я знаю, что 11-го у Андрея был спазм или инсульт, резко ухудшилось состояние, и эта телеграмма им была нужна на всякий случай, если они потеряют Андрея из-за насильственного кормления. И для этого же им, возможно, был нужен какой-нибудь свидетель. Тогда я этого не понимала, поняла только потом, когда Андрей вернулся и рассказал, что с ним было.

...21 или 22 мая (думаю, что 22-го: если бы это было 21-го, я бы запомнила — ведь это день рождения Андрея) меня не вызывали на допрос, и ко мне в середине дня приехала женщина, сказала, что она медсестра из больницы. Она приехала по поручению заместителя главного врача взять для Андрея очки, зубы и книгу о Паскале. Я все время до этого как раз думала, что, когда его утащили в больницу, он был без съемного протеза. Ему все время мешал протез, он его часто снимал. Все это она сказала на словах, причем было сказано так: «Очки для дали, зубной протез и Паскаль»,— какое-то очень домашнее название книги. Это книга из серии «Жизнь замечательных людей», я ее читала как раз перед тем, как Андрея забрали, и мы ее много обсуждали. Но вряд ли Андрей постороннему назвал бы ее так запросто, без автора и без ничего. И поэтому я решила, что была записка. Я сказала этой женщине, что я все дам, когда мне отдадут записку от Андрея. Она сказала, что она ничего не знает и никакой записки ей не давали, и с этим уехала.

Допроса не было еще два или три дня. И потом утром — звонок в дверь. Появляется

[1] *От редакции.* А. Д. Сахаров сообщал в этом письме: «15 мая Люся получила телеграмму ⟨...⟩: „Елена Георгиевна, мы, дети Андрея Дмитриевича, просим и умоляем вас сделать все возможное, чтобы спасти нашего отца от безумной затеи, которая может привести его к смерти. Мы знаем, что только один человек может спасти его от смерти — это вы. Вы мать своих детей и должны понять нас. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру о том, что вы толкаете вашего отца на самоубийство. Другого выхода не видим, поймите нас правильно. Таня, Люба, Дима. ⟨...⟩“ Эта жестокая, несправедливая во отношению к Люсе телеграмма доставила ей дополнительные страдания и волнения в ее и без того ужасном, почти непереносимом положении. Телеграмма давала „зеленый свет“ любым действиям КГБ в отношении нас... Она явилась причиной того, что я не писал своим детям последующие полтора года, до ноября 1985 г.».

[2] О телеграмме Е. Г. Боннэр, о первой ее части, сообщила 21 мая «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на источник, близкий к семье.

Колесников со слесарем из нашего дома и еще какой-то женщиной и с этой медсестрой — оказывается, он приехал с постановлением о выемке очков и зубов, слесарь и женщина из нашего дома — понятые. Следователь начал читать мне нотацию о том, какая я плохая жена и что я явно хочу, чтобы Андрей Дмитриевич продолжал голодовку, раз не отдаю ему зубы. Я снова повторила, что уверена, что была записка от Андрея Дмитриевича, и, если мне ее передадут, я сразу отдам. Но это мое «если» уже не имело значения, уже было постановление о выемке. Представить себе, что снова будут делать обыск и перерывать весь дом, а потом все это мне надо будет приводить в порядок, было невозможно. И я собрала очки (причем очки разные, у Андрея много пар очков), зубы. Про Паскаля я забыла, а принесла трехтомник Пушкина.

Следователь очень удивился — или сделал вид, что удивился — тому, что я дала несколько пар очков. Я говорю, что Андрей Дмитриевич в разных случаях любит носить разные очки. Я даже сказала: это для еды, у него есть особые очки. Однако он повел разговор о том, что только плохая жена не знает, какие очки мужу нужны, но потом все очки взял. А про Пушкина сказал: «А зачем ему Пушкин?» И мне как-то очень трудно было объяснить, что Пушкин может быть нужен всегда, в любом случае жизни. Вот это и есть то самое, что называется «другая ментальность» — кому и зачем нужна поэзия. Но Пушкина он все-таки тоже взял. Еще я попросила передать карандаши и бумагу. Все это у меня взяли. Дату, когда это было, я не помню. Мне кажется, 26 или 27 мая.

Потом от Андрея я узнала, что ему отдали только одну пару очков, остальные вернули при выписке. То же произошло и с трехтомником Пушкина, его Андрею не передали, но при выписке вернули. Очевидно, и то и другое было принято за некие условные знаки — может, мы так заранее сговаривались (о чем?),— и не отдали.

...Потом допросы продолжались еще несколько дней. И около 5 июня следователь на допросе прочел мне записку от Андрея. В записке, собственно говоря, ничего не было конкретного о здоровье или еще о чем-либо, были какие-то очень интимные слова мне о том, как он скучает и как тяжела разлука. Я понимала, что записка написана им — никто другой этих слов не написал бы, однако мне записку в руки не дали. Тогда я не понимала, почему, и уже только потом, когда Андрей вышел из больницы и мне стало известно о его состоянии в это время, я поняла, что, видимо, эта записка была написана еще не вполне хорошим почерком.

Тогда же мне разрешили сделать Андрею первую передачу через следователя. После того как у меня взяли зубы, я считала, что Андрей снял голодовку, и все время просила разрешения на передачи. Наконец мне разрешили передать соки, помидоры, ягоды и зелень. Во время следствия Колесников несколько раз передавал мне записки от Андрея, не регулярно, всего пять или шесть записок, хотя он написал много больше,— мне передавали не все. Иногда из текста записки было понятно, что предыдущая ко мне не попала. Но то, что большинство записок не передано, я узнала, когда Андрей был уже дома. У меня также брали записки, обычно в ответ на Андрюшины, и два раза в неделю брали передачи: ягоды и овощи.

В середине или в конце июня на одном из допросов я подала заявление Колесникову, что я настаиваю на встрече с мужем, которого не видела с 7 мая и не знаю, что с ним. Спустя неделю, когда я пришла на очередной допрос, в кабинете у следователя уже был какой-то мужчина. Колесников мне сказал, что для ответа на мое заявление он вызвал зам. главного врача Толченова. Зам. главного врача заявил, что Андрей Дмитриевич находится в больнице по поводу заболевания сердца и сосудов головного мозга и проходит лечение. Никаких конкретных данных о лечении он не привел, а когда я стала спрашивать, он сказал, что он непосредственно его лечением не занимается и не знает. Он — зам. главного врача, а лечение ведет лечащий врач. Врачи считают, что свидание, о котором я просила, вредно для здоровья Андрея и может повредить лечению, поэтому свидание дано не будет. Выписку они считают несвоевременной, поэтому Андрей Дмитриевич выписан не будет. И опять же был какой-то непонятный разговор на тему о том, что вообще мое общение с Андреем, мое присутствие около него вредно для его здоровья, поэтому врачи его изолировали от меня. Письменно ответить Колесников и этот зам. главного врача не захотели. Таким образом, я получила устный ответ, а когда я указала на это Колесникову, он сказал, что это его право.

А допросы шли своим чередом, и ничего интересного в них не было. Одно можно сказать: вначале мне вообще непонятно было, на чем же будет строиться обвинение. Потом стало казаться, что оно будет иметь какую-то связь со статьей в «Известиях» и посольством США. Постепенно, к середине июля, уже было ясно, что в обвинение будут входить эпизоды, связанные с Нобелевской церемонией, два эпизода — документы Хельсинкской группы, один эпизод — интервью в Москве и один эпизод — рассказ о жизни в Горьком, напечатанный в «Русской мысли», которую забрали на обыске. Значит, до обыска 8 мая этого эпизода у них в заготовках не было. Мне вообще кажется, что состав обвинения был выбран произвольно и по ходу следствия, а не заранее, с учетом только одного — показать какому-то высокому начальству, как плохо я себя веду за границей. Заранее было решено только взять с меня подписку о невыезде.

25 июля мне предъявили обвинительное заключение. Но уже 20 июля начались разговоры об адвокате. Я сказала, что прошу Резникову[1] из Москвы. Следователь вначале отказал и настаивал на горьковском адвокате. Эти переговоры длились дня два. После чего он сказал, что адвокат у меня будет тот, которого я прошу, я могу написать заявление о том, что прошу адвоката Резникову, и он у меня это заявление возьмет — до этого брать не хотел. Когда я спросила, как все это оформлять и кому из друзей в Москве я могу это поручить, он ответил, что сейчас не надо ничего делать, а оформить можно потом. Я написала заявление об адвокате, и Резникова приехала.

Чтение дела было 25, 26 и 27 июля. Мне было предъявлено обвинительное заключение, и мы читали дело. Дело было в шести томах. Собственно, само дело было в первых двух томах и частично в третьем. В четвертом — какие-то бумажки, непонятно даже кому нужные или не нужные, и приговоры тем людям, которых я когда-либо упоминала в своих выступлениях. В пятом томе тоже приговоры. В 6-м были письма трудящихся, которые требуют суда надо мной и моей изоляции или наказания.

Обвинительное заключение и эти шесть томов позволили мне лучше представить, в чем заключается мое дело, до этого я все представляла как-то размазанно и неопределенно. Из чтения дела я узнала, что 10 мая у Андрея была выемка, что у него забрали много документов из сумки, магнитофон и еще что-то.

...Пора, видимо, подробнее рассказать об обвинении. Это ужасно скучно, потому что это уже вчерашний день, но все-таки надо.

Первый эпизод — пресс-конференция 2 октября 1975 года во Флоренции. Пресс-конференция была посвящена выходу в Италии книги Сахарова «О стране и мире». Андрей по телефону во Флоренцию прочел мне свое как бы вступление к этому изданию (русское уже было несколько раньше в «Хронике-Пресс»). Оно называлось «Обращение к зарубежным читателям книги „О стране и мире“». Я прочла полностью текст этого обращения, а потом ответила на вопросы. Меня попросили рассказать о женщинах в политическом лагере, в частности, в связи с тем, что в самом «Обращении» Андрей пишет о необходимости политической амнистии, в первую очередь — для больных и женщин политического лагеря в Мордовии. Я говорила не о правозащитницах, которые там были, а о Марии Павловне Семеновой. Эта женщина, принадлежащая к Истинно Православной Церкви, за исключением редких коротких периодов, когда она была на свободе, почти всю жизнь, всю свою взрослую жизнь провела в лагере[2]. Я сказала: «Трагическая судьба Марии Павловны Семеновой». Это действительно моя фраза, а не Сахарова. Причем я вообще не говорила о справедливом или несправедливом осуждении или еще о чем-то в отношении приговора, но слово «трагическая» я сказала. И это было первым пунктом обвинения: я-де в этой фразе клевещу, и Семенова осуждена правильно, что подтверждено приговором, находящимся в моем деле. Я пыталась уже потом, на суде, говорить, что если человек находится в лагере почти всю взрослую жизнь, будь он даже убийцей, то судьба действительно трагическая. А этот человек, к тому же, находится в лагере за веру. Но это как-то пропускалось мимо ушей, вообще не доходили слова до тех, кто их слышал. Раз в деле есть приговор и она осуждена, значит, мои слова о трагической судьбе являются клеветой.

Следующий эпизод — это пресс-конференция, тоже во Флоренции, 9 или 10 октября 1975 года,— они обе как-то были объединены в обвинении. Там речь шла о религиозных преследованиях. Дело в том, что в это время (примерно через неделю) в Копенгагене должны были начаться первые Сахаровские слушания. И еще до слушаний в Копенгаген приехали представители официальной советской Православной Церкви (странное сочетание — «Православной» и «советской», но как иначе сказать — не знаю). У них было несколько выступлений, в которых они говорили, что религия никак не преследуется, за веру нет никаких преследований и вообще полная свобода вероисповедания в Советском Союзе гарантирована законом и реально соблюдается. И у меня в ответе на вопрос, правду они говорят или нет, есть слова, которые следствие сочло криминальными. Я говорю (это магнитофонная запись): «Ну, это, мягко говоря, неправда». И как пример привожу судьбу священника Романюка[3], который как раз незадолго до этого был осужден. Так вот эти слова: «Ну, это, мягко говоря, неправда» насчет религиозных преследований были квалифицированы как клевета.

Третий эпизод — беседа за круглым столом в газете «Иль темпо» (Рим, 7 ноября), где я рассказала об Андрее Дмитриевиче в связи с присуждением ему Нобелевской премии и где обсуждалось, разрешат ли ему выезд из СССР или не разрешат. Я не могу точно вспомнить, что там мне инкриминировалось, какие именно слова.

---

[1] Елена Ависимовна Резникова — московский адвокат, выступала защитником на нескольких политических процессах.

[2] М. П. Семенова (р. 1923) освободилась в октябре 1971 года, в 1972-м вновь арестована и осуждена на 10 лет лагеря и три года ссылки по ст. 70 ч. 2 УК РСФСР.

[3] О. Василий Емельянович Романюк был осужден в июле 1972 года по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде».

Далее — пресс-конференция в Осло. Там мне инкриминировались два момента. Во-первых, что я говорю, что в СССР есть национальная дискриминация и, в частности, она проявляется в отношении к евреям при приеме в высшие учебные заведения. И второе — это очень активно и на следствии, и на суде потом обсуждалось — то, что я сказала, что в СССР есть два рода денег: просто деньги и сертификаты. Об этом пишет Андрей Дмитриевич в книге «О стране и мире», и я об этом говорила не очень всерьез. Я сказала как-то так, между прочим, что называются они «деньги для черных» и «деньги для белых», но следствие и суд этот вопрос о сертификатах восприняли очень болезненно, прямо подняли на «принципиальную» высоту.

...Следующий эпизод обвинения был для следствия очень важным. Это документ Хельсинкской группы 1977 года «Обращение к Белградской конференции». Мне инкриминировалось, что я совместно с Алексеевой и Григоренко [1] являюсь автором этого документа, что я распространяла этот документ и вывезла его за границу, в Италию. Для подтверждения того, что я могла составлять этот документ вместе с Алексеевой и Григоренко, в деле имеются справки из ОВИРа о том, когда выехал Григоренко и когда выехала Алексеева. В первой говорится, что Григоренко выехал в конце 1977 года; в другой — что Алексеева выехала в декабре 1981 года. Но это другая Алексеева, Лиза Алексеева, моя невестка, которая никогда не была членом Хельсинкской группы. Когда я при чтении настаивала, чтобы следователь заменил эту справку справкой о выезде Люды Алексеевой, мне было отказано. Суд тоже отказал и мне, и адвокату, когда мы просили об этом. А Люда Алексеева выехала в феврале 1977 года, и наличие справки о ее выезде было бы важно как доказательство того, что, во всяком случае, совместно с Алексеевой я этот документ составлять не могла. Главное же было в этом эпизоде обвинения, что я вывезла этот документ в Италию 5 сентября 1977 года.

Свидетелем, доказывавшим этот эпизод обвинения в ходе следствия и в суде, был Феликс Серебров [2]. Серебров на допросе в ходе следствия утверждал, будто Григоренко ему сказал, что я вывезла этот документ в Италию «на себе». Из дела видно, что Серебров дает лживые показания. В деле есть справка ОВИРа, что я выехала в Италию 5 сентября 1977 года. Есть другая справка, что сам Серебров был арестован 18 августа [3]. Это расхождение в сроках следствие постаралось не заметить.

Создавалось впечатление, что следствию непременно надо было доказать, что я вывезла документ. И, как я понимаю, это было очень важно доказать какому-то высокому начальству. Неважно, сошлись бы там концы с концами или нет, важно, чтобы это было зафиксировано в деле и, таким образом, можно было бы говорить, что уж за границу-то лечиться меня никак нельзя отпускать: я вывожу документы.

Следующий пункт обвинения был также связан с Серебровым — это документ группы в защиту Сереброва, после его ареста. Этот документ объявили клеветническим на основании того, что после ареста Серебров стал считать свою деятельность в Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях неправильной и заявил это на своем суде. Исходя из того, что Серебров переоценил свою работу в Рабочей комиссии, а в документе говорится, что он арестован за свою справедливую деятельность в ее составе, документ был признан клеветническим, а мы, все те, кто его подписал, в частности я,— клеветниками.

Далее — следующий эпизод — статья в «Русской мысли» от 26 марта 1981 года о жизни Сахарова в Горьком. Статья явно переведена с какого-то языка снова на русский — это, видимо, какой-то корреспондент из аккредитованных в Москве беседовал со мной, и в газете оказался мой рассказ в обратном переводе. Это не авторизованный и не мой текст, и вообще неизвестно чей. Там есть абзац, где меня спрашивают, что́ мы знаем о событиях в мире. И я говорю, что, к сожалению, знаем очень мало, потому что неимоверное глушение не дает слушать зарубежное радио. Корреспондент, вероятно, спросил: «А советские газеты разве вы не можете читать?» Я говорю: «В советских газетах всё сплошная ложь» [4]. Из всей статьи, в которой много важных подробностей о жизни Сахарова в Горьком, инкриминировалась мне только эта фраза.

Последний эпизод относится к 1983 году, когда у меня был диагностирован инфаркт и я пыталась добиться госпитализации для себя и для Андрея. Ко мне неожиданно

[1] Людмила Михайловна Алексеева и Петр Григорьевич Григоренко (1907—1987) — как и Е. Г. Боннэр, члены-учредители (май 1976) общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР (Московская Хельсинкская группа).

[2] Феликс Аркадьевич Серебров, член Московской Хельсинкской группы и Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях. В 1977 году арестован по обвинению в подделке записи в трудовой книжке, осужден на год заключения. Вновь арестован в январе 1981 и осужден на четыре года лагерей и пять лет ссылки по ст. 70 УК РСФСР.

[3] По иным источникам (сообщения телеграфных агентств и «Хроники текущих событий»), 22 августа.

[4] В тексте «Русской мысли», озаглавленном «Говорит Елена Сахарова»: «Теперь мы должны довольствоваться советскими газетами. Конечно, это сплошная ложь, но при внимательном изучении из них можно кое-что узнать» (перевод из французского журнала «Экспресс», 1981, 31 января).

пришел приехавший в Москву на несколько дней французский общественный и политический деятель Франсуа Леотар. Он снял фильм любительской камерой, задал мне несколько вопросов и снял меня отвечающей на них. Я сижу совсем больная (это видно) и говорю ему о своем инфаркте и что хочу добиться, чтобы меня вместе с Андреем положили в больницу или чтобы Андрей приехал ко мне. Это право любого ссыльного, даже официально ссыльного, приехать к тяжело больным родственникам. Нам — Андрею — в этом отказывают. И когда Леотар спрашивает: «Что же с вами теперь будет?» — я отвечаю: «Я не знаю, по-моему, нас убивают!». Эта фраза «нас убивают» интерпретировалась следствием как клеветническое сообщение о том, что кто-то из членов правительства (или не знаю кто еще) берет пистолет и стреляет в нас. Вот и все эпизоды, предъявленные мне следствием.

...Чтение дела продолжалось три дня. Я очень обрадовалась приезду Резниковой — он показался мне неким прорывом из нашей изоляции. Я давала ей читать все записки, которые к тому времени получила от Андрея, рассказала, как его госпитализировали. Ну, и вместе с ней мы читали дело. Ей не нравилось, как я вела себя на следствии, она полагала, что лучше бы я давала ответы и объяснения, и ей уже тогда не нравилось, как я собираюсь вести себя на суде, не в смысле того, что я ни в чем не признавала и не могла признать себя виновной, а просто она не одобряла моей позиции, хотя понять на этой стадии ее мотивы мне было трудно. Но по-человечески ее приезд был для меня положительным, радостным событием. Обедать мы с ней ходили в кафе недалеко от прокуратуры, а не в столовую прокуратуры, потом сидели курили в скверике на ул. Свердлова. А позже я видела все это в одном из фильмов, показанных за Западе. В фильме не говорилось, конечно, что я ожидаю суда, что это мой адвокат, а преподносилось так, будто я с приятельницей свободно гуляю по городу.

Пару раз я ее возила по городу, по набережной, показала какие-то красивые места, откос, однажды подвезла к нашему дому. Она даже вышла из машины, подошла к парадному и видела милиционеров и гебешников. В эти дни с ней произошел инцидент, который был явно накладкой у КГБ. На второй день чтения дела мы договорились с ней встретиться около кафе в 10 часов и вместе идти читать дело. Я подъехала, вышла из машины, а она увидела меня и пошла мне навстречу. Мы поздоровались, и гебешник, видимо, не знавший ее в лицо, сразу схватил ее и поволок. Она испугалась, закричала: «Что вы делаете, я же адвокат!» — и стала доставать свои документы. Но тут подбежал другой гебешник, который уже знал Резникову в лицо, и ее отпустили. Потом она говорила, что очень жалеет, что крикнула: интересно было бы, что бы они сделали и куда бы ее поволокли.

Во время чтения дела мы заявили три ходатайства. Первое ходатайство было наше общее о вызове свидетелем в суд Сахарова. Другое ходатайство Резниковой было о запросе из военной прокуратуры справки о реабилитации отца и мамы. Третье ходатайство — о запросе из ОВИР СССР справки о времени выезда Людмилы Алексеевой, не Елизаветы, справка на которую в деле была, хотя совсем не нужная. На все ходатайства мы по ходу чтения дела получили отказ от следователя. В отношении справки о реабилитации он сказал ей: «Запрашивайте сами». И она сама запросила военную прокуратуру. Резникова уехала после чтения дела, а я стала потихоньку готовиться к суду. Когда будет суд, я, конечно, не знала. Могла только предполагать, что он будет скоро, потому что весь ход дела предполагал быстрое решение вопроса. Да я и хотела, и надеялась, и все время ждала: будет суд, а потом выпустят Андрея.

Время от чтения дела до суда прошло довольно быстро. 7 или 8 августа — хоть убей, не помню — я получила вызов в суд. Мне кажется, что 7-го, но в удостоверении ссыльной у меня написано, что суд кончился 10-го,— значит, это было 8-е. Суд продолжался два дня. Рассказывать про суд скучно, но надо. Он проходил в здании областного суда в центре города, на главной улице. Это здание было губернским судом до Октябрьской революции, и здесь судили героя романа Горького «Мать». Не помню, как его звали, Власов или Заломов,— которая из этих фамилий является литературной, которая настоящей. Но судили его в этом здании, тоже на втором этаже, только зал был больше, чем тот, в котором судили меня. Однако и мой зал был не маленький. Я насчитала в зале около 85 человек, а при желании там могло поместиться человек сто. И ни одного знакомого лица (хотя знакомых нашим кагебешников было много).

Судьей был заместитель председателя областного суда Воробьев, имя-отчество не помню. Фамилии заседателей не помню. Прокурор — Перелыгин [1], тот, который когда-то Андрею объявлял то ли режимные условия, то ли еще что-то. Оба очень отличались манерой поведения и характером речи от следователя, который производил впечатление юридически грамотного и интеллигентного человека. Риторический вопрос —

[1] А. З. Перелыгин, заместитель прокурора Горьковской области. Объявил А. Д. Сахарову режим его ссылки; дважды угрожал карами за нарушение этого режима, установленного, по его словам, указом Президиума Верховного Совета СССР; 30 января 1980 — за публикацию, через Е. Г. Боннэр, заявления Сахарова о своей ссылке; 4 ноября 1982 — за публикацию заявления о краже рукописей.

может ли советский следователь быть интеллигентом. По ходу следствия он ни разу не допустил никаких нарушений, никаких грубостей, все формально было соблюдено и очень корректно. Но потом, когда я увидела Андрея, я узнала, что он писал заявление Колесникову с просьбой о привлечении также и его к ответственности за те якобы преступления, которые мы совершили вместе, или те, что делала я по его доверенности, и о вызове в суд в качестве свидетеля. Оба эти документа, так же как и ответ Колесникова, не были приобщены к моему делу. Это очень серьезное процессуальное нарушение, фактически подлог. На основании одного этого дело может быть пересмотрено. Вот и суди тут по впечатлению. Судья производил впечатление человека и юридически, и вообще не очень грамотного, небольшой культуры, хамоватого. Прокурор тоже.

Допрос в суде начался с вопроса, признаю ли я себя виновной. Ответ был: «Виновной себя категорически не признаю, потому что никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах не распространяла заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный или общественный строй, государственный или общественный строй других стран, а также частных лиц».

Я потребовала, чтобы в суд вызвали моего мужа. У меня была такая позиция по первым четырем эпизодам. В Италии на пресс-конференции 2 октября я читала текст Сахарова «Обращение к зарубежным читателям книги „О стране и мире"» — первый пункт обвинения. И мне приписывают цитаты из Сахарова как клеветнические. Это не может быть моей клеветой, я выполняла его поручение, и только Сахаров может сказать, точно или нет. И в отношении нобелевской пресс-конференции, где я старалась, отвечая на вопросы, максимально точно излагать взгляды Сахарова по затронутым проблемам, только он может сказать, ошибалась ли я умышленно, заведомо ли клеветала или по неквалифицированности ошибалась. И Сахаров должен быть свидетелем. Кроме того, я настаивала, чтобы Сахаров был в зале суда как мой единственный и ближайший родственник. Конечно, суд отклонил и это требование, хотя оно было поддержано адвокатом.

Далее я рассказала о себе приблизительно в том же ключе, в каком была написана моя биография для суда над Яковлевым. Я сказала, что вообще-то судить за клевету надо не меня, а Яковлева, в миллионных тиражах распространяющего клевету обо мне, но, когда я обратилась в суд, мне было отказано в защите от клеветы.

Я сказала, что суд если не формально, то по существу является ответом на мое заявление о поездке для свидания с матерью и детьми. И если я действительно совершала преступления, то почему меня судят сейчас, ведь бóльшая их часть — четыре эпизода — относится к 1975 году. Почему же надо судить спустя девять лет, в 1984 году? Если это действительно было преступление, то его надо было пресечь сразу же. Я говорила о том, что суд не правомочен судить меня в отсутствие единственного и главного свидетеля — академика Андрея Сахарова, по поручению которого и в соответствии со своими убеждениями я выступала в Осло, принимала Нобелевскую премию, так как его не пустили в Осло для участия в церемонии; по поручению которого я передавала другие документы для публикации, в частности — письмо Сиднею Дреллу, которое называется «Опасность термоядерной войны». Это письмо вызвало бурные отклики, скажем так, трудящихся. После выступления четырех академиков, критиковавших Сахарова за письмо д-ру Дреллу, Андрей Дмитриевич получил почти три тысячи писем. Эти четыре академика: Прохоров, Дородницын, Тихонов и Скрябин — в своем выступлении в газете «Известия» даже не рискнули привести название статьи Сахарова, голословно обвиняя его в том, что он выступает против мира.

На суде я привела несколько цитат из этого письма. Оно очень важно для понимания того, как создается общественное мнение на основе клеветы (прил. 3). Пока я говорила, меня много раз прерывал судья Воробьев. Он все время говорил, что это не относится к делу, но я продолжала. У меня было такое ощущение, что заставить меня замолчать он не может, ему формально надо соблюсти все, что записано в Уголовно-процессуальном кодексе. И вот это их стремление сделать все как надо давало мне возможность говорить все, что я хочу, хотя меня и прерывали.

Много о суде говорить не буду. Андрей Дмитриевич в своем письме Александрову рассказывает о нем. Я хочу только рассказать один, может быть, смешной эпизод суда и свои впечатления о двух свидетелях.

Эпизод, инкриминируемый мне и на суде явившийся чуть ли не главным,— это то, что я сказала на пресс-конференции в Осло, что в СССР имеются два рода денег: деньги для черных и деньги для белых,— имея в виду сертификаты и обыкновенные деньги, в которых советский человек получает зарплату, пенсию и которыми пользуются все в обычной жизни. Сертификаты получают немногие — работающие за границей дипломаты и приравненные к ним: писатели, киношники, ученые. Для опровержения следствием была запрошена справка из министерства финансов. Эта справка гласила, что двух видов денег в СССР нет, имеется только один рубль советский, но имеются также чеки Внешторгбанка СССР, которые выплачиваются людям, работающим за границей, платят за публикации и еще что-то. Зная, что этот эпизод будет фигурировать в суде, я заранее приготовила два рубля, рубль обычный и рубль сертификатный, и они лежали у меня в сумке. Я взяла с собой документ, подтверждающий, что Андрей Дмитриевич получает сертификаты за публикацию научных статей за границей. Это такое вежливое письмо из Внешторгбанка, где пишется: «Уважаемый Андрей Дмитриевич! Просим сообщить, в каком виде перевести вам причитающийся гонорар, в советских рублях или в чеках Внешторгбанка». Обычно Андрей отвечает, что просит перевести в чеках Внешторгбанка, и спустя какой-то срок получает чеки по почте ценным письмом. Вот эта бумага у меня тоже была с собой.

Когда дело дошло до этого эпизода, я сказала, что я просто нормальный человек и вещи вижу такими, как они есть. Вот у меня есть такой рубль и такой рубль. Я знаю, что за один рубль я могу купить что-то определенное, иногда не то, что мне хочется. А если то, что хочется, то надо постоять в очереди или как-то специально доставать. И знаю, что за другой, сертификатный рубль я могу купить те вещи, которые захочу, без очереди, лучшего качества. Я знаю, что сертификатный рубль продается на черном рынке в стоимости 1:2, а иногда и выше, то есть за один сертификатный рубль люди дают тем, кто его продает, два рубля обычных и это преследуется как валютная операция. Вот они оба перед вами. Я считаю, что действительно есть два вида денег. После этих слов взорвался прокурор. Закричал, что это деньги, которыми мне платит ЦРУ, что я платный сотрудник ЦРУ и что это они сертификатами меня и оплачивают.

Я тоже на повышенных тонах начала ему отвечать и кричать, что ничего подобного, что я в ЦРУ не работаю, что ЦРУ мне не платит, что эти деньги получает Андрей Дмитриевич за публикацию своих научных статей на Западе и вот документ, подтверждающий это. И передаю судье бумагу, где спрашивают Андрея, в каком виде перевести ему деньги из Внешторгбанка. «Прокурор меня оскорбил,— заявляю я,— если он не извинится, то я отказываюсь принимать участие дальше в судебном заседании». Это я уже не говорила, а кричала еще громче, чем прокурор. Судья ничего не ответил, а через несколько мгновений сказал: «Суд удаляется на совещание». И суд удалился. Спустя несколько минут они вернулись, и судья сказал: «Суд принял решение: прокурору попросить извинения у подсудимой». И Перелыгин под нос буркнул: «Извиняюсь». Ну, в общем, я была вполне удовлетворена.

...В последнем слове, которое очень понравилось Андрею, но которое теперь я уже забыла, я вновь повторила, что виновной себя не признаю, вновь повторила, что лучше бы пустили меня поехать лечиться и увидеть детей, чем судить. Чем позориться на весь мир, держа Сахарова в полной изоляции в Горьком, а теперь еще и в полной изоляции, в течение трех месяцев, от жены, проводя суд беспрецедентно в смысле нарушения гласности, когда даже членов семьи нету в зале и муж содержится в больнице именно для того, чтобы он не присутствовал на суде, чем все это — лучше восстановить «советскую законность». Тут я напомнила, что ее уже один раз восстанавливали. Далее я говорила, что Сахароа, который мог бы быть единственным реальным свидетелем, не вызван в суд. Не только в зале суда нет ни одного члена семьи или знакомого, но и в городе нету никого, и, наверно, во всем мире никто не знает, что сейчас идет суд[1]. В конце своего последнего слова я вновь сказала, что «виновной себя не признаю».

Суд довольно быстро написал (или переписал написанный заранее) приговор. Через час или полтора приговор был зачитан. Все, что было в обвинительном заключении, вошло в приговор. Я была приговорена к пяти годам ссылки.

...Сразу же после суда я написала заявление о кассации, очень короткое. «Прошу назначить кассационное рассмотрение, так как я с приговором не согласна». Подробное заявление о кассации должна была писать Резникова уже в Москве. Я очень быстро с ней простилась. Я торопилась домой, так как мне казалось, что Андрея больше держать в больнице незачем и его отпустят. Но Андрей не был отпущен ни в этот день, ни в последующие. Опять началась моя жизнь без него, уже после суда.

Через несколько дней меня вызвали для чтения протокола суда и написания замечаний. Надо сказать, что я к этому была не готова, я не знала, что это вообще делается и как. Чтение протокола вызвало у меня некоторое удивление: там были неточности, очень тенденциозные, какие — сейчас не помню. Я написала очень подробные замечания к протоколу и оставила себе копию этих замечаний. Потом Андрей их читал. Если бы у меня была возможность их получить здесь, я бы их напечатала — это очень интересно. Во-первых, все аргументы адвоката почти полностью исчезли из протокола заседания суда. Очень многое из того, что я говорила, когда меня судья прерывал: о деятельности Андрея, о письме Дреллу, о значении его правозащитной деятельности,— все было исключено. Протокол судебных заседаний выглядел, как будто суд проходил очень спокойно, а извинений прокурора не было. Я все это вписывала заново в свои замечания. Замечания к протоколу я ходила писать три дня.

---

[1] Первое сообщение о суде над Е. Г. Боннэр появилось 23 августа 1984 года в заявлении госдепартамента США. Даты суда, ошибочно указанные в этом заявленин, и обвинения, предъявленные Е. Г. Боннэр, оставались неизвестными еще около года.

3

А вообще — как я жила это лето? С одной стороны — очень трудно, с другой — в общем, загруженно. Ну, суд, это много работы, допросы, их было много, больше 20-ти, обыск, приведение дома в порядок после обыска, приведение дома в порядок в надежде, что вот-вот отпустят Андрея, покупка каких-то вещей, зимних ботинок, носков, шапки, еще чего-то, свитер, белье теплое покупала, потому что я не была уверена, что меня оставят с ним, и думала, что ему надо все заготовить для жизни без меня. Ко дню рождения без него купила ему письменный стол. Потом был приезд Резниковой, обдумывание каких-то связанных со следствием проблем, решение вопроса, что мне надеть на суд. Я довольно много ездила по городу, искала юбку, потом искала блузку. Купила юбку и блузку, потом надо думать, что же на ноги надеть. Какие-то туфли у меня были в Горьком, но хотелось получше, а вообще-то я там оставалась практически раздетой.

Во время одной из поездок на рынок, покупая ягоды, я увидела, что меня снимают. Я видела, что снимают киноаппаратом, вернее, подумала, что это киноаппарат. Но у меня и в мыслях не было, что снимают меня для показа на Западе, и это был единственный раз за все эти годы, когда я видела, что меня снимают. Теперь я вспоминаю, что был один случай, про который рассказывал Андрей: он вышел с Димой, чуть ли не в первый Димин приезд в 1980 году, за хлебом — и увидел, что их снимают. Он закрыл лицо руками, а потом повернулся и ушел. Это он мне рассказал, но вспомнила я это только теперь, здесь, в Америке.

...После суда и писания замечаний к протоколу я осталась в пустоте. Мои контакты со следователем кончились. Никто у меня не брал записок и передач Андрею, и делать мне вроде стало нечего. Сведений о нем никаких не было, и я послала телеграмму главврачу с запросом о состоянии его здоровья и с просьбой к нему и лечащему врачу сообщить мне, что же все-таки с мужем. 15 августа утром я получила бумажку, в которой сообщалось, что Обухов и лечащий врач Евдокимова могут принять меня в горздравотделе в два часа дня. В горздравотделе, а не в больнице — они все еще боялись, вдруг Андрей как-нибудь меня увидит или я его. Я поехала в горздрав.

Меня приняли Обухов и Наталья Михайловна Евдокимова, те самые, которых весь мир видел в фильме. Обухов сидит на скамеечке и показывает зрителю так, чтобы Андрей Дмитриевич не замечал, журнал «Тайм» или не помню какой, на котором дата, в доказательство, что это 84-й год. Обухов, который идет садовой дорожкой вместе с Андреем Дмитриевичем, демонстрируя «здорового» Сахарова всему миру. И Евдокимова, которая дважды в одном и том же фильме по-разному докладывает о состоянии здоровья Сахарова, вполне хорошем, по ее словам, и о том, как его кормят и как его лечат.

Эти два человека убеждали меня, что Андрей Дмитриевич тяжело болен, у него тяжелая аритмия, глубокие нарушения сосудов головного мозга и он не может быть выписан из больницы, а мои посещения или его контакты со мной вредны для его здоровья. На этом мой разговор с ними кончился. Правда, когда они мне говорили, чем они его лечат, было вновь упомянуто лечение дигиталисом. Я пыталась им доказать, что дигиталис вреден Андрею Дмитриевичу, что при наличии экстрасистолии это все равно, что давать яд, но из этого ничего не получилось.

Спустя два дня после этого разговора мне удалось купить учебник педиатрии в магазине, где продаются книги, изданные в соцстранах. Учебник был переведен с болгарского. Я послала его Обухову, отчеркнув те места, где написано, что дигиталис при врожденных или юношеских экстрасистолиях, которые сохраняются всю жизнь, противопоказан.

Так я и жила до 6 сентября, ничего не зная про Андрея, кроме того, что мне сказали Евдокимова и Обухов, тоскуя, стараясь держать себя в руках. 6-го пришла ко мне секретарь суда и принесла повестку о вызове в суд на 7-е число на кассационное заседание. Беспрецедентно! Оказалось, что Верховный суд РСФСР приезжает на кассационное заседание в Горький. Это для того, чтобы соблюсти даже тут такую возможность для осужденного, как присутствие на кассационном суде, и для того, чтобы никто в Москве не узнал, что суд надо мной уже состоялся и я осуждена. Меня вызывают на кассационный суд, но кассационный суд проходит не в Москве, а в Горьком. Потом, спустя два года, я узнаю, что в Москве все ждали кассационного суда и никто не мог узнать, когда же он был и был ли вообще. Так и не узнали, когда же была кассация, как до этого ничего толком не знали о суде, и адвокат никому ничего не сказала.

7-го я явилась на кассационный суд. Приехала Резникова. Она повторила свои доводы. Мне дали высказаться, я повторила все, что говорила суду, и сказала, что виновной себя не признаю. После этого было определение, ничем не отличающееся от приговора, и я стала формально ссыльной. Сразу же из зала суда, где, между прочим, телевидение или кто-то снимал меня без конца — именно не на суде, а на кассационном заседании,— меня попросили пройти на первый этаж в комнату такую-то к начальнику такому-то. Там был начальник 5-го отдела МВД Горьковской области, который отобрал у меня паспорт и дал мне справку, что я являюсь ссыльной. Заявил на мой вопрос, что за вещами в Москву поехать я не имею права, что никуда за пределы Горького выезжать я не имею права, что местом ссылки мне назначен Горький и что я имею все права граждан СССР, кроме права покидать этот город.

...На следующий день после кассации, 8 сентября, в середине дня, часа в два, я поехала в ОВД отвозить документы о том, что я прошу вернуть мне забранные у меня на обыске вещи, в частности, приемник, пишущую машинку, магнитофон и прочее, и разрешить мне поездку в Москву за вещами, иначе получается, что я приговорена не только к ссылке, но и к конфискации имущества, поскольку я не имею к нему доступа.

По дороге меня остановило ГАИ — я не поняла, почему. Когда я прижалась к поребрику, из машины, которая ехала за мной (на этот раз одна черная «Волга»), вышла женщина в белом халате. Я узнала медсестру, которая всегда ухаживала за нами,— единственная медсестра, которую допускали, когда мы лежали в больнице после голодовки за Лизу и когда я была с Андреем в больнице, где он лежал с ногой. Ее зовут Валя. Она сказала: «Елена Георгиевна, вас просят к пяти часам вечера приехать в больницу к главврачу Олегу Александровичу Обухову». Я спросила, как Андрей Дмитриевич. Она мне сказала: «Я ничего не знаю»,— и вернулась к своей «Волге».

Я доехала до ОВД, отдала свое заявление. Потом купила хлеба и еще чего-то на рынке, но немного, потому что было уже поздно, четыре часа, а рынок в это время уже очень бедный, почти пустой, и поехала в больницу.

В больнице, в кабинете Обухова, кроме него были профессор Вагралик, кардиолог, который пользовал, если можно так сказать, нас с Андреем во время голодовки за Лизу (это он ходил и к нему и ко мне в разные больницы и на наши вопросы друг о друге говорил, что он ничего не знает), профессор Трошин, невропатолог, Наталья Михайловна Евдокимова, лечащий врач Андрея Дмитриевича, Обухов и еще кто-то, не помню кто.

Они хором начали мне говорить, какое плохое состояние здоровья у Андрея Дмитриевича, что он находится буквально на краю гибели, что у него тяжелая экстрасистолия, что он страдает тяжелым атеросклерозом сосудов головного мозга, что у него то ли болезнь Паркинсона, то ли явления паркинсонизма. На мой прямой вопрос: «Так Паркинсон или явления?» — мне не ответили. И что я не должна волновать его и чуть ли должна не рассказывать о том, что был суд, или еще что-нибудь.

Я на них кричала, что если бы они были врачи, то понимали бы, что человека с таким состоянием здоровья нельзя четыре месяца держать в изоляции от единственного близкого человека — жены, что они подумали бы, как изменить его положение, а то, что они мне говорят, это чепуха. Они давали дигиталис и этим привели к тяжелым экстрасистолиям, и это единственное, что я не считаю их намеренным действием, а просто я сказала: «Со страха перед ГБ потеряли голову». Все остальное, что они делали с Сахаровым,— это преступление. Это я сказала, еще не зная, что были пытки и унижения насильственного кормления и к чему это привело. В общем, у нас был совсем не дружественный разговор...

...Вышла я от Обухова, села в машину, сижу и жду. Прошло минут 15, и та же медсестра Валя ведет Андрюшу. Он в том же светлом пальто, в каком его увезли тогда, в начале мая, в больницу из прокуратуры, в своем беретике, не похудевший, скорее одутловатый. Мы обнялись, и Андрюша заплакал, и я тоже. Сели в машину. Я не могу двигаться, сидим и плачем, обнявшись. Так прошло минут двадцать.

Потом Андрей стал меня спрашивать про суд. Ну, я ему «кратко и подробно» (А. Твардовский) все рассказала. Собственно говоря, что рассказывать! Приговор, и все. Подробности потом.

Выехали мы из больницы. Поехали по окружной дороге, там есть такая горка, с которой видно Волгу, остановились на этой горке, стояли и молчали. А потом начал рассказывать Андрей. Я не буду за него рассказывать. Он все рассказал сам: и что с ним было и как. Я привожу в приложении полностью письмо Александрову (прил. 9), мне кажется это необходимым. Я расскажу из того, что было с Андреем, только то, что он не рассказал в своем письме Александрову, не придавая этому значения, да и я стала придавать этому значение, только узнав здесь, на Западе, какие известия о нас были и какие разговоры здесь шли из Москвы.

9 мая меня не пустили в больницу. 10 мая у Андрюши была выемка, забрали все документы. Как потом выяснилось, кроме документов и вещей, поименованных при выемке, из его сумки пропала еще книжка Всеволода Багрицкого «Дневники, письма, стихи». Эту книжку я привезла в Горький, потому что я ее всегда вожу с собой. С тех пор, как Яковлев запустил свою клеветническую пишущую машину, мы очень боялись, что она у нас пропадет, и Андрей носил ее в сумке. Так вот, она пропала, ее не изъяли, в списке изъятого ее нет,— ее просто украли.

10-го вечером, когда Андрей уже спал, пришел Обухов, разбудил его и сказал, что к нему приехали из Москвы врачи. Ввел в палату двух человек, одетых в медицинские халаты. Эти люди задали какие-то ничего не значащие вопросы Андрею и ушли. И тог-

да, в 84-м году, Андрей не придал никакого значения этому визиту. Но в 85-м году, когда он снова был в больнице и к нему приехал большой начальник Соколов, он узнал в Соколове одного из тех двух мужчин. Про второго мы ничего не знали, пока я не услышала в Москве и на Западе разговоры о том, что в больницу в 84-м году к Андрею приезжал какой-то психолог или психиатр, кажется, по фамилии Рожнов [1], который пытался его гипнотизировать во сне или еще что-то такое. Ну, если «во сне», так ведь Андрюша не мог знать этого. Постфактум мы решили с Андреем, что именно эти два человека дали разрешение на его принудительное кормление. Что это разрешение дал Соколов как начальник, Андрей понял в 85-м году, когда Соколов к нему приехал уже не под видом врача.

Что произошло во время первого принудительного кормления, Андрей описал сам. Я была неправа, когда думала, что Андрей снял голодовку 21 или 22 мая, в дни, когда ко мне приходили за зубами. Он снял голодовку 27 мая. Почему он ее снял, он объяснить мне не мог. Но в письме Александрову он объясняет, что не выдержал мучений. Я думаю, что это наиболее правильное объяснение. Действительно, я была права, когда не отдавала зубы и очки, считая, что была записка от Андрея. Записка была, и мне ее не передали, так как это был период, когда у него был совершенно патологический после инсульта (или спазма?) почерк и когда у него в отдельных словах повторялись буквы. Видимо, мне не хотели показать эту записку, совершенно справедливо полагая, что по ней я пойму, как плохо с Андреем.

...Андрюше тоже отдавали далеко не все мои записки. Он это понимал. Свои записки, копии, он оставлял. Кроме того, он вел дневник, и странно, но этот дневник у него не отобрали. Придя из госпиталя, он дал мне его читать. Там зафиксировано все, что с ним было. И как его травили разговорами о том, что у него болезнь Паркинсона, и главврач принес ему книжку про Паркинсона и говорил, что у него «Паркинсон от голодовок». И что «вы будете полным инвалидом и даже сами себе штанов расстегнуть не сможете». И такие фразы: «Умереть мы вам не дадим, но инвалидом сделаем»,— говорил Обухов.

Исходя из рассказов Андрея, из тех остаточных явлений, которые у него были в сентябре, частично остались (это некие самопроизвольные движения нижней челюсти), я думаю, что он перенес инсульт, в лучшем случае — тяжелый спазм.

Когда Андрюша вернулся домой, у него состояние было довольно странное. С одной стороны, он очень радовался, что мы вместе: мы буквально ни на минуту не расставались, ходили друг за другом даже в ванную. А с другой — он почти с первого дня начал грызть себя за то, что не выдержал голодовки и что во второй раз, когда он пригрозил начать голодовку, 7 сентября, его сразу выписали и он отказался продолжать голодовку, не в силах не видеть меня еще Бог знает сколько времени. В общем, настроение у него было сложное, скорее нерадостное. А когда я ему говорила, что надо учиться проигрывать, он говорил: «Я не хочу этому учиться, я должен учиться достойно умирать». Он все время повторял: «Как ты не понимаешь, я голодаю не только за твою поездку и не столько за твою поездку, сколько за свое окно в мир. Они хотят сделать меня живым трупом. Ты сохраняла меня живым, давая связь с миром. Они хотят это пресечь».

С первых же дней после кассации мне надо было являться на отметку как ссыльной. И было сказано, что я должна сделать фотографию для удостоверения ссыльной. Я решила, что мы поедем вместе в фотографию и сделаем общую. Андрюша принарядился. И вот имеется наша фотография, она сделана 9 или 10 сентября 84-го года, фактически сразу после выписки, и моя (для удостоверения ссыльной) — 12-го мне надо было явиться в ОВД. Андрей на ней отнюдь не исхудалый, потому что с конца голодовки прошло уже много времени: июнь, июль, август — больше трех месяцев. Но сказать, что он хорошо выглядит, я не могу. У него на этой фотографии какая-то несвойственная ему одутловатость.

12-го я была в районном ОВД. У меня сняли отпечатки пальцев — дактилоскопию делают у нас всем уголовным преступникам — и две фотографии: фас и профиль для моего дела — уже не подследственной, а осужденной. И пошла наша обычная, наша счастливая жизнь.

...Уже с конца сентября Андрей сказал, что он вновь будет голодать, и спорить с ним было невозможно. Он стал в этом плане раздражительнее, чем был раньше. Он говорил примерно так: «Они меня пугали Паркинсоном, которого вовсе нет, они меня пугали тем-другим, они думают, что сломали меня,— нет, я буду голодать».

Пока что мы опять счастливо жили. Купили ему зимнее пальто, потом — мне. Когда после обыска забрали радиоприемник, я сделала попытку купить, но в магазине ко мне

[1] Владимир Евгеньевич Рожнов, заведующий кафедрой психотерапии Центрального института усовершенствования врачей. Летом 1984 года в Москве циркулировали упорные слухи, обсуждавшиеся западной прессой, о том, что Рожнов посещает Сахарова в больнице и что под его наблюдением Сахарову дают психотропные препараты.

подошел один из гебешников, сопровождавших меня, и сказал: «Вы что, собираетесь купить приемник?». Я сказала: «Да».— «Не советую,— сказал он,— придем с выемкой». Я ему поверила, подумала: зачем зря тратить деньги?

А тут, кажется, прямо в сентябре мы заехали в радиомагазин, и Андрюша купил приемник «Океан», очень громоздкий, тяжелый, но, в общем, им можно что-то ловить. И вне дома, особенно летом, я им пользовалась в 85-м году постоянно.

Андрей начал писать свое письмо Александрову и надзорную жалобу, наверно, в октябре 84-го года. Одновременно он решил, что выйдет из Академии и что ему понадобится Резникова как адвокат для продажи дачи, чтобы было на что жить, когда он выйдет из Академии. В то же время он послал письмо в ФИАН, что готов принять физиков. А я послала письмо Резниковой, чтобы она приехала для составления надзорной жалобы.

Визит фиановцев и приезд Резниковой были в ноябре. Я не помню точно числа, но все это было около 20 ноября, почти подряд.

...С физиками он начал обсуждать наше положение вообще и то, что он напишет Александрову. Его приводило в какой-то ужас и одновременно в состояние безысходной тоски то, что он так подробно и Резниковой, и физикам рассказывал о своем пребывании в больнице, а они никак на это не реагировали. Они были как истуканы, как мертвые. Андрей был поражен их нарочитым равнодушием, желанием отстраниться от этого. Это волновало его больше, чем что-либо другое. Он так искал и так надеялся на их сопереживание. Еще я запомнила, что и физики, и Резникова говорили о фильме «Чучело». Вскоре после их визитов фильм пошел в Горьком. Мы с Андреем ходили на него.

Это был короткий, пасмурный, с мокрым снегом день. Чего можно ждать от погоды в конце ноября? У меня сильно болела спина. Мы доехали до кинотеатра — билеты были только на 19 часов, а было около 17-ти. Вернулись в кафе на площади. Что-то там поели — когда вышли, машина была как мертвая. Что они успели с ней сделать? Мы не сомневались, что это был первый ответ на разговор Андрея с коллегами, на то, что он снова собирается действовать, чтобы решить проблему моего лечения. Мы оставили машину, где стояла. Назавтра Андрей привезет ее. На такси доехали до кинотеатра. Смотрели фильм: плакали, ужасались, страдали. Этот фильм — одно из больших событий советской жизни последних лет. Вышли потрясенные. А я не могу идти — спина отказала. Я стояла, прислонясь к стене, Андрей ловил такси, гебешники злились, что из-за нас торчат под мокрым снегом. Наконец, машина есть. Водитель — женщина. Когда Андрей сказал, куда ехать, спросила: «Это там, где живет Сахаров?» — «А это он и есть»,— ответила я. Мы разговорились, и неожиданно, после всех погромов и угроз, спровоцированных Яковлевым, она — эта женщина — была другая, и отношение ее к нам другое, и меня она до слез растрогала, сказав: «Да ведь видно, как вы друг друга любите. Мне самой скоро 60 — пенсионерка уже, это я свои два законных месяца отрабатываю, и я сразу вижу, что по-хорошему все у вас». Я часто эти годы вспоминаю ее: «по-хорошему».

С этой поездки началось мое зимнее, 1984—1985 годы, ухудшение с сердцем. После нее же я получила предупреждение, чтобы не выходила из дому после восьми вечера.

Ну, мы и не выходили по вечерам. Зима. Ни к кому нельзя, да и не к кому. Самое время поговорить о наших буднях.

Повесть о нашей машине. Она старенькая — год рождения 1976. И ее КГБ делает объектом преследования. Как только стало широко известно, что мы с Андреем собираемся объявить голодовку за выезд Лизы, ее у нас украли — это была осень 1981-го. Сразу же по Горькому были распущены слухи, что я перегнала машину в Москву и спрятала, чтобы потом обвинить власти в ее краже. Когда мы уже голодали и не выходили из дома, так как боялись, что на улице нас схватят и насильно госпитализируют, она вдруг нашлась, и представители автоинспекции усиленно вызывали нас поехать за ней. Андрюша говорил, что теперь нам уже не до машины, но они выдвигали свой аргумент: это же такая дорогая вещь, что голодовку можно и прекратить. Так как перспективой возвращения машины нас не удалось выманить из дома, то была просто выломана дверь, и нас силой госпитализировали и поместили в разных больницах, даже в разных концах города. После отъезда Лизы машина была возвращена, но это на самом деле были остатки ее — с нее было снято все, что отвинчивается. Заменены шины на совсем лысые. Из-под капота сняли половину частей и в салоне вытащили все — даже пепельницы. Лиза уехала 19 декабря. Восстановить машину мы смогли только к маю.

Во все последующие годы установилось странное обращение с неодушевленным объектом. Как только наше поведение чем-либо не нравилось надзирателям — страдала машина: то ей проколют два колеса сразу, то разобьют стекло, то замажут каким-то синтетическим клеем. Если в машине что-то такое произошло, значит, уж точно мы были, по их критериям, плохие: с кем-то умудрились заговорить на улице или на рынке, что-то не то планируем сделать, не туда пошли, отказались пойти на вызов к Обухову или другому их врачу. Грехов много — машина одна, вот она и страдает, бедняжка.

Но вообще всякие наши ограничения нарастали, и это отражалось и на машине. В первое лето мы решили поехать на Оку купаться — это по спидометру ровно 12 километров от нашего дома. Мы выкупались и посидели на бережку. Когда выезжали с приречной дороги на шоссе, меня остановил гаишник. Я очень удивилась, так как ничего не нарушила. Но сразу увидела, что, кроме машины автоинспекции, на шоссе стоит другая машина — милицейская. Из нее вышел Снежницкий (тогда капитан, теперь — майор) и направился к нам.

Я не могу удержаться, чтобы не напомнить один эпизод, с ним связанный. Еще в самом начале нашей жизни в Горьком 15 февраля 1980 года к нам на мой день рождения приехал Юра Шиханович. Его сразу уволокли в «пункт охраны общественного порядка», где Снежницкий начал проводить воспитание Юры и допрос. Мы с Андреем ворвались туда. Нас стали выталкивать, и я дала Снежницкому пощечину. Потом нас, конечно, вытащили, еще повалили в коридоре — мы, в общем, были как битые собаки. Потом суд, на котором я не была. А может, не суд, а нечто административное — приговорили меня к штрафу в 30 рублей. И я имела случай сказать капитану Снежницкому, что это совсем не дорого — 30 рублей за удовольствие влепить ему пощечину. Кстати, чьим-то историческим розыском было выявлено, что в николаевские годы (Николая I) полицмейстером в центральной части Нижнего Новгорода был некто Снежницкий — возможно, это у них семейная профессия. Снежницкий подошел к нам и сразу заявил, что Андрей нарушил режим, выехав за черту города. И составил акт об этом. Андрей подписать акт отказался, но больше мы с ним туда не ездили. Я одна ездила довольно часто, так как там есть ларек от совхоза, где три раза в неделю продают очень хорошие творог и сметану. С момента, как у меня 2 мая взяли подписку о невыезде,— не ездила и я. Внутри города мы довольно часто в первые годы подвозили случайных людей. Потом, не делая никаких разъяснений, нам это запретили. Вначале запретили не тотально, то есть когда я ехала одна, то подвезти кого-нибудь можно, а если мы с Андреем в машине вдвоем, то нельзя. Был долгий период, когда я ездила два раза в неделю за творогом, а Андрюша где-нибудь на обочине внутри черты города ждал меня — я тогда многих подвозила. Однажды пошел сильный дождь, и гаишники (они все же не КГБ) позвали Андрея переждать ливень в их будочке.

Так же было, когда я какого-то старенького дедушку с бородой Льва Толстого в дождь довозила до междугородной автобусной станции, а Андрюша ждал меня в машине инспектора ГАИ. Ждал он меня и в тот раз, когда я решила съездить посмотреть, что находится за большим волжским мостом. Но одной ездить не хотелось, было и скучно, и обидно за Андрея. Поэтому я не съездила ни в пушкинское Болдино, ни в село Выездное, откуда пошел род Сахаровых. Наивно ждала, наверно, лучших времен, когда будет можно съездить вдвоем, а получилось, что никому нельзя.

Они поясняли свой запрет проколами шин или еще чем-либо в этом роде. Потом, видя, что мы как-то не до конца это понимаем, стали силой вытаскивать наших пассажиров из машины. Вспоминаю тяжелую сцену. За рулем был Андрей. Он посадил женщину, сопровождавшую совсем дряхлую, почти не передвигающуюся старушку. Только Андрей тронулся, как набежали наши сопровождающие, остановили машину и с криками и руганью стали вытаскивать из машины этих двух пассажирок. Старушка так испугалась, что, казалось, может просто умереть. А мы были вынуждены уехать.

Другой случай был последним летом, когда я была без Андрея. У дороги голосовал мужчина, державший на руках кричащего мальчика лет четырех-пяти. Я остановилась. У ребенка был явно перелом голени в средней трети. Мужчина поддерживал ножку. Я стала сажать их в машину. В этот момент набежала моя охрана, и они стали оттаскивать от машины этого мужчину. Наверно, он полез бы драться, но не мог — на руках был мальчик. Все кричали — и ребенок, и мужчина, и гебешники. И тут я так закричала, что перекрыла и напугала всех. Я кинулась на одного из охранников и, мне кажется, или его убила бы, или сама умерла. Я кричала, чтоб он сам садился в мою машину и вез. Мне кажется, гебешник испугался моего состояния. Он сел ко мне на переднее сиденье. Сзади я посадила того человека с мальчиком, и мы доехали до травматологического пункта, который находился недалеко от нашего дома. Когда мужчина с ребенком ушел, гебешник мне сказал: «Вам запрещено останавливаться. Вы это прекрасно знаете, и если еще раз попробуете, то прощайтесь со своей машиной». Я ничего ему не ответила и захлопнула дверцу. Меня еще долго трясло.

Еще один случай, скорее смешной, чем трагический. Иногда надо сменить колесо, машина есть машина. Мне это трудно. Я говорю гебешникам, что буду останавливать грузовик. Любой водитель за трешку с удовольствием мне это делает. Гебешник иногда разрешает сам. Иногда по своему радио идет просить разрешения у начальства. Наконец, разрешение получено, я остановила какой-то «рафик». Водитель очень удивился моей просьбе, так как видел около машины молодого здорового парня. Если б я была одна, удивления бы не было. Когда он сменил колесо, я протянула ему три рубля, но он отвел мою руку: «Не надо, мать, а вот этого твоего лба проучить или научить бы надо — он что, больной у тебя, что ли, что колесо сменить не может?» — «Это не мой — это комитетский»,— ответила я. «А...» — и водитель заторопился к своей машине. Я так и не знаю, что понял этот человек. Но в последний момент он как-то так посмотрел на меня, что, думаю, сообразил, кто я.

Я говорю, что языком поломки или угона машины наши стражи разговаривают с нами. Разговаривают они еще и по-другому — языком пропаж и последующих подкидываний различных вещей. Очки пропадают неизменно и потом находятся именно там, где мы их оба искали. В первое время я шипела на Андрея, что он просто забывает, а ГБ ни при чем. Потом такое же стало со мной. Я стала записывать. Вот такая глупость: «пропала зубная щетка, и я, и Андрей оба смотрели в ванной в стаканчике» и дата; спустя неделю и больше: «Ура, щетка в стаканчике» и дата. Явно мы не сумасшедшие: так пропадали книги, однажды Андрюшин зубной протез (перед тем, как он объявил предпоследнюю голодовку,— но тогда, когда о том, что она будет, уже знали и физики, и КГБ: мы говорили о ней вслух), он потом нашелся, когда Андрея выпустили из больницы. Я не буду перечислять все малые и большие пропажи и возвраты. Когда я 10 месяцев была одна, было часто внутреннее беспокойство от того, что знала: они в мое отсутствие постоянно входят в квартиру, что-то делают, что-то ищут. Что унесут? Что подбросят? Пропал приговор суда по моему делу, пропадали и без Андрея разные бумаги. Этот круговорот вещей создает ощущение, с одной стороны, какого-то кафкианского кошмара, и с другой — что ты на предметном стекле какого-то микроскопа, над тобой проводят опыты.

Андрей обсуждал последнюю голодовку с Е. Л. Фейнбергом. Физики уехали. Через несколько дней он распаковывал пакеты с препринтами, и вдруг из одного пакета к нему на стол выбежало полтора десятка больших тараканов. Было до рвоты противно и страшно. А надо помнить, что вся приходящая нам почта проверяется. Потом Андрей написал в своем дневнике об этом: «Вчера был такой случай: когда я раскрыл пакет, присланный из ФИАНа, из него во все стороны стали разбегаться тараканы, пять из них удалось убить. Вряд ли они заползли в пакет в ФИАНе. Скорей это демонстрация презрения со стороны ГБ. Дескать, вы — голодающие тараканы. Конечно, эта интерпретация — быть может, плод моего воображения. Эллинам тоже нелегко было догадаться, что означает посылка от скифов (стрела, лягушка, еще что-то в том же роде: см. старые книги по истории)». Такой же (но не столь отвратительный) язык жестов — пустые заклеенные конверты вместо писем от друзей.

...«Счастливые вы»,— нам с Андреем однажды сказал один академик. Мы шли по Ленинскому проспекту весенним солнечным днем. Он шел навстречу и остановился с нами — с Андреем. Я просто была при этом. Они говорили о сборнике памяти какого-то умершего ученого. Академик стал жаловаться, что боится: цензура что-то не пропустит — и лучше снять самому. Андрей сказал, что самому-то уж совсем лишне торопиться. На что академик ответил: «Да уж вы бы, конечно, не торопились (это относилось уже к нам обоим) — счастливые вы».

Были времена, когда все только начиналось: 1973 год, статья в «Литературной газете», где Чаковский говорит об Андрее, что он «кокетливо помахивает оливковой веточкой». Вообще-то статья была вполне разносная и на целую газетную полосу. Я стояла на лестнице в поликлинике Академии. Жена одного членкора шла по лестнице, увидела меня и кинулась ко мне. (Она знала меня сто лет, и, когда мы с Андреем поженились, рассказывала половине Москвы, какой я была «прелестной девочкой».) «Люся, как Андрей и ты себя чувствуете? Это такой ужас в „Литгазете", у моего мужа чуть не случился инфаркт». Я была как-то смущена ее порывом, потому что Андрея она, в сущности, не знает, не знакома с ним. Я чувствую себя виноватой оттого, что раз она знает меня с детства, то думает, что это дает ей право так его называть. Я злюсь на себя, что мне неудобно сказать ей: «Какой он тебе Андрей, и я уже сто лет не Люся. Люсей ты меня звала, когда еще папа не был арестован. А потом?». Но я говорю только: «Мы чувствуем себя хорошо»,— между прочим, я говорю правду. И она мне: «Счастливые вы».

Да, мы счастливые — ну что здесь поделаешь!

«...Как мы живем? Трагически (трагично). Заживо погребенные. И в то же время, как это ни странно звучит — счастливо. 7-го отметили 13-летие официальной свадьбы, все было честь честью, угощение на двоих — Люся постаралась (торт и ватрушка, „гусь" (т. е. курица) с яблоками, наливка), 13 свечей красивым углом. Каждая открытка Руфь Григорьевны, каждый снимок — большая радость для нас. Целуем вас. Будьте здоровы. Целуйте от нас младших. Люся каждый день перед сном 11 раз стучит по дереву, с мыслью о вас, поименно вспоминая и желая добра. Целую. Андрей». 15 января 1985. Из письма Андрея в Ньютон.

Все сошлись на одном. Андрей с ними согласен. Я — тоже.— Счастливые мы! Стучу по дереву.

...Я все это рассказываю, лежа в Майами на пляже, глядя на море. Сейчас идет мимо яхта с алым парусом, а сзади — с белым! Алые паруса. Неимоверно все это. Чудо Андреева противостояния, и чудо, что и после этой невероятной операции второй день купаюсь в море,— это все трудно описать и еще труднее представить себе реальным. Как трудно представить здесь реально ту несвободу, которая есть в Горьком, в которую я так скоро возвращусь. С одной стороны, так скоро, а с другой — так нескоро, ведь Андрюша уже почти три месяца один. А я-то знаю, что значит быть там одному, проведя в этой шарашке на одного четыре месяца в 84-м году плюс шесть месяцев в 85-м.

Вчера мне дали продление, нет, позавчера, 18 февраля. Совершенно непонятно, зачем ГБ нужны были эти фокусы. Зачем нужно было выступление агентства печати «Новости», что я могла делать эту операцию дома, зачем надо было Виктору Луи сообщать о том, что мне дали продление, когда можно было без всего этого обойтись? А сейчас даже официант в ресторане роскошной гостиницы «Хилтон» и вчера продавец в магазине поздравляли меня с тем, что я получила еще три месяца продления. Но ничего невозможно никому объяснить, даже Аасе Лионнес [1]: такой прелестный и такой смелый человек, все про нас знает и вдруг говорит мне по телефону два дня тому назад, что она хочет, чтобы я возвращалась домой через Норвегию и была гостем в ее доме. И невозможно от «а» до «я» объяснять, что я не могу возвращаться так, как мне хочется, или так, как хочется моим друзьям. И что надо на все просить разрешения. И ни на что просто так разрешение не дается. Это *здесь* можно и без разрешения.

Дети улетели с Джил и Эдом. Я одна в городе, знакомом по романам — название всегда было завлекательным, и творились в этом городе (по романам же) Бог знает какие дела. Я в Майами. Едва машина, увозившая детей, растворилась в столпотворении проспекта в часы пик, чувство необычайной легкости, ничем не обремененного, кроме самой себя, существования охватило меня с давно не испытанной силой. За что скорей хвататься — море или город? У меня нет купальника, но не в «Хилтоне» же его покупать. Еще утром, когда мы ездили в музей, я присмотрела там улицы, мне приглянувшиеся, и решила повторить поездку по городу. Мое такси вполне могло бы обогнать то, на котором уехали дети (хороша была бы я, бабушка, желавшая побыть одна без работы), так быстро я все решила! Таксисту я смогла объяснить все: и что хочу видеть, что поинтересней, куда мне надо и откуда я.

Интересно — потом я это несколько раз проверила: на севере страны, точнее, в Бостоне или Нью-Йорке, России вызывает хоть какой-то внешний, может, интерес; на юге — никакого: мы им и не экзотика и вроде вообще ничего — так, какая-то глухая провинция, конечно, слышали, что есть такая. Но моя статистика маленькая, и, может, я не права. Мы проехали по длинной прекрасной набережной — это не океан, а залив, вначале виллы, потом красивые ультрасовременные, многоэтажные, но явно жилые дома, а не банки-конторы. Потом старые прелестные улицы-улочки, все сплошь торгово-ресторанные и человеческие. И я пошла по ним бродить, попила кофе, купила купальник, показалось мало — в другом магазине купила пляжный костюм, потом тапки в все глазела и радовалась просто так, ничему. И страдала, что я одна, а Андрюша там один и под этими постоянными объективами — наедине с телесирином.

...Пало Альто и Менло-Парк, Нью-Йоркская академия, Колумбийский университет, Русский центр в Гарварде, Конгресс, приемы, ланчи и обеды в гостях, в торжественных залах и у себя дома, то есть в Ньютоне у детей, Национальная Академия, Ассоциация американских ученых, Бостонская Академия, Американское физическое общество... Люди очень разные: больше всего коллег Андрея — ученых, не только физиков; есть профессиональные политики; люди, связанные с прессой, писатели, актеры — в целом, я бы сказала, интеллектуальная элита. Мне все время думалось: каждый умней Андрея и меня — видел, слышал, общался, читал, ездил — мы во всем этом всю жизнь ограничены.

Многие из этих людей выступают по вопросам разоружения, войны и мира. Говорят о ядерной зиме, звездных войнах, разрушении окружающей среды. Обо всем страшном, что ожидает человечество. Они все в этом компетентны (или вам, некомпетентным, это кажется). Но, когда с ними общаешься, видишь, что им интересно жить — и этими проблемами, и просто интересно. И никакого страха перед будущим своим и человечества они не испытывают — ни врачи, которые против ядерной войны, ни ученые, которые ведут неправительственные переговоры о разоружении, ни все другие разные специалисты. Они постоянно говорят и пишут обо всех этих ужасах чуть ли не профессионально, иногда почти полностью отойдя от той специальности, с которой начинали эту свою деятельность или «борьбу». Но в повседневной жизни они ничуть не обеспокоены тем, о чем говорят. У них на долгие годы распланирован труд и отдых, ремонт или покупка дома, новая страховка, дающая возможность «списать» налоги; завтрак дома, деловой ланч, обед с женой и друзьями.

Мне нравится, как они живут. И спят спокойно, не замечают, что нарушили сон и вогнали в депрессию миллионы других,— особенно интересны в этой роли врачи; не знаю, что и кому они объяснили, но эпидемию если не создали, то поддержали — эпидемию бессонниц, неврозов, пограничных состояний. В Горьком женщина, работающая на почте, сказала мне (когда нам еще разрешали разговаривать с окружающими), что собирается делать ремонт в своей однокомнатной

---

[1] Аасе Лионнес — в 1975 году председатель Нобелевского комитета норвежского Стортинга, присудившего А. Д. Сахарову Нобелевскую премию мира.

квартире и купить ковер. Спустя некоторое время она же: «Не знаю, стоит ли все это затевать,— говорят, скоро война...». Может, и здесь, в США, те, кого называют «простые люди» (чем они «простые», почему?), думают так же, как эта женщина, что не стоит покупать ковер, но интеллектуалы — явно нет. Этот феномен интересен, но не мне его разбирать.

Я попробую рассказать только об отношении к Андрею, заодно и ко мне, так как сейчас это возможно выразить только вкупе и через меня. Большинству мы, в общем-то, не нужны, но почти все проявляют формальную заинтересованность (ну, на обедах и приемах уж такую формальную, что, бывает, кому-то, кто изъясняет свое уважение, так и хочется задать вопрос: «А знаешь ли ты, кто такой Сахаров?»), почти все готовы что-то подписать (надо бы им больше предлагать на подпись), многие при этом очень мало знают. Это касается не только проблемы Сахарова. Характерно, что это знание им не кажется нужным. У политиков, мне показалось, иногда и по другим проблемам столь же мало серьезной осведомленности. Как будто что-то другое их ведет к действию, а не знание проблемы (будь то Никарагуа, энергетика, медицина, образование, права человека) — какой-то другой стимул. Может, это престиж: главное — понять, что престижно, а что нет. Немногие читали публикацию документов Андрея. В SOS [1] каждому присутствовавшему на встрече со мной вручали копию — они, видимо, знают своих. И именно там я встретила людей, серьезно занятых проблемами прав человека, а не разговорами о них. Но и в других местах есть такие, кто хочет и знать, и что-то делать, и с ними хочется говорить, потому что ощущаешь сопереживание, видишь живые глаза, а не ту отстраненность и пустоту, как было, когда Андрюша рассказывал о том, что с ним произошло и эти два года, своим советским коллегам, приезжавшим в ноябре 1984 и феврале 1985 года. Есть такие, что очень много говорят и про свои дела, и про нас, но...

Сейчас мне надо объяснить одно из самых трудных своих открытий. Я буду говорить о тех, кто знает имя Сахарова, знает даже и его дела, и взгляды, всегда все подписывает, иногда выступает первым, призывает других, говорит о Сахарове с советскими администраторами (научными или государственными — все равно). Этих людей я условно делю на две категории — для одних Андрей живой, и все, что с ним связано, у них болит, как свое; для других — символ, игра, политика, даже собственный успех, т. е. мертвое понятие, боюсь сказать — мертвый человек. Я поняла это, когда меня пригласил один из больших чиновников.

Вы все знаете, наверно, что у Белого Дома есть не парадная сторона — по-русски говорят «задворки». Я знаю. Случайно. Проход шириной со среднюю улицу от административного здания. В него мы вошли через аэродромного типа «пропускалку» и с выписанными заранее пропусками. За «пропускалкой» нас встретили мои старые знакомые — американские дипломаты, отработавшие свой срок в Москве (вот уж правда — «у каждого свой срок». Я бы еще добавила — «и в своем месте»). Может, они теперь заняты тем, что называется «формировать политику». Нет! Ничегошеньки они не формируют — выражение их лиц напоминает мне давнюю историю. Я ее расскажу.

Когда в 1981 году Алешка решил вступать с Лизой в заочный брак, нам надо было заверить подпись Лизы на документе, гласящем, что она доверяет Эду Клайну [2] представлять и заменять ее во время церемонии бракосочетания. Мы обратились к помощи американского консульства в Москве, поскольку априори было ясно, что ни один советский нотариус такой документ не заверит. Два милых молодых сотрудника консульства — мы с ними потом подружились — сказали нам: «Да, конечно, мы посоветуемся с нашим адвокатом». Адвокат, постарше их, но тоже молодой (американцы не боятся молодых), сказал: «Конечно»,— и все трое сказали: «Мы запросим госдепартамент. Думаем, что ответ будет быстро». Потом я ходила к ним в течение четырех месяцев каждую неделю, специально приезжая из Горького, как-то специально встала с постели — у меня был тяжелый грипп. Их лица при встрече со мной становились все напряженнее. Кажется, даже менялся постепенно сам тембр голоса, когда из раза в раз они мне говорили: «Знаете, там меняется администрация, ответ еще не пришел». И наконец — ответили: «Разрешили». Мы приехали на следующий день уже вместе с Лизой. Видели бы вы сияние на их лицах! Они перестали стесняться нас и, может, своих начальников, говорящих много о гуманитарных проблемах Хельсинкского акта (чем не проблема — дать жениться двум молодым людям?). Так Эд по доверенности от Лизы стал «наша невеста» (прозвище это дал Андрей, и оно укоренилось у нас в обиходе).

Сегодня сюда со мной пришли Алеша, Рема и Эд — «наша невеста». Они не знают этого выражения полусоболезнования, полувиноватости, с которым нас встретили мои старые знакомцы. «Интересно, зачем нас — меня — сюда позвали? Я не просилась — „никого не трогаю, починяю примус“». Проход неширокий, кругом запаркованы машины. Это не то что в Кремле — я, между прочим, там бывала, тоже не просилась, Анастас Иванович Микоян сам звал. У него тоже бывало виноватенькое выражение глаз: он живой, а папа мой... а ведь друзья, и всю-то молодость вместе и даже «на одном коне воевали».

Там, в Кремле, часовых много, на разных уровнях, на разных этажах стоит по нескольку,

---

[1] Комитет защиты Сахарова, Орлова, Щаранского.

[2] Эдвард Клайн, нью-йоркский бизнесмен, член редколлегии издательства «Хроника», друг семьи Сахаровых.

и все они в парадной форме и по струнке, а здесь, я бы сказала, по команде «вольно». За проходом дверь небольшая, такая обыкновеннейшая. А в Кремле двери так уж действительно двери — в два человеческих роста, дубовые,— ну, так и несет дубом, хотя я лично в сортах строительно-мебельного дерева и не разбираюсь. А ширина, а тяжесть! И двигаются так беззвучно! По сравнению с кремлевскими здешняя дверь — совсем провинциалочка. Дверь эта действительно в белой стене — так что дом белый.

Но зачем сравнивать с Кремлем; Кремль — это так далеко. Можно найти и ближе, взять хоть Конгресс США: все просторно, всего много — холлов, окон, дверей, залов, коридоров, лестниц. В Конгрессе лестницы, как символ чего-то уводящего ввысь и вширь,— лестница, как в эйзенштейновском «Потемкине». А здесь за дверью лестничка узенькая, как в светелку, а за ней комнатки небольшие, потолочки невысокие. С этого входа Белый Дом звучит камерно.

Нас тоже ввели в такую же небольшую комнату. Притом, что нас было четверо и двое знакомых еще по Москве, да там было еще три человека, в ней стало сразу как-то тесно. В голове промелькнуло и мгновенно растаяло наше московское «в тесноте, да не в обиде», не пришлось к настроению. Нас принимал адмирал Пойндекстер [1]. Он говорил о глубоком уважении, которое питает к моему знаменитому мужу. Сказал, что американская администрация глубоко озабочена судьбой моего мужа и многих других, но в настоящее время она считает, что лучшим способом им помочь являются тихие, не публичные действия. Поэтому меня пригласили в Вашингтон, чтобы он мог принять меня вместо президента.

У меня сложилось впечатление, что советник по национальной безопасности, кроме общих слов «права человека», не осведомлен о конкретной деятельности Сахарова по предотвращению ядерных испытаний, о его роли в заключении Московского договора, о его научных работах и, в частности, пионерских трудах по использованию термоядерной энергии в мирных целях. Из всего сложного комплекса проблем, которыми Андрей Сахаров занят много лет и которые нашли отражение в названии Нобелевской лекции «Мир, прогресс, права человека», иногда вычленяется только одна, и тогда не понимается исключительность личности Сахарова, значения его свободного голоса в современном мире. Должна сказать, что такой ошибочный взгляд на Сахарова просто как на наиболее крупного — потому что он академик — советского диссидента все еще нередко встречается и в научных, и в политических кругах и говорит только об узости исторических представлений.

Я не просила приема ни у президента, ни у господина Пойндекстера. Но, узнав о его приглашении, я попросила доктора Манкура отложить операцию ангиопластики и отпустить меня на три дня из больницы Масс-Дженерал, где я тогда находилась. Я думала, что адмирал собирается сказать мне нечто серьезное или, по крайней мере, новое. Но «тихая дипломатия» при защите прав человека — это такая старая песня. Неужели было так необходимо принимать меня именно в эти дни «вместо президента» и тем самым включать в какую-то политическую игру, явно вредную защите моего мужа. И других правозащитников.

Мне не показались новыми и те доводы, которые привел адмирал. О «тихой дипломатии» и в прошлом иногда говорили как о наилучшем пути защиты прав человека. Я никогда не могла с этим согласиться, не согласна и сейчас. В этом смысле я верная и последовательная ученица своего мужа! Академик Сахаров считает гласность главным оружием борьбы за права человека. Кажется, ни господин адмирал, ни я так и не приняли доводы другой стороны. Прощаясь, советник президента по национальной безопасности просил передать свое уважение моему мужу. Конечно, я передам. Наша встреча продолжалась недолго. Нас вновь провели по узким лесенкам. Внизу, в маленьком вестибюле, мимо нас стремительно, почти бегом прошла небольшая группа людей. Потом Алеша мне сказал, что это был вице-президент Буш со своей охраной. Уже не возвращаясь в административное здание, мы по проходу мимо часовых вышли в город. Мне жаль, что я не видела знаменитой белой овальной залы (мне нравится писать «зала» — кажется, что это соответствует стилю всего дома — Белого Дома) и лужайки, где президент подписывал закон о Дне Сахарова, так что я не смогу рассказать Андрею, как они выглядят, но как выглядит непарадная сторона — я обязательно расскажу.

Права человека. Об этом говорят и этим занимаются самые различные люди и самые разные организации. Но отношение к ним бывает разное, иногда чисто теоретическое, так сказать, абстрактное, иногда живое и человеческое. Я всегда с горечью вспоминаю президента Картера. Однажды он сказал: мы будем заниматься проблемой прав человека, но мы не будем заниматься отдельными случаями. Сказав это, он сам разрушил то глубокое уважение, которое вызывала его позиция, начиная с инаугурационной речи и до этого неудачного выступления. Не может быть защиты прав человека без защиты каждого человека, который нуждается в защите. И сейчас есть политики или общественные деятели, которые заняты проблемой, но не заняты каждым отдельным случаем: на самом деле они и проблемой не заняты, только о ней говорят. И есть такие, что заняты человеком, его судьбой.

Часто дела в защиту Сахарова у первых и вторых сливаются вместе — это обычно

[1] Советник по национальной безопасности (1985—1986).

на подъеме, вокруг какой-нибудь даты, события, когда празднуют день рождения или объявляют День Сахарова, на престижном приеме, перед выборами и т. д. Часто они расходятся совсем. Одни говорят: не надо раздражать, сделаем, но тихо; другие говорят: всё надо вслух — мы же не воруем. Эти первые едут в Москву, чтобы встретиться с научным истеблишментом и поговорить о разоружении, контактах, обменах и, конечно, о Сахарове. Почему нет? Если в кабинете и тихо, чтобы никто не узнал, то советских это даже не будет раздражать, а западным представится отчет: разговор был. Советские давно поняли эту игру и приняли ее. Западные делают вид, что не знают, что это игра.

Но они знают. И это особый вид двоемыслия. Всегда говорят, что двоемыслие характерно для советского общества. К сожалению, не только. Я для себя открыла двоемыслие «западное». Один такой ученый на днях мне сказал — мне лично,— что Белый дом его любит не больше, чем Кремль Сахарова. На мой вопрос, чего же он здесь (дело было в Вашингтоне, на роскошном приеме) и чего это ему так часто разрешается ездить в Москву (не говорю — занимать все его посты), он мне не ответил. Наверно, ответить нечего.

Очень странно с отношением к Андрею. Похоже, многие не хотят и не могут понять (другая ментальность), что оставлять Сахарова дальше в Горьком нельзя, что это гибель — не сегодня, так завтра,— смерть. Зато они будут интересоваться, все ли препринты до него доходят. Иногда доходят, иногда нет (временами с тараканами). И в тот миг, когда надо будет сделать, чтобы не доходили, доходить перестанут. Их волнует, как часто ездит коллеги,— не волнуйтесь, так часто, как надо, чтобы замутить вам мозги, дорогие друзья, чтобы вы думали, что обстановка у Сахарова для научной работы самая благоприятная. Даже теперь, после публикации письма Александрову, они ведут разговор об организации медицинской помощи Сахарову в Горьком. Помощи? От кого? От тех самых врачей, которых Сахароа назвал «Менгеле нашего времени». Оставить Сахарова в Горьком нельзя — и, пока этого не поймут для начала хотя бы те, кто занят проблемой прав человека, в Горьком можно сделать все, что угодно, и никто не будет знать. Весь мир будет продолжать смотреть и никто не будет знать. Весь мир будет продолжать смотреть фильмы, за которые через Виктора Луи гонорар получают сотрудники Комитета госбезопасности... Все будут обсуждать, как выглядит Сахаров в очередном фильме и что же он сказал на самом деле. А такие фильмы можно стряпать и выпускать в свет после того, как одного из нас или обоих уже не будет на свете.

Добавление от *2 мая 1986*. Фотография в «Бостон глоб» — первомайская демонстрация в Киеве — фото ТАСС. Эти радостные лица в дни, когда все люди на Земле с тревогой подходят к телевизору с одним вопросом: «Что там?». Обман для всего мира и обман своих людей — всё вместе. И страшно от того и от другого.

И снова вопрос. А что, коллеги моего мужа и дальше будут вести всякие неправительственные переговоры о разоружении, Пагуошские конференции и прочее без его участия, таким образом пренебрегая единственным голосом, независимым и компетентным вместе?

27 апреля я была гостем Национальной Академии. Мне представили физика, занимающегося проблемой мирного использования термоядерной энергии. Он за сотрудничество в этой области. Я спросила:

— Без Сахарова — он ведь автор самых первых работ и еще жив — вроде как неэтично и аморально действовать?

— Зато рационально. Но мы помним вашего мужа.

— Такая память — это как мертвого помнят, так, что ли?

— Возможно.

Он не страдает двоемыслием, этот ученый,— он реалист. Но и те, у кого двоемыслие, по крайней мере, не морочат голову. Гитлеровская Германия, может, потому существовала только 12 лет, что не украшала красивыми словами все свои стремления. Ее идеологи говорили откровенно — они не страдали двоемыслием и двоесловием (простите за новый термин).

Нет, не буду ругаться. Буду надеяться. Ведь я знаю, что есть и такие, которые все понимают и у которых сердце не заросло равнодушием. Лучше кого-то недоругать, чем ругнуть кого-то напрасно.

Вторые — имя Сахарова им обычно не приносит выгоды, успеха, популярности, иногда в своей честности и бескопромиссности они что-то реально теряют: их куда-то не выберут, куда-то не пригласят, не дадут въездную визу, где-то не посадят на почетное место,— но живы мы ими, и это им я говорю: «Дорогие, родные, хорошие, спасите Андрея Дмитриевича!». Это им говорил Андрей: «Помогите нам, мы надеемся на вашу помощь».

Окончание следует

Павел
ЗАЛЬЦМАН

ГАЛОШИ
Рассказ

Павел Яковлевич Зальцман (1912—1985) родился в семье кадрового офицера. Его отец после революции служил в Красной Армии. Человек глубоко интеллигентный, тонкий ценитель и знаток искусства, он даже в военное время, в условиях голода и разрухи, сумел дать сыну прекрасное образование.

В 1925 году семья переезжает в Ленинград. Знакомство с Д. Хармсом и А. Введенским, участие в домашних концертах обереутов, ученичество у П. Н. Филонова сформировывают мировоззрение и творческое кредо будущего художника. П. Я. Зальцман унаследовал одну из лучших черт русской интеллигенции — неспособность к духовному конформизму. Поэтому неудивительно, что его дальнейшая судьба складывалась трудно.

Творческая направленность художника не соответствует государственному заказу. Тематика его работ, далекая от ортодоксального оптимизма, не только не могла быть востребована сталинской системой, но и сама по себе была постоянной угрозой для автора. Как и многие другие мастера, П. Я. Зальцман ищет работу там, где ему не придется поступаться своими принципами. Таким местом оказывается «Ленфильм». В качестве кинохудожника он продолжает работу в ЦОКСе, а затем в «Казахфильме» в Алма-Ате, куда его эвакуируют после прорыва ленинградской блокады.

Свои полотна умирающий художник бросит на берегу Ладоги: не хватит сил вытащить их из-под груды вещей в грузовике. Холсты разыщут и сохранят сотрудники «Ленфильма».

Немец по национальности, без документов об образовании, без уверенности, что завтра будет крыша над головой, и почти без средств к жизни, П. Я. Зальцман самозабвенно погружается в работу — рисует и пишет. Адрес определен бесповоротно — «под кровать». Впрочем, иногда складывалось и за шкаф. Чтобы иметь хоть какой-то заработок, он осваивает новую специальность — искусствоведение. На лекции П. Я. Зальцмана, которые он читает в Университете, педагогическом институте и в художественном училище, ходят толпы студентов. Многие художники и искусствоведы Алма-Аты и сегодня называют его своим учителем.

После окончания войны Зальцман, спецпереселенец, не может вернуться в Ленинград. Но Алма-Ата становится его второй родиной. Он по-настоящему глубоко знает казахскую культуру, изучает историю казахского народа. В Алма-Ате создается роман «Средняя Азия в Средние века», серия графических и акварельных листов по мотивам стихов Олжаса Сулейменова.

Здесь в период «оттепели» П. Я. Зальцман находит и официальное признание. Звание заслуженного деятеля искусств Казахской ССР и должность главного художника «Казахфильма» делают более твердой почву под ногами, а приобретение ряда работ Третьяковской галереей, Музеем искусств народов Востока и Русским музеем приносит и моральное удовлетворение. Появляются квартира, мастерская, где весь день трудится с кистью художник, а по вечерам раскладывает свои тетради писатель.

П. Я. Зальцман панически боялся выставок (и небезосновательно: первая большая выставка 1983 года тут же вызвала анонимки в ЦК с обличениями в «чуждой идеологии»). Но еще больше он боялся за свои тетради. Лишь немногие друзья знали, что он пишет. Его произведения так и остались в обтрепанных ученических тетрадях.

Литературное наследие П. Я. Зальцмана довольно большое — два романа, стихи, около тридцати рассказов, в том числе серия рассказов гротескового характера, обнажающих абсурд и алогизм действительности. К ней, в частности, относится и предлагаемый читателям рассказ «Галоши».

Елена ЗАЛЬЦМАН

В этот день Иван Кузьмич вышел из дому в отличном настроении. Дышалось вольно и легко. Весеннее солнце играло в просторных витринах. Он как раз проходил мимо центрального универмага и решил побаловать себя покупкой новых галош.

Он зашел в универмаг и купил случившиеся там новые галоши. Выйдя, он еще раз полюбовался на покупку, которую нес в руках и в которой тоже играло солнце.

Бумаги же в универмаге не нашлось, и он нес галоши просто так. Увидя газетный киоск, он решил завернуть галоши в газету. И он купил газету.

А весеннее солнце сверкало так невозбранно и тротуары так уже подсохли, что Ивану Кузьмичу вдруг пришла мысль надеть эти новые галоши, а в газету завернуть старые.

И он это сделал.

Завернув свои старые галоши в газету, он отошел от киоска и пошел дальше. Рядом с ним шагал гражданин пропорционального сложения. Пройдя еще немного, он слегка повернул к Ивану Кузьмичу свой твердый профиль и сказал:

— Гражданин, пройдемте со мной.

Иван Кузьмич как шел, так и продолжал шагать прямо туда, куда его вел этот гражданин. Не успев изменить ни походки, ни выражения лица, Иван Кузьмич держал свой пакет дрожащей рукой.

— А кто вы такой? — тихо проговорил он, хотя и понимал бессмысленность вопроса.

— Я Гаврик,— сказал этот.

— Ага,— сказал Иван Кузьмич,— вот оно что.

Гаврик довел его до машины. Откуда появилась эта машина? Бог ее знает. Улица оказалась вся в больших черных пятнах, и машина появилась из такого пятна. Ивану Кузьмичу почудилось, что как будто этот успел задержать ее и даже высадил из нее каких-то граждан. Но точно он не мог разглядеть, так как пятна мешали.

Через пять минут оба они уже поднимались на этаж, миновав сотрудника учреждения, сидевшего у входа за столиком. Они прошли в комнату № 143.

— Примите задержанного,— обратился Гаврик к сотруднику учреждения, сидящему за столом в этой комнате.

Тот спросил у Ивана Кузьмича: «Фамилия? Имя-отчество? Год рождения? Где проживаете? Ну, адрес!», записал, затем вытащил из ящика две квитанции и, наклонившись твердым профилем к одной из них, расписался, а другую протянул сопровождающему Гаврику. Тот тоже расписался.

— В чем обвиняетесь? — спросил этот, сидящий за столом, у Ивана Кузьмича.

— Не знаю,— ответил Иван Кузьмич, чувствуя, что говорит не то, что надо.

— Ну, все-таки? — продолжал следователь.— Не догадываетесь?

— Я догадываюсь,— смущаясь и нервничая, отвечал Иван Кузьмич.

Уже повернувшийся уходить Гаврик сказал: «Да вот!» — и указал на сверток.

— Что это? — спросил следователь. Он взял сверток и развернул. Развернув его, он замер и некоторое время молчал. Затем стал что-то старательно вписывать в графы, заполняя четыре специальные формы.

— Вот, возьмите,— обратился он к Ивану Кузьмичу, протягивая два листика.— Пройдите в комнату двести три, там обратитесь к капитану Федченко. Можете идти.

Иван Кузьмич, держа два врученных ему листка спецформы, каким-то строевым шагом вышел в коридор и пошел разыскивать комнату 203. Проходя мимо одного из окон, он остановился и попытался прочесть дрожавшие листки, но ничего не понял, строчки прыгали перед глазами. Ему удалось разобрать только резолюцию в конце: «На основании статьи о нарушениях 375, § 42-б, приговаривается к высшей мере исправления. О исполнении доложить». И подпись: майор Родченко.

Несколько помявшись, Иван Кузьмич медленно двинулся обратно, остано-

вился у комнаты № 143, тронул дверную ручку, постоял в нерешительности; наконец, повернул ручку, толкнул дверь и вошел.

— Товарищ майор,— начал он.

— Я вам не товарищ,— оборвал его Родченко.

— Гражданин начальник,— поправился Иван Кузьмич,— я хотел узнать, почему такая резолюция?

— Вы что, маленький,— спросил Родченко,— не понимаете?

— Не понимаю,— сокрушенно ответил Иван Кузьмич.

— А это что? — указал Родченко на еще не убранный развернутый пакет с галошами.

— Галоши,— сказал Иван Кузьмич.

— Так, галоши. А это что?

И тут Иван Кузьмич заметил, что в газете, как раз под левым задником одной из галош... портрет... портрет... и этот портрет очень даже сильно испачкан уличной грязью.

— Что же теперь делать? — вырвалось у оторопевшего Ивана Кузьмича, и он невольно перевел глаза на большой портрет, помещавшийся над письменным столом Родченко.

— Я же вам сказал,— произнес Родченко, отворачиваясь от него,— пройдите в комнату двести три к капитану...

— Федченко? — переспросил Иван Кузьмич.

— Да, Федченко,— твердо сказал Родченко.— Там вам все укажут, что делать дальше.

— Но почему так? — еще не соглашался Иван Кузьмич.

Родченко нетерпеливо указал на толстую раскрытую книгу. «Статья 375 о нарушениях»,— прочитал Иван Кузьмич. «§ 42-а: завертывание галош в портреты вождя в чистом виде — 25 лет. § 42-б: завертывание галош в портреты вождя в грязном виде — высшая мера исправления».

— Ну? Ясно?

— Теперь ясно,— согласился Иван Кузьмич.— Разрешите быть свободным?

— То есть как свободным?.. А-а! Ну, да.

Иван Кузьмич вышел и маршевым шагом прошел в комнату 203. Он передал, что надо, капитану Федченко. Тот тщательно просмотрел два листка протокола.

— Гм...— сказал он и как бы про себя.— Сейчас...— И начал медленно и старательно писать.

— Вот,— обратился он, наконец, к Ивану Кузьмичу.— Поскольку у вас высшая мера исправления через отправление, вы тут спуститесь в корпус В, склад номер четыре, к завхозу-ординатору Скрипченко. Он вам выдаст индивидуальный пакет, укажет, как им пользоваться, и составит акт на списание. Пишите расписку.

Иван Кузьмич расписался. Федченко тоже расписался. Иван Кузьмич спустился в корпус В.

В коридоре перед дверью склада № 4 стояла пара деревянных скамеек и на них сидели несколько человек в разных позах. Все молчали.

— Кто здесь крайний? — спросил Иван Кузьмич.— Тут все к Скрипченко?

— Да, к нему. Только он велел сказать, чтоб больше очереди не занимали, прием кончился.

— Ну, может, все-таки примет? — с надеждой спросил Иван Кузьмич.

— Кто его знает. Сейчас обеденный перерыв.

— А когда у них кончается прием?

— В три часа.

— В три часа? Так сейчас еще двенадцати нет. Может, подождать?..

— Ну, как хотите, дело хозяйское.

Иван Кузьмич присел и начал ожидать. Один из сидящих внезапно встал, махнул рукой и вышел. Но Иван Кузьмич, как будто оцепенев, ожидал. Иногда от нечего делать он оглядывал соседей. На его счастье, в кармане нашлась

пачка «Беломора», и он время от времени уходил в конец коридора и там курил. А потом опять присаживался на скамью.

Вдруг, часа через полтора, он поднялся и прошел прямо в дверь склада № 4. Это произошло так неожиданно даже для него самого, что сидевшие на скамьях не успели его задержать.

Склад был неприветливым, длинным и узким помещением. Окон здесь не было совсем. Вдоль обеих стен тянулись стеллажи. «Для индивидуальных пакетов»,— сообразил Иван Кузьмич. Однако стеллажи были пустые. Сам, видимо, Скрипченко говорил по телефону и как раз вешал трубку.

— Вам чего? — обратился он к Ивану Кузьмичу. Тот протянул ему направление, выданное Федченко. Скрипченко недружелюбно взглянул на него и снова снял трубку. Разговор был не очень понятный:

— А так, что не могу! — сказал кому-то Скрипченко.— Не могу, товарищ капитан... А потому, что нету!.. Да, так и нету... Куда девал? А что я их, сам, что ли, потребляю?.. Если будет распоряжение, то и потреблю... Нет, не поступали. Наверное, на центральном. Там всегда задерживают... Так точно, уже звонил. Там занято... Да, не могу.

«Как бы он меня не выгнал в очередь»,— тоскливо подумал Иван Кузьмич. Скрипченко повесил трубку и снова снял ее. Набрал номер. Видимо, было занято: он с досадой повесил трубку опять. И опять набрал номер... Повесил... Опять набрал. Повесил... Наконец, уселся и минуты две, опустив голову, о чем-то думал.

Иван Кузьмич стоял и ждал. Скрипченко вновь набрал номер. Кажется, дозвонился.

— Центральный? — закричал он в трубку.— Говорят из склада четыре-ве. Дайте завскладом... Товарищ Храпченко? Что же ты, Храпченко, волокитой занимаешься? Где пакеты?.. Расходуем?.. Ну, это не нам с тобой, Терентий Федотыч, решать!.. Какой расстрел? Ты в своем уме? Почитай инструкцию! Этак мы в два дня без боеприпасов останемся!.. Да что ты мне рассказываешь? Ты дело говори: где пакеты?.. Что посылал?.. Три дня уже не получаем... При чем тут гараж?.. Какие профилактики, что ты мне голову дуришь!..Куда забрали?.. В колхоз забрали? Так сколько у вас забрали из двенадцати машин?.. Скаты? Так что я, должен тебе еще скаты доставать?.. Запчастей? Нет у меня запчастей! Ты чего мне душу тянешь! Приходят тут от Федченко, требуют, душу вынимают... Ну, а мне что делать?.. А я тоже не могу их держать... Да, так я их к тебе посылать буду!.. Ничего не сдурел. Сам раздавай... А как хочешь!.. Ну и пиши, я твоего рапорта не испугался!

Скрипченко со злостью прихлопнул трубкой и, вынув из стола пачку желтых бланков, взял один и начал заполнять. «Акт на списание»,— издали прочитал Иван Кузьмич. «На основании решения... приговаривается...» И в конце: «Приговор приведен в исполнение».

— Вот с этим пройдете по этому адресу,— сказал Скрипченко.— Склад номер шестнадцать, к лейтенанту Храпченко. Там вам отпустят. Можете идти.

Иван Кузьмич мялся с бумагой в руке. Как-то не хотелось сразу покидать Скрипченко, но тот отвернулся и, склонив голову набок, нагнулся к нижнему ящику стола и совсем исчез с глаз.

— Разрешите быть свободным? — неуверенно пролепетал Иван Кузьмич. Так как Скрипченко молчал, он тихо вышел.

— Вот пройда! — сказал кто-то из сидевших на скамейке.— Влез-таки без очереди! — Но озабоченный Иван Кузьмич не стал отвечать. Он торопился явиться по указанному адресу.

Нужно было ехать на самый край города. Тут поперек шоссе проходила железнодорожная линия, заросшая пыльной травой, а дальше, вдоль шоссе, располагалось городское кладбище.

— Гм...— подумал Иван Кузьмич.

Склад находился на правой стороне шоссе, почти у самого шлагбаума. Поверху примыкавшей к нему длинной стены шло два деликатных рядка обвисшей колючей проволоки, однако широкий вход во двор был открыт. Людей не было. Во дворе стояло несколько грузовых машин-полуторок, все с неполным

комплектом колес, и ходила маленькая черная собачка. Она слегка откинулась на задние лапы и стала лаять. Морда у нее была худая, рыжеватая и глаза гнойные.

— Эх ты, неухоженная,— озабоченно подумал Иван Кузьмич и прошел мимо. А собачка отпрыгнула.

Из-за угла одноэтажного корпуса вышел пожилой человек. «Сторож,— с тревогой подумал Иван Кузьмич.— Нехорошо...»

— Тебе чего? — спросил сторож.

— Начальство где тут?

— Никого нет,— сказал сторож,— у нас закрыто.

— Как? — спросил Иван Кузьмич.

— Уехали все в колхоз на субботник.

— А как же начальник? — не унимался Иван Кузьмич.— Мне к товарищу Храпченко.

— А товарищ Храпченко на автобазу поехал. Никого нет.

Иван Кузьмич уныло вышел со двора и отправился домой. Он не верил всей этой процедуре. Со стороны Скрипченко направление его к Храпченко было сплошной авантюрой, потому что Храпченко, ведавший снабжением отдельных спецскладов и снабжавший их по общим накладным, никакого отдельного индивидуального пакета ему, конечно, не выдаст, так как оформить такую единичную выдачу из подотчетных фондов никак невозможно. Это и ребенку ясно. И значит, ему, Ивану Кузьмичу, завтра предстоит, во-первых, отыскать товарища Храпченко, который его, конечно же, прогонит, а во-вторых, опять явиться к Скрипченко, сидеть в очереди, а потом Скрипченко начнет ссылаться на то, что пакетов у него нет, и Бог знает когда все эти мытарства кончатся.

А сейчас ехать было совершенно бессмысленно, поскольку прием у Скрипченко заканчивался в три, а за всеми хлопотами день прошел и уже клонился к вечеру. Оставалось только возвращаться домой.

На другой день Иван Кузьмич поднялся ни свет ни заря, и даже не прослушав по радио «Пионерскую зорьку» и утренние сообщения, поехал на центральный склад, чтоб не упустить товарища Храпченко.

Улица была залита солнцем. Здесь, за городом, воздух был особенно чист. Откуда-то издалека раздавались звуки громкоговорителя. Передавали какие-то сообщения.

Во дворе склада опять было пусто. Собачка появилась, но вела себя как-то странно: хвост у нее был туго поджат, спина согнута, а в глазах стояли слезы. Иван Кузьмич обошел ее бочком. Навстречу ему вышел сторож.

— Ну, чего тебе опять? — сухо спросил он.

— Да вот...— сказал Иван Кузьмич.— Помог бы ты мне, папаша... Товарищ Скрипченко послал меня к товарищу Храпченко. Пакет надо получить.

— Да ты што! — махнул на него рукой сторож.— Не до тебя тут сейчас! Сейчас у нас общее собрание. Поезжай, милый человек, обратно.

Иван Кузьмич поехал. Предъявив направление и пройдя мимо работника за столиком у входа, он, уже легко ориентируясь, спустился в корпус В.

В коридоре почему-то никого не было. А у самых дверей склада № 4 Иван Кузьмич столкнулся со Скрипченко, который как раз выходил оттуда.

— Это что? — сказал Скрипченко, задерживаясь на ходу и просматривая свое направление.— Акт о списании не подписан?.. Так вы еще живы?.. Ну, тогда пройдите с этим в комнату сто сорок три к майору Родченко.— И он быстрым шагом удалился.

Иван Кузьмич направился в комнату 143.

— Разрешите войти? — спросил он, приоткрывая дверь.

— Входите, входите,— сказал Родченко, отрываясь от каких-то бумаг.— Вам чего?.. Ага,— произнес он, пробежав глазами направление,— помню. И что же? Вам вчера не удалось оформиться? Так-с. Ну, а теперь уже ничего нельзя поделать...— он развел руками.— Так вы что, за галошами пришли? — спросил он внезапно.

— То есть, как? — изумился Иван Кузьмич.

— Конечно,— продолжал майор,— мы могли бы привлечь вас за хранение запрещенной литературы... Но это могло бы иметь место, если бы газета была завернута в галоши, а не наоборот...

Иван Кузьмич шатался. Ему казалось, что комната ползет вокруг него; казалось, что она вообще стала какой-то другой... И действительно, когда он поднял глаза, с испугом ища в наступивших сумерках света, он увидел, что над столом майора Родченко, на том месте, где вчера висел портрет, теперь было пусто.

Тут его качнуло. Он почувствовал сотрясение, как будто его ударил гром, и на глазах его выступили слезы. Пока он тяжело переводил дух, Родченко сказал ему, протягивая пропуск на выход:

— Ваши галоши вы можете получить в корпусе Д на складе номер восемь. Можете быть свободны.

Пошатываясь, Иван Кузьмич пошел отыскивать корпус Д. Коридор, в который он попал, был тускло освещен, скамеек у двери с номером 8 не было, и вокруг сильно пахло карболкой.

Он тихонько постучал.

— Войдите! — послышалось из-за двери. Он приоткрыл ее и увидел складское помещение. Вдоль стен тянулись длинные стеллажи, сплошь заставленные галошами. Иван Кузьмич трясущейся рукой прикрыл дверь и стал быстро уходить.

Роберт
КОНКВЕСТ

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Крупнейшие центры

Три из пяти московских тюрем — Лубянка, Лефортово и Бутырки — были предназначены только для «политических». В остальных местах все сидели вперемежку. Крупнейшим центром пыток было Лефортово. В более ограниченных масштабах пытки проводились также на Лубянке и в «специальном отделении» Бутырок.

Тюрьмы кишели клопами. Исключениями были Лубянка и несколько тюрем в Киеве. Любопытно, что, хотя немецкие концлагеря были, по свидетельству очевидцев, гораздо чище советских и санитарные условия в них были много лучше, того же никак нельзя было сказать о немецких тюрьмах. Например, в Берлинской центральной тюрьме было больше вшей, чем в тюрьмах московских.

В коридорах Лубянки было чисто, пахло карболкой и другими дезинфицирующими средствами. Это — самая известная тюрьма Советского Союза, примыкающая к Комитету Государственной Безопасности. В ней находились самые прославленные заключенные, она была свидетельницей исторических допросов и казней. Здание Лубянки находится всего в нескольких минутах ходьбы от Большого театра и других крупных туристских объектов, но посетителям Москвы на него редко указывают. Раньше здесь размещалось страховое общество. После того как старое здание, построенное в готическом стиле, перешло в руки ЧК, к нему был пристроен целый квартал. Пристройки были сделаны в два приема: одна часть выполнена в конструктивистском стиле 30-х годов, другая — в послевоенном «нарядном». Вся внешняя часть комплекса принадлежала Народному комиссариату внутренних дел. Тюрьма находится внутри двора. Это тоже старое здание: раньше здесь была гостиница, принадлежавшая страховому обществу. И хотя здание сильно перестроено изнутри, камеры выглядят гораздо приятнее, чем в других тюрьмах — с большими, хотя и прикрытыми ставнями, окнами. В Лубянке, вероятно, не более 150 камер, причем довольно небольших. Едва ли здесь могло находиться более 1000 узников одновременно.

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1989, № 9—12; 1990, № 1—5.

Заключенных, чье поведение на предварительных допросах было «неудовлетворительным», переводили из Лубянки в Лефортово. Главным образом это были военные. О зверствах, чинимых в Лефортово, нет точных сведений. Но мы знаем, что заключенные, которые попадали оттуда в Бутырки, считали побои и другие методы физического воздействия просто детской игрой по сравнению с тем, что им пришлось пережить раньше. Лефортовская тюрьма была построена накануне первой мировой войны, и этим, очевидно, объясняются ее преимущества по сравнению с другими тюрьмами: уборные с унитазами находятся прямо в камерах.

Самая большая тюрьма, Бутырки, построена в XVIII веке. В нее бросали пойманных участников пугачевского бунта. Тюрьма состоит из бараков, примыкающих к центральной секции, так называемой «Пугачевской башне», где предводитель крестьян сидел, ожидая казни. В разгул сталинских репрессий в Бутырках было около 30 000 заключенных.

Генерала Горбатова пытали в Лефортово, а затем перевели в Бутырки, где, по его словам, жизнь была несравненно лучше. Хотя в камере, предназначенной для 25 человек, сидело 70, здесь каждый день выводили на получасовую прогулку. А в Лефортово — только на десять минут, да и то раз в два дня. Во время прогулки заключенные шли парами, держа руки за спиной и опустив глаза вниз. Если кто-то делал движения руками или головой, его тут же одергивали.

Один из бывших узников Бутырок сообщает, что видел там женщин с новорожденными детьми. Но вместе с ними сидели женщины, чьи дети, в том числе грудные младенцы, остались дома без всякого присмотра. Молодым матерям перевязывали грудь, чтобы молоко пропало. Бутырская тюрьма была чище Таганки, где сидели и политические, и уголовники.

Километрах в двадцати-тридцати от Москвы находилась еще одна небольшая тюрьма, Сухановка, о которой стоит упомянуть. Заключенные говорили о ней со страхом и называли «дачей». Сухановка представляла собой одноэтажное загородное здание, состоявшее из нескольких изоляторов, где пытки были обычным методом разговора с заключенным. Говорят, что она была построена специально для всех тех, кто имел отношение к делу Рудзутака—Постышева. В этой тюрьме правила соблюдались так строго, что надзиратели практически никогда не разговаривали с заключенными. В ней не было ни библиотеки, ни ларька.

Система ленинградских тюрем во многом напоминала московскую. Роль Лубянки играла тюрьма «Шпалерная», состоящая приблизительно из 300 камер. Бывшие заключенные вспоминают, что там была чистота и порядок. «Нижегородская» тюрьма была крупнее по размерам, с несколькими одиночными камерами для особо важных заключенных. Общее число заключенных в тюрьме «Кресты», местном эквиваленте Бутырок, составляло 30 000 человек. Была также специальная пересыльная тюрьма, где заключенные находились перед отправкой в лагеря. В камерах, предназначенных в царские времена для одного человека, сидело по шестнадцати. А туристам, приезжающим в Ленинград, показывают «пережиток проклятого прошлого» — Петропавловскую крепость, где до революции несколько политических заключенных жили в гораздо лучших условиях.

Вот в этих перечисленных нами тюрьмах (и других, разбросанных по всей стране) заключенные ожидали дальнейшей участи. В провинциальных тюрьмах, скажем, в Минске, Гомеле, Вятке или Вологде, условия были хуже, но зато правила соблюдались не так строго. Тут было больше бесцеремонной грубости, но с другой стороны — больше и шансов попасть к симпатичному «вертухаю», который мог даже предупредить о стукачах. Как пишет Гинзбург, «чем грязнее тюрьма, чем хуже кормят, чем вольнее и грубее конвой и надзор, тем меньше непосредственной опасности для жизни».

Товарищи по несчастью

Некоторых заключенных, только что прибывших в тюрьму, сразу вызывали на допрос; других, наоборот, оставляли на некоторое время в покое. За это время вновь прибывший мог выяснить из разговоров с товарищами по камере, какое дело ему «пришьют». В начале Большого террора некоторые арестованные думали, что другие заключенные сидят заслуженно, а с ними самими произошло недоразумение. К 1937 году население в массе уже понимало, что жертвы репрессий ни в чем не виноваты. Новые и старые заключенные смотрели друг на друга как на товарищей по несчастью. Вероятность того, что кто-то из заключенных действительно совершил преступление, была очень мала. На Западе иной раз можно услышать мнение, что сталинский террор обрушился на многих невинных людей (а это непростительно!), но в то же самое время помог обнаружить действительных шпионов, засланных враждебными государствами. Владислав Гомулка думает по-другому. В ноябре 1961 года он заявил, что террор «только облегчил деятельность разведывательных служб империалистических держав».

Если уж говорить о разведке, то Япония, Польша или Латвия, надо полагать, получили всю информацию, которая им требовалась. Не говоря уже о прямых операциях, возьмем хотя бы переход на сторону японцев начальника дальневосточного отдела НКВД Люшкова в 1938 году. Ясно, что это дало японцам неисчерпаемый источник информации. Люшков бежал, спасая собственную жизнь. Его побег был прямым результатом террора!

Среди шпионских дел есть только одно по-настоящему значительное — дело Конара, который до разоблачения был заместителем народного комиссара сельского хозяйства. Конар работал на польскую разведку. В 1920 году он получил документы погибшего солдата Красной Армии, а через десять лет уже занимал свой ответственный пост. Он был разоблачен случайно — человеком, который когда-то видел настоящего Конара. В некоторых книгах есть упоминание о «настоящих» шпионах или людях, которые могли бы быть причастны к шпионажу. Есть такой человек в «Одном дне Ивана Денисовича» Солженицына. Но подобные упоминания чрезвычайно редки. Обнаружение настоящего польского шпиона в киевской тюрьме в 1939 году стало предметом искреннего удивления и гордости. А как только он признал свою вину, рассказывает Вайсберг, его стали избивать, чтобы выведать имена «причастных к делу» киевских партийных работников.

Почти все осужденные признавали, что в основе их дела лежала какая-то «объективная характеристика». Это могло быть социальное происхождение, нынешний или прежний пост, родственные связи или дружба с кем-то, национальность или связь с иностранным государством, деятельность в особых советских организациях. Таким образом, повод к аресту сразу становился ясен другим заключенным, товарищам по камере, но на допросах о нем никогда не упоминалось. Арест мог быть вызван различными причинами — например, связями с заграницей, высоким военным положением и т. д., но в официальном обвинении состав преступления был непременно сформулирован по-другому. Эти причины не влекли за собой ареста *автоматически*. Можно хотя бы вспомнить немецких коммунистов, которых не арестовали, хотя они были политическими беженцами [1]. Арест зависел от разнообразных факторов.

Один харьковский колхозник объяснил свой арест тем, что за четыре года до этого

[1] Beck and Godin, p. 87.

его незаслуженно посадили. Органам НКВД пришлось признать ошибку и извиниться. «И после этого они решили,— рассказывает колхозник,— что я их возненавидел». Случай был далеко не единичным. В тот период сотни тысяч людей были арестованы только за то, что в прошлом по отношению к ним была допущена несправедливость.

Малейшая связь с заграницей и с иностранцами была верным способом угодить в тюрьму. Все те, кому доведось побывать за границей — например, известные футболисты довоенного периода братья Старостины,— к началу 40-х годов уже сидели в лагерях. Профессор Калмансон, заместитель директора Московского зоопарка, получил образование за границей, и в камере его считали «шпионом». Вернувшись с допроса, он с триумфом заявил другим заключенным, что на следствии был признан всего-навсего «вредителем» — за то, что 16 % его обезьян умерло от туберкулеза. (Кстати, как отметил Калмансон, в Лондонском зоопарке смертность обезьян была выше.) Но на втором допросе профессор действительно был обвинен в шпионаже — в пользу Германии. Вполне естественно, любой советский человек, связанный с «друзьями Советского Союза» за границей, автоматически становился неблагонадежным. Очень опасными были организации, занимавшиеся развитием международной переписки. Один студент, например, был осужден как немецкий шпион за переписку... с английским коммунистом из Манчестера. При этом его письма представляли собой голую советскую пропаганду.

Прямой контакт с дипломатическими представителями иностранных государства почти всегда оказывался роковым. Были арестованы доктора, лечившие немецкого консула, и ветеринар, лечивший консульских собак. Даже сыну этого ветеринара не удалось избежать тюрьмы. Вместе с ним на Украине сидел сторож, который, как он рассказывал заключенным, был «братом женщины, носившей молоко немецкому консулу». Один поплатился свободой за то, что переписал на бумажку прогноз погоды, вывешенный в общественном парке, и передал бумажку польскому консулу.

В лагерях можно было встретить самых разных людей: оперную певицу, которая чаще, чем положено, танцевала с японским послом на каком-то официальном балу; кухарку, ответившую на объявление в «Вечерней Москве», а потом оказалось, что кухарка требовалась японскому посольству, и ее сразу арестовали. Зимой 1937—38 годов были арестованы два инженера вместе с семьями. Один за то, что получил посылку от дяди из Польши: две пары обуви, две куклы и цветные карандаши. Второй поплатился десятью годами заключения за то, что был близким другом первого. Доктор-грек был обвинен в шпионаже: в письме, отправленном родственникам в Салоники, он описал свойство какой-то рыбы, которую разводили для борьбы с малярийными комарами. В декабре 1937 года греков начали арестовывать повсеместно. Был, в частности, прочесан город Мариуполь, где якобы был раскрыт националистический заговор с целью создания на Украине греческой республики. В число арестованных попал один русский — профессор древнегреческого языка в Харьковском университете, который раньше год жил а Афинах. Премьер-министром греческой республики, как говорилось в обвинении, должен был стать... советник Центрального Комитета украинской компартии по вопросам национальных меньшинств.

Китайцев также брали в массовом порядке. Одному из них предъявили следующее обвинение: он специально устроился работать водителем трамвая в Харькове, чтобы сбивать на перекрестках правительственные машины, везущие членов советского правительства.

В русских городах национальные меньшинства были практически ликвидированы. В сентябре 1937 года по всей Украине была устроена облава на армян. Их было взято 600 человек только в одном Харькове. В том же месяце аресты посыпались на латышей. Была «раскрыта» тайная организация, которая якобы стремилась к созданию «Великой Латвии», простирающейся далеко в глубь русской территории и включающей в себя Москву.

Представители национальных меньшинств, больших и малых, были объявлены «буржуазными националистами». Вот что заметил по этому поводу один украинец: «Меня в любом случае должны были признать украинским буржуазным националистом. Сам я, правда, не имел ничего общего с украинским национализмом и никогда даже не симпатизировал этому движению. Но, во-первых, у меня была типично украинская фамилия и, во-вторых, среди моих знакомых были люди, симпатизирующие украинскому национализму».

Интересно, что в этот период почти никому не инкриминировались по-настоящему реакционные взгляды. Осужденные оказывались, как правило, меньшевиками, армянскими прогрессивными националистами «дашнаками», эсерами или уклонистами какого-то толка. И почти никогда — монархистами, кадетами и т. д.

Особенно опасной была связь с еврейским социал-демократическим «Бундом», и много осужденных евреев попало в две категории: бундовцев или сионистов [1]. Один еврей, человек пожилой, выступавший защитником на ранних процессах в Донбассе, навлек на себя недовольство НКВД тем, что неоднократно запрашивал документы, которые, как он говорил, могли пригодиться при защите. Этот человек был достаточно искушен в судебных делах и вообще не стал защищаться, когда его самого забрали — он подписал все, не читая. Впоследствии он обнаружил, что был, оказывается, «главарем группы бундовцев», которая имела контакты с другими контрреволюционными организациями. Причем руководителем одной из этих организаций был секретарь местного обкома Саркисов, кандидат в члены ЦК. Однажды этому юристу сказали, что ему будет устроена очная ставка с сообщником по фамилии Абрамсон, о котором он никогда не слышал. Когда их свели вместе, следователь сказал: «Прекратите разглядывать друг друга так, как будто вы никогда раньше не виделись!». «Здравствуйте, Абрамсон»,— произнес первый. «Здравствуйте, гм... гм...» — и члену бундовской группы пришлось подсказать фамилию «главаря». Затем оба они, не читая, подписали текст признания своей вины.

Настоящие бундовцы, как сообщают, всегда держались на допросах очень стойко. Они лучше разбирались в марксизме, чем следователи, и были больше закалены подпольной деятельностью в царское время, чем большевики.

Были арестованы все бывшие эсеры — социалисты-революционеры. Рассказывают, например, об одном харьковчанине, который в 1917 году примкнул к большевикам, но в 1905 распространял среди царских солдат эсеровские листовки. Он был тогда студентом, в партии эсеров не состоял, да и вообще не разбирался еще в разнице между ними и большевиками. Но любое инакомыслие, даже самое безобидное, обычно заканчивалось лагерем. «Свидетели Иеговы», скажем, попадали туда автоматически. К ним присоединялись слишком набожные представители дозволенных религий — как, например, Алеша-баптист, о котором рассказывает Солженицын. Было арестовано много толстовцев. Один из бывших заключенных видел в тюрьме совсем старую толстовку: он рассказывает, что, когда за этой женщиной пришли сотрудники НКВД, ее 12-летняя внучка набросилась на них, стараясь спасти бабушку от ареста.

Священникам всегда трудно жилось при советской системе. Но к концу 30-х годов они автоматически попадали под подозрение. Суды над духовенством проходили по всей стране. В журнале «Безбожник» рассказывается о крупном суде в Орле, в который были вовлечены епископ и 12 священников. Одно из обвинений заключалось в издании молитвенников на старославянском языке.

Прочие обвинения были еще менее правдоподобны. Трое епископов были осуждены по обвинению в агитации за открытие закрытых церквей плюс в антисоветской деятельности. Буддистов обычно объявляли японскими шпионами, которые занимались вредительством: то пытались взрывать мосты, то вредили, дескать, в колхозах. «Деятельностью контрреволюционного мусульманского духовенства» тоже будто бы «руководила японская разведка». Затем «органы НКВД в 1937 году вскрыли и уничтожили немало шпионских гнезд, возглавлявшихся „святыми“ ксендзами и пасторами» [1]. Этих людей обвинили во вредительстве на фабриках и заводах, мостах и железных дорогах, в «подрыве колхозов», в шпионаже. НКВД «раскрыло» также и «вражеское гнездо раввинов», которые в Москве «выполняли задания фашистских разведок» [2].

Если с национальностью, прошлым, политическими взглядами все было благополучно, то могли подвести связи. Репрессии, начавшиеся внутри партии, правительства и армии, шли вширь: у каждого осужденного были родственники и знакомые, а у знакомых — свои родственники. Мы уже упоминали о четырех списках людей, подлежащих расстрелу, которые Ежов направил Сталину. Список № 4 состоял из «жен врагов народа». Мы рассказывали, как были ликвидированы или отправлены в тюрьму родственники репрессированных генералов. Военных обычно расстреливали быстрее, чем штатских, и без суда. В некоторых затянувшихся делах признания осужденных были получены в обмен на обещания не убивать членов семей. Иногда Сталин держал данное слово. Одна осужденная беженка повстречала в лагере 12 жен, двух дочерей, невестку и двух сестер крупных партийных работников, включая жену Ягоды. Жены, как правило, получали по 8 лет.

Типичной жертвой следующей по значению категории был Салпетер, начальник охраны Сталина, латыш, который был арестован с женой. Она отказалась подписывать признание. Некоторое время спустя ей разрешили повидаться с мужем, который был в ужасном состоянии и пробормотал, что она якобы хотела снять портрет Сталина в их новой квартире (в бывшей квартире Ягоды). Она также получила 8 лет.

Жены руководящих советских работников медленнее всех привыкали к тюремной жизни. Им было особенно трудно. Им не в чем было признаваться, и они не могли даже опровергнуть обвинение —

[1] Ф. О. Олещук. Борьба церкви против народа. М., 1939, с. 55.
[2] Там же, с. 61.

«жена врага народа». В отличие от мужей, они зачастую не представляли себе возможных последствий. В тюрьме они держались заносчиво и вначале не общались с другими арестантками, думая, что те действительно в чем-то виновны.

Членам семей арестованных, оставшимся на свободе, приходилось почти так же тяжело. Бывший советский офицер Орлов рассказывает, что четверо детей казненных офицеров НКВД хотели покончить жизнь самоубийством. Детям было 13—14 лет, их нашли в полумертвом состоянии в Прозоровском лесу под Москвой. Дочери заместителя начальника разведывательного управления Красной Армии Александра Карина было 13 лет, когда в 1937 году расстреляли ее родителей. В квартиру Карина въехал один из подчиненных Ежова, а девочку выгнали на улицу. Она решила пойти к лучшему другу своего отца Шпигельгляcу, заместителю начальника иностранного отдела НКВД, где ее приютили на ночь. На следующий день позвонил секретарь Ежова и буквально приказал выставить ее на улицу. Шпигельгляс помнил, что у девочки есть родственники в Саратове и направил ее туда. Через два месяца она вернулась — «худая, бледная, с глазами полными горечи. В ней не осталось ничего детского». Но это еще не все. Дочь Карина заставили выступить на пионерском сборе, публично назвать родителей шпионами и признать их казнь справедливой [1].

Жена репрессированного Смирнова (неизвестно точно, кому из трех осужденных Смирновых она приходилась женой) осталась с тремя детьми: 14 лет, 6 лет и двухмесячным младенцем. Дочери она говорила, что отец в отъезде, но старший сын знал, что произошло в действительности. Через некоторое время она была арестована сама, невзирая на ее отчаянную мольбу пощадить грудного ребенка. Смирнова отказалась отречься от мужа и получила обычный срок — 8 лет. Что случилось потом с детьми — неизвестно. В харьковском тюремном лазарете Вайсберг видел детей, в том числе девятилетнего мальчика. Когда в начале 1939 года в советской печати стали появляться сообщения об арестах отдельных работников НКВД, которые вымогали у подследственных ложные показания, обнаружилось. что в одном случае в Ленинске-Кузнецком (Кемеровской области) это было проделано с детьми вплоть до десятилетнего возраста.

Четыре работника НКВД и прокуратуры получили по пять и десять лет заключения. В общем сто шестьдесят детей, главным образом в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет, были арестованы и, после строгих допросов, признали себя виновными в шпионаже, террористических актах, измене и связях с гестапо. Добиться у них этих признаний было сравнительно нетрудно. Один десятилетний мальчик капитулировал после одной ночи сплошного допроса и признал себя уже с семилетнего возраста членом фашистской организации. Аналогичные массовые процессы детей имели место и в ряде других городов. Есть свидетельства, что дети репрессированных родителей даже создали свою организацию. Они планировали убить сотрудников НКВД, виновных в смерти их родителей. Как заявил на XXII съезде КПСС И. В. Спиридонов, «репрессиям подвергались не только сами работники, но и их семьи, даже абсолютно безвинные дети, жизнь которых была надломлена таким образом в самом начале».

В следующую категорию «подозрительных лиц» входили все, кто был связан с производством,— главным образом инженеры. Здесь не нужно было особых доказательств — всех поголовно объявляли диверсантами, невзирая на прошлые заслуги. 3 марта 1937 года, выступая на пленуме ЦК, Сталин заявил: «Ни один вредитель не будет все время вредить, если он не хочет быть разоблаченным в самый короткий срок. Наоборот, настоящий вредитель должен время от времени показывать успехи в своей работе, ибо это — единственное средство сохраниться ему, как вредителю, втереться в доверие и продолжать свою вредительскую работу» [1].

Шпиономания НКВД в промышленности, судя по всему, была искренней. «Органы» занимались не только арестами, но значительно расширили к концу 1935 года систему всякого рода надсмотрщиков и надзирателей на предприятиях, в исследовательских институтах и других учреждениях. Операция преследовала двойную цель: бороться с воровством и не допустить утечки «секретных материалов», многие из которых не были секретными даже по советским понятиям. В нормальном обществе подобная информация вообще не считается секретной. К этому времени в каждом советском учреждении уже существовал «Особый отдел», ведающий политической благонадежностью персонала и техническими секретами. В его сейфы каждый вечер запиралось все, что имело сколько-нибудь доверительный характер. Из опубликованных в 1962 году «Итогов Всесоюзной переписи населения» следует, что в общее число трудящихся 78 811 000 человек входило не менее 2 126 000 надсмотрщиков и надзирателей, не считая милицию и НКВД. При этом шахтеров было всего 589 000, а железнодорожников — 939 000.

[1] Orlov, p. 227—228.

[1] И. Сталин. Собр. соч., т. XIV, Станфорд, 1967, с. 214 (Доклад на пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 г.: «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников»).

В этой обстановке любой инцидент или срыв на производстве автоматически расценивался как диверсия или вредительство. Из каждого отдельного случая вырастало «дело» в назидание другим — так же, как инцидент с Молотовым в Прокопьевске был раздут до покушения на его жизнь. Уже на процессе Пятакова осужденным были инкриминированы железнодорожные катастрофы. При этом Вышинский красочно и обстоятельно рассказывал об ужасах, постигших невинных пассажиров. На процессе Бухарина было заявлено, что падеж скота — результат сознательной деятельности заговорщиков. Шарангович сказал в своих показаниях: «В 1932 году была нами распространена чума среди свиней... В 1936 году в Белоруссии нами была широко распространена анемия... Вследствие этой меры пало... около 30 тысяч лошадей». Шарангович также «признался», что на некоторых предприятиях в Белоруссии, где он был первым секретарем ЦК — на текстильной фабрике, на цементном комбинате, на труболитейном заводе, на электростанции — по его распоряжению были предприняты диверсионные акты.

В осуществлении непосильных пятилетних планов срывы происходили то и дело. И даже если вина возлагалась на первого секретаря, то к делу обязательно привлекались и его подчиненные.

Советские методы планирования и отчетности превращали жизнь промышленных руководителей в пытку. Задания и сроки всегда были невыполнимы. Признать же невыполнение плана — значило сразу угодить в тюрьму, поэтому директора скрывали как могли истинное положение дел. Но это был заколдованный круг — в новом плане фиктивные цифры удваивались. Когда случался крупный провал, который невозможно было скрыть, находили козла отпущения. «Наступал кризис. Директор и несколько других начальников уезжали в лагеря, а пришедшие им на смену начинали действовать теми же методами. Система не оставляла им другой возможности»,— вспоминает один из очевидцев.

Особенно трудно было наладить работу на новом предприятии. Директору автозавода им. Сталина Лихачеву пришлось руководить работой 25 тысяч человек в полной неразберихе, при острой нехватке административных кадров и сырья. Директор завода им. Молотова в Горьком Дьяконов надорвал здоровье еще до ареста. В 1938 году были арестованы руководитель автомобильной промышленности Дыбец и его заместитель. В том же году директор Металлургического завода в Свердловске старый большевик Семен Магрилов застрелился в своем кабинете. Он оставил длинное и резкое письмо, осуждающее зверства советского руководства. Все, кто прочел или мог прочесть это письмо, были арестованы и исчезли. На железных дорогах были установлены поистине драконовские законы. В статью 59 Уголовного кодекса РСФСР были включены и преступления на железных дорогах, «влекущие за собой срыв (невыполнение) намеченных правительством планов перевозок». Приводятся такие примеры: скопление порожних товарных вагонов или несвоевременная отправка поездов. Наказание — 10 лет, а при установлении злого умысла — расстрел.

«В целях личной карьеры и утверждения своего культа на транспорте Каганович надумал так называемую „теорию контрреволюционного предельчества", пользуясь которой он организовал массовое избиение инженерно-технических кадров. За короткий промежуток времени было снято с работы и впоследствии арестовано большинство начальников железных дорог и политотделов дорог, многие руководящие работники центрального аппарата и линии...» [1].

Что касается «вредительства», то аварии на железных дорогах в то время происходили каждые пять минут, и результатом было массовое уничтожение железнодорожных кадров. Мы рассказывали об этом подробнее в связи с процессом Пятакова. В начале 1936 года Каганович объехал железные дороги Дальнего Востока. Вслед за ним, в марте, там побывала Военная Коллегия, которая вынесла в двух городах — Красноярске и Томске — 15 приговоров: 5 смертных и 10 к длительным срокам заключения. Основание — вредительство «в пользу иностранной разведки». И это было только начало. По словам Шверника, в своем выступлении на собрании железнодорожного актива 10 марта 1937 года Каганович говорил:

«„Я не могу назвать ни одной дороги, ни одной сети, где не было бы вредительства троцкистско-японского... И мало того, нет ни одной отрасли железнодорожного транспорта, где не оказалось бы таких вредителей". При Кагановиче аресты работников железнодорожного транспорта проводились по спискам. Без всякого основания были арестованы его заместители, почти все начальники дорог, начальники политотделов и другие руководящие работники транспорта» [2].

10 августа 1937 года Каганович написал записку в НКВД, требуя ареста десяти ответственных работников в Народном комиссариате путей сообщения — на том

[1] XXII съезд КПСС, т. 2, с. 497 (выступление Б. П. Бещева).

[2] Там же, с. 215.

основании, что поведение этих людей казалось ему подозрительным. Они были арестованы как шпионы и диверсанты и расстреляны. Шверник сообщил, кроме того, что Каганович написал в НКВД по меньшей мере тридцать два письма с требованием ареста 83 руководящих работников транспорта.

Единственной железной дорогой, которой не коснулись повальные аресты в начале 1937 года, была Северодонецкая. Но в августе руководство этой дороги было вызвано в Москву, где получило указания выявить диверсантов. Под подсчетам начальника локомотивной службы, на этой дороге из 45 тысяч рабочих и служащих в течение трех месяцев было арестовано около 1700. В середине ноября его самого вызвали в НКВД и задали вопрос: «Как вы предлагаете покончить с вредительством?». Но он не мог припомнить случаев вредительства — дорога работала очень хорошо. Он получил крупный нагоняй, а некоторое время спустя, 2 декабря, был арестован — заодно с другими, без всяких обвинений, без ордера на арест. Через два дня после ареста его жену и шестилетнего сына выселили из квартиры. Всех арестованных этой группы, включая заместителя начальника дороги и начальников нескольких станций, допрашивали очень грубо и часто били [1].

В маленьких городах, например в Полтаве, были созданы специальные железнодорожные тюрьмы. Вагоны с арестованными железнодорожниками отгонялись на боковые ветки. Дела этих людей были в ведении разъездных военных судов, которые колесили по всей стране. Почти все арестованные были объявлены японскими шпионами. Причина заключается в том, что в 1935 году СССР передал Китайско-Восточную железную дорогу Японии. Советские железнодорожники, которые ее обслуживали, вернулись в СССР. Если не считать дипломатов, то они были, вероятно, единственными людьми, побывавшими за границей, то есть в высшей степени подозрительными элементами. Вместе с семьями их насчитывалось около 40 тысяч. Они, как утверждалось, растеклись по разным железнодорожным линиям и занялись вербовкой своих коллег в японскую разведку.

Обработка

Арестованный, будь он военным или представителем «бывшей» интеллигенции, украинцем или инженером, мог узнать из разговоров с другими заключенными, «какое дело ему пришьют». А это важно. На допросах НКВД придерживался такой практики: не говорить арестованному, в чем его обвиняют, дать ему возможность выработать самостоятельную версию. Если на первых допросах арестованный упрямился, ему, как правило, «помогали припомнить».

Статья 128 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР гласила до 1961 года, что человеку, находящемуся под следствием, обвинение должно быть предъявлено не позднее чем через 48 часов после ареста. Это требование не соблюдалось. Более того, оно противоречило основному методу НКВД. Во многих случаях обвинение предъявлялось спустя несколько месяцев и даже лет. Или вообще никогда.

Иногда допросу предшествовала специальная подготовка. Венгерский коммунист Йожеф Лендьел рассказывает, как он был переведен из обычной камеры в особую, еще более ужасную, чтобы «прийти в форму» перед встречей со следователем. В первой камере 275 человек жили «на, между и под 25-ю железными койками». Новая представляла собой «герметически закрытое пространство», где было влажно и жарко. Свежий утром хлеб был покрыт плесенью к полудню. У некоторых заключенных начались сердечные припадки. Другие сходили с ума. Сам он подхватил желтуху и какую-то накожную болезнь, от которой руки и ноги покрылись язвами. Когда Лендьел вернулся в прежнюю камеру, товарищи его не узнали.

Женщина-учительница, просидевшая 40 дней в одиночном заключении в темноте, также вернулась в камеру неузнаваемой. Она попала в тюрьму за то, что она обратилась к британскому консулу за визой. Ее заставили признаться в том, что она намеревалась стать членом иностранной разведки. Еще хуже была «нора» на Лубянке — настоящая черпая дыра, как пишет критик Иванов-Разумник. «Норой» называли темное и душное помещение в подвале размером около 25 квадратных метров, где не было никакой вентиляции, за исключением щели под дверью. Туда загоняли по 60 человек и держали неделю, а иногда и больше. У всех начиналась тошнота и сильное сердцебиение, многие страдали также экземой. «Нора» была разновидностью знаменитой «парилки», которой пользовалось ОГПУ в двадцатых годах. Евгения Гинзбург рассказывает также о «стоячей камере» — узкой щели, где можно было только стоять. Заключенный стоял, прижавшись к стене, руки по швам — совершенно как замурованный. Один из секретарей татарского обкома простоял так два дня и потерял сознание.

На допрос почти всегда вызывали ночью. Надзиратель входил в камеру и называл букву — первую букву фамилии. Все заключенные, чьи фамилии начинались на эту букву, должны были отозваться. Они по очереди выкрикивали свои фамилии, пока не отзывался тот, за кем пришли. Его уводили.

[1] V. Kravchenko. «I Chose Justice». London, 1951, chap. 9.

В воспоминаниях всех, кому довелось побывать в центральных тюрьмах, фигурирует такой факт: ведя заключенного по коридорам, надзиратели все время постукивали пряжкой ремня или просто щелкали языком. Это делалось для того, чтобы предупредить о своем приближении. Согласно инструкции, заключенный не должен был никого знать в лицо за пределами своей камеры. Если двое заключенных встречались в коридоре, одному приказывали повернуться лицом к стене. Во дворе Бутырок были специальные будки, похожие на будки часовых, куда можно было быстро втолкнуть заключенного, если навстречу шел кто-то другой. Лестничные пролеты были защищены сетками — на случай попытки к самоубийству.

Наконец, заключенного приводили в кабинет следователя. Все обычно начиналось с вопросов: «Знаете, где вы находитесь?.. Вы находитесь в помещении центрального аппарата советской разведки... Как вы думаете — зачем вас сюда привели?» и т. д. Бывало, что в первые минуты следователь держался довольно вежливо. Но затем требовалось подписать признание вины. Если заключенный ничего собой не представлял и о подготовке к публичному процессу не было речи, признание становилось формальностью. Простой и ужасной формальностью. Оно должно было соответствовать уже готовому в общих чертах приговору. Личность арестованного больше никого не интересовала, но от него требовалось еще одно — назвать своих сообщников.

Допрос почти всегда начинался не с обвинения, а с вопроса: каковы ваши собственные предположения о причине ареста? Если рассказ арестованного выглядел неаинно, применялись более грубые методы. Говорят, что следователи сталинского времени использовали список вопросов, составленный Святой Инквизицией в XVI веке [1]. По методу, который был известен среди работников НКВД как метод Ежова, задача «состряпать дело» возлагалась на самого арестованного. Во всяком случае, он должен был сам выбрать главную линию. Заключенные приобрели большой опыт и всегда могли помочь новенькому составить подходящую версию. Это избавляло от лишних неприятностей и его самого, и следователя.

У следователей были свои приемы. Иногда они начинали допрос сдержанным и даже грустно-располагающим тоном, а потом вдруг разражались ругательствами. Мат был обычным явлением. На некоторых заключенных это действовало.

Многие следователи НКВД сознавали абсолютную лживость обвинений и иногда даже признавались в этом. Другие утверждали, что во всех обвинениях есть «зерно правды», и этого им было достаточно, чтобы оправдаться перед самим собой. Такие взгляды характерны, главным образом, для раннего поколения работников НКВД. Потом эти люди сами были ликвидированы. Им на смену пришли свежие, выкованные Сталиным кадры, которые, казалось, больше верили в виновность осужденных.

Некоторым, наиболее стойким обвиняемым удалось пережить не одного следователя (двое заключенных сообщают, что за время их допроса сменилось десять человек). Репрессии внутри самого НКВД и частая смена следователей ободряюще действовали на моральный дух заключенных.

Обращение с арестованными офицерами НКВД было хуже, чем с остальными. Они с большим пессимизмом смотрели на возможность благополучного исхода их дела и, как вспоминают очевидцы, «держались упрямо, не хотели ни в чем признаваться, потому что знали, что их ожидает». На допросах они нервничали сильнее других, ожидая, что в любую минуту их могут казнить.

Основные технические приемы допросов были рассмотрены в пятой главе настоящей книги. Здесь можно сказать, что а обычных делах главным методом оставался «конвейер» с периодическим рукоприкладством. Вот типичный случай: девушку — секретаршу директора фабрики арестовали, обвинив в причастности к гнезду троцкистов-диверсантов. Двое суток ее держали стоя с небольшими перерывами, а потом следователь схватил ее за горло и начал душить. В результате она подписала признание, которое позволило НКВД арестовать ее начальника и еще 30 с лишним работников фабрики.

Конвейер мог сломить любого за 4—6 дней, но большинство выдерживало только 2 дня. Наконец, наступил момент, когда темпы репрессий опередили производственную мощность следственных органов, и тогда был введен более простой метод избиения. Дата этого нововведения в Москве, Харькове и других местах известна точно: 17—18 августа 1937 года. «В эту ночь,— вспоминает один из заключенных тюрьмы «Холодная гора»,— мы залепляли уши хлебом, чтобы уснуть,— невозможно было слышать крики избиваемых женщин» [1]. В Казанской тюрьме одной из первых жертв нового метода стала жена председателя Совнаркома Та-

[1] Anton Ciliga. «The Russian Enigma». London, 1940, p. 141.

[1] Weissberg, p. 281.

тарской АССР. В Бутырках в это лето был освобожден для ночных допросов целый этаж одного крыла. С 11 часов вечера до 3 часов утра женщины в расположенных поблизости камерах не спали — стоял страшный шум. «Над волной воплей пытаемых плыла волна криков и ругательств, изрыгаемых пытающими. Одна молодая женщина чуть не сошла с ума, думая, что узнала голос своего мужа»,— рассказывает Гинзбург.

Следователи поддерживали видимость местной инициативы. В ход шли сапоги, кулаки и ножки столов. Но Сталин и Ежов не опасались больше нареканий внутри партии, и широко известные факты официально скрывались более из приличия, нежели по другим мотивам. Сталин, судя по всему, дал официальное указание о применении пыток еще в начале 1937 года [2]. Тогда эта инструкция осталась секретной, о ней не узнали даже секретари обкомов. Но после падения Ежова, как сообщил XX съезду Хрущев, «руководители партийных органов с периферии стали обвинять работников НКВД в том, что к арестованным применялись методы физического воздействия», и Сталин подтвердил прежнее указание и постфактум и на будущее в шифрованной телеграмме от 20 января 1939 года.

Есть указания на то, что НКВД все же соблюдал некоторые формальности. Методы допроса были, понятно, прямым нарушением закона, но заявления, подписанные заключенными, уничтожались редко. Они подшивались к делу. Берия, придя к власти, обнаружил в делах зафиксированные прокурорами жалобы на «незаконные методы следствия», и генеральный прокурор СССР Вышинский дал указание впредь подобного не допускать. Некоторые заявления заключенных сохранялись после этого в особой папке, но не подшивались к судебным делам.

Вне зависимости от методов допроса, признания были более или менее однотипны и редко выходили за рамки, прочно установленные еще в 1931 году. Один хирург сознался в намерении отравить реку Днепр. Юрист сначала сознался, что взорвал мост, потом — что вынашивал террористические планы, и, наконец, в том, что он японский шпион. Инженер-электрик собирался мобилизовать артиллерийскую батарею, чтобы расстрелять рабочие кварталы Днепропетровска. Другой арестованный «признался», что встречался с президентом Франции Пуанкаре.

Один из руководящих работников лесной промышленности на Украине был арестован в начале тридцатых годов в связи с процессом «промпартии». Он «сознался», что умышленно не выполнял план лесозаготовок, так как стремился к восстановлению прав бывших помещиков и хотел сохранить принадлежавшие им леса. Он получил 10 лет, но, подобно многим другим, связанным с делом «промпартии», через год был освобожден и восстановлен на работе. При повторном аресте он «признался», что приказал вырубить слишком много деревьев, чтобы погубить леса. Другой работник лесной промышленности подписал обвинение, согласно которому он приказал прорубить в лесах дороги для входа польских и немецких танков.

Одну художницу по керамике обвинили в апреле 1936 года в том, что она исподтишка вписывала знак свастики в узор на чайных чашках, а также держала под матрацем два пистолета с целью убить Сталина. Инженер-еврей поплатился свободой за то, что спроектировал здание исследовательского института «в форме полусвастики», потому что придерживался нацистской идеологии. Другая художница — тоже керамистка — сделала эскиз пепельницы, которая по форме напоминала, если внимательно присмотреться, шестиугольную звезду Давида. Ее арестовали, а всю партию пепельниц уничтожили. Артур Кёстлер рассказывает о немецком докторе-коммунисте, которому предъявили три обвинения: прививку венерических заболеваний, распространение слухов о неизлечимости этих заболеваний и... шпионаж в пользу Германии. Профессор Киевского университета Белин также был объявлен шпионом — в своем учебнике он привел данные о глубине Днепра в различных местах. Другой профессор — еврей, бежавший из Германии — «передал немецким агентам данные о судоходстве по реке Обь». Третий был связан с японской разведкой — он передавал сведения о «политических взглядах еврейских детей». Киевский рабочий сознался в намерении взорвать мост через Днепр (длиной в километр) с помощью нескольких килограммов мышьяка, но ему пришлось отказаться от своих планов из-за дождливой погоды. Евгения Гинзбург пишет о женщине средних лет, с виду похожей на прачку, которую обвинили в общении с иностранцами, посещении дорогих ресторанов и попытках соблазнить советских дипломатов с целью выведать у них секреты. «...Это ведь был июль 1937 года, и никто уже не заботился даже о тени правдоподобия в обвинениях».

Б. Дьяков приводит еще более любопытный случай: один старый большевик отсидел пятнадцать лет за то, что сам себя убил. НКВД утверждал, что он выкрал документы погибшего человека и стал выдавать себя за него. Обвиняемый привел свидетельницу, которая знала его с раннего детства, но ее даже не стали слушать. Его осудили за «террор».

Когда назревало крупное дело, некоторые местные следователи пытались нагреть на нем руки: они начинали отыскивать «сообщников» из числа своих же заключенных. После суда над Тухачевским младший следователь пытался вовлечь своего подследственного Вайсберга в «дело рейхсвера», то есть сфабриковать новый военный заговор. Его начальник, со своей стороны, хотел выставить Вайсберга свидетелем на процессе Бухарина, что было более логично, так как с Бухариным Вайсберг, по крайней мере, встречался.

Пятьдесят украинских студентов обвинили в создании организации с целью убийства Косиора. Ранее, на крупных московских процессах, Косиор был назван в числе главных жертв, намеченных заговорщиками. Следователи работали над этим сложным делом целый год. Но в 1938 году стало известно, что сам Косиор арестован как троцкист — и все решили, что студентов выпустят. Но начались новые допросы. Для начала студентов избили за дачу ложных показаний органам НКВД. Через несколько дней стукачи в камере намекнули, в чем следует сознаться на этот раз: нужно было изменить объект покушения, назвав вместо Косиора Кагановича. НКВД не хотел заниматься составлением нового дела с самого начала: проще было «провести» студентов по готовым материалам, заменив лишь фамилию жертвы. В конце концов все как-то утряслось, и студентов... отправили в лагеря.

Некоторые заключенные особенно тяжело переживали необходимость выдать «сообщников», то есть запятнать ни в чем не повинных людей. Один армянский священник, обладавший прекрасной памятью, назвал сообщниками всех соотечественников, которых он похоронил за последние 3 года. Новичку иногда подсовывали в камере список еще «не использованных» покойников. Выдавать тех, кто был уже арестован или осужден, не считалось низостью.

Но следователей редко удавалось провести такими уловками. Большинство арестованных так или иначе бросали тень на своих знакомых или сослуживцев, чьи имена им называли на допросе (эти люди уже были на подозрении в силу того, что знали заключенного).

В основной своей массе офицеры НКВД вели себя как привередливые, самодовольные, безжалостные бюрократы. Они обращались с заключенными, как со скотом — о сочувствии не могло быть и речи. Но бывали и исключения, свидетельствующие о том, что даже в этих условиях исконная русская человечность неожиданно прорывалась наружу. Двое бывших заключенных отмечают, что «среди работников НКВД всех уровней, от простого надзирателя до начальника тюрьмы и даже самих следователей, встречались люди, которые нередко шли на нарушение правил. Рискуя собственной свободой, они отыскивали возможности, чтобы улучшить участь заключенных, тайно передавали им продукты и сигареты или старались ободрить словом».

Очевидец рассказывает, что в Бутырской тюрьме с командиром РККА Васильевым был однажды такой случай: «Когда окровавленного Василька — это прозвище дали ему его сокамерники — отводили с допроса в камеру, дежурный по коридору сжалился над ним и вместо того, чтобы ввести его сразу в камеру, открыл ему дверь в уборную, где он мог бы смыть кровь под краном умывальника. Василек подставил голову под кран — и рыдал, не столько от боли, сколько от пережитых оскорблений и издевательств, а дежурный стоял и смотрел на него, по-бабьи подперши щеку ладонью: „Эх, товарищ, не сокрушайтесь! Всем несладко живется, а терпеть надо. Ну избил он вас почем зря, а вы пренебрегите: его черной душе теперь, может, еще хуже, чем вашему белому телу. Кровь-то вот вы сейчас с себя смоете, а ему в какой воде свою черную душу отмыть?“ Мы удивились: избитый Василек вошел в камеру спокойный и чуть не веселый: так утешил и обрадовал его неожиданный монолог дежурного...».

Одна немецкая коммунистка вспоминает, что когда ее вместе с другими заключенными загнали в вагон для отправки в лагерь, часовой взглянул на нее и сказал: «Зачем плачешь? Там будет не так уж страшно. Останешься жива и еще вернешься домой». (Позднее эту женщину передали нацистам. Она пишет, что среди гестаповцев также встретила несколько добрых и заботливых людей.)

В 1937 году среди раннего поколения офицеров НКВД еще сохранялись люди, которые сочувственно относились к старым большевикам. Антонине Левкович, арестованной в 1937 году «жене врага народа», не раз приходилось встречаться с добротой, хотя обычно это ни к чему хорошему не приводило. Высланная с группой женщин из Москвы в Киргизию, она встретила в Джамбуле работника НКВД, который старался спасти ее и высланных с нею женщин от голода. Он был обвинен в «непозволительной жалости к женам врагов народа» и застрелился, чтобы избежать ареста.

Не так давно в советской печати стали появляться рассказы о сотрудниках НКВД, которые пытались протестовать против репрессий (это был период благосклонного отношения к милиции и органам безопасности). Можно взять для примера историю казаха Севикгали Джаку-

пова. Он выдвинулся в ЧК как непримиримый и безжалостный участник борьбы с басмачами в Средней Азии. В 1935 году, когда «сложная международная обстановка тех лет и целый ряд других причин привели к тому, что началась роковая стрельба по своим», его назначили на один из ведущих постов в НКВД Казахстана. Протест Джакупова был вызван судьбой его личного друга, казахского поэта Сакена Сейфуллина. Джакупов протестовал против казней даже на открытых заседаниях. После ареста в 1937 году он продолжал писать письма Сталину, Ежову и Вышинскому, защищая своего друга и других. Его ликвидировали в январе 1939 года [1].

О таких случаях не следует забывать. Но они являются редчайшими исключениями. Нормой была безжалостная жестокость или в лучшем случае — тупое безразличие к смерти и страданиям. Гинзбург пишет, что «не все они были садистами. И только единицы нашли в себе мужество покончить самоубийством. Шаг за шагом, выполняя все новые очередные директивы, они спускались по ступенькам от человека к зверю». Офицерам НКВД, у которых сохранились остатки совести, не удалось пережить чистку наркомата, предпринятую Ежовым. В аппарат влилась новая струя хорошо обученных, откормленных, бессердечных гангстеров. Они твердо усвоили, что любое проявление сочувствия — уступка буржуазным настроениям, форма предательства в классовой борьбе. Репрессии развивались вширь и вглубь.

Разбор дела

По окончании допроса дела направлялись в юридические или полуюридические учреждения. С 1934 года политические дела находились в ведении Военной Коллегии Верховного Суда. Коллегия располагала огромным штатом и могла рассматривать несколько дел одновременно. На высокопоставленного государственного служащего или генерала уходило всего несколько минут. Евгения Гинзбург вспоминает, что на разбирательство ее дела в 1937 году потребовалось ровно семь минут. Затем суд удалился на две минуты и зачитал приговор. По ее подсчетам, печатание этого приговора на машинке должно было занять все же минут двадцать.

В годы массового террора Коллегия «провернула» таким образом десятки тысяч дел. А эти десятки тысяч составляли очень незначительный процент общего числа заключенных.

[1] «Казахстанская правда», 17 янв. 1965 г. (Г. Аксельрод. «Верность чекиста»).

Судебное разбирательство велось на основе Уголовного кодекса, статья 58 которого охватывала все виды преступлений, имеющих какой-то, хотя бы самый отдаленный, политический характер. Статья 58 была достаточно емкой (так, во всяком случае, считал суд), чтобы подвести под нее любого человека, которого НКВД хотел репрессировать. Она использовалась самым наглым образом. Постановление Верховного суда от 2 января 1928 года внесло изменение в формулировку контрреволюционных действий. С тех пор по ней можно было привлекать к ответственности и в тех случаях, когда совершивший эти действия хотя и не ставил прямо контрреволюционной цели, однако сознательно допускал совершение или должен был предвидеть общественно опасный характер последствий своих действий. Понятие террора также было постепенно расширено, в него включалось нападение не только на партийных работников, но и на членов содействия проведению комиссий хлебозаготовок (1930), ударников (1931) и пионеров (1934).

7 августа 1932 года был введен закон о смертной казни за различные преступления против государственной собственности. На практике суд мог растянуть рамки этого закона еще дальше — такая инициатива приветствовалась. К вредительству был причислен, например, сбор колосьев, оставшихся на поле после уборки. Раньше крестьянки подкармливали таким образом семью, а теперь автоматически получали 10 лет.

Зам. генерального прокурора СССР Н. В. Жогин в 1965 году писал, что Вышинский «предложил квалифицировать умышленные поджоги имущества, принадлежавшего государству или общественным организациям, независимо от мотивов и целей, по статье 58-9 УК РСФСР (диверсия). Следовательно, по статьям о государственных преступлениях должны были квалифицироваться и такие действия, которые были предприняты без контрреволюционного умысла (например, поджог по мотивам неприязненных отношений, мести и т. д.). Вышинский заявил, что не существует общеуголовных преступлений, что сейчас эти преступления превращаются в преступления политического порядка. Он предложил пересмотреть общеуголовные дела в целях придания им политического характера».

Тот же Жогин далее конкретизирует: «Вышинский требовал обязательно искать контрреволюционный умысел по всем уголовным делам о недостатках, связанных с уборочной кампанией. По его мнению, недостатки уборочной кампании во многих случаях вызывались деятельностью вредителей, которых необходимо было „обезвредить“. Так, в 1937 году во время уборочной кампании было выявлено заражение ряда сельскохозяйственных культур клещом. Это заражение приписывалось деятельности вражеских контрреволюционных элементов, в связи с чем было возбуждено большое число уголовных дел. Многие обвинения в связи с заражением злаков клещом были совершенно не обоснованы. Между тем Вышинский потребовал от прокуроров, чтобы они настаивали на применении суровой меры наказания по всем уголовным делам, возбужденным в связи с заражением сельскохозяйственных культур клещом».

Когда дело доходило до суда, пишет Жогин, Вышинский «неоднократно утверждал, что в уголовном процессе вполне достаточна вероятность выводов о виновности. Поучая прокуроров „искусству распознавания вредителей“, Вышинский утверждал, что это достигается не путем всесторонней, полной, объективной оценки собранных по уголовному делу доказательств, а „политическим обонянием“. Вышинский заметно упростил судебную процедуру, заявив: „без особой нужды незачем повторять то, что было установлено на предварительном следствии“».

Результаты были самыми невероятными. Одна женщина получила 10 лет по статье 58 (пункт 10) за то, что сказала после ареста Тухачевского, что он был красивый мужчина. Художник лишился свободы на 5 лет, добавив букву «у» к имени Сталина в надписи «Жить стало лучше, жить стало веселее. Сталин». Получилось — ...Сталину. Человека, знавшего, но не донесшего о преступлении, рассматривали как соучастника. Даже в мелких делах, где обвиняемого присуждали к 6 годам, за укрывательство можно было получить 3 года по статье 58-12. Один одессит получил три года за то, что «сочувственно улыбался» в то время как пьяные грузчики за соседним столом рассказывали друг другу антисоветские анекдоты. Одна татарка, которая вначале значилась как троцкистка, была переименована в «буржуазную националистку» на том основании, что «по троцкистам у НКВД план перевыполнен, а по националистам они отстали, вот и взяли многих татарских писателей». Одного 22-летнего математика, совершенно не интересующегося политикой, репрессировали за то, что его мать — старая эсерка — попала в 1937 году в облаву и была арестована. Сам он родился в царской тюрьме.

Однако в суд попадала только небольшая часть дел. В статье 8 Исправительно-трудового кодекса говорится, что «лица, приговоренные к заключению в исправительно-трудовые лагеря, направляются туда: а) по приговору суда; б) по постановлению административного органа».

Под последним обычно имелось в виду Особое совещание НКВД, созданное постановлениями от 10 июля и 5 ноября 1934 года. Один заключенный, отсидевший 6 лет в двух лагерях и нескольких тюрьмах, подсчитал, что приблизительно 90 % политических заключенных были приговорены Особым совещанием.

Оно состояло из заместителя наркома внутренних дел, уполномоченного НКВД в РСФСР, начальника Главного управления милиции и наркома внутренних дел той союзной республики, на территории которой «совершено преступление». На заседаниях должен был также присутствовать генеральный прокурор СССР или его заместитель. Особое совещание, судя по всему, выносило сотни приговоров ежедневно.

Вначале его приговоры не должны были превышать 5-летнего срока, но вскоре это ограничение было либо отменено, либо забыто. Упоминаются сроки в 8 и даже 10 лет. Но если заключенных, приговоренных судом, часто выпускали на свободу по отбытии срока, приговоренные ОСО автоматически получали дополнительный срок. Оформлением документации занималась Москва, и затем местный представитель Особого отдела НКВД зачитывал приговор прямо в лагере.

С августа 1937 года в провинции стали действовать так называемые «тройки». Это был внесудебный орган, чьи функции напоминали деятельность чрезвычайных трибуналов во время гражданской войны. Тройка состояла из первого секретаря местного партийного комитета, представителя НКВД и прокурора. В отличие от ОСО, у нее были полномочия выносить смертный приговор. Тройки действовали целиком по своему усмотрению — даже без формальных ссылок на Уголовный кодекс.

На рассмотрение Особого совещания обычно выносились дела, «по которым не было собрано доказательств, достаточных для предания обвиняемого суду» [1].

Кроме того, «дела рассматривались заочно. Следовательно, лицо, привлекавшееся к ответственности, было лишено возможности защищаться от обвинения. Этим нарушались не только права и законные интересы обвиняемого и других участников процесса, но и создавались условия для преднамеренного вынесения необоснованных приговоров с жестокими мерами наказания» [2].

Хотя суды и истолковывали статью Уголовного кодекса весьма свободно, Особое совещание в большинстве случаев считало и такое истолкование чересчур

[1] Н. В. Жогин в «Советском государстве и праве», 1965, № 3, с. 27.

[2] Там же.

ограниченным. Статья 58 обычно служила «основой». В дальнейшем обвиняемые распределялись по следующим категориям:

КРТД — контрреволюционная троцкистская деятельность — обычный приговор 5—10 лет.

КРД — контрреволюционная деятельность — обычный приговор 5 лет и более.

КРА — контрреволюционная агитация — обычный приговор 5 лет и более.

ЧСИР — член семьи изменника родины — обычный приговор 5—8 лет.

ПШ — подозрение в шпионаже — обычный приговор 8 лет.

Последний случай является уникальным в мировой истории права.

Существовали еще две категории, к которым заключенный мог быть причислен лично прокурором. В этом случае дело даже не рассматривалось Особым совещанием, и заключенного сразу направляли в лагерь:

СОЭ — социально опасный элемент — обычный приговор 5 лет.

СВЭ — социально вредный элемент — обычный приговор 5 лет.

Право налагать наказание, когда состав преступления фактически отсутствует, изложено в статье 22 «Основ уголовного законодательства»: «Наказание в форме ссылки может быть наложено постановлением прокурора в отношении лиц, признанных социально опасными, без возбуждения против этих лиц уголовного дела по обвинению в совершении конкретного преступления или проступка. Наказание может быть наложено в тех случаях, когда эти лица были оправданы судом и признаны невиновными в совершении конкретного преступления».

В начале 1937 года подсудимые отделывались довольно легкими приговорами. Вот типичный случай КРТД: арест электрика, который раньше лично знал нескольких троцкистов и в чьей квартире во время ареста было обнаружено первое издание «Истории гражданской войны» (в нем, конечно, были факты, свидетельствующие о важной роли Троцкого в тот период). Срок — 3 года. Другой подсудимый, бывший троцкист, получил более длительный срок за то, что 1 декабря 1934 года приехал из Москвы в Ленинград. Человек, у которого нашли стихотворение о Лионе Фейхтвангере и Андре Жиде, также получил три года — КРА. Профессор астрономии, который противился браку своей дочери с работником НКВД, получил пять лет — КРА. Типичный случай категории ПШ — профессор, который в 1915 году был захвачен в плен в Австрии. Это было его единственным преступлением.

Постановление от 14 сентября 1937 года дало возможность налагать наказание за контрреволюционную деятельность без всякого соблюдения судебных норм. Приговоры были строже. Более того — дела арестованных в 1933 и 1935 годах подвергались, по образному выражению того времени, «переследствию» с тем, чтобы, как говорили следователи, мягкие приговоры (3—5 лет) «перевести на язык тридцать седьмого года».

Заключенный не присутствовал на суде Особого совещания и ничего о нем не знал. После суда ему при случае вручали приговор.

По мере накопления дел усиливалась неразбериха. Некоторых заключенных нельзя было отправить в лагеря, потому что на них не поступило документов. Говорят, что в Бутырках для таких заключенных было выделено целое крыло. Их судили группами, и у судьи не хватало времени оформить личные дела.

Смертные приговоры составляли не более 10 % от общего числа. Обычно вся камера знала о предстоящей казни, потому что в таких случаях за арестованным приходил офицер НКВД в сопровождении нескольких надзирателей. Иногда арестованному давали время проститься с остальными и раздать оставшееся имущество, главным образом — одежду.

Выступая на XXII съезде КПСС, Спиридонов заявил, что «многие люди были уничтожены без суда и следствия». Но сам Вышинский был сторонником этого метода. Он неоднократно повторял, что «если ставить вопрос об уничтожении врага, то мы и без суда можем его уничтожить». На самом же деле до 1937 года без суда казнили немногих, если не считать ликвидацию оппозиционеров, уже находившихся в лагерях. Первые удары обрушились, судя по всему, на иностранцев, живущих в СССР, включая тех, кто уже получил советское гражданство. У них не было влиятельных защитников внутри партии, и их было легче обвинить в контактах с зарубежной разведкой. Их начали ликвидировать с конца 1936 года.

Подвалы Лубянки, где совершались казни, были разделены на отдельные комнаты, расположенные вдоль коридора. Позднее, когда казни стали неотъемлемой частью тюремной жизни, в одной из этих комнат заключенный снимал тюремную одежду и переодевался в специальное белье. Затем его приводили на место казни и убивали выстрелом в затылок из автоматического пистолета. Врач подписывал последний документ, прилагаемый к делу,— свидетельство о смерти. После этого из комнаты выносили кусок брезента, специально положенный на пол. Его регулярно мыла уборщица, которую держали для этой цели.

Так было везде. В Горьком, например, в годы самого страшного террора из здания НКВД на Воробьевке выносили ежедневно от 50 до 70 трупов. Один арестант постоянно занимался тем, что белил стены в камерах заключенных сразу после того, как их увозили на расстрел в управление НКВД. Он замазывал фамилии, нацарапанные на стенах.

Распространенной формой приговора было «заключение без права переписки». А это дает все основания полагать, что число уничтоженных людей было больше, чем приговоренных к казням, ибо о заключенных, отбывающих срок по этому приговору — в лагерях или в тюрьмах,— нет абсолютно никаких сведений. С другой стороны, в массовых могилах в Виннице найдены трупы людей, получивших именно этот приговор (см. прил. А).

Между тем, репрессии продолжались, все глубже и глубже вгрызаясь в каждый общественный слой. Теперь на очереди была рабоче-крестьянская масса (до этого простые рабочие и крестьяне часто фигурировали как соучастники вредительства). Большинство крестьян и неквалифицированных рабочих, как пишет один из очевидцев тех лет, отделывались простыми показаниями — вроде того, что они занимались контрреволюционной агитацией, распространяя слухи о недостатке продовольствия или керосина, о низком качестве обуви, выпускаемой советскими фабриками, и т. д. Этого было достаточно, чтобы приговорить подсудимого к 3—7 годам принудительных работ по статье 58.

Воспоминания очевидцев изобилуют рассказами вроде следующего:

В сентябре 1937 года в харьковскую тюрьму неожиданно привезли 700 колхозников. Начальство тюрьмы не имело понятия, за что они арестованы. Колхозников избили, чтобы заставить их хоть в чем-то сознаться. Но они не могли сказать ничего путного — они сами ничего не знали. Тогда быстро состряпали дело. Обвинения были довольно просты: большинство заставили признаться в контрреволюционной агитации и в диверсиях. Например, в намерениях отравить колодцы, поджечь амбары, в агитации крестьян не выходить на работу и т. д. Словом — пустяки. Но около 20 человек попались как следует — они были обвинены в заговоре. Их группа якобы планировала украсть лошадей, прискакать в соседний город и поднять там восстание. О начале восстания должен был возвестить церковный колокол. В действительности ничего этого не произошло: колодцы не были отравлены, скот не пострадал, лошади и амбары остались целы, церковный колокол не звонил и крестьянского восстания в этом районе не было. История была выдумана от начала до конца.

Теперь подавляющее большинство заключенных по тюрьмам людей составляли колхозники — и продолжали составлять до самого конца ежовщины. Причем их группы были почти тождественными по составу. Сначала арестовывали председателя колхоза. Он «выдавал» ближайших сообщников, за ними шли бригадиры и, наконец, простые крестьяне. Обычно колхозники сознавались сразу, как только узнавали, что от них требуется. НКВД сообщал об этом через стукачей, распределенных по камерам. Колхозников, как сообщает очевидец, партиями отправляли в северные лагеря — два раза в неделю.

В отдаленных районах происходило то же самое. Английский наблюдатель, находившийся в то время в Ленкорани (Азербайджан), видел, как по городу один за другим проезжали грузовики с местными крестьянами. Их сопровождал конвой НКВД. Суда, в том числе пассажирские, были сняты с рейсов и подогнаны к азербайджанскому побережью, чтобы перевезти этих людей через Каспийское море.

Е. Гинзбург пишет, что к лету 1937 года «нас охватило ощущение колоссальных масштабов того действия, в центр которого мы попали. Исполнители всех операций были перегружены донельзя, они бегали, метались, что называется, высуну языки. Не хватало транспорта, трещали от переполнения камеры, круглосуточно заседали судебные коллегии».

Офицер НКВД, арестованный в ноябре 1938 года, говорит, что уже за шесть месяцев до этого НКВД стало ясно: дальше репрессии такими темпами продолжаться не могут. В сейфах было накоплено достаточно материалов, чтобы объявить шпионом практически любого руководящего работника в стране. Многие из этих людей так и не были арестованы. Хороший пример — профессор Богомолец, президент Академии Наук Украины. Он умер своей смертью, но по крайней мере десять арестованных ранее ученых называли его в своих показаниях фашистским шпионом.

К этому времени половина городского населения уже была занесена в черные списки НКВД. Арестовать их всех было нельзя. С другой стороны, всякие различия исчезли: было столько же оснований взять одного, как и другого, и третьего. Представители ранее установленных «категорий» — бывшие партизаны, старые большевики, участники оппозиции и т. д.— были в основном уничтожены. О тупике свидетельствуют новые репрессии внутри самого НКВД. Там стали поговаривать, что аресты проводились без всякого разбора, и теперь «никто даже не знает, что с этими людьми делать».

К моменту падения Ежова было арестовано не менее 5 % населения — каждый двадцатый. Можно сказать, что из каждой простой семьи в стране один человек ушел в лагеря или сидел в тюрьме. Среди образованных классов норма была гораздо выше.

В 1938 году Сталин решил, что так дальше продолжаться не может. Следователи по-прежнему спрашивали обвиняемых — кто ваши сообщники? Таким образом, за каждым арестом автоматически следовало еще несколько. Если бы репрессии продолжались еще некоторое время и каждый подсудимый называл 2-3 сообщника, то новая волна поглотила бы 10—15 % населения, а потом — 30—45 %. Существует много теорий относительно мотивов действий Сталина на протяжении всего этого устрашающего периода. Многие исследователи до сих пор задаются вопросом — почему Сталин прекратил террор на этой стадии? По нашему мнению — просто потому, что террор достиг крайнего предела. Продолжать было невозможно — экономически, политически и даже физически: следователей больше не было, тюрьмы и лагеря были забиты до отказа. Но между тем массовый террор выполнил свою задачу. Страна была подавлена.

На культурном фронте

Русская интеллигенция всегда была рассадником вольнодумства. На протяжении столетия, предшествовавшего революции, она упорно сопротивлялась всякому деспотизму и, главное,— подавлению мысли. Естественно поэтому, что на интеллигенцию репрессии обрушились с особой силой. Коммунисты создали систему «правильных» и «ошибочных» взглядов с неукоснительным подавлением последних. Кроме того, они разработали теории о форме и методах в искусстве и науках, теории отражения и познания действительности. Это давало возможность уличать в крамоле и репрессировать даже горячих сторонников советской власти — если они придерживались неверных мнений по части, например, драматургии или биологии.

После установления советской власти участие ученых в управлении было шире, чем в других странах в тот период. Экономисты были привлечены к работе Госплана, а затем, в начале 30-х годов, почти полностью уничтожены. В других сферах деятельности, например в иностранных делах и культуре, было также немало специалистов. О судьбе одного профессора из Наркомата иностранных дел рассказал на XXII съезде Шверник:

«В 1937 году к Молотову как председателю Совнаркома обратился один из профессоров, работавший в Наркоминделе. Он писал Молотову о том, что его отец арестован, очевидно, по недоразумению, и просил вмешаться в судьбу отца. Молотов написал резолюцию: „Ежову: Разве этот профессор все еще в Наркоминделе, а не в НКВД?" После этого автор письма был незаконно арестован».

В марте, апреле и мае 1937 года в печати появились статьи, атакующие «уклоны» в истории, экономике и литературе. Статья Молотова, опубликованная в «Правде», заострила тон этой кампании [1].

Историки оказались особенно уязвимыми. На них часто навешивали ярлык «террористов». Была арестована вся школа историков партии, последователей Покровского. Сокольников на суде замечает совершенно естественным образом, что «среди историков начались аресты» *. Любопытно, что во главе многих «террористических банд» стояли ученые историки: Пригожин (один из руководителей группы, которую судили в те годы), Карев, Зейдель, Анишев, Ванаг, Закс-Гландев, Пионтковский и Фридлянд, названные на процессах 1936 и 1937 годов активными террористами. Радек заявил, что Фридлянд возглавлял террористическую группу, состоявшую из историков, и добавил: «Между собой мы называли ее исторической или истерической группой» *. Профессора университета были на особом подозрении, т. к. они могли формировать последователей из числа студентов, а в применении к последним обвинение в терроре выглядело вполне убедительно. Студенты в целом также пострадали очень сильно. На процессе Пятакова в 1937 году было заявлено, что террористические организации Сибири вербуют кадры «главным образом среди молодежи высших учебных заведений».

Фридлянд и другие, будучи видными историками, находились в центре идеологических споров. Однако преподаватели неполитических дисциплин также оказались в трудном положении. Рядовому советскому человеку достаточно было научиться держать язык за зубами, а профессорам приходилось читать лекции аудитории, среди которой неизбежно были осведомители. Некоторые их коллеги также сотрудничали с тайной полицией.

Специалист по древней истории, профессор Константин Штеппа, попал в немилость после того, как назвал Жанну д'Арк нервной и экзальтированной особой. До середины 30-х годов если ее вообще упоминали, то упоминали враждебно, но с появлением Народного фронта во Франции она вдруг стала героиней Сопротивления. Поэтому замечания профессора противоречили генеральной линии. После этого началась серия неприятностей: сначала Штеппа упомянул в неподходящем контексте царя Мидаса, а затем, говоря о древней и христианской демонологии, отметил, что сельские жители всегда бывают более отсталыми. К сожалению, наряду с другими эту мысль как-то высказал Троцкий. И наконец, рассказывая об одном движении в Северной Америке во времена Римской Империи, Штеппа заявил, что оно было не просто крестьянским восстанием, но имело национальную окраску. Он был объявлен буржуазным националистом. В это время, в 1937 году, многие его друзья и коллеги уже находились под арестом. Как вспоминают люди, лично знавшие Штеппу, он на это сказал: «Конечно, мне было жаль моих друзей. Но я испытывал по отношению к ним не только жалость. Я их боялся. Они, в конце концов, могли сослаться на какие-то наши разговоры, в которых не всегда выражалась строго официальная точка зрения. В этих беседах не было ничего преступного или антисоветского. Но мелкие критические замечания, жалобы, выражение недовольства или разочарования, которые прорываются в любом разговоре, заставили каждого советского человека чувствовать себя виновным».

Вскоре произошло самоубийство Любченко и его жены Н. Крупеник. Она, к сожалению, была университетским преподавателем, и весь штат Киевского университета попал на особое подозрение. В вузах и культурных организациях была вскрыта «разветвленная сеть буржуазных националистов». Тем не менее профессор Штеппа до марта 1938 года находился на свободе. После сурового допроса, который вели 13 следователей в течение 50 дней, его объявили одним из заговорщиков, замышлявших покушение на жизнь Косиора. После падения Косиора это обвинение было снято как с него, так и с многих других и заменено... шпионажем в пользу Японии.

Новая версия была основана на таких фактах. Профессор Штеппа некоторое время возглавлял комитет византологии в АН Украины. Затем это название сочли реакционным и велели переменить на комитет по Ближнему Востоку. Всякая связь с «Востоком» автоматически вызывала подозрение в симпатиях к Японии или шпионаже в ее пользу. Было отмечено, что профессор читал лекции об Александре Македонском и Ганнибале группе старших офицеров Красной Армии. А контакт с армией дал ему возможность выполнять шпионские задания. Было доказано, что он встречался с иностранцами в лице профессора Грозного, крупнейшего чешского специалиста по истории готтов, который «завербовал» его через византолога, читавшего лекции на советском Дальнем Востоке, то есть в непосредственной близости от Японии. И, наконец, был установлен косвенный контакт с профессором из Одессы, который встречался там с японским консулом. В донесениях, направляемых по шпионской сети в Токио, содержались данные о «политическом и моральном состоянии» армии. В конце дела фигурировал действительный факт: обвиняемый заявил в разговоре с коллегой, что «некоторые офицеры путали Наполеона I с Наполеоном III и Александра Македонского с Цезарем».

После снятия Ежова стало чувствоваться некоторое послабление. Оставшиеся в живых ученые отказались от своих показаний, обвинения стали мягче. И, наконец, осенью 1939 года профессор Штеппа был освобожден. Ему повезло. Заместителя директора института Красной Профессуры В. Ч. Сорина осудили в 1939 году как врага народа. Он умер в лагере или тюрьме в 1944 году. Такая же участь постигла многих беспартийных преподавателей вузов.

Случалось, что на партийном собрании, посвященном разоблачению одного из сотрудников, вставал кто-нибудь из коллег и просил привести доказательства обвинения. Ни один из подобных инцидентов не прошел бесследно. Людей, задававших вопросы, всегда заставляли замолчать и часто арестовывали. Обычным обвинением были контрреволюционные взгляды. Например, когда на собрании в украинской Академии Наук разбиралось дело профессора Коперщинского, другой ученый-коммунист, Каминский, заметил: «Когда говорит классовый инстинкт, никакие доказательства не нужны». Его тоже вскоре арестовали. Секретаря Академии публично обвинили в местной печати за то, что он потребовал доказательств в аналогичном деле. Он был одним из тринадцати секретарей Академии, сменявших друг друга с 1921 по 1938 годы. Все как один были арестованы. Из семи ректоров Киевского университета шестеро были арестованы и один умер естественной смертью.

Нужно отметить, что жертвами повальных репрессий среди ученых были не только византологи и представители других редких специальностей — без них страна, стремящаяся к скорейшему развитию техники, еще могла обойтись. Представители естественных и точных наук пострадали в не меньшей степени. Вот как описывает физик Вайсберг положение в Харьковском институте физики:

«Послушай, сказал я. Наш институт — один из самых важных вузов такого рода в Европе. Да и вообще, наверно, нет больше института с таким количеством различных и хорошо оборудованных лабораторий. Советское правительство не жалеет денег. Наши ведущие специалисты частично учились за границей. Их постоянно посылают за государственный счет к крупнейшим физикам мира, чтобы повысить знания и опыт. У нас было восемь отделов и во главе каждого стоял одаренный ученый. А что происходит сейчас? Обремов, начальник лаборатории кристаллографии — под арестом. Началь-

[1] См. «Правду», 21 апреля 1937 г.

ник лаборатории низких температур Шубников — тоже. Начальник второй лаборатории низких температур Руман — выслан. Начальник лаборатории расщепления атома Лейпунский — арестован. В тюрьме начальник рентгеновского отдела Горский, начальник отдела теоретической физики Ландау и я — начальник экспериментальной станции низких температур. Насколько мне известно, на работе остался только Слуцкий, начальник отдела ультракоротких волн...».

Среди названных Вайсбергом основатель и первый директор Института Обремов; академик Лейпунский, который потом также стал директором; профессор Лев Давидович Ландау — крупнейший физик-теоретик Советского Союза. ГПУ еще раньше заставило Ландау уйти из института. Он уехал в Москву и стал работать с академиком Капицей. Под наблюдением Вайсберга строилась экспериментальная станция низких температур, но, прежде чем она вступила в действие, его арестовали. Наследником Вайсберга стал Комаров — но его тоже арестовали. «Кто же,— спрашивает Вайсберг,— должен был продолжать работу?.. Чтобы подготовить инженера, нужно пять лет. Но сколько трудов стоило правительству укомплектовать новые предприятия хорошими инженерами! А на подготовку хорошего ученого-физика требуется 10—15 лет».

Лев Давидович Ландау, один из самых выдающихся физиков в России, сам описывал, как он едва не погиб в тюрьме в качестве «германского шпиона». Его спас П. Л. Капица, с исключительным мужеством выступавший в его защиту и сумевший убедить Сталина в его научных заслугах.

Эти аресты были подтверждены в советских изданиях 60-х годов. Академик Берг писал, например:

«Потом настали трудные времена. 1937 год, потеря близких друзей. Вскоре по нелепому дурацкому доносу арестовали и меня. В тюрьме я провел ровно 900 дней. Незадолго перед войной меня освободили. Радиотехника за эти годы понесла большой урон. Закрылись институты и лаборатории, исчезали люди».

Больше всего пострадала, конечно, биология. С восходом звезды Лысенко в начале 30-х годов началась неистовая «идеологическая» борьба. Уже в 1932 году были арестованы (и позднее выпущены) цитологи Г. А. Левицкий и Н. П. Абдулов. Тогда же были арестованы и многие другие биологи.

В декабре 1936 года профессора Агола, одного из крупнейших советских биологов, обвинили в троцкизме и расстреляли. Начались гонения на других биологов. К декабрю 1936 года профессор С. Г. Левит, директор Института медицинской генетики, был уволен с работы и исключен из партии на том основании, что его научные взгляды были «пронацистскими». Народный комиссар здравоохранения Каминский получил взыскание за то, что пытался защитить Левита.

Левит был арестован в мае 1937 года и умер в тюрьме. Ряд других видных биологов — Левицкий, Карпеченко и Говоров — погибли, как и знаменитый Н. М. Тулайков, директор Института зерна, арестованный в 1937 году и погибший в одном из Беломорских лагерей в 1938 году.

В области биологии, как и в политической сфере, второстепенные работники арестовывались в первую очередь, замыкая таким образом ловушку, приготовленную их начальникам. Самая крупная игра развернулась вокруг Н. И. Вавилова, крупнейшего ученого, специалиста по генетике и в свое время любимца Ленина. В 1935 году он вынужден был передать руководство Всесоюзной Академией Сельскохозяйственных Наук им. Ленина (ВАСХНИЛ) А. И. Муралову, ставшему заместителем наркома земледелия. Муралов был арестован 4 июля 1937 года; его заменил профессор Г. К. Мейстер. Но в начале 1938 года взяли и Мейстера, а Лысенко в результате злобной и грязной интриги стал во главе ВАСХНИЛ.

В начале 1940 года Вавилов оказался в затруднении в ходе спора о том, какую сельскохозяйственную политику следует применять в аннексированной части Финляндии. Последовала прямая стычка с Лысенко. В августе Вавилов был в поездке по Украине. Из Черновиц его внезапно вызвали в Москву и 6 августа арестовали. В протоколах по его делу (к которому ведущие биологи были допущены после падения Лысенко в 1964 году) находится письмо Берии Молотову как члену Политбюро, ведающему вопросами науки, требующее разрешения на арест Вавилова. Вавилова продержали одиннадцать месяцев под следствием, в ходе которого было свыше сотни допросов. Суд над ним состоялся 9 июля по обвинению в заговоре правых уклонистов, шпионаже в пользу Англии и т. п. Его приговорили к смерти, но не расстреляли. (По-видимому, Берия, жена которого была биологом, не утвердил приговора.)

Заслуженный биолог академик Н. Прянишников вместе с братом Вавилова, академиком Сергеем Ивановичем (физиком), хлопотали перед Берией и Молотовым, тщетно пытаясь добиться его освобождения. Прянишников, по-видимому, обращался и к жене Берии, прося об улучшении тюремного режима, и проявил беззаветное мужество, предложив Н. И. Вавилова кандидатом на Сталинскую премию 1941 года. Ученого держали между тем в Саратовской тюрьме. Он представился своим сокамерникам словами: «Перед вами, если говорить о прошлом, член Академии Наук Николай Вавилов, теперь же, по мнению моих следователей, говно и больше ничего». Его почти год продержали, не выводя даже на прогулку, в камере смертников — подвальном помещении без окон. Тут его чуть не спасло избрание в 1942 году в члены Королевского Общества в Лондоне. Было, однако, уже поздно. Дистрофия зашла слишком далеко; он был уже доходягой и умер 26 января 1943 года. Его жена и сын были эвакуированы из осажденного Ленинграда в Саратов и в 1942 году жили не так далеко от тюрьмы, в которой он умирал. Но им было сказано, будто их муж и отец в Москве, и они так и не узнали, что он был близко.

Триумф лысенковщины был, пожалуй, самым убедительным признаком интеллектуальной дегенерации партии, последовавшей после того, как в начале 30-х годов Сталин упразднил мыслящую часть руководства, заменив ее своими ставленниками вроде Митина и Мехлиса. Злым гением всей этой драмы был шарлатан И. И. Презент, который осуществил повсеместное внедрение теории Лысенко на практике, подведя под нее наукообразную базу, составленную из цитат классиков марксизма. Здесь нужно отдать справедливость Жданову: его Лысенко не смог полностью одурачить. Советская биология была окончательно уничтожена только в 1948 году — после политического поражения Жданова и его смерти. А между тем Лысенко с помощью чудовищных интриг и очковтирательства сохранял главенствующее и даже монопольное положение.

Развитие лингвистики также было поставлено в зависимость от косной, антинаучной доктрины. К концу 20-х годов учение Марра было принято в качестве марксистской линии (в других странах его полностью отвергли). В результате старые профессора попали в опалу, их книги исчезли, а в 1937—1938 годах их стали арестовывать. Среди них оказался профессор Е. Д. Поливанов. В марте 1937 года его схватили, а 26 января следующего года он был расстрелян («погиб»). В результате рукописи его затерялись, и, когда в 1964 году приступили к изданию его работ, пришлось обратиться через газету «ко всем, кто может и хочет помочь в собирании и публикации материалов о Е. Д. Поливанове». В 1950 году, после террора, направленного против антимарристов, Сталин вдруг отошел от марризма и обрушился на его последователей за то, что они запугивали антимарристов и установили в своей науке «аракчеевский режим».

Но, пожалуй, самой ужасной была судьба советских писателей. Они находились между двух огней: с одной стороны, им был навязан «единственно правильный» творческий метод, а с другой — поставлены тематические рамки. Содержание их произведений находилось под самым тщательным присмотром. Как пишет Эренбург в четвертой книге своих воспоминаний, из 700 писателей, присутствовавших на первом съезде в 1934 году, только «может быть полсотни» дожили до второго съезда в 1954 году. Даже если сделать скидку на естественную смертность (хотя, согласно протоколам первого съезда писателей, средний возраст делегатов составлял 38,9 года, а 71 % не было еще 40), эта цифра поразительна.

По словам Александра Солженицына в письме IV съезду писателей СССР, «мы узнали после XX съезда партии, что их было более шестисот — ни в чем не виновных писателей, кого Союз (писателей) послушно отдал тюремно-лагерной судьбе». А имея в виду тех, кто не успел развернуть своего дарования, Солженицын добавляет: «однако, список этот еще длинней...» Молодой советский историк Р. Медведев считает, что в общем итоге носителей культуры погибло «более тысячи».

Началось сведение старых счетов. Один из даровитейших советских прозаиков Исаак Бабель служил в армии Буденного во время гражданской войны в польской кампании. В 1924 году он опубликовал свой изумительнейший сборник рассказов из истории гражданской войны — «Конармия». Буденный яростно запротестовал. Он считал эти безжалостно точные зарисовки клеветой и предпочитал псевдогероику военных корреспондентов. Бабеля защитил Горький, ценивший его талант. Это Бабель первым произнес на съезде писателей 1934 года слова о «героизме молчания» — они стали символом неблагонадежности и сопротивления режиму. Бабель был знаком с женой Ежова. Иногда он ходил к ней, хотя понимал, что это опасно, но ему хотелось, как он говорил, «разгадать загадку». Он был уверен, что «дело не в Ежове». В 1937 году его перестали публиковать и вскоре арестовали: в мае 1938 года на его даче в писательском поселке Переделкино. О его гибели в советской «Литературной энциклопедии» сказано только: «В 1937 году Бабель был незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно».

Бабель не только лично оскорбил Буденного и пустил дурную славу о Первой Конной Армии, откуда Сталин стал черпать кадры для высшего командования. Он даже, как говорят, необдуманно пошутил в адрес генерального секретаря. Но этот поступок кажется незначительным по сравнению с тем, что сделал Борис Пильняк — другой крупный, хотя и меньшего калибра, талант, рожденный революцией. Его «Голый год» посвящен

жизни провинциального города в 1919 году. Писатель показывает, как в борьбе за хлеб насущный проявляется неуравновешенность, эксцентричность и богатство русского характера.

Еще в 20-х годах его имя оказалось связано с одним из самых загадочных преступлений, приписываемых Сталину. Весной 1924 года заместителем наркома по военным делам был назначен М. Фрунзе. Он практически взял армию в свои руки. Троцкий, смещенный лишь в 1925 году, почти не оказал ему сопротивления. Симпатии Фрунзе были, видимо, на стороне группы Зиновьева — Каменева. В конце лета 1925 года он заболел и умер 31 октября того же года. В Москве ходили слухи, что по приказу ЦК, то есть Сталина, ему пришлось лечь на операцию, которая и стала причиной смерти. Если бы Фрунзе умер в 1936 или 1937 году, то возникновение таких слухов вполне можно было бы понять. Любопытно, что слух распространился так рано, когда Сталин не проявил еще себя с этой стороны. До того прецедентов не было.

Последние советские книги о Фрунзе проявляют повышенную чувствительность к этому делу. В новой биографии, изданной в 1962 году, подробно рассказывается о заключении врачей, которые заявили, что операция совершенно необходима, и не отходили от больного в последние дни его жизни. Биография написана В. Н. Петровым, военным историком, который в других работах занимает открыто враждебную позицию по отношению к казни генералов, предпринятой Сталиным. Возможно, что написанная им биография была основательно отредактирована перед публикацией. Но возможно, что она отражает веру в невиновность Сталина — даже со стороны людей, которые хотели бы знать правду.

Пильняк был до тех пор совершенно аполитичным писателем. Он заявлял, что ничего не смыслит в политике и, не будучи коммунистом, не может писать как коммунист. Но на основе разговоров о смерти Фрунзе он написал «Повесть непогашенной луны», предпослав ей подзаголовок «Смерть командарма». Герой повести — Гаврилов, известный командир Красной Армии, который возвращается в Москву по приказу начальства и узнает из газет, что ему предстоит операция. Раньше он страдал язвой желудка, но полностью вылечился. Он идет на встречу с «самым важным из трех», как говорится в книге, стоящих во главе партии, и получает указание — лечь на операцию. Осмотрев его, врачи объявляют, что операция необходима. А потом, в частном разговоре, признаются, что это не так. Командарм умирает от повышенной дозы хлороформа. Повесть должна была появиться в «Новом мире», но в последнюю минуту номер конфисковали. В следующем номере редколлегии пришлось признать, что рекомендации к печати была ошибкой, и опубликовывать письма читателей, в которых повесть объявлялась «злобной клеветой на нашу партию». Но рукописные книги долго ходили по рукам, и в 1927 году книга вышла в Софии.

Ясно, однако, что человек, обладающий политическим чутьем, не написал бы «Повесть непогашенной луны». Возможно, что Пильняку посоветовал ее написать кто-нибудь из друзей, более глубоко вовлеченных в идейно-политическую борьбу. Во всяком случае, тогда дело было замято.

В 1929 году Пильняк стал председателем Всероссийского Союза писателей, по-настоящему творческой организации, которая сопротивлялась политическим интригам РАППа (Российской ассоциации пролетарских писателей). РАПП был основан в 1925 г., во главе его стоял Авербах — племянник жены Ягоды [3]. Ассоциация имела целью установить идейно-бюрократический контроль над творчеством. Самоубийство Маяковского также частично приписывается травле со стороны рапповского руководства. Перед лицом оппозиции лучших писателей и даже самого Горького РАПП распался. Позднее многие его члены также были репрессированы.

Предлогом для гонений на Пильняка послужило его последнее произведение — «Красное дерево». Сначала оно должно было появиться в Германии, а потом в России (это было распространенной практикой, связанной с использованием авторских прав). После немецкого издания книга была объявлена антисоветской, а публикация ее — белогвардейской провокацией. Пильняк попал в трудное положение и был готов покориться судьбе. Одновременно начались нападки на Евгения Замятина, председателя ленинградского отделения Союза Писателей. Его роман «Мы», послуживший моделью для «1984» Орвелла, был опубликован за границей при сходных обстоятельствах. Замятин смело потребовал права на выезд из страны, отказался идти на попятный и разоблачил всю систему «закручивания гаек» в литературе. Он заявил, что московское отделение вынесло резолюцию о Пильняке, не выслушав защиту. Приговор предшествовал расследованию. Замятин отказался быть членом организации, которая допускает такие вещи, и вышел из Союза. За Пильняка и Замятина вступился Горький. Он выступил со статьей в «Известиях», в которой писал о нетерпимой привычке выдвигать людей на ответственные посты, а потом смешивать их с грязью, и с горечью указывал на карьеристов, набрасывающихся на человека, допустившего ошибку, в расчете, что

его уберут и можно будет занять его место.

Пильняку было предложено одуматься и заняться созданием просоветских произведений. Замятин был вознагражден за свою смелость — ему позволили выехать из СССР. Он принадлежал к немногим советским писателям, получившим хорошую марксистскую подготовку и отвергавшим большевизм. Футуристы, в том числе и Маяковский, восторженно, хотя и несколько абстрактно, приветствовали приход большевиков. Кстати, итальянские футуристы того времени с неменьшим романтическим пылом относились к возникновению нового динамического движения — фашизма.

Пильняк начал писать конформистский роман «Волга впадает в Каспийское море». Ежов лично наблюдал за созданием этого романа и, прочитав окончательный вариант, распорядился переписать около 50 страниц. Пильняк был глубоко подавлен и сказал Виктору Сержу (эта фраза приводится в мемуарах последнего): «В этой стране нет ни одного мыслящего взрослого человека, который не задумывался бы о том, что его могут расстрелять». И все же у него хватило мужества вступиться за Сержа, когда того арестовали в 1933 году. В мае 1937 года В. Киршон [4] выступил в «Правде» с резкими нападками на Пильняка и заявил, что обвиненный в троцкизме критик Воронский подсказал Пильняку тему контрреволюционной «Повести о непогашенной луне» [5]. По-видимому, Пильняка расстреляли как японского шпиона в 1938 или 1939 году. Пильняк действительно побывал в Японии, так что эта версия выглядела правдоподобной.

Среди других крупных прозаиков, уничтоженных в тот период,— Пантелеймон Романов, автор «Трех пар шелковых чулок» и «Без черемухи»; Тарасов-Родионов; Артем Веселый; И. И. Катаев; С. Третьяков — автор знаменитой книги «Рычи, Китай!»; корреспондент «Правды» Михаил Кольцов, арестованный 12 декабря 1938 года по подозрению в том, что он агент лорда Бивербрука, и 1 февраля 1940 года осужденный Ульрихом на десять лет заключения без права переписки. Кольцов погиб, по-видимому, в 1949 году [1]. Среди репрессированных, которым удалось выжить,— Юрий Олеша и Остап Вишня. Вишня, обвиненный в подготовке убийства Постышева и других руководителей партии, был освобожден в 1943 году и должен был осмеивать в печати тех, кто за рубежом протестовал против его предполагаемой ликвидации.

---

[1] «Краткая литературная энциклопедия», М., т. 3, 1966, с. 676 указывает дату смерти 4 апреля 1942 г.; см. также «Энциклопедический словарь», т. 1, с. 516.

Поэзия и раньше была опасной профессией в Советском Союзе. Н. Гумилева, мужа Ахматовой, расстреляли по приказу Агранова еще в августе 1921 года. Он был обвинен в контрреволюции. В том же месяце не стало Блока, давно пережившего короткий период энтузиазма по отношению к Красной гвардии. Его здоровье было подорвано недоеданием. В 1925 году покончил с собой Есенин, а в 1930 — Маяковский.

Теперь же были уничтожены многие другие ведущие советские поэты. Владимир Смиренский (Андрей Скорбный) получил в 1931 году 10 лет как член группы, которая занималась обсуждением политики — но только в применении к искусству. Мы не знаем, какие обвинения были предъявлены другим поэтам, уничтоженным в это время. Судя по всему, им редко ставились в вину «художественные преступления». Но вместе с тем, одна из заключенных познакомилась с поэтессой, сосланной в карагандинские лагеря на 8 лет. Эта молодая поэтесса написала «Гимн свободе», который был квалифицирован как «призыв к террору». Шестнадцать украинских поэтов, начиная с Влысько, были казнены или умерли в лагерях между 1934 и 1942 годами. Большинство — в Соловецких лагерях и несколько — на Колыме. Об обвинении, предъявленном Николаю Клюеву и другим, ничего не известно. В своем лучшем произведении «Плач о Есенине» Клюев уже в 1926 году говорит: «Только б коснуться покоя...» Он провел три дня в «парной» ленинградского ОГПУ еще в 20-х годах, но был освобожден. После второго ареста в 1933 году его сослали в Сибирь. В августе 1937 года, отбыв срок ссылки, он выехал из Томска и исчез бесследно. Есть сведения, что он умер от сердечного припадка [1].

Поэт Павел Васильев выступил в защиту Бухарина, назвав его «человеком высочайшего благородства и совестью крестьянской России». Это произошло во время суда над Пятаковым. Васильев обрушился на писателей, ставящих свои подписи под антибухаринскими выступлениями в печати. «Это порнографические каракули на полях русской литературы»,— сказал он. 7 февраля 1937 года он пошел вместе с сыном хозяина квартиры побриться в парикмахерскую. Дома осталась его жена Елена. О том, что произошло потом, мы читаем в «Литературной России» от 11 декабря 1964 года:

«Через несколько минут юноша вернулся.

---

[1] См. Р. Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Нью-Йорк, 1951, с. 36—37; см. также вводную статью Б. Филиппова к книге: Н. Клюев. Сочинения. Мюнхен, т. 1. 1969, с. 151—152.

— Лена, Павла арестовали...

...На вопрос: нет ли среди арестованных Васильева — во всех тюрьмах отвечали одинаково:

— Нет. Васильев Павел Николаевич не значится.

Так прошли месяцы.

Научила какая-то женщина:

— А вы передачу приготовьте. Где примут, там и он.

В одной из тюрем действительно передачу приняли. Больше того, сказали, что в другой раз можно прийти 16 июля.

— Переведен в другое место,— ответил дежурный 16 июля.

А через 20 лет, хлопоча о посмертной реабилитации мужа, Елена Александровна узнала, что именно 16 июля 1937 года не стало Павла Васильева».

Ведущий грузинский поэт Яшвили «застрелился из ружья» 22 июля 1937 года. Это произошло после ареста других литераторов Грузии, в частности, его друга поэта Тициана Табидзе. Табидзе исчез, и только через семнадцать лет, после его реабилитации сообщили его вдове, что он был расстрелян 16 декабря 1937 года. Армянский поэт Гурген Маари выжил в лагерях и в 1954 году вернулся в Ереван. Он рассказал о пережитом в журнале «Вопросы литературы»: «9 августа 1936 года ночью меня арестовали. Я не удивился. Месяц назад трагически погиб первый секретарь ЦК КП Армении Агаси Ханджян. В Доме писателей атмосфера была очень тяжелой».

Маари был уверен, что испытание скоро кончится — проверят и выпустят. Его даже не выводили на прогулку. Суд состоялся только через два года после заключения.

«...Заседает Военная коллегия Верховного Суда Советского Союза. Я обвиняюсь в террористических действиях, в желании отделить Армению от Советского Союза и присоединить ее к лагерю империализма, я намеревался убить Берия...

Суд закрытый, суд в три минуты... Меня присудили к десяти годам лишения свободы. И опять Сианос (тюремщик, который воспитывался в одном детдоме с Маари) сопровождает меня. На этот раз — в камеру приговоренных.

— Сколько дали? — спрашивает он шепотом.

— Десять лет.

— Слава тебе, господи. Легко отделался.

— Десять лет,— повторяю я.

— Третью ночь, как уводят, стреляют,— шепчет он...».

Среди 40 заключенных камеры, в которую посадили Маари, было два архитектора, три писателя, четыре инженера, один народный комиссар, остальные — государственные служащие и партийные работники. Пессимисты думали, что сроки (10—25 лет) вынесены только для проформы и что на самом деле всех расстреляют. Но этого не случилось.

«В 1938 году осенью, ночью, нас набили в грузовые машины и, прикрыв брезентом, как запрещенный товар, доставили на вокзал. На вокзале было пусто, ни одной живой души — лишь военные».

Шесть первых месяцев заключенные провели в тюрьме города Вологды. А потом перевезли в Красноярск: «здесь кишела, копошилась большая армия заключенных, составленная из представителей многих народов Советского Союза. Особенно выделялись жители Средней Азии в своих ярких национальных одеждах». Строжайший медицинский осмотр определил, кому ехать дальше, в Норильск, а кому оставаться на месте. У одного из заключенных оказался кусочек зеркала, и Маари смог увидеть свое лицо — второй раз за три года. Он себя едва узнал.

В Норильске он познакомился с Эгертом, известным в свое время киноактером. Через некоторое время 200 заключенных перегнали в Новоивановский 3-й лагерный пункт. Они шли пешком. Позже большинство участников этого этапа погибло. Маари прожил там до 1947 года. Он дает в своих воспоминаниях сравнительные портреты начальников двух лагерей. Один «краснощекий, со злыми глазами, особенно не любил „интеллигентных сволочей“ и посылал их на самые тяжелые работы». Другой «любил читать книги, был человеколюбив и заботлив, и значительно облегчал жизнь „интеллигентным сволочам“, в том числе и мне».

После освобождения в 1947 году Маари не было разрешено печататься под своим именем. Его гражданские права не были восстановлены, а в 1948 году он был арестован снова.

На этот раз камера «была полна военных, вернувшихся из плена. Они обвинялись в измене родине». В 1948—49 годах Маари побывал в 9 тюрьмах девяти различных городов. Он попал в разряд «пожизненно ссыльных».

Ленинградский поэт Николай Заболоцкий был арестован 19 марта 1938 года по «ложному политическому обвинению». Он много лет провел в лагерях на Дальнем Востоке, на Алтае и в Казахстане. После возвращения в Москву в мае 1946 года до конца жизни он тяжело страдал туберкулезом, начавшимся в лагерях.

Блестящая поэтесса Марина Цветаева уехала из СССР вскоре после революции. Ее муж, литературный критик Эфрон, сражавшийся в Белой армии, уже находился за границей. «В конце тридцатых годов он вернулся в Советский Союз, но был оклеветан, репрессирован и погиб». Их дочь уехала из Парижа на розыски отца и тоже была «оклеветана и репрессирована»[1]. Он был казнен, а дочь была сослана в лагеря на 16 лет. В 1939 году вслед за ними поехала Марина Цветаева. 31 августа 1941 года, измученная долгими страданиями, поэтесса покончила с собой в городе Елабуге.

Ее стихи, написанные со сверкающим мастерством, стали широко известны и распространялись в самиздате. Но, несмотря на влияние и популярность в литературных кругах, Цветаеву не публиковали, потому что много ее стихотворений, и в частности, «Лебединый стан», сборник романтической лирики, связаны с трагедией Белой армии:

> Где лебеди? — А лебеди ушли.
> А вороны? — А вороны остались.

И даже опубликование в 1957 году небольшого сборника ее наиболее безобидных стихов, это, по словам Солженицына, «первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой было объявлено грубой политической ошибкой».

Другой большой поэт, Осип Мандельштам, был нервнобольным человеком. В 1934 году его вызвали в НКВД по приказу самого Ягоды, допрашивали целую ночь и бросили в тюрьму. Говорят, что он написал эпиграмму на Сталина[6]. Известно, что Пастернак умолял Бухарина вступиться за поэта — это еще одно доказательство наивности Пастернака. (Вероятно, в этой связи Сталин позвонил Пастернаку и спросил: хороший ли поэт Мандельштам?) Другие писатели ходили к Енукидзе, все еще сохранявшему влияние. Возможно, что в то время, когда террор не развернулся еще в полную силу, подобное вмешательство могло облегчить судьбу жертвы. Во всяком случае, Мандельштам был приговорен всего к трем годам ссылки за «заговорщическую деятельность». Отбывая срок в Чердыни недалеко от Соликамска, поэт попытался покончить с собой. Его жена обратилась в Центральный Комитет с просьбой о помиловании.

Тогда его перевели в Воронеж, где условия были лучше. В мае 1937 года он вернулся в Москву, но права на жительство не получил. 2 мая 1938 года Мандельштам был снова арестован, доставлен в Бутырки и приговорен Особым совещанием к 5 годам лагерей с отправкой на Дальний Восток. В пересыльном пункте недалеко от Владивостока, где заключенные ждали парохода на Магадан, Мандельштама избили уголовники и отняли у него еду. Потом его, уже полусумасшедшего, выбросили из барака, и он жил, как животное, выклянчивая корки у дверей. Мандельштама на время спас врач из Воронежа, работавший в лагере. Он поместил его в палату для душевнобольных, где поэт, вероятно, и умер 27 декабря 1938 года[1]. Вот как описал Мандельштам свою эпоху, свое время:

> И еще набухнут почки,
> Брызнет зелени побег.
> Мой прекрасный жалкий век.
> И с бессмысленной улыбкой
> Вспять глядишь, жесток и слаб,
> Словно зверь, когда-то гибкий,
> На следы своих же лап.

Аресты производились на основании так называемых «объективных данных». А это означало, что выбор мог пасть на кого угодно — предугадать судьбу было невозможно. Эренбург пишет в воспоминаниях, что его зять Борис Лапин пытался обосновать аресты писателей в 1937 году следующим образом:

«Пильняк был в Японии; Третьяков часто встречался с иностранными писателями; Павел Васильев пил и болтал; Бруно Ясенский — поляк, польских коммунистов всех забрали; Артем Веселый был когда-то „перевальцем“; жена художника Шухаева была знакома с племянником Гогоберидзе...»

Судьба литературных чиновников и всех, кто был связан с идейно-политическими спорами, находилась в прямой зависимости от политической конъюнктуры. Попытка рапповцев установить контроль над литературой потерпела провал в 1932 году, но они остались на свободе. У Авербаха была «рука» — Ягода приходился дядей его жене. Вскоре после ареста Ягоды Авербаха вместе с другими писателями обвинили в троцкизме. В эту группу входили Карев (раньше он примыкал к зиновьевцам, которых ликвидировали без суда), Киршон, польский поэт Бруно Ясенский, литературный критик князь Дмитрий Святополк-Мирский. Было объявлено, что все они находились под покровительством Ягоды. Святополк-Мирский, убежденный коммунист, вернулся в Россию из Англии, но продержался на свободе недолго. В апреле 1937 года он уже фигурировал как «мерзкий врангелевец и белогвардейский офицер». Согласно имеющимся данным, он помешался и умер в сибирском лагере. 15 мая 1937 года «Литературная газета» сообщила об исключении из партии Киршона — к этому времени вся группа, должно быть, уже была арестована. Киршон был тесно связан с политикой — знаменательно, что его расстреляли в тот день (в 1938 году), когда состоялась казнь над политическими деятелями и военными.

[1] «Новый мир», 1966, № 4, с. 223 (статья Павла Антокольского «Книга Марины Цветаевой»).

[1] См. вводную статью Глеба Струве к тому 1 Собр. соч. О. Мандельштама, изд. Международного Литературного Содружества, 1964, с. LXXIII—LXXIV.

Их старый коллега по РАППу Владимир Ермилов спас свою шкуру тем, что выступил главным свидетелем против арестованных.

В литературных кругах, как и везде, были свои доносчики и жертвы, трусы и проходимцы. Пастернак отказался подписать документ, одобряющий казнь генералов. Отказался, чтобы остаться честным перед самим собой,— но его имя все равно было внесено в список. А Яков Эльсберг, автор нескольких книг о Герцене, Щедрине и т. д., стал выдавать всех подряд, чтобы смыть пятно с репутации: он был раньше секретарем Каменева. Среди творческой интеллигенции СССР широко распространено мнение, что Н. В. Лесючевский [7] написал доносы на поэтов Бенедикта Лившица и Бориса Корнилова, расстрелянного в 1937 году, на писательницу Елену Тагер, которая провела много лет в лагерях, и на Николая Заболоцкого.

Во время «оттепели» 1962 года московской писательской организации удалось добиться исключения Эльсберга на том основании, что в 30-х годах он был доносчиком. Одновременно был поднят вопрос о Лесючевском, но дело замяли. К концу 1962 года московская организация оказалась на короткое время в руках либерального руководства. Писатели проголосовали за повторное рассмотрение дела Лесючевского, но опять безуспешно. Такие люди, как он, остались, а честный сталинист Фадеев, пытавшийся спасти некоторых своих политических врагов, застрелился в 1956 году, когда был разоблачен его покровитель.

Кроме агентов тайной полиции, были люди, которые просто продались Сталину. Например, Алексей Толстой, написавший, что «Ставрогин Достоевского был типичным потенциальным троцкистом». Он сделал карьеру наемного писаки. Другие мирились с истреблением своих коллег, считая, что так и надо. Сурков, например, заявил: «Я видел, как мои друзья, писатели, исчезали прямо на глазах. Но тогда я считал, что это необходимо, что этого требует революция» [1].

Отдельные виды искусства пострадали приблизительно одинаково. Дирижера Миколадзе расстреляли в 1937 году. В лагерях было много актеров — Ширин, О. Щербинская, З. Смирнова, много музыкантов и танцовщиков. Ширин был сослан за то, что сказал: «Не кормите нас советской соломой, дайте нам играть классиков!». Е. Гинзбург пишет о балерине, которая пришла на ужин, устроенный ее иностранными поклонниками, и была осуждена по статье 58.

Известная Наталия Сац, создательница Московского Детского театра, была женой Тухачевского. Ее арестовали в 1937 году и отправили в лагерь в Рыбинск. Она осталась жива и вышла на свободу.

Но самой огромной утратой советского театра был Всеволод Мейерхольд. В начале 1938 года появилось короткое постановление «О ликвидации театра Вс. Мейерхольда», в котором Комитет по делам искусств «признал, что театр... скатился на чуждые советскому искусству позиции». В конце постановления сказано, что «вопрос о возможности дальнейшей работы Мейерхольда в области театра обсудить особо». 14 июня 1939 года Мейерхольду, как рассказывает художник Анненков,— «было предложено выступить с самокритикой на всесоюзном съезде театральных режиссеров под председательством довольно своеобразного режиссера, режиссера человеческой мясорубки Андрея Вышинского». Мейерхольд выслушал критику и смело перешел в контрнаступление: «Там, где недавно творческая мысль била ключом, где люди искусства в поисках, ошибках, часто оступаясь и сворачивая в сторону, действительно творили и создавали — иногда плохое, а иногда и великолепное, там, где были лучшие театры мира,— там царит теперь, по вашей милости, уныние и добропорядочное среднеарифметическое, потрясающее и убивающее своей бездарностью. К этому вы стремитесь? Если да,— о, тогда вы сделали страшное дело. Желая выплеснуть грязную воду, вы выплеснули с ней и ребенка. Охотясь за формализмом, вы уничтожили искусство!»

На следующий день Мейерхольд был арестован. «Театральная энциклопедия» датирует его смерть 2-м февраля 1940 года; «Малая советская энциклопедия» дает другую дату — 17 марта 1942 года. (О жертвах НКВД советские официальные источники часто дают противоречивые сообщения, как читатель уже видел в главе об участи командного состава советской армии и флота — Егорова, Дыбенко и др.) Его жену Зинаиду Райх, которая раньше была женой Есенина, через несколько дней нашли в квартире мертвой: ей было нанесено семнадцать ножевых ран и выколоты глаза. Обстоятельства ее смерти до сих пор неизвестны, и расследования произведено не было.

Театр Мейерхольда погиб раньше, чем его создатель. За исчезновением автора следовало исчезновение или переименование всего, что он сделал. После ареста скульптора Кратко его работы исчезли из музеев и галерей. После ареста авиаконструктора А. Н. Туполева пришлось «перекрестить» самолет АНТ. Арестованный в 1937 году, Туполев, по совету Муклевича, признал себя виновным, чтобы избежать истязаний. И он, и его жена были впоследствии освобождены. Один бывший заключенный рассказывает о физике, который написал работу в соавторстве с четырьмя другими учеными и докладывал о ней в Академии Наук. Его посадили, и работа была опубликована в научных журналах под двумя именами — тех, кто остался на свободе. «Крамольные» произведения пропадали в архивах НКВД. Те, что не были уничтожены, вероятно, все еще хранятся там, включая последние дневники Горького и стихи Марины Цветаевой.

В результате проведения такой политики в области искусства и литературы яркая передовая культура была сведена до уровня затхлого конформизма. Но мы не ставили себе целью рассмотреть общие последствия этого процесса. Мы лишь привели несколько иллюстраций того, какими методами были уничтожены творческие умы России — несколько эпизодов, несколько имен. Однако в их числе есть величайшие имена русской истории XX века.

В 1961 году в докладе, прочитанном на собрании актива партийной организации Грузии, В. П. Мжаванадзе задал риторический вопрос о том, «сколько погибло в Грузии выдающихся писателей, художников, ученых и инженеров, без всякого законного основания репрессированных, подвергшихся пыткам, сосланных или расстрелянных?» Вопрос вполне можно отнести к Советскому Союзу в целом.

Судьба тех, о ком мы коротко рассказали, лишь одно из свидетельств уничтожения духа.

Перевод с английского
Л. ВЛАДИМИРОВА

Продолжение следует

[1] «Младост» (Белград), 2 окт. 1957 г.

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

[1] В описываемый Р. Конквестом период НКВД, по-видимому, нередко смешивал сионистов — сторонников движения за создание государства Израиль с сионистами — приверженцами одноименной религиозной секты, появившейся в СССР в начале 20-х годов.

[2] Подробнее об официальном указании Сталина о применении пыток Р. Конквест пишет в главе 5 (см. «Нева», № 11, с. 139, левый столбец).

[3] Ниже (с. 157, правый столбец) Р. Конквест называет Ягоду «дядей жены Авербаха».

[4] Кирпотин Валерий Яковлевич (род. в 1898 г.), член КПСС с 1918 г., окончил Институт Красной профессуры (1925); зав. сектором художественной литературы ЦК ВКП(б) (1932—1936), секретарь Оргкомитета СП СССР (1932—1934); с 1956 г.— профессор Литературного института им. М. Горького. Автор нескольких книг о Ф. М. Достоевском, монографий о творчестве Шолохова, Горького, Эренбурга и др.

[5] Здесь, по-видимому, неточно передано в обратном переводе название книги — «Повесть непогашенной луны».

[6] По-видимому, Р. Конквест имеет в виду стихотворение О. Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны...».

[7] Лесючевский Николай Васильевич (1908—1978), член КПСС с 1940 г., Заслуженный работник культуры РСФСР (1973), главный редактор издательства «Советский писатель» (1951—1957). О его сотрудничестве с НКВД в качестве осведомителя см. например в книге Е. Эткинда «Записки незаговорщика».

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

Виктор
ТОПОРОВ

ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ

Политическая гипотеза

Где мы окажемся завтра? Для того, чтобы понять это, необходимо уяснить, где мы находимся сегодня. А для этого, в свою очередь,— осознать, где мы были вчера. Да и позавчера. Отсюда и все возрастающий интерес к новейшей истории как подлинной, так и альтернативной (гипотетической), отсюда оценки и переоценки исторических решений и свершений, событий, путей и тупиков недавнего прошлого, выносимые то в моральном, то в сугубо прагматическом плане. Отсюда обращение к фактам, все еще не полностью нам доступным, и к слухам, которые, как в романах Достоевского, чаще всего находят полное или даже избыточное подтверждение, что приводит порой к выработке версий едва ли не детективного толка. Отсюда споры вокруг вождей, теперь уже — вокруг *всех* вождей, вокруг судеб страны и революции. Отсюда стихийный плюрализм и конъюнктурный антагонизм мнений. Отсюда сумятица в умах и душах.

Тоталитарная негласность сменилась авторитарной гласностью. Запретных для обсуждения тем и априори запретных выводов становится с каждым днем все меньше, но они, тем не менее, существуют. От одного «эзопова языка» мы перешли к другому, но речь наша по-прежнему пестрит эвфемизмами. И все же, хотелось бы верить, мы не перекраиваем вчерашний день в угоду и на потребу сегодняшнему, хотя и лукавим еще немало. Мы патологоанатомируем одно кровавое десятилетие за другим, ища корни болезни. Или болезней. Корней, да и болезней, находим без счету — и все же: какой недуг *убил* нас? Ослабили, подточили, подкосили бесчисленно многие, но какой из них был решающим, роковым и смертельным?

В предлагаемой вашему вниманию статье я намеренно отказываюсь от выражения собственных симпатий и антипатий, от праведного гнева и неподдельного восторга, от какой бы то ни было этической или эмоциональной предвзятости. Я избираю этот тон для пользы дела, прекрасно понимая, что шокирующее впечатление от моих рассуждений и выводов будет этим только усилено. Но предмет разговора слишком важен, чтобы сбиваться на риторические придыхания. Пусть, как в «Приглашении на казнь» у Набокова, адвокат, настаивающий на простой декапитации, возьмет верх над затейником-прокурором.

Мы живем в начальный период перестройки, затянувшийся уже настолько, что катастрофические или близкие к катастрофическим побочные эффекты компрометируют и подменяют в наших собственных глазах бесспорно положительную суть происходящих перемен. Многочисленные и все множащиеся срывы можно, не в последнюю очередь, объяснить и тем, что мы затеяли реконструкцию здания, нуждающегося в безоговорочном демонтаже, проще говоря — в сносе. Так рассуждают лидеры межрегиональной парламентской группы, так пишет в иронических стихах ленинградский поэт Геннадий Григорьев. Опоры рушатся одна за другой, краеугольные камни затягивает зыбучий песок, на скорую руку сколоченные и кое-как заселенные бараки не выдерживают малейших подземных толчков. Жертва ферзя, предпринятая нами, как сказали бы шахматисты, может на время спасти короля, но не партию. Дух поражения — близящегося или уже наставшего — витает в воздухе.

Развал, разруха, экономический и экологический коллапс, социальная и межнациональная напряженность, грозящие обернуться даже не гражданской войной, а бессмысленной всеобщей резней, сорняки анархии, буйно забивающие первые, весьма жалкие, ростки демократии, коррупция и организованная преступность по всей стране, моральное разложение армии, политическое безвластье, нуворишество одних и стремительное обнищание других на фоне повсеместно нарастающего группового эгоизма самого хищнического свойства — это то, к чему мы пришли. Так ли было задумано? Вопрос чисто риторический, поэтому заменим его другим: почему мы к этому пришли? И — откуда?

Многие видят причину сегодняшнего омертвения и одичания в торжестве административно-командной системы, в сталинизме, в тоталитаризме, говорят о социал-феодализме и о деспотии восточного типа, начиная отсчет чудовищных причин и еще более чудовищных следствий то с 1929-го, то с 1921-го, то с 1917-го, а то и с 1903 года. Они побивают Бухариным Сталина, постепенно возвращают все более реальные если не очертания, то форматы фигуре Троцкого, осторожно, но все настойчивей намекают на определенные ошибки Ленина. Вектор исторического развития — революция, военный коммунизм, нэп, коллективизация и индустриализация, массовые репрессии, территориальные приобретения перед войной, война, возникновение лагеря стран социализма, новые репрессии и геноцид по отношению к малым народам (ООН считает насильственное переселение народов разновидностью геноцида), хрущевская оттепель и хозяйственные эксперименты, сорвавшаяся косыгинская реформа, брежневский застой, загадочные намерения и попытки Андропова — приводит нас к сегодняшнему положению вещей, ничего толком не объясняя и уж тем менее указывая, куда нам идти дальше. И — как далеко. Нужно ли было сворачивать нэп? Что дала коллективизация? Что принесла экспансия? Неизбежны ли были массовые репрессии? На чем поскользнулся Хрущев? Во что свалился Брежнев? Что, кроме нехватки времени, помешало добиться ощутимых успехов Андропову? Почему началась и, наконец, почему пробуксовывает перестройка?

Эти и бесчисленные другие вопросы не столько остаются без ответа, сколько забалтываются, как прежде замалчивались. История дробится на бессмысленные фрагменты, Ленин и Сталин предстают абсолютными антиподами [1], народ становится то безгласной жертвой невиданных в истории человечества мятежей и казней, то кровожадным соучастником чудовищных преступлений, в том числе — в над самим собой, становится народом-садомазохистом. Вожди и военачальники мельчают и линяют у нас на глазах (ср. кампанию переименований). Нагнетается национальная и социальная истерия: отказываясь на словах от погромного антисемитизма, общественные лидеры правого толка не устают указывать на зловещую роль евреев в отечественной и в мировой истории и призывают если не к прямой мести, то к оголтелой ненависти; в союзных республиках коренное население вопиет о попранном суверенитете, «мигранты» отвечают на это мощными забастовками. Либералы уповают на демократию и смертельно боятся охлократии: одни грезят о диктаторе, другие — о таинственной и невозможной «сильной демократической власти». Экономисты разрабатывают мероприятия и реформы, изначально обреченные на провал [2]. «Афганцы» и кооператоры, каждый со своей позиции, наперебой кричат о том, что их предали. Все стремятся не столько куда-то войти, сколько откуда-нибудь выйти, все чувствуют себя в той или иной мере обездоленными, даже партаппаратчики. Началась и набирает силу новая волна эмиграции. И если в семидесятые бежали в поисках лучшей доли, то сейчас бегут от страха. И не только за рубеж, но и в Москву.

И во всем этом клубке исторических и сиюминутных противоречий, в претензиях каждой из сторон, каждой из групп и стран,— есть часть правды. Или частная правда, та правда фрагментов и осколков, которая никак не складывается в нечто цельное. А ведь цельность — ничуть не меньший по значению критерий истины, чем практика.

Мы говорим о подлинном социализме (черты которого ищем теперь уже в Швейцарии и в США) и о его деформации или (М. Капустин) инволюции, мы — устами, например, В. Селюнина — клянемся в своей готовности отказаться от всех и всяческих «измов», лишь бы народ

---

[1] О. Лацис и другие за ним толкуют о *контрреволюционном* перевороте 1929 года, тогда как, например, Г. Водолазов выделяет ранний «народный» и зрелый «бюрократический» сталинизм, решительно противопоставляя и тот, и другой ленинизму. Подобные взгляды остроумно высмеяны М. Эпштейном в статье «Ленин — Сталин», «Родник», 1989, № 6.

[2] Ища сегодня причины инфляции и пытаясь приостановить ее рост, мы упускаем из виду ее главный корень: двойное подорожание водки — единственной твердой валюты на внутреннем рынке. Цены неизбежно должны были подтянуться к цене водки — они и подтянулись.

Правда, антиалкогольная кампания носила волюнтаристский характер, и экономисты здесь вроде бы ни при чем. Но уж к законам о кооперации и о госпредприятии они имеют самое непосредственное отношение. Как можно было совершить школьную ошибку: попытаться повернуть экономику от плановой к рыночной в условиях товарного голода, то есть в условиях, когда закон о стоимости просто не может начать работать, остается загадочным. Превращение кооперации в узаконенную спекуляцию, вызвавшее всеобщее возмущение, было прямым следствием этого.

Нелепые и нелепейшие мероприятия и намерения отечественных специалистов по экономике прослеживаются и сегодня. Академик Абалкин изложил свою, безжалостную по отношению к согражданам, программу: никаких дополнительных ассигнований на социальные нужды, никаких внешних займов, все — на ликвидацию бюджетного дефицита.

Программа Абалкина не только бесчеловечна, но и неэффективна. Ведь главной цели — подъема производительности труда *на основе повышенной заинтересованности в его результатах* — она не решала. Если вам, погрязшему в нищете и долгах, прибавят зарплату, но обяжут всю прибавку отдавать кредиторам, вы не станете работать лучше. Лишь начав наедаться досыта, одеваться прилично, жить по-человечески, вы почувствуете вкус к жизни — и тогда действительно захотите — в меру своих сил — работать ударно. Или не захотите. Но в первом случае — не захотите ни за что.

был сыт, мы клеймим не желающих перестраиваться бюрократов и желающих отделиться прибалтов, мы поругиваем ненасытную армию, мы трещим по швам и обвиняем в этом несунов и лентяев, мы вступаем в Народный фронт и в Объединенный фронт трудящихся, в «Мемориал» и в общество «Память» — и во всем этом есть частная правда и частичная правота,— но мы решительно не понимаем, что нам делать, что мы делаем и что мы делали раньше. Козырные карты в нашей исторической талии мы раскладываем даже не по мастям, а по цветам,— так стоит ли удивляться, что наш пасьянс не сходится? Отказывая в субъективном стремлении к всеобщему благу одним и в способности на любое, самое зверское, злодеяние другим, мы упускаем из виду единый и, на свой лад, строго последовательный процесс проведения эксперимента планетарных масштабов, который и определил нашу трагическую историю, создав предпосылки и для сегодняшнего развала, и для отнюдь не исключенного завтрашнего апокалипсиса. Процесс, потребовавший предельного напряжения сил и неисчислимые жертвы — и не принесший ничего, кроме горечи и отчаяния.

Я имею в виду *мировую социальную перманентную революцию*, начатую 25 октября 1917 года и продолженную всеми правдами и неправдами в последующие десятилетия. Я имею в виду веру в конечное торжество коммунизма во всем мире — и в возможность добиться этого насильственным путем — веру, от которой мы никогда не отказывались и не отказываемся. Новое политическое мышление деликатно обходит этот куда менее деликатный вопрос. И если «призрак коммунизма» кажется многим народам мира скорее отталкивающим, это вовсе не означает, что мы и сегодня — предоставься нам только такая возможность — не пустим его на выпас в какие-нибудь прерии или пустыни.

Речь, напомню, идет не о «мирном переходе к социализму», представляющем собой один из самых курьезных наших мифов. Насильственное отторжение имущества и капитала в ходе социалистической революции исключает возможность ее мирного развития. Само наличие антагонистических — по имущественным интересам — классов, создающее предпосылки для революции, исключает эту возможность. В лучшем случае можно говорить о бескровном или сравнительно бескровном варианте такого поворота событий.

Теорию перманентной революции, ярым проповедником которой был Троцкий и которой до определенного момента придерживались все вожди Октября, мы отвергли. Ленинскую идею построения социализма в одной, отдельно взятой стране, поколебавшись, приняли. Она превратилась в сталинский план построения социализма в одной стране и была осуществлена на практике (чтó мы построили под видом социализма,— вопрос, к нашей теме прямого отношения не имеющий).

Все это мы знаем со школьной скамьи — и все это неправда. *Теорию и практику перманентной революции, религию перманентной революции мы на самом деле не отвергали ни на мгновение.* Перманентная революция, отвергнутая на словах, стала, не могла не стать методом осуществления основного политического постулата марксизма — полного и окончательного торжества коммунизма во всем мире, достигаемого насильственным, революционным путем. «Трагедия же нашего общества, детища революции, вызвавшей всемирный резонанс — она все-таки стала перманентной! — заключается в том, что оно... пожрало всех своих любимых детей. Выходит, это и уничтожение, и вместе с тем как бы и самоуничтожение и людей, и идей, причем тех и других все лучших, талантливых, ярких»,— пишет в статье под симптоматичным названием «Камо грядеши» философ М. Капустин («Октябрь», 1989, № 9). И в другом месте той же статьи: «Итак, в свое время наша великая революция перешла в свою перманентную крайность — безудержный революционизм, превратившись в гражданскую войну, а затем в войну с собственным народом». Здесь все правильно, кроме полемического противопоставления «великой революции» и «перманентного революционизма». Второе вытекало из первого со всей неизбежностью.

Идея установления коммунистического строя во всем мире есть идея перманентной революции. Деятельность Коминтерна, создание и действия Красной, позднее Советской Армии, активность ЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ — это практика перманентной революции. «Ограниченный контингент» в Афганистане, кубинские советники в Анголе, советские — в Египте и в Эфиопии — это практика перманентной революции. Сознание собственного морального превосходства над остальным миром и связанное с ним стремление «улучшать» чужие судьбы, «быть богом», по слову Стругацких,— это религия перманентной революции.

Но и расстрел заложников, высылка интеллигенции, раскулачивание, пытка и умерщвление голодом, массовые репрессии, геноцид — это практика перманентной революции. Но и подавление малейшего инакомыслия, но и превращение единственной разрешенной — и правящей — партии в нерассуждающий орден меченосцев — это теория и практика перманентной революции, слившиеся воедино. Чистки, расправы над «неверными», раздача наград и привилегий «верным» сопровождают перманентную революцию. Культ вождя и партии (а также «тончайшего слоя» внутри нее, пусть порой и срезаемого), культ власти незаконной и неизбранной, но оттого как бы ниспосланной свыше, становится религией перманентной революции.

И не только это. Перманентная революция это война. Перманентная революция это, по определению, непрерывная революция. Следовательно, перманентная революция — это непрерывная война.

И вот ее-то, *непрерывную войну*, мы и вели с октября 1917-го по апрель 1985 года, вели попеременно то на внутреннем фронте, то на внешнем, вели — и всего лишь приостановили военные действия в последние годы. Да и то, как говорится в одном анекдоте, не потому что осознали, а потому что иссякло. Новое мышление стало мышлением аварийным. Или аварийное мышление — новым. Ни единого мирного дня, не говоря уж о годе, у нас с октября 1917-го (а точней, конечно, с августа 1914-го) просто не было!

Это звучит парадоксально, звучит дико — но тем не менее это так. «Война это мир», сказано у Оруэлла. Борьба за мир, которую мы вели во всем мире, определила милитаризацию речи, милитаризацию мышления, милитаризацию идеалов и жизненного уклада. Жизнь наша всегда была походной или, в лучшем случае, бивачной. Постоянная радостно-жертвенная готовность к войне провозглашалась всегда, хотя далеко не всегда — искренне и ответственно. Провозглашалась *готовность к войне*, а велась *война!*

Здесь нужно, правда, оговорить два обстоятельства. Внешнюю войну как один из методов осуществления перманентной мировой революции мы часто склонны рассматривать либо как защиту национального и государственного суверенитета, либо как проявление имперских амбиций (выбор зависит от политических пристрастий высказывающегося). Внутреннюю войну как альтернативный или параллельный метод осуществления перманентной мировой революции мы считали раньше классовой или идеологической борьбой, а теперь принимаем за проявление личной или кастовой жестокости правителя, правителей, определенной формы правления, основанной на проведении в жизнь своекорыстной шкурнической политики под видом общенародной или классовой. Эти представления кажутся мне, как минимум, весьма недостаточными.

Начну со второго. Во имя чего жесток самый кровожадный диктатор? Сталин! Гитлер! Пол Пот! — Во имя сохранения и упрочения своей власти? — Да, конечно, но *только такое* объяснение примитивно и недостоверно. Честолюбие и его политический вариант — властолюбие — *сами по себе* обладателю этих качеств скорее мешают. Заключить сделку с дьяволом хотели бы многие, да не всех выбирает дьявол. Компромисс с судьбой, как заметил польский остроумец, чаще всего бывает односторонним. Диктатор, да и любой лидер, рвется к власти для того, чтобы изменить мир (или тот микромир, тот социум, в котором он претендует на абсолютное первенство). В благородстве и высоте цели — возглавить всемирную революцию или отдел в никчемной конторе, чтобы там все пошло на лад,— он ищет и находит оправдание самым безнравственным средствам, обещающим привести к ней,— но отсюда же черпает он и силы, способные привести к успеху, потребную для этого сверхэнергию. И в этом смысле «массовидный террор», которого потребовал и добился Ленин, массовые многомиллионные репрессии Сталина, подвижничество на чужой крови маршала Жукова и деятельность, например, Андропова, бросившего, возглавив «ведомство страха», сотни невинных людей в тюрьмы и в психбольницы,— разнится, разумеется, в наших глазах и подлежат далеко не одинаковой моральной оценке, но вдохновлены, думается, сходными, если не совпадающими буквально соображениями. Если цель свята, она оправдывает любые средства,— этот постулат можно не принимать, но всегда следует считаться с тем, что его примут и возьмут на вооружение другие. И в первую очередь — сильные мира сего.

Несколько иначе обстоит дело с внешней войной. Несомненно, на каком-то этапе «мирного», как, впрочем, и военного, соревнования с Западом — и, не в последнюю очередь, в результате крушения надежд на *скорое* торжество мировой революции — произошла подмена революционистских устремлений имперскими или, по меньшей мере, слияние таковых. Если уж не быть повсюду, то быть повсюду первыми. Если державой — то непременно сверхдержавой. Если не правителем мира, то соправителем.

Но опять-таки — что приносило нам экстенсивное развитие нашего влияния и присутствия в мире, кроме новых жертв и новых, все более непосильных, обязательств? Значит, и здесь непрерывная война велась не для достижения частичных целей, а на полное уничтожение противника. Диалектика имперских, революционных и миссионерских целей сейчас уже неплохо раскрыта в ряде работ, поэтому нет необходимости останавливаться на этом подробнее. Отмечу лишь, что западные политики, постоянно твердя об агрессивности нашего режима, были, несомненно, правы. СССР, как и, например, нацистская Германия и фа-

шистская Италия (и в отличии от милитаристской Японии), *идеологически* и практически вел непрестанную борьбу за переустройство и лишь во вторую очередь — за передел мира.

Длительную, а тем более непрерывную, войну нельзя или крайне трудно вести на два фронта. На внешнем и внутреннем. Так рухнули царская Россия и кайзеровская Германия, не сумев совладать с революционным брожением масс. Поэтому непрерывная война 1917—1985-го принимала *попеременно* формы то гражданской, то мировой, оставаясь в обоих видах наступательной и истребительной. Известный историк Р. Медведев посвятил работу «Весна восемнадцатого» доказательству тезиса, что гражданская война возникла в результате ошибок большевиков после прихода к власти. Но большевистское правительство *стремилось* к гражданской войне, которую Ленин назвал «необходимым условием и спутником социалистической революции». То, что Сталин правил в мирное время методами гражданской войны и воевал против собственного народа, признано сейчас бесспорным. Спорно только название этого времени «мирным».

Перманентная мировая революция, гласно отвергнутая, а негласно признанная единственно достойной концепцией построения социализма (в одной стране, в двух — с Монголией, и так далее), не затихала ни на день, меняя лишь в процессе своеобразной пульсации свои формы. Грубо говоря, это выглядело так: гражданская война (1917—1939) сменилась второй мировой (1939—1945), а вторая мировая — третьей (1946—1985). На исходе второй мировой войны и в начале третьей разразилась вторая гражданская война (1944—1953). Обе гражданские войны мы (государство) выиграли, вторую мировую выиграли частично, третью мировую — проиграли. Процесс, начавшийся в 1985 году, пока не прояснен: он может стать прологом к новой гражданской войне (в случае непризнания или неосознания нами поражения в третьей мировой) или же привести к демонтажу всей воздвигнутой на базе перманентной революции политической системы (в случае признания поражения).

Каждая из приведенных в предыдущем абзаце дат, разумеется, нуждается в пояснениях. Начало гражданской войны, на мой взгляд, естественней датировать 25 октября 1917 года: вооруженный захват власти, установление диктатуры меньшинства, разгон демократически избранного учредительного собрания, массовые вспышки классового и анархического насилия, бунты, политика и практика экспроприаций, подавление политического инакомыслия. Нельзя уничтожать классы (в данном случае — помещиков и буржуазию), так сказать, в одностороннем порядке — сопротивляться они будут обязательно. Другое дело, что аграрная политика большевиков весной 1918 года обратила против них крестьянские массы,— но, возможно, и практика коллективизации подтверждает это, так изначально и было задумано. Во всяком случае, Брестский мир, заранее обескровивший и обрекший на поражение немецкую и венгерскую революцию, показал, что стратегический поворот в сторону внутренней, гражданской, войны был сделан. Война с Польшей на исходе гражданской была пробным шаром для переноса перманентной революции за пределы страны, но поражение от Пилсудского показало, что попытка эта была преждевременной.

Провозглашение новой экономической политики — в ответ на крестьянские и Кронштадтское восстания — не означало окончания гражданской войны или хотя бы серьезного перерыва в ней: относительное затишье на воображаемых фронтах сопровождалось перегруппировкой сил для новых ударов. И в этом свете длительность нэпа, по нынешнему мнению, чересчур поспешно свернутого Сталиным, не имеет принципиального значения. «Отступить всерьез и надолго» — не означает заключить или попросить мир, да и военная терминология здесь, конечно, отнюдь не случайна. «Чтобы партия не потеряла душу, веру и волю к борьбе, мы должны изображать перед ней возврат к меновой экономике... как некоторое временное отступление. Но для себя мы должны ясно видеть, что *попытка не удалась*... Можно попробовать *загнать население в новый строй силой*, но вопрос еще, сохранили бы мы власть в этой всероссийской мясорубке» (цитирую по вышеназванной статье М. Капустина).

Атрибуция этих слов как принадлежащих Ленину еще вызывает определенные сомнения. На мой взгляд, важнее вникнуть в их диалектику: обман — с самыми благородными намерениями — рядовых членов партии, равный капитуляции в гражданской войне, *или* решимость продолжать ее со все возрастающим риском военного поражения. Или отступление, или авантюристическое наступление. Ленин колеблется.

Так или иначе, в 1929 году гражданская война — война власти против народа — возобновилась с нарастающим ожесточением. Власть выиграла эту войну к 1939 г., физически уничтожив или окончательно сломив всех своих подлинных и потенциальных, а также огромное количество мнимых противников. Теперь можно было начинать мировую войну, подготовка к которой (наращивание военного потенциала, деятельность Коминтерна и агентуры, проверка боем в Испании) велась все эти годы,— и ее начали: в Поль-

ше, в Финляндии, в прибалтийских республиках, в Бессарабии. Перманентная революция шагнула за пределы СССР.

Вопрос о том, кто развязал вторую мировую войну, представляется сейчас не таким однозначным, как раньше. Или, верней, из тумана недомолвок, фальсификаций, закулисных политических комбинаций, на фоне не вполне достойного поведения *всех* участников будущего конфликта, постепенно вырисовывается однозначность совершенно другого рода: вторую мировую войну начали агрессоры — нацистская Германия и СССР, заключив между собою союз и обрушившись совместными силами на Польшу. Вопрос о существенном сходстве целей, политики и идеологии национал-социализма и, так сказать, сталинизма детально рассмотрен в ряде работ. И национальный социализм, и классовый равно стремились к мировому господству,— и, разумеется, на благо «малым сим». Опубликование фотокопий секретных протоколов, а также других документов, лишь подтвердило очевидно: СССР и Германия втайне заключили *агрессивный военный союз и начали мировую захватническую войну*. Заключили, чтобы начать, и, заключив, начали. То обстоятельство, что Англия и Франция тогда же, в сентябре 1939 года, не объявили войны нашей стране, свидетельствует лишь о нерешительности их тогдашних правительств. А ведь случись такое, всемирная история пошла бы по совершенно другому пути: Германия и СССР, *вынужденные* открыто, плечом к плечу, воевать против блока буржуазно-демократических государств, несомненно, выиграли бы эту войну и лишь затем приступили бы к решающему поединку на взаимное уничтожение. О том, что возможность союза с Германией была упущена, впоследствии сожалел сам Сталин.

Перемена противника (и союзника) в ходе второй мировой войны *принципиально* ничего не меняла в ее целях: идеям и практике коммунизма в любом случае предстояло покорить весь мир. Вероломное (в буквальном смысле слова) нападение Германии на СССР и связанное с ним превращение мировой войны — с нашей стороны — в Великую Отечественную смазало общую картину и, разумеется, облагородило ее, но не более того. И в этой войне мы в конце концов взяли верх, но победа получилась не полной, не окончательной: лагерь социализма возник, но всемирного торжества коммунизма пока не получилось, хотя и моральные, и территориальные, и политические дивиденды из доставшейся великой кровью победы были извлечены огромные. И, может быть, только бомба над Хиросимой остановила нас от дальнейшего продвижения на Запад. И все же наша политика в Австрии и в Греции (да и в странах возникавшего «социалистического» содружества), угрозы по адресу Югославии и многое другое не позволяло сомневаться в том, что тридцатьчетверки приостановили свое наступление лишь на время. Да и западные политики жесткой ориентации, вооружась атомной бомбой, не склонны были терпеть наши перманентно увеличивавшиеся притязания. Все это создало предпосылки для третьей мировой войны — между нашей страной и ее сателлитами с одной стороны и блоком буржуазных демократий с другой. И такая война началась сразу же после окончания второй мировой. Фултонская речь У. Черчилля лишь сделала тайное явным.

Вести мировую войну одновременно и параллельно с гражданской, как сказано выше, крайне затруднительно. Поэтому внутренняя война, ведшаяся в СССР и в нынешних странах народной демократии в 1944—1953 годах, с ее новыми массовыми репрессиями, не могла не показаться власть предержащим в конце концов избыточной, что и привело к отказу от репрессий и к реабилитациям (то есть к приостановлению гражданской войны) в период, связанный с именем Хрущева. Однако же закончить третью мировую войну или хотя бы замедлить ее течение преемник Сталина оказался не готов, хотя и стремился к этому, скорей, правда, в силу своей натуры, чем по политическим убеждениям.

Вторая гражданская война — расправа над бывшими военнопленными и перемещенными лицами, практика геноцида против крымских татар, молдаван, ряда кавказских народностей и частичного геноцида против армян и прибалтов, подготовка к геноциду лиц еврейской национальности, «ленинградское дело», гонения на «безродных космополитов», бесчинства в странах содружества — свидетельствует о страхе Сталина и его окружения проиграть третью мировую войну (в ситуации отставания в ядерных вооружениях) и о вызванном этим страхом желании вновь перенести тяжесть перманентной революции на родную почву, превратить мировую войну в гражданскую. Дальнейшие успехи физиков и ракетчиков сняли эти страхи — и эти планы — с повестки дня. Установление зыбкого военного равновесия на фронтах третьей мировой войны объяснялось и национально-освободительным движением во многих регионах мира, распадом колониальной системы, распылявшим и отвлекавшим на себя силы Запада и лишавшим его уверенности в собственном моральном превосходстве.

Третью мировую войну принято называть холодной. Это неверно в принципе. Конечно, локальные конфликты (Корея,

Вьетнам, Ближний Восток, Афганистан) своим кровопролитным развитием резко контрастировали с ее, в целом, бескровным течением. Конечно, периоды открытого противоборства на грани ядерного конфликта (берлинский и карибский кризисы, инцидент с южнокорейским самолетом) сменялись временами относительной оттепели в международных отношениях, когда встречались и обменивались улыбками главы государств, подписывались (и не соблюдались) договоры, налаживались культурные и общественные связи, велись поиски компромиссов. Конечно, постоянный страх перед началом именно мировой войны («горячей», ядерной, грозящей гибелью всему человечеству) и постоянное ожидание ее были характерны для всего этого сорокалетнего периода, что и заставляло называть его холодной войной, противопоставляя войне настоящей... И все-таки это была подлинная война, не прекращавшаяся ни на день, главным, хотя и не единственным методом ведения которой стала гонка вооружений, прежде всего термоядерных и ракетных. Именно так. *Не гонка вооружений как подготовка к войне, а гонка вооружений как способ ее ведения,* ставший в атомную эру ведущим и единственно способным принести окончательную победу без риска уничтожения жизни на земле или со сведением этого риска к минимуму. Гонка вооружений велась на истощение противника, на удушение его экономическими средствами (в этом отношении ее можно сравнить с блокадой осажденного города, хотя здесь «блокада» была взаимной), поскольку приостановление ее в одностороннем порядке было чревато утратой обороноспособности и, следовательно, политической независимости. По свидетельству академика Сахарова, в ходе гонки были созданы средства массового уничтожения, позволявшие погубить жизнь на земле *многократно.* Символическим до поры, хотя так же весьма обременительным отображением этой бескровной войны было соревнование в космосе. Мы были жилистее, американцы — сильнее. Мы привыкли жертвовать многим, чуть ли не всем, им приходилось жертвовать достаточно существенным. Становилось ясно, что одна из сторон в конце концов смертельно надорвется, что и будет означать поражение в войне. Поражение, альтернативой которому мог бы стать только самоубийственный акт в духе японских камикадзе.

Время от времени мы добивались отдельных весьма существенных успехов, выигрывали «бои» местного значения. Но был ли у нас шанс одержать окончательную победу, без единого, по возможности, выстрела, поставив устрашенный нашей мощью Запад на колени (намеренно выношу за скобки *моральную* сторону этого вопроса)? Едва ли. Всегдашняя готовность «за ценой не постоять» пришла в противоречие с нашими объективными возможностями. Размышляя на страницах «Нового мира» (1989, № 8) о «распределении бремени гонки вооружений», политический обозреватель С. Кондрашов приводит следующие выкладки: «Население США и других стран НАТО составляет около 650 миллионов человек, СССР и других стран ОВД — примерно 400 миллионов. Совокупный валовой национальный продукт стран НАТО примерно в 4 раза превышает ВНП стран ОВД... Соединенные Штаты несут значительно меньшую долю расходов в совокупных военных усилиях НАТО в Европе, чем Советский Союз в соответствующих усилиях ОВД». Все это, по его мнению, свидетельствует о том, «как тяжела и невыносима взятая нами на себя ноша паритета — быть по военной силе равными Соединенным Штатам плюс Западной Европе (плюс Японии и другим на Востоке)».

Тяжела и невыносима... Невыносимо тяжелую ношу приходится выронить — или погибнуть. Третьего или, как говорят теперь, иного не дано. Понимают ли это руководители партии и государства? Думаю, что понимают. Более того, именно этим, если не только этим пониманием следует объяснять исторический поворот к процессам, получившим название перестройки.

Надорвались мы. Третью мировую войну мы проиграли. И вовсе не из-за несовершенства нашей системы по сравнению с капиталистической. Система наша, хотя и несовершенна, вполне пригодна как раз для ведения затяжной войны, перманентной войны,— именно потому что на нее и ориентирована. Все издержки нашего управления и хозяйствования, непомерное количество аппаратчиков, низкая производительность труда и плохая его стимуляция, и многое, многое другое,— все это, как говорится, при нас и никуда не денется. Но проиграли мы войну, не могли не проиграть ее — из-за исходного и все увеличивавшегося неравенства сил и средств. Даже приостановив в одностороннем порядке гонку вооружений, сократив армию и уменьшив расходы «на оборону», мы не можем поправить состояние дел в экономике. Необходимость чрезвычайных мер понятна всем. Не понятна лишь причина подобного положения вещей — *военное* поражение в неравном поединке с Западом. Не понятна или не называема? Уж больно трудно такое признать — и политически, и психологически. Вчерашний мир был войной — и мы ее проиграли. Только дипломатическое обаяние наших нынешних лидеров, традиционная сговорчивость умеющего и любящего поторговаться (а значит, и ку-

пить! а значит, и продать!) Запада, да еще, не в последнюю очередь, остающаяся у нас в запасе возможность взорвать ядерную мину у себя на животе и погубить весь мир (возможность, террористическая уже, а не великодержавная по своей сути),— только это делает условия капитуляции *внешне* не слишком позорными. Сегодняшняя капитуляция — новое политическое мышление — не является безоговорочной, у нас сохраняются если не силы, то достоинство для того, чтобы поспорить об ее условиях. И, как это ни парадоксально, как раз это нам и вредит. Потому что спасти нас может только *капитуляция безоговорочная.*

Решительные перемены во внутренней и внешней политике, открытость, отказ от курса на военную, политическую и идеологическую конфронтацию, от имперских притязаний во многих регионах мира, частичная демилитаризация, частичная конверсия, сокращение военного бюджета — все это и многое другое, связанное с переходом от доктрины паритета к доктрине оборонительной достаточности, не сильно поможет нам. Потому что — к моменту ее принятия — морально устарела сама доктрина. Мы решили обороняться от того, кто не собирается на нас нападать,— осторожно напоминает в вышепроцитированной статье Кондрашов,— но это полправды. На самом деле, мы решили обороняться от того, кто нас уже победил!

Не слишком ли это большая роскошь? Да и бессмысленная. Или мы собираемся обороняться от кого-то другого? Но от кого? В мире нет и не предвидится силы, стремящейся посягнуть на нас. Стремящейся уничтожить нас. Уничтожить мы себя можем только сами.

Такова ситуация *после* нашего поражения. Прежде было не так. И когда президент Рейган объявлял нашу страну «империей зла» и провозглашал крестовый поход против коммунизма, он менее всего склонен был шутить. И когда президент Кеннеди обещал устроить нам «жаркое лето», до которого ему не суждено было дожить,— он не шутил тоже. Но ведь Запад оборонялся — и победу одержал *обороняясь!* Такая уж это была война.

Выбор, понятно, нелегок и, если вспомнить все наши жертвы, трагичен. И все же он выглядит только так: или мы продолжаем перманентную революцию, вновь перенеся ее тяжесть вовнутрь страны, что означает развязывание гражданской войны в форме межнациональных вооруженных конфликтов, массовых репрессий против изрядно осмелевшего и сильно одичавшего населения, в форме военного — силами военной диктатуры — подавления забастовочного движения, гражданской активности, инакомыслия и прочее,— и вновь отгораживаемся от остального мира железным занавесом на ядерном замке, но теперь уже — без надежды на что-нибудь, кроме наступления новых «темных веков»,— или признаем военное поражение перманентной революции и отказываемся не только от нее, но и от всех принципов и комплексов, с нею связанных.

Второй путь вдвойне труден: в нас живет еще психология победителей. Сравнение, условно говоря, сталинизма с гитлеризмом стало уже банальностью. А можно ли сравнить предстоящую или, может быть, только-только начавшуюся десталинизацию СССР с денацификацией Германии? Денацификацию проводили победители, и нацистский режим рухнул не сам по себе, а в результате военного поражения. Идеологический, политический и экономический крах системы выявился лишь в результате военного краха.

Именно военный крах в третьей мировой войне 1946—1985 годов выявил и несостоятельность системы, построенной на базе перманентной революции. Ракеты не поднялись из шахт, но в землю ушли воды и из нее не встали хлеба... Не втянись мы в самоубийственную гонку вооружений, не содержи гигантскую армию, не корми режимы, предоставляющие нам военные базы на своей территории и имитирующие некое идеологическое единство с нами, не стремись с таким упрямством к расширению сферы собственного влияния, не цепляйся так судорожно за страны и регионы, нам уже подвластные, *не надейся мы на полную и окончательную победу и не подчини этой несбыточной и безнравственной надежде все и вся,*— и, глядишь, административно-командная система еще столетье-другое просуществовала бы (как веками существовали сонные восточные царства, пока их не сметали вражеские нашествия), и партийных бонз с их безразмерными аппетитами земля и народ прокормили бы, и лесов бы не вырубили, и рек не сгубили, и Чернобыля избежали. Другое дело, что сама административно-командная система может существовать только в рамках агрессивного и бесчеловечного имперского мышления, не равнозначного идее перманентной революции, но на нее опирающегося и находящего в ней свое оправдание. Правда, чем дальше, тем более ханжеское оправдание.

Военное поражение признавать так трудно и потому, что мы традиционно привыкли считать армию и оборонную промышленность теми сферами, где, ценой неимоверных лишений, определенный паритет с Западом достигнут. Искусственно подогревали нашу душегрейную уверенность и представители военно-промышленного комплекса США, стремясь к выгодным оборонным заказам. Ежегодная публикация в США докладов «Военная мощь СССР» — последний вышел в сентябре 1989 года — запугивает Запад,

льстит нам и невероятно искажает подлинную картину. Ведь не надо быть генералом или политиком, чтобы понять: страна, не умеющая справиться, например, с гололедом или с паровым отоплением, не способная обеспечить себя мылом и хлебом, не говоря уж о мясе или компьютерной технике, воевать просто не может. Говоря о третьей мировой войне и о нашем — уже случившемся — поражении в ней, я имею в виду и то, что мы постоянно живем в условиях разрухи и нехватки, характерных именно для военного времени.

Период же перестройки — особенно последние два года его — демонстрирует *все* признаки послевоенного хаоса и анархии в потерпевшей поражение стране, кроме присутствия солдат-победителей, оккупировавших ее. Но ведь, например, и поражение Аргентины в Фольклендской войне не привело к оккупации латиноамериканской державы.

Третья мировая война была как бы бескровной, была невидимой и неосязаемой, как проникающая радиация,— и поэтому столь *неявен* военный характер понесенного нами поражения. Поэтому может показаться кощунственной и речь о необходимости капитуляции. И хотя капитуляция негласно имеет место, она, будучи не названа, выглядит так непоследовательно и половинчато. Эта половинчатость чревата самыми драматическими последствиями — и по сравнению с ними психологическая и политическая драма признания поражения существенно меркнет.

Ведомые идеей перманентной революции и ни на пядь не отступая от первоначального замысла, мы вступили в войну 25 октября 1917 года и проиграли ее к середине восьмидесятых. Наши многомиллионные армии неимущих, наши больные, которых нечем и негде лечить, наши старики, о которых некому заботиться, наши дети, которых нечем кормить и не на что учить, наша молодежь, которой негде жить и не во что одеваться,— все мы, кроме, разве что, функционеров, дельцов и преступников, стали жертвами этой — в последние десятилетия — почти бескровной войны. Не говоря уж о десятках миллионов *кровавых* ее жертв. Страшная она была, небывалая, и последствия ее предстоит преодолевать не одно десятилетие. Но чтобы преуспеть в деле восстановления и созидания, нам придется, хотим мы этого или нет, пойти по пути потерпевших сокрушительное военное поражение государств.

Они, бывает, распадаются, как распалась в 1918 году Австро-Венгрия. Они, случается, и вовсе исчезают с лица земли, уступая место другим государственным и национальным образованиям. Они порой проникаются идеями исторического реванша, стремятся восстановить национальную а государственную гордость, внимая призывам националистов и милитаристов,— и тогда наступает фашизм.

Но те из них, которым удается в конце концов воспрянуть и экономически, и морально, идут в принципе по одному и тому же пути.

Они отказываются от имперских и иных агрессивных амбиций. Они отказываются от территориальных притязаний. Они отказываются от решения конфликтов методом силы — и записывают это в конституцию. Они разоружают и распускают армию, оставляя себе лишь символические военно-вооруженные силы. Они отвергают *преемственность* в политике и идеологии по отношению к режиму, приведшему страну к войне, они ликвидируют его секретные институты, они объявляют о полном разрыве с прошлым. Они называют по имени — и судят — виновников происшедшего со страной. Они провозглашают и осуществляют на практике реальную демократию. Они обеспечивают равные права всем и предоставляют всем народам право на самоопределение в выбранной теми форме. Они в своей деятельности исходят из разумного сочетания интересов отдельного человека и общества в целом. Они забывают о гордыне, и том числе — о национальной гордыне, перестают поучать и начинают учиться.

Они, превозмогая себя, протягивают руку за подаянием — и былые противники, нынешние победители, подают им.

Они залечивают раны, они трудятся, они строят.

Раны продолжают болеть, открываются новые, они учатся врачевать и новые.

Путь предстоит трудный, долгий, извилистый. Душевного подъема они не испытывают — только боль и сознание необходимости. Подъем придет позже.

Сперва на них смотрят со злорадством, потом с сожалением, потом с любопытством и, наконец, с изумлением. И начинают учиться уже у них.

Западногерманское чудо произошло после военного поражения. Японское чудо произошло после военного поражения. Произойдет ли советское чудо?

Или развяжем гражданскую войну, чтобы набраться сил для очередной мировой? Для четвертой?

Понимаю чувства, которые охватят читателя этой статьи. Понимаю и разделяю. Но логика происходящего, увы, именно такова.

В мою задачу не входило перечисление или упоминание конкретных путей выхода из сегодняшнего тупика. Проблем здесь множество. Главным для меня было поставить вопрос в том плане, в котором он поставлен здесь. К самому вопросу нужно еще привыкнуть.

А. ЕВЛАХОВ

АНАТОМИЯ КРИЗИСА

На вопрос «Чего не делать?» (чего не делать вообще и чего не делать для того, чтобы не вызвать раскола) я ответил бы прежде всего: не скрывать от партии возникающих и нарастающих поводов к расколу... Широкая гласность — вот самое верное и единственно надежное средство для избежания расколов, которых можно избежать, для уменьшения до minimum'а вреда от тех расколов, которые стали уже неизбежными.

В. И. Ленин

Понятие «кризис», которое политики позаимствовали в медицине, впоследствии придав ему ярко выраженную драматическую окраску, изначально имеет только один смысл: резкий, крутой перелом; тяжелое переходное состояние. Именно в таком состоянии находится сегодня партия. В чем причины создавшейся ситуации? Как ее преодолеть?

Ответы на эти вопросы можно дать лишь на основе осознания сути происходящих в обществе и партии процессов, осмысления всех основных причинно-следственных связей. Их не найти на многолюдных с кипением страстей митингах. К ним не ведут призывы «Защитите партию!». Что можно придумать более странное, чем это восклицание, не столь уж редко раздающееся с достаточно авторитетных трибун? От кого? Как? Трудно вообразить, чтобы подобное заявление в любой стране рискнул сделать представитель какой угодно партии в расчете поднять ее авторитет. Не было такого и в традициях большевизма, чей поиск путей выхода из кризисных ситуаций был всегда один: беспощадно жесткий анализ объективных условий и собственных действий, корректировка, а то и перемена курса. В соответствии с ленинской методологией всякий кризис имеет разные стороны, может привести к временной задержке и регрессу, но одновременно означает ускорение развития, обострение противоречий, обнаружение их, крах всего гнилого.

С этих позиций в оценке происходящего следует, видимо, подходить и нам. Банальная констатация того, что ситуация в партии рождает больше вопросов, чем ответов, не избавляет нас от необходимости их настойчивого поиска. Они могут быть неполными, неточными, вызывающими возражение или в чем-то ошибочными, но этот процесс должен идти.

1. Общество и партия: штрихи сложившейся ситуации

Новая политическая ситуация, этапом становления которой стали выборы народных депутатов СССР, выявила ряд феноменов. С одной стороны, почти единодушное «Да!» — перестройке, с другой — весьма слабое ее отождествление с деятельностью партийных комитетов. «За» депутата-коммуниста, но «против» — если его активно поддерживают партийные органы [1]. В сочетании с критикой в адрес партийных комитетов, усиливающейся тенденцией выхода из рядов КПСС, другими явлениями они составляют симптомы реального падения авторитета партии. Подтверждается этот вывод и социологами. Как показывают опросы общественного мнения, более трети трудящихся, в том числе каждый четвертый член партии, заявили об утрате надежд на способность партийных комитетов к обновлению и завоеванию авангардных позиций в перестройке. Они же свидетельствуют: лишь 3 % всех опрошенных позитивно оценивают авторитет выборных партийных органов республиканского, областного и районного звена. Особенно высока критичность оценок в Ленинграде, Москве, Свердловске, Татарии, Минске и Мурманске.

Казалось бы, все говорит о необходимости всестороннего осмысления создавшейся ситуации, пересмотра партийными комитетами характера собственных действий. Однако знакомство с материалами многих пленумов и активов, проходивших вслед за выборами, показывает иное: стремление «защитить» самих себя, удержать статус-кво. Бессмысленно изображать партийные органы жертвами нападок средств массовой информации. Каждому здравомыслящему человеку ясно, что никакая пресса не способна сформировать плохое мнение о хорошей политике, разумных решениях и наоборот.

Не большей убедительностью обладают и столь частые упоминания партаппаратом антипартийных и антисоциалистических сил. Не подкрепленные серьезными

[1] В соответствии с данными социологического исследования, проведенного в период выборов НИИ АОН при ЦК КПСС, по обследованным регионам среди народных депутатов СССР около 40 % составляют те, кто победил, если не вопреки, то, во всяком случае, без поддержки местных партийных органов.

аргументами, эти упоминания ассоциируются с критикой «врагов народа», с навешиванием ярлыков брежневских времен, ибо неясно, против кого или чего данные силы выступают. Против партии как общественного института, ее данного качества или методов деятельности? Против деформированного социализма, в котором мы жили вплоть до середины восьмидесятых годов, или «карточного» социализма, который у нас пока есть?

Было бы несомненной ошибкой закрывать глаза на то, что все большее число людей теряет веру в возможности социализма, ибо подлинного социализма они пока не знают, а тот, который назывался реальным, не убедил их в его преимуществах. Эти разочарования не могут не связываться с правящей партией, не вызывать апатию одних и закономерную нетерпеливость других. Именно эти обстоятельства являются главным источником «оппозиционных» настроений, столь остро проявившихся в период выборов в Советы народных депутатов. Социальная напряженность всегда порождает ориентацию на новые общественные движения, на носителей наиболее радикальных взглядов, является благодатной почвой для столь непривычного для нас явления, как популизм. Проведенные НИИ АОН при ЦК КПСС под руководством профессора В. С. Комаровского опросы общественного мнения в дни Съезда народных депутатов лишь подтверждают такую зависимость.

Они показывают все большие симпатии к так называемым независимым лидерам. В Липецкой области таковыми названы выступления Ельцина, Попова, Распутина, Шмелева, Власова, Евтушенко, Афанасьева. В Москве, хотя эта иерархия и имеет другой вид, но содержит адекватную направленность: Попов, Шмелев, Ельцин, Власов, Афанасьев, Сахаров, Емельянов. При этом программу межрегиональной группы поддержало подавляющее большинство опрошенных. Здесь же кроются корни столь быстрого роста авторитета народных фронтов и других общественных движений. Как показывают данные опросов, из шестнадцати регионов в шести соотношение позитивных и негативных оценок деятельности ЦК компартий союзных республик, обкомов, с одной стороны, и Народных фронтов с другой, складывается явно не в пользу руководящих партийных органов. Можно высказать различное отношение к упомянутым явлениям, но ясно, что их нельзя игнорировать. Очевидно и то, что источник существующих противоречий следует искать не где-то на стороне, а внутри самой партии.

Характерно, что в отношении партийных органов и их аппарата оценки рядовых членов КПСС мало отличаются от суждений беспартийных, а то и еще более резки. Это указывает на то, что критика партии кандидатами-коммунистами в период выборной кампании, хотя, быть может, и имела элемент игры на избирателя, но в массе своей отражала реально доминирующие настроения. С одной стороны — это признак наличия в партии здоровых сил, но одновременно весьма опасный симптом, ибо, согласно теории социального управления, при достижении в любой организации 50 % людей, настроенных к ней критически, может начаться ее распад. Было бы иллюзией полагать, что в этих условиях возможно полное единство партии; затруднительна и ее консолидация. Реальность такова: все — за перестройку, но подразумевая различную совокупность ее приоритетов. Все — за единство, но исключительно на собственной основе. В конечном счете и то, и другое определяется весьма различающимся обликом того строя, под которым не только члены общества, но и партии подразумевают социализм — от казарменно-тоталитарного строя до модели, которую создали в Швеции, Австрии, ряде других стран, где в результате действий левых сил, по мнению некоторых, уже осуществлена идея реального, рабочего, профсоюзного социализма. Последнюю точку зрения подтверждают и социологические опросы, свидетельствующие о том, что определенная часть членов КПСС тяготеет к социал-демократическим взглядам. Судя по ним, в Москве среди членов партии их доля даже несколько выше, чем среди беспартийных.

В принципе ничего страшного в этом нет. Ибо идет переосмысление многих стереотипов, совместный поиск идеала общества, к которому мы хотим прийти, и путей, которые к нему ведут. Его обретение, говоря словами Маркса, благодаря «пожару идей», безусловно, предпочтительней очередного варианта, рожденного в умах группы анонимных лиц и предложенного сверху для реализации всем остальным. То, что люди сами решают, каким быть обществу, в котором жить им и их наследникам,— нормальный процесс, свидетельствующий о его демократизации.

Но речь о другом. О том, что сегодня в рамках одной партии существует вряд ли менее широкий диапазон взглядов, чем в обществе. В ее рядах состоят как те, кто продолжает жить мифами, так и те, кто считает, что единственной догмой марксизма-ленинизма должна быть необходимость его творческого развития.

Данное явление стало зримо для общества во время предвыборных теледебатов, когда сплошь и рядом взгляды беспартийного и коммуниста отличались значительно меньше, чем позиции двух членов партии.

Из этой же серии парадоксов ситуации, когда партийный комитет поддерживал беспартийного и отказывал в такой поддержке не только коммунисту, но и члену собственного выборного органа.

Можно соглашаться или не соглашаться с этим, можно упрекнуть автора в том, что он драматизирует, но ясно одно — истоки многопартийной ситуации уже существуют прежде всего в рамках КПСС.

Наиболее рельефно это разделение проявляется в условиях общественных самодеятельных движений политической направленности. И дело здесь не столько в видимых явлениях, сколько в сущностных.

В ряде республик, например, народные фронты образовались на основе национального возрождения, а интердвижения в борьбе за гарантии прав так называемых некоренных национальностей. Однако это лишь одна сторона медали, ибо нетрудно увидеть различные политические ориентации этих движений, разный взгляд на перестройку и историческое прошлое, разное отношение к экономическим реформам. Все это делает невозможным их объединение в одно русло, несмотря на то, что и в одном, и в другом движении есть члены партии.

Подобная картина существует не только в национальных республиках, но почти везде, где есть альтернативные фронты.

С лета минувшего года в Ленинграде, например, существуют Народный фронт и Объединенный фронт трудящихся. И в одном, и в другом есть свои крайности, которые так или иначе есть в любом движении. Однако они, как правило, скорее подчеркивают, чем опровергают существующие тенденции. И вопрос в данном случае не в том, на чью учредительную конференцию получила приглашение Нина Андреева, и даже не в том, что «крамольнее» — существующие у одних взгляды на многопартийность как на единственный вариант демократического развития или констатация другими того, что с XX съезда КПСС началось ее сползание на путь ревизионизма. В конечном счете право каждого иметь собственные взгляды и убеждения. Суть не в этом, а в том, что очень трудно представить членство и тех, и других в одной политической партии.

Тенденция же к поляризации таких политизированных движений очевидна. Несомненно и то, что они в своей основе больше тяготеют не к народным фронтам, существующим в ряде братских стран, а к политическим партиям, хотя, как мне довелось слышать, например, на конференции Московского народного фронта, сами учредители так не считают. Нетрудно представить ситуацию, когда разные партии формируют одно правительство или входят в один народный фронт. Значительно труднее — принять вхождение представителей одной партии в различные по своей идейной сути общественные движения. Частное (а сам термин «партия» имеет с ним общий корень part — часть), как известно, больше целого быть не может. Что же делать? Исключать из партии тех, кто входит в общественные движения? Но кого именно — тех, что считают наш путь ревизионистским, или тех, которые не отвергают идею многопартийности? Предложений разного рода на этот счет великое множество. Вернемся к этому позже. Пока лишь отметим отсутствие идейного единства в рамках КПСС в качестве реальности.

Если осмыслить происходящее, то никакого феномена здесь нет. Происходит то, что не могло не произойти в результате подлинной политизации общества — оформление консервативного и радикального блока общественных сил страны. Этот процесс так или иначе затронул все сферы жизни общества — экономику, политику, духовную жизнь, оказал воздействие на все его структуры — советы, профсоюзы, комсомол, на средства массовой информации, деятелей литературы и искусства.

Привел он, естественно, к поляризации сил и внутри КПСС. Последнее имеет несколько причин. Одной из них является то, что в двадцатимиллионной организации оказалось большое число социально активных людей, от которых по сути не требовалось обнаруживать собственного мировоззрения, собственных политических взглядов, ибо политика в ее подлинном смысле начиналась на более высокой иерархической ступени. Политизация общественной жизни, породив фронты, общества и движения, оформила различия взглядов, существующих не только в обществе, но и в партии.

Чтобы понять причины этого, необходимо хотя бы вкратце вернуться к диалектике партии и перестройки, к тем явлениям, которые столь часто называются отставанием КПСС от процессов, происходящих в обществе. Речь должна идти о несоответствии партии новому состоянию общества, новым его структурам. На начальном этапе перестройки доминирующим настроением в партии была почти абсолютная уверенность в том, что она-то как раз и будет оставаться неким незыблемым островом в океане перемен. И все же считали так далеко не все. Перелистаем аналитическую записку социологическому исследованию, проведенному НИИ комплексных и социальных исследований ЛГУ в 1986 году к пленуму Ленинградского горкома КПСС.

Здесь нет и тени благодушия партийного актива, чьи ответы в ходе интервью изобилуют констатацией того, что «в пар-

тийной работе все есть, хорошо себя зарекомендовало и менять ничего не надо».

Авторы записки сделали заключение о глубоких деформациях в деятельности партийных комитетов, о подмене содержательных задач формальными, о том, что на каждом уровне партийной иерархии источник трудностей обозначается этажом выше, а требование перестройки внутри самой партии не сопровождается перестройкой требований.

Есть в ней и вывод о том, что тенденции преобразований указывают на столь большую их глубину, что назрел вопрос о новом качестве партийной работы. Однако обо всем этом на пленуме разговор не состоялся. Не вошли в доклад бюро и главные выводы ученых-социологов. Поезд катился по накатанным рельсам... Впрочем, до красного сигнала светофора и волнений пассажиров было еще далеко. Прозвучавшее чуть раньше предупреждение о том, что у каждого есть шанс перестроиться, и упоминание о предоставленном кредите доверия порождало скорее ожидание прихода «кредиторов» с «верхнего этажа», чем с улицы.

Партийные комитеты еще продолжали жить прежним административным авторитетом. Именно этой роли соответствовала основная часть кадрового корпуса партии, воспитанная на традициях жесткого централизма, административного мышления, градации ценностей на «наши» и «не наши». Его частичное обновление в какой-то мере привело к замене нерадивых на энергичных, дискредитировавших себя перед законом не честных и принципиальных, но в значительно меньшей степени к выдвижению способных по-новому мыслить и действовать, вести диалог. Закономерно, что и сегодня многие члены КПСС отмечают в работе партийных органов консерватизм, выражают мнение о том, что в партаппарате функционируют по преимуществу работники, не обладающие яркой индивидуальностью, аналитическим мышлением, даром убеждать и объединять людей, чертами, необходимыми политическому лидеру.

Уместно вспомнить, что первое проявление различных и порой диаметрально противоположных взглядов в партии возникло в ходе поиска ответов на мучительные вопросы: «Кто мы такие?», «Откуда пришли?», «Куда идем?» Они были поставлены на январском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС. Рассмотрев вопросы кадровой политики партии, пленум недвусмысленно дал понять, что социализм невозможен без демократии, что выборность должна быть подлинная, что никто, даже партия, не может претендовать на истину в последней инстанции, что к новому облику строя мы можем прийти только так, как мыслил Ленин — через живое творчество масс. Пожалуй, впервые новые идеи затронули то, что казалось неприкасаемым — монопольное право партии расставлять кадры, решать все за всех.

Неготовность партаппарата к восприятию чего-либо, не находящегося под его непосредственным руководством, оказалась в основе и такого поднятого перестройкой пласта, как самодеятельные общественные движения. Одним из основных камней преткновения между первыми «неформальными» объединениями и партийными органами явился вопрос о необходимости отражения в уставе этих объединений упоминания о том, что они работают под руководством партийных организаций. Иное — партнерство, сотрудничество просто не принималось. Поэтому и большинство партийных решений, посвященных общественным движениям, начиналось словами «о негативных проявлениях...». Страх перед «параллельными структурами», потенциальными оппозиционными силами сыграл многим партийным комитетам плохую службу. Призывы приструнить распустившуюся прессу, оценка стихийных движений как сборищ крикунов и демагогов, «антиперестроечной пены» далеко не однозначно были восприняты не только обществом, но и внутри партии.

Не здесь ли один из истоков того, что проявилось впоследствии в предвыборной кампании в феврале—марте 1989 года и на самих выборах. Ведь закономерность, отмеченная на съезде народных депутатов О. Сулейменовым, имеет и обратную зависимость: когда все время загребает правое весло, то лодка резко уходит влево.

Демократические процессы, стихийные общественные движения оказались в ходе перестройки едва ли не самым трудным для партии испытанием. Это естественно: большинство партийных комитетов вступили в перестройку, обладая скорее инерцией покоя, чем движении, опираясь больше на статью о руководящей роли, чем на потребность завоевания авторитета.

2. Две партии

Любому непредвзятому человеку ясно, что драматические коллизии последних лет в партии — далеко не прямое следствие ее развития с момента рождения.

Говоря это, я вовсе не намереваюсь ставить под сомнение необходимость переосмысления всех этапов деятельности КПСС. В еще меньшей степени — абсолютизировать партийную практику ленинского периода применительно к принципиально иному состоянию нашего общества. Нетрудно увидеть, что многие взгляды Ленина на партию, ее строение в условиях нелегального положения и борьбы за политическую власть почти автоматически переносились нами на ее

деятельность в иных условиях. В послереволюционный период Ленин, судя по всему, не успел до конца переосмыслить роль большевистской партии. Характерно, что, например, исследователи проблем стиля партийной работы опираются на его статьи и записки, касающиеся деятельности не партии, а Совнаркома.

Изучение длившихся не одно десятилетие изменений достаточно серьезно ставит вопрос о том, были ли они спонтанным явлением или подчинялись строго определенному плану «перестройки» ленинской партии. Но не остается сомнений в степени кардинальности перемен прежних взглядов на партию, несмотря на столь глубоко укоренившееся представление об их преемственности. Каких именно?

Во-первых, взглядов на роль партии в обществе. С одной стороны — это ленинские мысли о том, что партия должна «служить» обществу, сотрудничать с его институтами, но не подменять их, опираться на интересы трудящихся. С другой — сталинская партия, составляющая «своего рода орден меченосцев внутри государства советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность». Она стоит вне контроля общества, осуществляя по отношению к нему некую высокую миссию, может вмешиваться в сферу компетенции любых его органов.

Во-вторых, взглядов на любые формы стихийной активности, на взаимоотношения партии, советов и общественных организаций. С одной стороны — ленинская констатация того, что «стихийность движения есть признак его глубины в массах, прочности его корней, его неустранимости...», признание закономерным «самочинное, стихийное создание Советов рабочих депутатов» в 1905 и 1917 годах. С другой — сталинское утверждение, что «ни один важный политический или организационный вопрос не решается у нас нашими советскими и другими массовыми организациями без руководящих указаний партии», что «массы сами хотят, чтобы ими руководили, и массы ищут твердого руководства».

В-третьих, взглядов на характер взаимоотношений внутри самой партии. С одной стороны — ленинские признания того, что «не может быть массовой партии... без открытой борьбы между разными тенденциями, без ознакомления масс с тем, какие деятели партии, какие организации партии ведут ту или иную линию», констатация необходимости обеспечения «прав всякого меньшинства и всякой лояльной оппозиции». С другой — сталинское утверждение о том, что «люди чувствуют, что есть хозяин, есть партия, которая может потребовать отчета за грехи против партии... что иногда, время от времени, пройтись хозяину по рядам партии с метлой в руках обязательно следовало бы».

Приведенное выше позволяет не только усомниться в преемственности традиций, но и задаться вопросом, неужели и одни и другие взгляды принадлежат руководителям одной и той же партии. Та же картина характерна и в отношении идеологических принципов. Если не становиться на предвзятые позиции и не основывать их на кратком курсе ВКП(б), то совершенно очевидно: истоки догматизма и запретительно-разрешительного характера партии отнюдь не в ленинском периоде.

Здесь уместно сделать одно отступление. Вообще при помощи ретроспективного анализа, если руководствоваться фатализмом, а не диалектикой, истоки изучаемого явления можно найти где угодно. Так, корни репрессии можно обнаружить в нашей кровавой истории, хотя не более благостна и история других стран с успешно развивающимися демократическими традициями. Истоки сталинизма — в марксизме, хотя марксизм оказал воздействие не только на нашу страну, а на развитие мировой цивилизации. И так далее. Дело здесь вовсе не в тенденциозности исследователя, а в том, что любая система взглядов при определенных обстоятельствах способна по-разному влиять на происходящие в обществе процессы. Как, скажем, религия, в которой можно обнаружить и совокупность нравственных ориентиров, и догматы, в костры инквизиции. Так и в большевистской идеологии можно увидеть и классовый подход, и приоритет общечеловеческих ценностей, и ортодоксальные начала, и широкие возможности для развития демократии. Надо еще учитывать и то, что эта система взглядов вовсе не была неизменной, постоянно корректировалась под воздействием событий, включала различные тенденции.

Такую ее особенность отмечают сегодня многие как отечественные, так и зарубежные исследователи. К их числу относится и автор теперь уже широко известной в нашей стране политической биографии Бухарина — Стивен Коэн. Он пишет: «После 1921 г. большевизм стал движением, в котором противостояли две конфликтующие идеологические (и эмоциональные) традиции. Первую традицию можно назвать „революционно-героической“, она находила себе оправдание и черпала вдохновение в смелом перевороте, совершенном партией в октябре 1917 г., и в мужественной защите революции во время гражданской войны... Другая традиция, более осмотрительная и умеренная, только едва сложилась перед 1921 г. несмотря на то, что она была исторически оправдана и имела прецеденты в ленинской умеренной экономической

политике в начале 1918 г. и в стратегических уступках Брестского мира. Эта традиция созрела и сделалась откровенно эволюционистской и реформистской с введением нэпа, осторожный прагматизм которого явился полной противоположностью революционному героизму».

С такой оценкой автора нельзя не согласиться. Если, разумеется, не руководствоваться стереотипным представлением о Ленине как о бескомпромиссном борце с любым реформизмом, а пытаться понять диалектику его взглядов. Именно Ленин писал: «Новым в настоящий момент является для нашей революции необходимость прибегнуть к „реформистскому", постепеновскому, осторожно-обходному методу действий в коренных вопросах экономического строительства». Да, Ленин прекрасно понимал историческую условность любых идеологических ориентиров, их зависимость от конкретных обстоятельств, мирового развития и опыта. И не его вина в том, что из-за ложно понимаемого патриотизма, разделения ценностей на «наши» и «не наши» мы долгое время больше руководствовались тем, что социализм — это Советская власть плюс электрификация страны, чем его менее известной и игнорировавшейся формулой: «Черпать обеими руками хорошее из-за границы: Советская власть + прусский порядок железных дорог + американская техника и организация трестов + американское народное образование + ...= социализм».

В равной степени, как и мнением о том, что тот, кто оживит оборот промышленности и земледелия, кто достигнет в этой области наибольших результатов, хотя бы путем частнохозяйственного капитализма... тот больше пользы принесет делу всероссийского социалистического строительства, чем тот, кто будет «думать» о чистоте коммунизма... но практически оборота не двигать.

Трудно здесь обнаружить и наше сегодняшнее отступление от социализма, как считают одни, и истоки догматизма и ортодоксальности, как пытаются доказать другие.

Более того, совершенно очевидно, что именно живая идейная жизнь партии, столкновение и эволюция различных взглядов тех, кто составлял ее интеллектуальный потенциал, делала партию живым развивающимся организмом, реальным, а не декретированным авангардом. В сущности, эта традиция продолжала жить и после принятия X съездом РКП(б) резолюции «О единстве партии», которая в силу создавшейся ситуации осуждала фракционность, но гарантировала политическую свободу вплоть до права предложения платформ и выборов их сторонников на конференции и съезды. А лишь значительно позже, когда начали раздаваться требования «покаяться», «разоружиться», «встать перед партией (а точнее, перед ее руководящим эшелоном) на колени» и тем самым отречься от собственных взглядов и убеждений, эта традиция была похоронена. Вместе с ней фактически умерла теоретическая деятельность партии, ее идейная жизнь. Здесь находится и один из основных истоков гибели партии в ее ленинском понимании, который предупреждал: «Та партия, которая доводит своих наиболее искренних представителей до того, что и они попадают в ...ужасающее болото обмана и лжи, такая партия является окончательно погибшей...».

Известно, что еще в 1922 году Ленин считал даже 300—400 тысяч членов партии решительно чрезмерным, ибо решительно все данные указывают на недостаточно подготовленный уровень теперешних членов партии. Известно также, что определяющим характер рабочей партии он считал не только ее состав. То, что произошло, было полной противоположностью его взглядам: форсированный рост и абсолютизация принадлежности к рабочему классу.

Уже на XIV съезде ВКП(б) отмечалось, что на 1 июля 1925 года в партии состояли 58,6 % рабочих от станка, что партия стремительно растет: на 1 июня 1925 года — 911 тысяч, на 1 ноября этого же года 1 миллион 25 тысяч. Эти данные иллюстрируют только социальное происхождение. Ни образовательный уровень, ни другие характеристики в них не комментируются. Однако есть данные об уровне образования делегатов этого съезда. В соответствии с ними он таков: с высшим образованием 5,1 %, со средним — 22,3 %, с низшим — 66,1 %. Поскольку никаких данных об остальных 5,5 % не приводится, то вполне возможно, что эти делегаты вообще образования не имели. Если учесть, что «рабочие от станка» и «крестьяне от сохи» составляли среди делегатов всего 5,4 %, а остальные были руководителями различного уровня, то совершенно очевиден невысокий образовательный уровень партии в целом.

Не изменился он и к XVI съезду партии, где делегаты с незаконченным средним, низшим образованием и без него составляли 74,7 %.

Именно таким сознанием такой партии было легче всего манипулировать. Особенно если принять во внимание ее все более массовый характер, разделение на руководящих и руководимых, поручающих и выполняющих, говорящих и слушающих. Партийность оказалась подменной апологетикой партии и всего того, что официально декларировалось; научность — идеологизацией науки, наступательность — крикливостью, борьбой с любым инакомыслием и всем тем, что объявлялось враждебным. Центральной задачей формирования мировоззрения объявлялось вооружение усвоением (о понимании речи не идет) генеральной линии ВКП(б) в ее борьбе с правым и «левым» уклонами, с примиренчеством и гнилым либерализмом в отношении этих уклонов и троцкизма, являющегося передовым отрядом контрреволюционной буржуазии...

Еще идет рассмотрение специальной комиссией ЦК КПСС материалов о сталинских репрессиях, однако и того, что уже сделано, вполне достаточно, чтобы заключить, что в результате репрессий самый сильный удар был нанесен именно по партии. Мы не располагаем абсолютно точными данными, однако из исследования Р. Конквеста «Большой террор» явствует: из 2,8 млн. членов и кандидатов в члены партии был арестован по меньшей мере 1 млн. и две трети из этого числа расстреляны. Старое партийное руководство было уничтожено сверху донизу. Исчезли целые местные, областные и республиканские комитеты. Были арестованы 1108 из 1966 делегатов XVII съезда партии, большинство из которых было уничтожено. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК в 1934 году 110 были уничтожены или покончили жизнь самоубийством. После ликвидации Троцкого в 1940 году из ближайшего окружения Ленина в живых остался один Сталин. В результате в составе партии тех, кто вступил в нее до 1929 года, осталось 25 %, а коммунистов с дореволюционным стажем только 3 %.

Все это позволяет утверждать — к концу тридцатых годов произошло уничтожение большевистской и создание другой партии, с иным пониманием ее места в обществе, иным духовным обликом, иными нравственными основами отношений между партийцами. Степень изменений в партии оказалась столь значительной, что вполне правомерно говорить о совершенно ином ее качестве. Утвердившийся взамен творческого запретительский характер партийной деятельности поставил на надежный тормоз живую мысль, а вместе с ней и теоретическую работу самой партии. Одновременно «зеленый свет» был открыт комментаторам, популяризаторам, способным содействовать «твердому усвоению», укреплять «незыблемость принципов». Водораздел «мы» и «они», «наше» и «не наше» на долгие годы определил систему оценок в экономике и праве, науке и культуре, в искусстве и литературе, в поведении людей и моде. Поскольку политикой стало буквально все, собственно политическая деятельность партии, став делом узкого круга лиц, фактически исчезла из реальной практики. Приметой времени стали дистрофия мысли, упадок творческого поиска.

Характерно, что в партийных документах постоянно подчеркивалась важность борьбы на два фронта: и против ревизионизма, и против догматизма. Однако нетрудно увидеть: словесное равенство этих составляющих было далеко не тождественно реальной практике.

В действительности догматизм взглядов ничем не грозил его носителю. В то же время любая попытка критического осмысления и производства новых идей давала шанс заслужить ярлык ревизиониста, самой малой расплатой за который было отлучение. Поэтому принцип: если и колебаться, то вместе с линией партии — был самой безопасной позицией. Этот принцип жив и сегодня: прежде чем высказать тот или иной вывод, продиктованный собственными наблюдениями, размышлениями, анализом, мы стремимся заглянуть в «святцы», свериться с официальной оценкой. Отсюда и наша неизменная любовь к цитатничеству — давняя традиция, согласно которой не политики ссылаются на выводы ученых, а ученые доказывают свои взгляды, опираясь на политиков. Житейская мудрость родила афоризм: «Говоря о том, что земля вертится, не забудь добавить: по словам Коперника».

Путь от заблуждений к истине начался с XX съезда партии, но сегодня мы видим, что взрывная волна 1956 года оказалась слишком слабой, чтобы до конца раскрепостить общество, освободить его от лжи и насилия. Одной из причин, как мне кажется, было то, что Н. С. Хрущев, приступив к реформам, не подверг анализу положение дел в партии, не дал однозначного ответа на вопрос, является ли она подлинно ленинской или давно уже идет другим путем.

Общество уже было иным; огромный шаг вперед сделали образование и культура, значительно вырос объем получаемой людьми информации, активнее заработала общественная мысль, тогда как партия продолжала жить по прежним законам. Более того, укрепились и стали доминирующими консервативные тенденции, предопределившие отход от решений XX съезда КПСС. Поворотным пунктом на этом пути вскоре стало заседание Идеологической комиссии при ЦК КПСС по вопросу развития общественных наук, состоявшееся 15—18 ноября 1965 года, где сторонниками «твердого курса» был нанесен удар по ученым, подвергшим переосмыслению путь, пройденный страной и партией. Его материалы показывают не только события тех дней, но и позволяют понять истоки нынешних столкновений различных идейных позиций. Стенограмма заседания содержит многие сотни страниц, однако фрагменты ее рискну привести в этой статье, ибо подлинная запись выступлений всегда более досто-

верна, чем их пересказ в авторской интерпретации.

...Е. М. Жуков — академик, зав. кафедрой АОН при ЦК КПСС: «...Мы должны решительно бороться против космополитизма и антипатриотизма, смазывающего ленинский классовый подход к истории нашей Родины. ...В последнее время кое-где появилось этакое либерально-народническое стремление порассуждать о правде „вообще“, правде, „свободной“ от классового, партийного подхода... Был пущен в ход ошибочный немарксистский термин „период культа личности Сталина“. ...Хотя это делалось под флагом „защиты“ Ленина, по существу же носило не столько антисталинский, как антиленинский характер. Это видно из того, как усердно примазывались к этому делу наши злейшие враги за пределами страны. Нужно решительно покончить с этими извращениями.

У нас издаются ежегодно календари революционных событий. Это — полезная вещь. Но получается так, что значительная доля публикуемого материала — материалы старых большевиков, незаконно репрессированных в 1937—38 гг. Конечно, из песни слов не выкинешь. Но, мне кажется, следовало бы подумать о несколько меньшей концентрации этого материала, ибо эта чрезмерная концентрация может привести к однобокому освещению исторического прошлого, во всяком случае, не облегчит пропагандирования советской социалистической системы».

Н. В. Савинченко — профессор МГУ: «...Не секрет, что за последние годы среди студенчества не только упал интерес к истории партии, но и появился нездоровый интерес к программам и платформам различного рода антиленинских, антипартийных группировок и прежде всего интерес к программам, платформам троцкизма. Мы все должны признать, что такое положение не может быть дольше терпимым... К сожалению, от вольностей и даже прямых искажений оказался несвободным даже учебник по истории КПСС. ...Нельзя же писать такие вещи, что у Сталина „отсутствовала бдительность в отношении фашизма“. Если все это верно, если этот человек все время занимал антиленинские позиции и не имел бдительности в отношении фашизма, то что же это за партия, которая в течение 30 лет терпела такого человека?

И еще. Поскольку мы находимся в здании Центрального Комитета партии, нужно призвать к порядку наши газеты, журналы, потому что нам, что бы мы ни делали, решить эту задачу невозможно. Я понимаю, что если бы такие произведения, как „Один день Ивана Денисовича“ или „Матренин двор“ или кинокартину „Председатель“, выпустила оппозиционная партия, то это было бы понятно, спорить нечего. Но когда эта санкционируется со стороны нашей партии, против нас, то этому нет оправдания!»

Особого внимания в ряду выступлений заслуживает, на мой взгляд, доклад заведующего отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС С. П. Трапезникова. Ибо одно дело — мнение обществоведов, пусть даже обладавших высоким авторитетом, и совсем другое — позиция того, чьи оценки воспринимаются как официальная точка зрения.

С. П. Трапезников: «...Под видом критики культа личности мы сползли на путь пересмотра целых этапов жизни партии и народа, нередко скатывались на путь очернительства и перетряхивания тех великих завоеваний, которые принадлежат не какой-то личности, а по праву принадлежат партии и народу.

...Мы вынуждены войти в Центральный Комитет с определенными предложениями и приостановить подобного рода компрометирующие публикации. ...На сцену все более стали появляться такие дискуссионные вопросы, которые были давно решены партией и наукой. Исторический материализм стал подменяться различными философскими категориями, как этика, эстетика, гуманизм и т. д. Появились такие умозаключения, что ленинская теория социалистической революции будто явилась не базой мировой революции, а базой мирного сосуществования. Классовый подход в истории подменяется концепцией сотрудничества людей, народов...

...Самое печальное дело в том, что многие наши публикации охотно перепечатываются в заграничной прессе и котируются очень высоко. ...Если проанализировать положение дел в области общественных наук, то в тенденциях оно во многом напоминает тридцатые годы».

После этого выступления на него было немало одобрительных ссылок, но одно явно выпадало из общего ряда. Это выступление доктора исторических наук, научного сотрудника Института истории АН СССР Андрея Павловича Кучкина:

«...Тов. Трапезников в своем докладе сравнивал состояние общественных наук с состоянием их в тридцатых годах... Кто тогда навел порядок в 30-х годах в общественных науках? Тов. Трапезников этого не сказал, но ведь мы знаем, что такой „порядок“ навел Сталин. Именно после этого „порядка“ началось приклеивание ярлыков, началась проработка, началось даже исключение из партии за ошибки, а затем последовало и уничтожение кадров... У меня получилось такое впечатление, что раз тогда была обстановка такая и теперь такая же обстановка, то как будто бы Вы призываете навести порядок теми же методами 1930-х годов. Так, что ли? Так ли Вас надо понимать?

ПАРИЖСКИЙ ХУДОЖНИК КОНСТАНТИН КЛУГЕ



Портрет скульптора О. Цадкина

Константин Константинович Клуге живет в сорока пяти километрах к северу от Парижа, вблизи старинного города Санлис, в собственном доме, построенном по его собственному проекту. Там просторная мастерская... Картины Клуге представлены в разных галереях Европы и Америки и в частных собраниях. В прошлом году в Париже состоялась большая выставка его работ. Успех далеко превзошел ожидания мастера; пресса и публика хвалили его взахлеб, а президент наградил орденом Почетного легиона.



Париж в снежном уборе



Осенние бульвары



Кафе Фенелон

Константину Константиновичу — семьдесят восемь лет. Его биография, увлекательная, как роман, есть история воли к творчеству, преодолевающей рок двадцатого века. Родился он в Риге, раннее детство провел в Гатчине, первая мировая война сорвала его родителей с места, гражданская — забросила семью в Маньчжурию. Потом — Шанхай; французский колледж, класс виолончели национальной консерватории, «Артклуб» любителей живописи. В тридцать первом юный художник отправился морем во Францию, чтобы поступить на архитектурное отделение Парижской Академии искусств. В тридцать восьмом вернулся в Китай дипломированным архитектором. По окончании второй мировой переехал в Гонконг, а оттуда в пятидесятом году опять во Францию — насовсем.



Юрий Павлович Герман

(рисунок с натуры)

Он пишет маслом лица и улицы, постепенно завоевывая не громкую, но прочную славу.

Далекая от моды добросовестная точность рисунка и цветовая гармония привлекла ценителей неискушенных, неотступная завороженность пространством, переживаемым как тайна сущего, волновала знатоков. Тем и другим было ясно, что полотна Клуге — произведения большого стиля, воплощающие мир сложной, значительной личности.

Два человека сыграли в жизни Константина Константиновича совершенно исключительную роль. Выдающийся французский философ и теолог Тейяр де Шарден был его другом. Знаменитый советский писатель Юрий Герман приходился ему двоюродным братом (матери были сестры-близнецы). Встречи с ними обоими, духовная близость с ними стали для парижского живописца, писателя и мыслителя Константина Клуге главными событиями его удивительной судьбы.

С. Л.

Тов. Трапезников говорил, что у нас были учебники Кнорина, Ярославского, Попова, Бубнова и что все они „не способствовали правильному воспитанию кадров". Тов. Трапезников не сказал, но как будто подводит нас к тому, что правильное — то освещение истории партии и учебник, который способствовал воспитанию кадров — это был „Краткий курс истории партии", сталинский учебник.

Кое-кто раньше с пеной у рта на все корки разносил „Краткий курс", а ныне некоторые товарищи готовы даже его похвалить, но пока не осмеливаются об этом открыто сказать. И вот, мне кажется, ныне пускают некоторые пробные шары, как на это будет реагировать партийная общественность? ...По-моему, докладчики молчат о том, принес ли культ Сталина вред общественным наукам или не принес? И продолжает ли оставаться задача осуждения антиленинских установок Сталина? Или эта задача уже снимается? Раз критика Сталина означает и критику Ленина, то нет ли здесь известного шага к восстановлению формулы: „Сталин — это Ленин сегодня"».

Во время этого выступления, как видно из стенограммы, в зале порой возникал шум, а после него высказывались и предложения, чтобы Андрей Павлович лучше рассказал о том, как в дискуссии по книге, редактором которой он является, так называемые «историки» открыто реабилитируют троцкизм. Слишком много аналогий с тем, что было давно, и тем, свидетелями чего мы иногда являемся сегодня. Но есть и другое чувство. Такие люди, как Андрей Павлович, будучи в меньшинстве, а порой в единственном числе, продолжали традиции ленинской партии, и именно такие, как он, впоследствии образовали силы, начавшие перестройку. И такие люди были в партии всегда.

В одной из своих статей историк А. Мигранян приводит слова известного американского мыслителя Ралфа Уолдо Эмерсона, который говорил, что во всех свободных обществах политика концентрируется в двух партиях — в партии памяти и партии надежды. Партия памяти организует силы тех, кто боится будущего и предпочитает статус-кво. Партия надежды организует силы тех, кто верит в лучшее будущее. Партия надежды переносит идеи в программы, которые изменяют общество в сторону более позитивного будущего.

Большевистская партия завоевала авторитет именно благодаря тому, что в глазах людей она олицетворяла партию надежды. Однако впоследствии вся политика в нашей стране стала концентрироваться как бы в партии памяти. Идеологическая работа стала разворачиваться вокруг юбилейных и памятных дат, которым посвящались обязательные постановления ЦК, и подкрепляться приуроченными к ним многочисленными трудовыми вахтами, ритуалами и заверениями в следовании ленинским курсом. Извечная обращенность к прошлому привела нас к примату принципа над фактом, к появлению вопросов, решенных раз и навсегда, поставив идеал выше интереса, слепую веру над объективным анализом действительности.

3. Что дальше? (контуры обновления партии)

Ответ на этот вопрос, сформулированный автором еще до бурного развития событий в странах Восточной Европы и тем более в нашей стране, первоначально предполагал достаточно широкий спектр размышлений о реформе партии, в том числе ряд соображений относительно программных документов и Устава, процедуры выборов делегатов на съезд КПСС.

Однако зависимость от архаичных рамок редакционно-издательского дела, позволяющих теперь, в начале февраля, внести лишь отдельные правки того, что появится на журнальной полосе в июне, заставила отказаться от этого замысла, изъять из статьи конкретное, но преходящее, сконцентрировав внимание лишь на наиболее принципиальных проблемах выхода партии из кризиса.

Уже сегодня ясно, что отказ КПСС от монополии на власть, изменение ее места в системе взаимоотношений общественных институтов (а у меня нет сомнений в том, что это произойдет в ближайшее время) поставит вопрос о реформе партии в условиях реальной многопартийности.

В сущности это вопрос о возможностях ее адаптации в условиях демократического плюрализма посредством преобразования в подлинно политическую партию, проблема ее конкурентоспособности.

Две группы взаимосвязанных факторов являются препятствием на этом пути: отсутствие реального опыта жизни общества в условиях многопартийности и нынешнее состояние КПСС.

Немалая часть общества продолжает мыслить в духе известной шутки, приписываемой то Бухарину, то Рыкову — в нашей стране может быть только две партии: одна — у власти, другая — в тюрьме. Появление многопартийности для нее — отказ от многих прежних представлений. Другие искренне считают несовместимым демократию и однопартийность. Третьи, оказавшись в эпицентре бурной борьбы с монополией КПСС на власть, воспринимают политический плюрализм скорее эмоционально, чем прагматически.

По собственному опыту знаю, что среди всех этих категорий львиная доля тех, кто имеет либо архаичные, либо весьма поверхностные представления о партийных

системах. Этому вряд ли стоит удивляться. Политология в нашей стране по сути только зарождается, а научная литература до сих пор изобилует тенденциозностью. Партии в ней непременно связываются с интересами собственности и противостоянием классов.

Однако, как известно, существование двухпартийной системы, например в США, далеко не всегда было связано с противостоянием. Ее возникновение было следствием несогласий по проблеме рабства, но позднее демократов и республиканцев разделяли вопросы таможенного тарифа, золотой и серебряной валюты.

В большинстве европейских стран, за исключением, быть может, скандинавских и Великобритании, политические партии когда-то имели ярко выраженную идеологическую окраску, ориентацию на выражение интересов социально-классовых групп. Дальнейшее развитие обществ в этих странах привело к явной нивелировке идеологических ориентиров партий, созданию партийных систем, сходных с американской. Главной функцией партий стала борьба за того или иного кандидата на выборах. И напротив — все большую роль играют небольшие ориентированные на различные интересы группы, заменяющие монолитные и противостоящие друг другу партии. Крупнейшие западные политологи небезосновательно отмечают глубокую эволюцию партийных систем.

Наша действительность имеет иные особенности. Легализация всего многоцветия общественных движений, безусловно, приведет к тому, что многие из них станут претендовать на статус партий. Аналогичный процесс в маленькой и достаточно однородной Венгрии привел к тому, что уже сегодня их зарегистрировано более сорока. Для данной стадии развития общества это закономерно. Однако не следует забывать и о другом: в плюралистических обществах, идущих по пути демократии, должен быть устойчивый баланс.

При всем моем уважении к народному депутату СССР А. А. Денисову, чьи выступления показывают широкую эрудицию, с одной из его позиций я согласиться не могу. Партия должна быть радикальнее радикалов — таков его лозунг. У меня невольно возникает вопрос, каких именно? Если иметь в виду общественные движения, то радикальнее ДС или «Памяти»? Если диапазон взглядов внутри КПСС — то радикальнее Ю. Афанасьева или В. Бровикова, «прославившегося» на февральском Пленуме ЦК? Ведь радикалы, как известно, есть на каждом фланге.

В обществе, где сильна поляризация — должна быть и сильная концентрация лево-центристских сил. Нельзя допустить, чтобы, образно говоря, бело-красная гамма цветов была заглушена другими. В своем нынешнем состоянии играть эту роль КПСС не может. Любые попытки ее обновления на прежних основах с позиции защиты отживших структур и внутренних интересов, а не потребностей общества — лишь увеличение интервала «времени упущенных возможностей». Прежний тип партии вне зависимости от ее терминологического определения — аппаратная, авторитарная или государственная — более нежизнеспособен. Речь может идти только о создании партии социал-демократической ориентации. Этот выбор должен быть отражен в ее обновленной идеологической основе.

Проект предсъездовской платформы ЦК КПСС, без сомнения, серьезный шаг в этом направлении, хотя в нем заложена скорее минимальная, чем максимальная высота планки преобразований. Когда статья увидит свет, мнений и суждений о проекте будет великое множество, поэтому от собственных частных соображений предпочту воздержаться. И все же одно обстоятельство мне представляется принципиально важным: необходимо дать в преамбуле программного документа анализ генезиса и эволюции коммунистической идеи. Сказать о ее догматизации сегодня явно недостаточно. Нужен более ясный ответ на вопрос: почему оказалась нежизненной модель социализма, конструировавшаяся в нашей стране и повторенная другими, почему длившийся почти сто лет идейный спор между социал-демократами и коммунистами история разрешила не в пользу последних. Нет нужды всякий раз, идет ли речь о собственности или об учреждении президентской формы правления, поддаваться соблазну очередного «спиритического сеанса», призывая в союзники или оппоненты тех или иных идей действительно великих людей, чьи мысли диктовались вполне конкретными историческими условиями.

Многие коммунистические партии, лишенные монопольной комфортности, но заслужившие с нашей легкой руки ярлык еврокоммунистов, осознали это раньше нас, изъяв из своих программных документов и тезис о диктатуре пролетариата, и скомпрометированный нами принцип демократического централизма, и догматическое следование марксизму-ленинизму. На фоне происходивших процессов нет никакой необходимости заниматься ревизией марксизма и ленинизма (к слову сказать, их механическое соединение воедино без какой-либо попытки анализа присущей им эволюции, о чем отчасти шла речь во второй главе — одно из сталинских изобретений).

Есть более разумный и естественный путь — уйти от трактовки взглядов Маркса, Энгельса и Ленина как руководства к действию. И все встанет на свои места.

Будет очевидным, что и сегодня не утратила своей ценности материалистическая диалектика.

Хорошо сознаю, что реалистичный анализ происходившего в прошлом, беспристрастный взгляд на то, что происходит в социалистических странах теперь, сопряжен и с многими трудностями психологического порядка. Но выбора между ориентацией на «вчера» и «завтра», выбора между «партией памяти» и «партией надежды» все равно не избежать. Без сомнения трудно объяснять старшим нашу, уже сегодняшнюю, перемену точки зрения на социализм, ибо это затрагивает судьбы людей, все то, что не подвергалось ими сомнению. Однако такой шаг вряд ли менее нравствен, чем стремление отсрочить этот процесс, переложить его на плечи наследников в ожидании смены поколений. Было бы закономерностью, а не данью символам принять на очередном съезде новое название партии. Не стану его конкретно формулировать, ибо это дело делегатов партийного съезда, однако думаю, что такие понятия, как «социализм», «демократия», «гуманизм», а может быть, «гражданское общество», могут с полным основанием отразить сущность ее политики. Надо однозначно признать будущую КПСС партией всего народа без архаичного деления на основе социально-классового признака.

Позволят ли кардинальные изменения программных целей партии сохранить ее единство? С одной стороны — ортодоксальным крылом партии постоянно декларируется, что именно партия сегодня компенсирует своей дисциплиной разбалансированность хозяйственного механизма, служит гармонизации отношений в обществе, с другой — неспособность членов партии, объединенных одним Уставом, перешагнуть через националистические предрассудки. С одной стороны — настойчивые декларации того, что в обществе нет более монолитной и сплоченной силы, чем партия, что именно в ее единстве самая надежная гарантия преобразований, с другой — 20-миллионная организация, включающая чуть ли не весь спектр идейных течений, образно говоря, от анархистов до монархистов и людей вообще далеких от политики.

На фоне этих противоречий, главными из которых являются аморфность и отсутствие идейного единства, дискуссии о том, чему отдать предпочтение — демократическому централизму или демократическому единству, споры о том, сохранять ли территориально-производственный признак, упразднять ли горкомы и не заменить ли районные комитеты советами секретарей партийных организаций, в значительной степени схоластичны. В них — желание соединить прежние представления с новыми реальностями.

Что же делать? Звучат предложения о роспуске партии, но лучший ли это путь? Пусть болезненно и противоречиво, но уже идет процесс ее политизации. Изменение партийного статуса в обществе, ликвидация зависимости служебной карьеры от политических убеждений, предоставление права свободного выхода из ее рядов — все это приведет к неизбежному сокращению численности КПСС, ее самоочищению. Уйдут те, кто ошибся в выборе, разочаровался или вступил в партию ради должности и кресла. Процесс поляризации сгруппирует коммунистов вокруг двух основных платформ — демократической (или точнее социал-демократической ориентации) и ортодоксально-марксистского толка.

Последние считают себя истинными марксистами-ленинцами, стоят на ортодоксальных позициях. Здесь есть свои идеологи и определенная социальная база — значительная часть партаппарата, ОФТ, «Отечество». Как показывает практика, декларируемый ими «образ врага» нередко срабатывает на обыденное сознание. Вызывая огонь якобы против капитализации, вестернизации и кооперации, по сути они выступают против реформ в партии и обществе. Даже положения платформы ЦК КПСС, носящие явный отпечаток компромисса, ими оцениваются однозначно: сдача завоеванных позиций. Если под их руководством будет созван съезд Компартии РСФСР, если они возьмут верх, то неизбежна ответная реакция сторонников Демократической платформы. Вновь как и когда-то в России может создаться ситуация «два съезда — две партии». Хотим мы того или нет, но раскол в партии раньше или позже неизбежен. Он может произойти как внезапно, так и эволюционно, пройдя стадию платформ и фракций.

Не исключено, что в дальнейшем реформирование партии приведет к партии парламентского типа. Ее главными функциями станут анализ политической ситуации и общественного мнения, корректировка программы действий, пропаганда своих идей и агитация за избирателей на выборах. Реализация этих функций постепенно переместится из трудовых коллективов на место жительства, где уже сегодня находится центр общественно-политической жизни: политические клубы, митинги, «штаб-квартира» общественных движений. Многое зависит от дальнейшего развития Советской федерации, более глубокого учета того, что разные регионы страны имеют разную специфику, исторические корни и национальные традиции. Будут скорее всего иметь свои особенности там и политические структуры и партийные системы.

Впрочем, это уже предмет отдельного разговора.

ДНЕВНИК
ЛИТЕРАТОРА

Евгений
ЕРМОЛИН

ПОГОНЯ ЗА ГОРИЗОНТОМ

Кого искать народу — своих врагов или себя самого?

Не ввязались ли мы навеки в одну классическую русскую историю? Помните: молодой энтувиаст метеором врывается в кружок людей, притершихся друг к дружке, угревшихся в уютных традициях обихода... Что ждет юного безумца? Стеной стоит перед ним мир заскорузлых привычек. Выбор: или отправить себя на заклание — или сдаться и пойти ради житейских выгод на службу извечному миропорядку. Две судьбы: Чацкий и Глумов...

Впечатления от давних литературных и жизненных российских коллизий получают сегодня новую пищу, когда с одной стороны звучит критика в адрес застойного быта, предпринимаются попытки разогнать тину заурядной жизни, а с другой — ворчат и поносят прожектеров, напридумывавших невесть чего, сующихся куда не надо и не имеющих почтения к преданиям старины. Жизнь кипит, и это с непривычки кое-кого ошеломляет: и откуда взялись эти умники? И чего им только надо? Куда они нас ведут?

В последнее время на эти вопросы даны довольно оригинальные ответы. Логика их такова. Реформаторы есть «порождение истеблишмента 60—70-х годов». Еще недавно они наслаждались «лауреатством, секретарством и сытой элитарностью», а ныне цель у этих выкормышей застойного правящего слоя одна — «перехватить бразды народоправия», осуществить «олигархическую перестройку» во имя своих будущих благ. Если вы захотите продолжить разоблачения, то без труда убедитесь, что среди них немало инородцев. И тогда сами поймете, что отныне у нас «под интеллигенцией подразумевается космополитическая элита».

Вот это враг так враг! «Власть элиты или власть народа — вот настоящий водораздел между разными идеологическими группами». Но пусть «смердяковской яростью дышат в нашей перестройке те, кто давно и прочно оторвался от народного бытия, ни бельмеса в нем не смыслит». Народ «молчит, но силы духа восстанавливает»!

Куда же деваться от элитарной напасти бедному крестьянину? Единственно в объятия В. Бондаренко, А. Казинцева и С. Лыкошина, из сочинений которых я сделал эту выборку, сверив итог с положениями из трактата их идейного предтечи И. Шафаревича «Русофобия». Вот кто — истинные друзья народа!

Что же предлагают эти люди? Поначалу кажется, что цель у них одна — искоренить ненавистных «русофобов». Они неистощимы в поисках этих агентов Вельзевула. Подчас кажется уже,что вокруг — не Россия, а Брокен: впору объявлять охотничий сезон на ведьм.

Бдительный взгляд не щадит никого. И трудно уже иногда поверить, что причина подозрительности — чистосердечная любовь к родному пепелищу. Но, я полагаю, чаще всего — это все же она. Только омрачена эта любовь страхом за судьбу народа, за будущее России, истощенной в исторических передрягах. «Мы сегодня — нация на краю гибели»,— разве этого недостаточно, чтобы уличать всех подряд в ненависти к народной жизни, пылать пожаром негодования и заклинать единомышленников «развивать „русскую идею“»?

Не знаю, как вы, а я не могу не жалеть таких людей. Не проще ли всего вступить в орден вопленников? И не разумнее ли без экзальтации, без панических комплексов выявить контуры той самой русской идеи и поразмыслить об ее перспективе?

Но утопающему не до логических доводов. Ему бы как-нибудь выплыть. Вот так и друзья народа пытаются на грани умопомрачения, в океане разврата ухватиться хоть за краешек надежной суши, закрепиться на малой, но прочной земле. И с этого-то плацдарма начинается поход против возмутителей спокойствия, которые затевают что-то новое, придумывают, экспериментируют... А к месту ли эти рывки и новации?

Нас настойчиво призывают отречься от вредных и опасных затей и обратиться к национальной традиции. Причем в прошлом особенно привлекательным кажется стабильный быт, патриархальный уклад жизни, не оставляющий человеку возможностей для того, чтобы обнаружить свою свободу,— но зато и для того, чтобы своекорыстно ею воспользоваться. Поток неснисходительных обстоятельств привел народ к кризису — так, значит, нужно замкнуться от этих обстоятельств, отказаться от истории, не имеющей милосердия, затворить окна и двери — и упасть в «кондовый сон России». Измыслить на худой конец эту классическую, канонизированную Россию, сладко почивающую и зрящую волшебные сны...

Однако идеальный быт не может себя защитить от внешних напастей. Ему нужна подпорка, а именно — сильное государство. Могучая власть. Вот какова наша историческая традиция, вот какова органика российской жизни согласно воззрениям друзей народа.

За примерами державного самовластья действительно далеко ходить не надо. Но исторический опыт — штука обоюдоострая. И нам позволительно усомниться в том, что сильная государственность сама по себе способна обеспечить духовный подъем, культурный расцвет, способствовать народному благу. Часто ли такое бывало в истории? Да нет, такие случаи скорее исключение, чем правило. А можно ли полагаться на исключения?

Тот же И. Шафаревич полагает необходимым, прежде всего, «создать устойчивые, естественные для... народа формы жизни». Но с создания ли форм, с очередной ли переделки обстоятельств нужно начинать? Под имперскую ли матрицу подгонять духовный поиск? Или все же наоборот: попытаться жизнью духа поверить внешние способы общественной организации?

Не слишком-то ясен и вопрос о «навыках общественного существования» на Руси, которые якобы могут служить опорой в нашем дальнейшем жизнестроительстве. Один из друзей народа предложил держать оборону от зла и соблазна за белой стеной национальной традиции. Что ж, заглянем туда. Посмотрим, можно ли сделать то, что нам рекомендовано. Не из пустого и напрасного полемического задора, а чтобы хоть отчасти прояснить вопрос о наших отношениях с историческим процессом, о реальном содержании русской традиции.

Увы, уже первые встречи с российской историей вдребезги разбивают миф о благодатной Руси — радостном крае невозмутимого покоя и вековечной гармонии. Действительность драматичней. И драматизм этот только отчасти вызван внешними воздействиями: агрессиями, интригами и тому подобным. Есть какие-то внутренние причины для почти постоянного дискомфорта, в котором пребывал русский человек. Кто же виноват? Быть может, авангард терроризирует массу?

С одной стороны — стремление, инициатива, тяга вдаль. С другой — недоверие к переменам, инстинктивное замыкание в круге привычных ценностей. Это ли не раскол, не извечная вражда целеустремленных обновителей и упорных традиционалистов? Авангард пытается сдвинуть русскую жизнь с места — масса саботирует всякий почин и противится изменениям. Нужно ли приводить примеры?

Есть большой соблазн обвинить рус-

ский авангард в том, что он «в роскоши, в праздности и привилегиях» предавался зряшным умствованиям, мутил воду, жива «за счет» трудового народа. Как это у Куприна: «Стоим мы, малая кучка интеллигентов, лицом к лицу с неисчислимым, самым загадочным, великим и угнетенным народом на свете. Что связывает нас с ним? Ничто. Ни язык, ни вера, ни труд, ни искусство. 〈...〉 В страшный день ответа, что мы скажем этому ребенку и зверю, мудрецу и животному, этому многомиллионному великану? Ничего. Скажем с тоской: „Я все пела“. И он ответит нам с коварной мужицкой улыбкой: „Так поди же попляши“...»

Развивая эти идеи, мы найдем, конечно, немало сторонников — от Писарева до Блока. Но не будем воскрешать максимы русского авангарда. Пусть их берет на вооружение тот, кто сводит этот авангард на нет, или тот, кто теперь заново открывает Америку и вещает об антагонизмах между «рядовым трудящимся человеком» и «просвещенным привилегированным меньшинством» — «домашним врагом». Не резоннее ли предположить, что масса и авангард находятся в отношении неизбежной взаимодополнительности? И тот, и другая — народ. Но народ в разных ракурсах. Народ-Янус: революционер-бунтарь и покорный лежебока. Причем вовсе не образовательный ценз определяет принадлежность человека к авангарду, но культурная, духовная инициатива. (Например, в XVII веке русский авангард почти целиком ушел в низовой раскол, порвал с государством и официальной церковью — и это предопределило общий кризис русской жизни, из которого пришлось искать выход Петру.)

Чем предрешена эта двойственность народной физиономии? Стоит вспомнить о некоторых самоочевидных истинах.

Свойство простонародной жизни — статичность. Патриархальная культура связана со стабильными жизненными циклами, включенными в циклы природные. Она сопутствует жизни, являясь своего рода ритуалом. А ритуал не терпит избыточности. Он строго функционален. Конечно, брожение идет и здесь. Но индивидуальный почин гаснет в этой среде, маловосприимчивой к новым веяниям. Оттого в пределах традиционного общества брожение отдельных умов редко дает новое качество.

Этот общий признак канонической культуры усугублялся на скудной российской почве тяжелыми условиями народной жизни. В «краях оцепеневшего севера» (Пушкин) человек едва справлялся с задачей обеспечения своей жизни минимумом средств существования. Народ трудился сверх сил, чтобы выжить. «Власть земли» оставляла мало места для свободной игры духовных сил.

Условия народной жизни определили важные черты национального характера, сильно повлияли на судьбу бедной северной страны с инертным в массе своей населением. Поскольку такому характеру и такой стране требовалась организация, нужны были культурно-общественные формы — они приходили к нам, как правило, извне. Богатые византийские влияния ослабели после падения Царьграда, а затем и истощились, сменившись переменчивыми ветрами с Запада, а после утвердился режим, напоминающий восточную деспотию. В этой ситуации чересчур усердный поиск своеобразия вряд ли может привести ныне к чему-то иному, кроме чрезвычайно бедной, неразвитой ритуальной культуры славяно-финского язычества. (Не приходится в том числе говорить и о самобытности «сильной власти».) Подумаем лучше о плодотворности тех или иных влияний.

Из многомудрой Византии было занесено на Русь христианское откровение. Духовный мир, связанный примитивными архаическими представлениями, впускал в себя понемногу новые идеи и интуиции и менялся под их воздействием. Однако новые истины были восприняты здесь по-своему. Пассивность народной натуры, недостаток средств для улучшения скудной жизни влекли за собой сугубую симпатию к восточному христианству как религии, не приемлющей мира. В византийском наследстве особенной популярностью пользовались именно антиисторизм, ожидание чуда и спасения от мирского зла. В свою очередь и принятая вера начала стимулировать стремление поскорее выйти за пределы истории, убежденность в том, что можно одним рывком разорвать путы реальности и спастись. Гарантией этого казалась беспредельная любовь Господня.

Национальным героем стал Алексей Человек Божий, отказавшийся от благ суетной жизни ради служения вечному. Отсюда пошли русские юроды, ругающие мир и препирающиеся с людьми, погруженными в мирские заботы. Русский человек уповал на спасителя, готов был принять любого самозванца за избавителя от тягот бытия. Он искал Беловодье, мечтал доплыть, как баснословные новгородцы, до земного рая, где все иначе, чем в жизни.

Улучшение житейских обстоятельств в этих координатах признавалось задачей весьма второстепенной, забота о благоустройстве связывалась с преданностью преходящим, ложным усладам дольнего мира.

Вот Феникс русской истории — мечта о преображении бытия, о грандиозном перевороте, который разрушит все сущее, сметет гниль и ветошь. Агентом этой мечты и был русский авангард, включавший в себя всех, кто так или иначе выдавался из общего ряда, покидал рутинную среду и, вдохнув свободы, исполнялся необычайных намерений.

Пора уже отказаться от представления, взлелеянного идеологией сталинского деспотизма, будто авангард — нахлебник на шее массы. Метко было сказано героем романа А. Битова «Пушкинский дом», дедом Одоевцевым, об условиях и необходимости культурного почина: «...осуществлялась эта немыслимая, головокружительная разность человеческих потенциалов, от смерда до Рублева, на бесконечно малой энергетической основе, смешной для современности. За счет всего лишь социального неравенства сохранялись смысл и возможность человечества».

Солью земли назвал Чернышевский русский авангард его времени, актуализировав библейский образ. Авангард необходим, чтобы народ существовал в истории и продвигал себя в будущее. Это — мотор русской истории и русской культуры.

Однако странный же то был механизм! Он пытался сорвать всю Россию с места, унести ее в закосмическую даль. Во имя «бесконечности идеала» (В. Розанов) отвергалось сущее. Русский человек слишком часто считался предназначенным исключительно для неприятия и бунта. Это может показаться предельно конкретным восприятием призыва Иисуса Христа: бросить все мирское, оставить дом свой и близких — и идти за Спасителем. И даже если представитель русского авангарда был атеистом, богоборцем,— его отличали те же самые одержимость идеалом, стремление покончить одним махом с рутиной и пошлостью обихода. Сергий Радонежский и Федор Достоевский, Михаил Бакунин и Владимир Соловьев были едины в убежденности, что небо может сойти на землю, собственными усилиями пытались навести мост от реальности к идеалу. Эта вера в то, что из искры личной инициативы возгорится над миром очистительное пламя, обеспечивала выход на практику, к радикальному делу, к революционному поступку.

У А. Платонова в «Чевенгуре» есть эпизод, где путникам предстает даль: «Как конец миру, вставал тихий горизонт, где небо касается земли, а человек человека». Вот к этому горизонту и стремились постоянно русские люди — без оглядки, напропалую. А горизонт уходил и уходил...

Бескомпромиссность авангарда то и дело входила в конфликт с инертностью массы, задавленной условиями существования. Кремень высекал искры, но не мог зажечь костер, раздуть мировой пожар.

«Мы не ходим, мы бегаем; мы не бегаем, мы летаем; мы не летаем, мы падаем»,— такую формулу жизни русского авангарда вывели Д. Мережковский, З. Гиппиус и Д. Философов. Формулу, приводившую его к провалу. И чуть позднее, в эмиграции, Г. Адамовичу придется, например, уже оправдывать авангард за высоту неосуществимых стремлений, за жажду невероятного, за стремление так или иначе реализовать план Бога, пускай от этих попыток остались только черновые наброски.

Нет ничего проще, чем обвинить теперь русский культурный авангард в том, что он избрал неверный способ существования и шел не теми путями не к тем целям. Но целесообразность такого обвинения внушает сомнения если не потому, что путь этот был в каком-то смысле предначертан, то за давностью лет. А уж если мы предъявляем претензии к авангарду, оторвавшемуся от реальной почвы и променявшему жизнеустроительную работу на служение абсолюту, то должны оценить и поведение народной массы. Вопрос, конечно, деликатный — но отложим избыток пиетета на другие случаи. Рискнем поразмыслить и на эту тему.

Итак, фактом русской жизни был чудовищный разрыв между авангардом и массой. Ажиотаж и метания в среде культурной элиты соседствовали с постоянным неурожаем на простонародной ниве. Боткин, помнится, сравнивал русских с эскимосами или готтентотами: «И знать не хочу звероподобную пародию на людей...». Ему раздраженно оппонировал Некрасов. И нет конца этому спору образованных русских людей о народной массе. То она свята («Золото! золото!») — то «бог-народушко» оказывается зверем или рабом («К чему стадам дары свободы?»). То молились на него, то он навлекал на себя хулу. Страстное (при-страстное) отношение к массе имело основой глубокую заинтересованность в ней.

Заинтересованность людей, не удовлетворенных существующим порядком вещей, желающих переменить жизнь на лучшую. (Заинтересованность и того, кто имел основания быть недовольным тенденцией общественного развития и стремился затормозить ход истории, удержать статус-кво.) Логично было заключить, что для перехода с почвы реальности в царство братства необходимо сначала, в качестве подготовительного маневра, построить другой мост: между авангардом общества и массами. К 30-м годам прошлого века горькие опыты социальной филантропии привели авангард к этой мысли. То был последний шанс в битве за идеал. Пушкин в «Борисе Годунове» сформулировал проблему русской истории — на разрешение загадки ушли годы и десятилетия.

Предположили было, что авангарду нужно раствориться в массе, учиться у народа. В ход пошла идея об актуальной богоносности, иначе сказать — особой призванности русского народа. Предполагалось, что он по природе своей не имеет земных (мелких, частичных, компромиссных) целей — но лишь небесные, высшие, абсолютные. Он предназначен для осуществления миссии преображения мира и уже (а не в потенции только) готов привести мир к спасению.

Тот факт, что народная Русь пассивно воспринимала внешние влияния, служил базой для далеко идущих выводов. Эта женственная податливость, эта уступчивость могла приписываться глубокому усвоению христианского учения. Так заключал, например, Вяч. Иванов, говоривший о тяге к нисхождению как о проявлении христианского смирения, покорности. Залогом великого национального будущего казалась Достоевскому «всемирная отзывчивость», вменяемая русскому человеку, всечеловечность, в которую переплавилась в тигле христианства его пассивность.

Теперь стоило бы поразмыслить о том, не была ли основой всех этих умозрений только задавленность масс условиями существования, так сказать, субарктическая усталость? Отзывчивость масс на деле оборачивалась всеприятием, которое было сродни безразличию. Человек массы равнодушно взирал на мир, не волновался за его судьбы... Или это происходило по той логике, которая была выявлена Л. Карсавиным: если небо и земля потенциально едины, то это единство не может не сказываться и сейчас, в данный момент; божественное, идеальное бытие проницает реальность,— чего же еще? «Все приемлется, все оправдывается, но — созерцательно, не для того, чтобы действенно усовершать эмпирию».

Мы можем не соглашаться ни с тем, ни с другим выводом, но трудно не признать, что народ в своей массе, в большинстве, слишком далеко отстоял от вмененных ему совершенств.

Радикалы пытались учить массы революции, разжигали себя вдохновенным призывом — «К топору зовите Русь!» И звали, и будили, и торопили. Однако и эти настойчивые попытки долго были неуспешны. Революционеры бились рыбой об лед, дошли до края, пытаясь тактикой индивидуального террора подтолкнуть массы на бунт — народ безмолвствовал (или разве что глухо, непонятно роптал).

Для глобального изменения этой крайне неудовлетворительной, ненормальной ситуации национального бытия нужно было, чтобы в историческом пасьянсе сложились в одну сумму самые разные процессы. Скажем, масса в своем брожении достигла той крайней точки, когда традиционный культурный космос уже становится тесен, новейшие радикальные идеи овладевают толпой, которая на свой лад

перетолковывает их и принимает к исполнению. А в авангардной среде крушение прежних замыслов то вызывает к жизни культ индивидуализма, то возрождает филантропическое отношение к не оправдывающей ожиданий массе — как к просящему подания нищему или как к ученице в воскресной школе. М. Горький, как известно, считал, что в педагогических целях человека можно даже обмануть, изобразить его лучшим, чем он есть, чтоб он действительно стал лучше. Затем эта спорная педагогическая доктрина была перенесена на весь народ и на всю страну. А заодно предположили, что непонятливые массы можно и против их воли сделать лучшими, вывести на светлую дорогу — усилиями меньшинства, располагающего властью. Не этими ли идеями были вдохновлены наши радикалы?.. Однако здесь снова вступают в жизнь коллизии пушкинского «Бориса», и рябит от кровавых мальчиков...

Как близки и как безмерно далеки друг от друга два мифа русского максимализма: неискупимая слезинка ребенка — и музыкальная стихия революции, не считающая жертв! Во всем — край, нигде — середина. А уж если невозможно достичь желанного предела, то лучше тогда упасть в небытие, забыться в глухом обломовском сне... Вот — Русь, какой мы ее знаем, судим и любим. Вечно «бездны мрачной на краю», в бунте или в обмороке, подобном смерти.

Следовало бы наконец спросить не о том, что разделяет авангард и массу, а о том, что их объединяет. Ибо разрыв и раздор относительны, условны, а общение и общность абсолютны. Сверх очевидных практических и генетических связей, кроме этого взаимоперетекания, есть нечто соединяющее авангард и массу в принципе, в идее, объединяющее разные части одного народа в целостный культурно-национальный союз и вынужденный, но в той же мере необходимый симбиоз.

Формулой народных ожиданий, дававших о себе знать и в жизни масс, и в эксцессивной практике авангарда, стала присказка «по щучьему велению, по моему хотению». Хотелось получить все сразу и без труда, повторив опыт Иванушки-дурачка и Емели. Из этих экспериментов выходило мало хорошего. Катастрофизм стал яркой приметой русской жизни. «Нет *оснований* нашему обществу, не выжито правил, потому что и жизни не было. Колоссальное потрясение,— и все прерывается, падает, отрицается, как бы и не существовало. И не внешне лишь, как на Западе, а внутренно, нравственно». Так писал Достоевский.

А после каждой катастрофы и народ, и его авангард обнаруживали себя у разбитого корыта: «...несчастная моя Россия, заплеванная чиновниками, грязная, забитая, слюнявая, всемирное посмешище» (А. Блок)...

Трудно в стремлении к «жизненным, устойчивым решениям» современных проблем опираться на «мудрость многими веками выраставших, проверявшихся, отбиравшихся и пришлифовывавшихся друг к другу черт и навыков народного организма», как то советует нам И. Шафаревич. Трудно потому, что многовековой наш опыт сам по себе проблематичен. Подчас кажется, что народ — сам себе враг.

Так сложилась русская история: случайным плодом порывов, не предполагавших никакого или почти никакого внутриисторического созидания, вступавших в противоборство с рутиной быта и обреченных на неуспех в этой борьбе. Люди русского авангарда (а по-своему и люди массы) не знали и не хотели знать о постепенно-поступательной эволюции, о медленно-неуклонном наращивании общественных достижений в пределах реального времени, а мечтали это время упразднить (то магическим преображением, то самосожжением, то исканием Беловодья, то революцией). И история оказалась рядом попыток аннулировать движение времени и разом обрести вечное блаженство. Поскольку же они оказывались безуспешными, постольку и тянулось это презренное время, продолжалась нелюбимая история, длился на Руси, по выражению Н. Федорова, «тысячелетний застой».

Куда же нам теперь возвращаться? Какие формы общественного устройства перенимать, брать за основу? И, наконец, за что же с завидным упорством воюют наши друзья народа? Не продолжают ли они давнюю традицию высокомерного отказа от истории, слагая свои мифы о небывалом русском горизонте?

После ужасной и гибельной истории, которая была у нас,— немалой решимости требует попытка избрать историю еще раз. А не отказ от нее, к чему ведут сегодня дело слишком многие.

О некоторых неумелых попытках совладать с историей, отвернувшись от нее, я уже говорил здесь. Но тенденции такого свойства распространены, пожалуй, шире. Они дают о себе знать по-разному. Вот, например, Б. Окуджава, сильно чувствующий остроту этих проблем, постоянно выводит в своей прозе на арену исторических катавасий простодушных, прекраснодушных, замечательных героев, ввергает их в бедствия и катаклизмы. Они твердо стоят на своем — но пресс истории не мытьем так катаньем усмиряет их порывания и сбрасывает со сцены честных идеалистов, не умеющих совладать с роком обстоятельств.

Так что же, благородство обречено на гибель в этом худшем из миров? Неужто и правда все возвращается на круги своя и нет никакой надежды выиграть схватку с историей? Окуджава призывает обратиться к чистым радостям любви и дружбы, беречь тесные узы приятельства и родства. Но ведь знает при этом сам, что не слишком надежен заповедный ковчежец в океане истории и жалки попытки избегнуть выбора, навязываемого эпохой! Человеку предстоит история — и не лучше ли тогда избрать ее по доброй воле?

В революциях и реакциях XX века авангарду и массе достался в конечном итоге один удел. У них оказалась и общая вина: повсеместная духовная слабость привела Россию к злодеяниям и непотребствам. Вот почва для покаяния и общего исторического дела.

На первый взгляд, и сегодня большинство не вполне готово к исторической работе. Авангард как будто опять отрывается от массы — и начинается известная русская сказка про белого бычка. Это сопровождается к тому же попытками уже сегодняшний авангард дискредитировать, приписав ему старинную вину за катаклизмы века и упрекая его за неблагодарный паразитизм.

Вряд ли нужно доказывать еще раз, что на закате столетия авангард не имеет отдельного чрезвычайного греха на совести. Его беды — это и беды всего общества. В самом же его существовании, пусть и на продовольственном иждивении у массы, не было и нет нужды сомневаться. Ведь и масса духовно кормится со стола авангарда. Нынешние нападки на реформаторов бесплодны. Можно запретить поиск, отменить право на ошибку — но как предотвратить их?

Другое дело — каковы конкретные программы современного авангарда для выхода из той исключительно трудной ситуации, в которой мы находимся.

Конечно, не может быть речи о реанимации каких-то исторических форм общественной жизни. В эту реку нельзя ступить дважды, и всякие попытки пойти наперекор очевидности могут привести лишь к плачевным (если не кошмарным) результатам.

Но внушает сомнения и другой рецепт: предложение начать все чуть ли не с нуля. Писать историю с первой страницы — это также очень по-русски. Но можно ли принять до последней точки такой, например, пассаж: «...в России так долго уповали на „особость“, на своеобразие ⟨...⟩ нашего исторического пути и облика и столько синяков и шишек набили благодаря этим упованиям, что, ей-богу, пора бы когда-нибудь и кончить. И пора попробовать искать, в себе, в своей душе и культуре не то, что отличает нас от всего мира, а то, что всем людям присуще в равной мере⟨...⟩ Наша историческая задача, и

убежден, не предъявлять⟨...⟩ Россию миру (уже напредъявлялись!..), а попытаться, пока не поздно, войти, вернуться в мировое сообщество, разделить с ним его тяготы и радости, принять, наконец, его законы, обязательные, как выясняется, для всего человечества» (С. Чупринин).

Мне кажется, не стоит все же кругом, повсеместно полагаться на «законы» «мирового сообщества». Одно дело — правовая защищенность человека, экономические механизмы, культура быта... Другое — духовная сфера. Благовоспитанная культура компромисса бесконечно привлекательна, но представляется чрезмерным упрощением ситуации пропаганда «равной меры» как образца, мерила полноценности «себя, своей души и культуры». Меня не оставляет ощущение, что русской культуре есть что «предъявить», объявить миру, что в нашей истории есть высота духа, видимая отовсюду...

Спору нет, максималистов-утопистов, главных героев русской истории, отличала залихватская повадка. Вторгаясь в жизнь, утопия производила обычно немалый переполох — но не могла удержать действительность на высоте идеала и обрывалась в бездну разочарования. Уроки потаенного Платонова, прозвучавшие в полную силу совсем недавно, окончательно поставили крест на этих судорожных, торопливых попытках осуществить высший замысел, утвердить «народную правду на земле» без малейшего учета реальных обстоятельств: «Еще рожь не поспеет, а социализм будет готов!» По чевенгурской матрице отпечатано немало страниц русской истории — дай Бог, чтобы счет их наконец оборвался!

Но дает ли сказанное повод предположить, что и вся наша история — одна большая неудача, потерянное время?

Если и неудача, то, может быть, такая, что стоит иных удач?

Разочарование в итогах исторического процесса не учитывает, на мой взгляд, весьма существенного обстоятельства, позволяющего не впадать в уныние. Это обстоятельство — опыт русской культуры на ее высотах. Вспомним снова, как еще полтора века назад русские искатели призвали учиться у некоего идеального, святого народа. История показала, что этот воображаемый учитель не существует в природе. Однако не существует он как масса. В лице же ярчайших своих представителей, участников того же авангардного движения, он иногда являет национальный идеал воочию.

Долго подступалась русская мысль к идее прогресса, к идее совершенствования как антитезы взрыву и бунту. Эта идея то приходила и воплощалась в человеческих судьбах — то пропадала из поля зрения. Русские гении много сделали, чтобы она органически вошла в национальное созна-

ние. Не абсолютизированной и обожествленной («движение — все»), а в непосредственной связи с призванием и характером русского человека, войдя в его жизнь и направив ее к истине и красоте.

Достоевский как-то писал по поводу романа «Идиот»: «Главная мысль романа — изобразить положительно-прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только не брался за изображение положительно-прекрасного — всегда пасовал. Потому что эта задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы — еще далеко не выработался». Не думаю, что в последнем своем выводе он был на сей раз до конца точен.

На российской почве идеальное начало бытия сильно и ярко воплотилось в жизни и его самого, и его современников — Льва Толстого, Гоголя, Белинского, Киреевского, Хомякова, Чернышевского... Судьбы у них были разные, и взгляды, общественные позиции сильно рознились. Но кто решится отвергнуть их жизненный опыт, их творческий почин, проникнутый заботой о благе народа, о соответствии высшим критериям человечности?

Человек жертвует собой, стремится к высшим целям бытия. Идеалы могут называться по-разному. Ценности могут носить разные имена. Но при всех шатаниях, метаниях и шараханьях русская мысль в конечном итоге постоянно выходила на идею всечеловеческого братства. И коль скоро человек, вдохновленный этой идеей, чувствовал себя братом всех людей, коль скоро он в жизни своей воплощал этот великий завет,— он исполнялся святости в традиционно-русском ее понимании.

В классике русской философии и литературы идея прогресса слилась с идеей творчества. В историческом творчестве призван раскрыться человек, реализовать свою свободу. Осуществлен же этот замысел был гениями, которые являются как бы маяками на общем пути к совершенству.

...Срезан культурный слой «гнилой интеллигенции», ушли эти люди «в широких шляпах, длинных пиджаках», подгоняемые конвоирами. Все позади? Вот еще одна мысль героя-философа из романа А. Битова «Пушкинский дом»: «...вы считаете, что семнадцатый год разрушил, разорил прежнюю культуру, а он как раз не разрушил, а законсервировал ее и сохранил. Важен обрыв, а не разрушение. И авторитеты там замерли несвергнутые, неподвижные: там все на том же месте от Державина до Блока — продолжение не поколеблет их порядка, потому что продолжения не будет. Все перевернулось, а Россия осталась заповедной страной. Туда не попадешь».

Ощущение классической цельности русской культуры, кажется, прочно вошло в наше сознание. Важно только тут не переусердствовать, не наложить на эту культуру музейный глянец. Ведь тогда на самом деле сбудется прогноз деда Одоевцева («туда не попадешь») — и мы останемся ни с чем, изойдем в благоговейном, молитвенном экстазе.

Русская культура — не только мемориальный памятник, слепок и фреска. Не только уже готовая иерархия незыблемых ценностей. С нею так или иначе должны быть соотнесены сегодняшние наши судороги и поиск исторической дороги. Теперь, когда наша культура стоит пред нами вся, нам нужно взять в ней для жизни лучшее, высшее. Иными словами, нам вольно или невольно приходится ориентироваться на уровень гения.

Получилось так, что гений оправдал собою бесплодную российскую историю, избыл бесполезность нашего исторического прозябания. Так писала на исходе петербургского периода российского пути Поликсена Соловьева: «И снится: кто-то невысокий в плаще, с кудрявой головой, проходит грустный, одинокий, и шепчет сладостные строки над молчаливою Невой. И верю я, что смерть безвластна и нет бесславного конца, что Он проходит не напрасно и что сильнее злобы страстной благословение певца».

Гений — защитник и спаситель Руси. Как вещe проговорилась Ахматова в «Реквиеме»: «Для них соткала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных слов...» Эта тема покрова уводит нас к культу Богоматери — покровительницы, опекающей русскую землю...

Подвижники нашей культуры сегодни возвращаются к нам под канонаду ударных воплей о «некрофилии». Есть обнадеживающая непреложность в этом возвращении из запасников истории новых и новых имен. Вот наше подлинное богатство, наши предшественники, окликающие каждого из нас. Достоевский восклицал: «О, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком — еще слишком долго будет привлекать человека к земле, но не в высших типах его. Между тем высшие типы ведь царят на земле и всегда царили и кончалось всегда тем, что за ними шли, когда восполнялся срок, миллионы людей».

Не есть ли русская культура то зерно, которое еще прорастет в будущем? Не есть ли она тот голос, который пробудит могучий, вселенский раскат? Вот те вопросы, на которые необходимо дать хотя бы предварительный ответ.

Широко известны слова Розы Люксембург о том, что русская литература «построила мост между Западом и Россией для того, чтобы появиться там (то есть на Западе.— *Е. Е.*) не в качестве только берущей, но и дающей, не только ученицей, но и наставницей. Достаточно назвать три имени: Толстой, Гоголь и Достоевский».

Вот они, наши мостостроители, далеко ушедшие вперед (на двести лет, как высчитывал Гоголь, рассуждая о Пушкине) и покорившие мир. По силам ли будет нам возвести нашу часть моста теперь, когда эти два столетия вот-вот истекут?

Есть взгляд на наш век как на век масс, довольных собою и отвергающих призыв к трудовой аскезе. Историческая река вышла из берегов, смешались все струи, элита потерялась, массы овладели миром и, не умея им распорядиться, то впадают в анархическое всеотрицание, то предают себя в руки тирана...

С этим можно спорить, но остается ощущение неблагополучия (неполного благополучия) и недостаточности тактической терапии для оздоровления человечества. Без перемен не обойтись. Сузив круг обзора до российских пределов, можно жестко определить альтернативу: либо крушение народа, не решившего своей главной исторической задачи,— либо его твердое решение приступить на рубеже XXI века к творчеству, к созиданию.

Не так уж много обещаний того, что выбор будет сделан в пользу второго пути. Но все же надежд в наше время больше, чем в некоторые иные времена. И не только потому, что нет сил больше мириться со склеротической оцепенелостью истории. Не на наших ли глазах корчуется лес обстоятельств, расчищается поле человеческой свободы? А следом встает вопрос: куда ее употребить?

Пассивность, податливость, восприимчивость ко всякому влиянию должны дополниться силой стремящегося, предпринимающего усилия всенародного духа, чтобы оправдался прогноз о всемирно-историческом призвании народа. Вспомним еще раз о пришедшей к нам прозе Андрея Платонова. Идея творческой реализации всякого человека в осмысленном труде, идея одухотворения мира — одна из основных у него. Творчество противополагает он социализму по приказу и декрету, с сопутствующим изъятием и истреблением всех сложностей и шероховатостей жизни: «Кому все устранено, тогда оно само получится, что надо»... Человек-творец противостоит людям, которые «были неизвестны самим себе», не познали еще своей творческой миссии. По Платонову, на пути творчества и достижим высший русский идеал «вечной правды».

Наш век должен был осознать эту задачу — и он близок к этому осознанию, как никогда. Испытаны многие возможности, не оправдали себя многие средства социальной хирургии, немало попыток утвердить правду как состояние мира не увенчались бесспорным успехом. В процессе крушения иллюзий и развенчания систем уцелел, однако, сам идеал правды. Он только ушел внутрь человека, стал его тоской («Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь» — В. Высоцкий), но и основой его самостояния. Служба лжи и злу в XX веке становилась иногда заурядно-обыденным делом, но от этого не переставала сознаваться главным грехом человека, его исторической виной и бедой.

На вопрос «как существовать в трясине лжи?» был один достойный ответ. С предельной ясностью его сформулировал А. Солженицын. Я имею в виду его статью-манифест «Жить не по лжи!». Писатель определил минимальный уровень верности высшей правде. Можно никому и ни во что не верить, но невозможно выходить за этот уровень без риска разменять себя на социальные обстоятельства, не всегда приличные.

Русская литература не оставляет нас в беде. Ее творцы и ее лучшие герои и в наше время дают нам пример. Не такой ли завет — судьба Юрия Домбровского, тот опыт человеческого существования, который подарил он герою своего романа «Факультет ненужных вещей» Зыбину? Это опыт стойкости. Жестокая, сумеречная эпоха испытывает русского интеллигента в крайних ситуациях: сдастся, солжет, оговорит себя и других, чтобы выжить,— или устоит, сохранив свое человеческое достоинство? Он устоял.

Двадцатое столетие не оставило камня на камне от многих аксиом, сокрушило едва ли не все земные царства. Империи и догмы рассыпаются в прах — но человек сохранил свое место во вселенной. Казалось, он — навеки инвалид и держится только на идеологических подпорках. Но вот подгнивают и разваливаются эти опоры одна за другой — а человек, кажется, стоит. Пройдя сквозь неисчислимые ужасы и испытав неописуемые муки, он — остался. Со своей надеждой, со стремлением оправдать свое существование и направить его в вечность.

Станет ли путь исторического творчества, устремленного к реализации высших ценностей бытия и первоосновных заветов, личной тропой каждого русского человека? Может ли вот так, ступень за ступенью, весь народ обратиться в авангард, сделаться передовым бойцом в человечестве за высокие идеалы братства? Не будем предрешать. Достаточно мы уже обжигались на мессианизме, на «богоносности». Но неужели заказана возможность увидеть всенародно, всечеловечески воплощенным идеал свободного познания и радостного исторического творчества?

Ярославль

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания. Они были приняты к печати, но затем исключены (в 1973 году) из мартовской книжки ленинградского журнала.

Наборный экземпляр рукописи В. Некрасова «И всегда — человеком (Воспоминания о А. Т. Твардовском)» стал достоянием фондов Ленинградского государственного архива литературы и искусства (ныне ЦГАЛИ Ленинграда).

В одной из стандартных архивных папок рукопись встретилась мне и теперь становится общим достоянием, как и положено быть.

Виктор
НЕКРАСОВ

И ВСЕГДА — ЧЕЛОВЕКОМ

Воспоминания об А. Т. Твардовском

Трудно писать о человеке, с которым так недавно расстался, которого любил, знал больше двух десятков лет, с которым даже дружил, хотя дружба с ним была далеко не легка.

Да, Твардовский не относился к людям, с которыми легко и просто. И хотя, очевидно, с такими людьми общаться всегда приятнее, сама необходимость этого общения не всегда обязательна. С Твардовским же общение, в каком бы настроении он ни был,— а бывал он в разных,— всегда было интересным. Нет, тут надо какое-то другое слово, быть может, «значительным» — не подберу сейчас, но так или иначе это всегда было общение с человеком умным, на редкость неодносложным, очень ранимым и всегда неудовлетворенным, самим собой в том числе, хотя цену себе он знал. Он никогда не старался казаться умнее, чем он есть, но почему-то почти всегда чувствовалось его превосходство, даже когда в споре оказывалось, что прав именно ты, а не он.

Побежденным, как и большинство людей, признавать себя не любил, но если уж приходилось, то делал это всегда так порыцарски, с таким открытым забралом, что хотелось тут же отдать ему свою шпагу. Да, в нем было рыцарство, в этом сыне смоленских лесов, светлоглазом, косая сажень в плечах,— умение отстаивать свою правоту, глядя прямо в глаза, не отрекаться от сказанного и не изменять в бою. Это навсегда привлекло меня к нему.

Мы познакомились с ним почти сразу после войны, в конце сорок пятого или начале сорок шестого года. Обоим было тогда лет по тридцать пять. Но он уже ходил в знаменитых писателях, «Теркина» все знали наизусть, а я пришел к нему в кирзовых сапогах, в гимнастерке с залатанными локтями и робко сел на краешек стула в кабинете. Некоторое время он внимательно и доброжелательно меня разглядывал, а это всегда смущает, потом огорошил вопросом: «Это что же, вы безопасной бритвой так ловко пробриваете усы или опасной?» Я растерялся, но вынужден был признаться, что — да, безопасной. Он часто потом возвращался к этим злосчастным усам: «И вот так вот каждое утро, перед зеркалом, железной рукой? И вот здесь, посередке, тоже? Нуну, очень неплохо надо к себе относиться, чтоб этим заниматься». И пожимал плечами...

Вообще, Трифоныч не прочь был иной раз смутить человека каким-нибудь неожиданным суждением или вопросом. Но в тот раз не думаю, чтоб он хотел чемнибудь задеть меня,— весь вечер он был удивительно внимателен и заботлив. Просто он очень не любил — и не всегда мог это скрыть — людей, слишком много уделяющих себе внимание. Какие-нибудь красные носки или излишне пестрый галстук могли сразу же его настроить против человека так же, как и ходкие жаргонные выражения: «Железно!», «Будь спок!», «Ваши координаты?», «Маяковка». Вообще пошлость в любых ее проявлениях, даже самых утонченных,— а это тоже встречается как высшая форма обынтеллигентившегося мещанства,— была ему противопоказана. Я видел, как на глазах терялся у него интерес к человеку, который мог при нем сказать: «Вы знаете, я часами могу стоять перед Мадонной Рафаэля» или что «Прекрасное остается прекрасным даже в руинах,— Парфенон, например...»

«Ты понимаешь,— оправдывался он потом,— мне с ним просто неинтересно. Мне не о чем с ним говорить. Ну, не о чем. И заметь, эти люди всегда стоят часами, не просто долго, а именно часами. От двух до шести, что ли? По часам смотрел?»

Я говорю сейчас обо всех этих мелочах, вернее,— якобы мелочах, не только потому, что из мелочей складывается целое, а потому, что сейчас, именно сейчас, через какие-нибудь два месяца после того, как я его хоронил, Твардовский близок и дорог мне именно этими его черточками, его взглядом, иногда суровым, редакторским, а иногда таким добрым, даже детским, его улыбкой, замечанием, жестом, когда он вдруг хватал тебя за локоть, переходя улицу,— он не любил потока автомобилей.

Он был очень разным. Меньше всего располагал он к себе за редакторским столом. Сидя в кресле перед этим столом, я всегда чувствовал некий невидимый ров между нами, ров с поднятыми мостами. Но когда эти мосты, случалось, опускались, он весьма ловко, по-мальчишески, по ним пробегал, никогда не теряя при этом, правда, некоторой присущей ему сановности. Не думаю, чтоб сам он очень любил этот стол, но всю необходимость своего пребывания за ним осознавал. С юмором, хотя и не без горечи, часто говорил: «Увы, за рубежом меня куда меньше знают как поэта, чем как редактора некоего прогрессивного журнала».

К призванию своему относился весьма серьезно. Никогда об этом не говорил, но достаточно было на него посмотреть, когда он читал вслух свои стихи, чтобы сразу увидеть его неподдельную радость на верную реакцию его слушателей. А читать он любил. И умел. Читал очень просто, без поэтических излишеств, не теряя внутреннего ритма, но главное — умел доносить мысль, чем многие поэты, увы, пренебрегают, считая, что это убивает поэтичность. Еще больше, чем читать, он умел и любил петь. Признаться, я обычно побаиваюсь застольного пения — мне всегда кажется, что оно заменяет отсутствие темы для разговора,— но у Трифоныча оно ничего собой не заменяло, он просто любил песню. И знал их много — старых, русских, неведомых мне. Особенно хорошо получалось это у них с Казакевичем. У обоих были не очень сильные — да это и не нужно было! — чистые голоса и удивительно верный, тонкий слух. Как-то ночью, в гостинице, кажется, во Флоренции, они оба чуть не до рассвета пели какие-то ямщицкие песни, и только ранний утренний колокольный звон, донесшийся из открытого окна, заставил их умолкнуть. Звон был очень нерусский, католический, и вместе мелодии жить не могли. Они умолкли.

Любя, и не стесняясь этого, все русское, он любил и понимал все нерусское. Мне нравилось, как он ходил по картинным галереям в Италии. Не торопясь и не пытаясь охватить все, он медленно ходил по залам, задерживался у той или иной картины, внимательно разглядывая ее и не боясь задать вопрос, обнаруживающий его некомпетентность. Именно с ним мы обнаружили в галерее Уффици неведомого нам до той поры художника Паоло Учелло, и оба пытались вникнуть в

плоскостно-перспективную загадку этого художника. Твардовский никогда не писал об искусстве, считая себя, очевидно, недостаточно сведущим. Но если бы он писал, то, не сомневаюсь, лишен был бы тех положенных шор приличия и условности, которые заставляют человека восторгаться тем, чем положено, и осуждать осужденное. Возможно, он даже позволил бы себе сказать, что Рафаэль ему меньше нравится, чем Учелло, и даже объяснил бы, почему.

Он любил все красивое. И понимал в этом толк. Красивую песню, стихи, какой-нибудь северный лубяной туесок, красивых людей. И умных. У нас был общий с ним друг, критик, немолодой уже, широко образованный человек, со своими, правда, странностями, над которыми Трифоныч любил иногда подтрунивать. Но как-то, говоря именно о нем, он сказал: «Ты знаешь, почему я многое прощаю умным людям — кроме подлости, конечно,— это потому, что они многого не знают и никогда этого не скрывают. А дурак — ты заметил это? — всегда все знает. Всегда и все...»

Дураков он не любил. Физически не переносил. И особенно за то, что всегда поучают. Это первый признак дураков. «Остерегайся советов,— говорил он.— Почти всегда дают их дураки. Они очень это любят. И людей, которые ссылаются на здравый смысл, тоже остерегайся. Знай — дураки. Это их главный довод. Ведь они самые положительные, самые серьезные люди в мире. Серьезнее всех, да-да! Запомни это на всю жизнь!»

Я никогда не назвал бы Твардовского ласковым. Многие слыхали от него суровые слова. Но это в глаза. За глаза же он умел так хорошо говорить о людях, как немногие. И радоваться чужому успеху тоже умел. Искренно, неподдельно. Появление талантливой рукописи выбивало его из колеи. Об одной из них, помню, он без умолку говорил целый день, увлеченно читал из нее отдельные места, сияя глазами. Такими рукописями он заболевал и отстаивал их потом во всех инстанциях с присущим только ему умением и упорством. Злые языки говорили, что он не любил поэтов, особенно молодых, не растил их, мол. Абсурд! Он просто не любил плохие стихи, ни молодые, ни старые. И прозу тоже. Он не любил посредственности и дороги ей не давал. К содержанию, к уровню редактируемого им журнала относился так же требовательно, как и к своим собственным стихам.

Многие считали, что Твардовский важен, что к нему трудно подступиться. Нет, важен он был только в ресторане. На официантов это действовало безотказно, что и требовалось. Тут был и взгляд, и походка, и неторопливое, обстоятельное чтение меню, и разящее наповал:

«Быстрота обслуживания будет учтена особо». Да, тут он был важен. Но вряд ли можно назвать важным человека, который умудряется кататься на полу в одних трусах, стараясь уложить на обе лопатки Ваню Фищенко, лихого разведчика моего полка. Нет, важным он не был. Важность — удел людей глупых. Просто он не очень любил фамильярность, не с каждым был запанибрата и не считал нужным заключать в объятия всякого, кто бросался к нему через весь зал с криком: «Саша!» А таких было великое множество. «А помнишь, Саша, как мы с тобой вместе...» Нет, не помнил. И не уверен, что это было. Отсюда и важность.

К делам литературным относился со всей серьезностью. Мучительно переживал перегибы на литературном фронте, несправедливости по отношению к кому-либо. Незаслуженную обиду, нанесенную собрату, считал обидой, нанесенной ему. Ходил тогда сам не свой, не находил себе места. «Понимаю, умом все понимаю. И что нисколько это его не унизило, не умалило его значения, что ни в твоих, ни в моих глазах он не стал другим, что время все покажет, поставит на свое место. Но ведь годы идут. И надо работать... А каково ему сейчас! У меня вот карандаш из рук валится, а у него...» В эти дни он был мрачен, песен не пел, застолья избегал. Эти дни укорачивали ему жизнь.

Как-то он сказал мне: «Если мне когда-нибудь будет плохо, не утешай меня, не жалей. Этим делу не поможешь. Выпей за мое здоровье рюмочку, а я почувствую. Мы же все чувствуем, все понимаем...».

В последний раз я видел его осенью прошлого года. Его трудно было узнать. Он сидел в кресле — маленький, в свитере, курил. Куда делась его могучая фигура, его плечи — косая сажень? Поседел. Говорить было трудно. Говорили только глаза. Какие-то удивительно добрые, что-то спрашивающие, тянущиеся к тебе. И улыбка. Приветливая, может быть, даже робкая... Разговор как-то не клеился. Неловко было чувствовать себя здоровым,— говорили неестественно, излишне оживленно, о каких-то пустяках. А он так не любил говорить о пустяках!.. Мы вскоре ушли.

Может, не надо было заходить? Из эгоистических соображений, чтобы сберечь его в памяти не маленьким, седым, сидящим в кресле с пледом на коленях? Впрочем, для меня он остался и таким, уходящим, прощающимся, и другим — строгим, с очками на лбу, с твоей рукописью в руках: «Парень ты тертый, трудностями тебя не запугаешь, вот потрудись еще недельку-другую, я там на полях заметки сделал...», и еще — веселым, шумным, входящим в комнату, отчего она сразу делалась меньше, и хитрым глазом поглядывающим на тебя, и рука в боковой кармане: «Ну как, ноги у тебя порезвее и дорогу знаешь, моложе все же...». И другим помню — подперевшим рукой голову в далекой Флоренции, с полузакрытыми глазами, тихо-тихо выводящим высокую ноту той песни, которая и стихам его, может быть, когда-нибудь помогла, а потом задумчивым, молчаливым, прислушивающимся к мерным, однотонным, совсем не ростовским, совсем не перезвонам итальянского колокола, и, конечно же, помню молодым, лоснящимся от пота, в трусах, переводящим дыхание после схватки с Ваней Фищенко: «Да, не хотел бы и ему „языком" в руки попасться»,— и...

Разным я его видел. И в разное время. И в разном настроении. И поэтом. И гражданином. И другом. И всегда — человеком. Вот потому так больно, потому чувствуешь себя таким осиротевшим, когда такие люди уходят. Может быть, с ним не всегда было легко дружить, но от одного сознания, что он есть, всегда становилось легче.

Публикация
Светланы АНТОНОВОЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Конст. Вагинов. Козлиная песнь. Труды и дни Свистонова. Бамбочада. М.: Художественная литература, 1989.

Одно за другим возвращаются писательские имена, и, наконец, дошла очередь до Вагинова, книги которого почти на шестьдесят лет выпали из издательской обоймы. И вот — в серии «Забытая книга» — появился скромный том (составитель А. И. Вагинова, автор вступительной статьи Т. Л. Никольская).

Романы (может быть, точнее называть их повестями) — продолжение «петербургской темы», исполненное приемами обэриутов (Вагинов входил в ОБЭРИУ). «Теперь нет Петербурга»,— сказано в «Предисловии, произнесенном появляющимся автором», которое открывает «Козлиную песнь».— «Есть Ленинград; но Ленинград нас не касается». Герои вагиновской прозы, писатели и поэты, чудаки-коллекционеры, «тонконогие юноши и птицеголовые барышни» с забавными фамилиями — это «бывшие» (словцо, любимое в 20-е годы): петербургские герои Гоголя, Достоевского, Андрея Белого, прохожие Невского проспекта, обитатели «Петербурга, которого нет», фланирующие теперь по проспекту 25 октября.

Автор рассказывает о них со сложным чувством отстраняющей иронии и лирического соучастия. Эту интонацию хорошо объясняют слова Тынянова, сказанные в те же двадцатые: «Если пародией трагедии будет комедия, то пародией комедии может быть трагедия». «Трагедия» спрятана у Вагинова в смешную и непонятную для непосвященных «козлиную песнь» (буквальный перевод с греческого слова «трагедия»).

Проза Вагинова вообще нелегка для восприятия. Психологическое «вживание» заменяется в ней активной игрой автора с героями и читателями, привычные, бытовые мотивировки — поэтикой гротеска и абсурда. Взаимопроницаемость искусства и жизни — сквозная вагиновская тема. В его прозе есть и герои-писатели и Автор как герой, есть широкий пласт литературных ассоциаций, есть многочисленные намеки на реальных людей из его окружения.

В конце книги границы между искусством и жизнью обычно стираются полностью. Тут вспоминаются уже не только эксперименты двадцатых годов, но и «Пушкинский дом» А. Битова, «другая проза» Евг. Попова и В. Пьецуха.

Не думаю, что у этой прозы будет «широкий читатель», но то, что она найдет *своего* читателя — бесспорно.

И. СУХИХ

Н. Эйдельман. Мгновенья славы настает... Год 1789. Лениздат, 1989.

Сейчас как никогда остра проблема «Россия и мир». Наша общность европейским социальным процессам или наша «особость»? Значит, не только небогатую школьно-вузовскую эрудицию читателя обогатит рассказ о том, как событие мировой истории, имевшее место во Франции, стало «внутренним делом» России.

Перед грозой. Еще веселится Версаль и воздаются полубожеские почести королю. Но уже тревожно прислушиваются на берегах Невы к предгрозовым раскатам с берегов Сены, и внимательно изучает дипломатическую почту самый либеральный государь Европы — императрица Екатерина...

Гроза. Шквалом обрушиваются на Россию известия из Парижа, одно другого удивительнее и страшней. Им внимают кто с недоумением, кто с надеждой, кто с яростью, кто с ужасом. И невинные вчера слова сегодня пахнут Сибирью и Шлиссельбургом...

После грозы. Скачут на деревянных лошадках дети, которым предстоит оседлать боевых коней, чтобы сразиться за судьбу России с наследником и убийцей французской вольности, а еще через несколько лет — показывать следователям на французские книги и дела как на источник своего преступно-свободного образа мыслей. И учится читать и думать по-русски и по-французски мальчик, которого размышления о судьбе *своей* страны приведут к трагической фигуре «Андрея» Шенье — порождения и жертвы революционного переворота...

И новые отзвуки — 40-е, 60-е годы следующего русского века. И юбилеи: 1889, когда не было у нас ни дня, ни ночи, а только «тень огромных крыл»; 1939, когда мы другой такой страны не знали, «где так вольно дышит человек»; 1989, когда лозунги свободы, равенства и братства вновь обрели манящую силу...

Каким блистательным и ничем не омраченным праздником ума и знаний была эта книга еще недавно! А *теперь*... Горько. Ведь ее автор умел, как никто после Тынянова, заставить нас буквально кожей почувствовать, насколько остро его собственная и наши судьбы зависят от того, что было при Павле, Наполеоне, Николае, сколько стóят ныне минувший век или день. Не столь даже горько, что не будет новых книг (утешим себя — он успел поработать за три не озабоченных склоками института), сколь то, что не придет больше к нам Натан Яковлевич, дабы обменяться мыслями со всяким, кто хочет мыслить. Это он умел делать едва ли еще не лучше, чем писать, со вкусом, не многим доступным...

А. ХОДОРОВ

Елена Шварц. Стороны света. Стихи. Л.: Советский писатель, 1989.

Безумно давно, весной семьдесят четвертого года, читала очень еще молодая Лена Шварц свои стихи в Белом зале Дома писателей. Я послушал, разволновался — сам был не пожилой,— да и написал чуть ли не в тот же вечер тогдашнему руководителю ленинградской писательской организации: «Это стихи не просто хорошие, талант не просто симпатичный. Тут большая поэзия: незабываемая образность, отчаянная смелость в обращении с традиционным стихом — смелость не экспериментаторская, не произвол, а необходимость, потому что кристаллическая решетка стихотворного размера слишком жестка и холодна, чтобы передать эту необыкновенную, подвижную, яркую и живую интонацию.

Наконец, это поэзия значительных мыслей, в которой философская культура переплавлена в личную страсть и личное страдание. Да, страсть и страдание, и я понимаю, что эти мотивы, в соединении с резкой необычностью фактуры стиха могут отталкивать чиновников и эпатировать мещан. И этим, конечно, во многом объясняется трудная судьба стихов Елены Шварц,— для них не нашлось места ни в одном из ленинградских изданий. Другая причина, как я полагаю,— скромный, „непробивной", как говорится, характер самой поэтессы: она предпочитает держаться в тени, редко или совсем не предлагает свои стихи редакциям, не ищет заступников и покровителей.

И такое положение как будто никому не причиняет хлопот. Но ведь на самом деле оно ужасно... Сильное, оригинальное дарование обречено безвестности, непризнанию, неудачам, сомнительной, подземной славе... Мне кажется, что мы все совершаем большую и непростительную ошибку, с провинциальным равнодушием относясь к творчеству Елены Шварц. Я убежден, что рано или поздно ее стихи придут к читателю. И лучше, чтобы это случилось не слишком поздно...»

Смешно вспомнить, на что я рассчитывал. Ответа, разумеется, не последовало, а первая книжка стихотворений Елены Шварц вышла в Ленинграде, вот только теперь. Драгоценная книжка. Вот когда видно, что вдохновение — не пустое слово...

Цитировать так же невозможно, как оторвать клочок от пламени. Кто хочет убедиться, что книгу необходимо было издать еще двадцать лет назад, пусть постарается ее купить, вернее — достать: тираж — пять тысяч экземпляров.

С. ЛУРЬЕ

И. Ратушинская. Серый — цвет надежды. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1989.

Описание Архипелага, оставленное знаменитым путешественником, прерывается на пятьдесят шестом годе. Но значит ли это, что дальше нет предмета для «художественного исследования»? Книга украинской правозащитницы посвящена годам, проведенным на «мордовском острове»: 1983—1987. Посадили при Брежневе, выпустили уже при Горбачеве... Ратушинская — из того поколения, для которого солженицынский «Архипелаг» стал не только историей и «тайной свободой», но и инструкцией: «Спасибо, Александр Исаевич, Вы все предусмотрели! (...) Догадалась бы я сама до великого зековского принципа: „Не верь, не бойся, не проси!"?» Впрочем, Ратушинская верит в то, что выбирать надо не благо, а правду; боится, что не хватит сил защитить права человека; наверное, просит Бога послать ей мужество выдержать осаду человека — все ШИЗО, ПКТ, карцеры. А еще надо — вопреки всему — написать в лагере два стихотворных сборника и передать на волю.

Вряд ли диссиденты выпудили нынешние реформы. Их историческая роль оказалась иной — после десятилетий сталинщины нужно было восстановить растоптанное понятие гордости, доказать: человек *достоин* того, чтобы требовать соблюдения своих прав.

Смешно сейчас вспоминать: в те годы, когда Ратушинская томилась в зоне, официальная пропаганда искала «героизм советского человека» в специально организованном, «государственном», покорении Эвереста. Но были и другие победы — не Системы, а Человека. Вся разросшаяся машина подавления «развитого социализма» оказалась бессильной перед худеньким стриженым мальчиком, каким увидела себя Ирина в домашнем зеркале (зеку зеркало запрещено): «Я — победитель!»

Впрочем, откуда взяться в этой книге оптимистической концовке? Зеки не бывают соцреалистами. «Иногда прижимаюсь к этой лагерной, столько повидавшей шкуре щекой. Серый мой, серый цвет! Цвет надежды! Сколько еще стоять этим лагерям на моей земле? Как я смею заснуть сегодня, когда они все стоят?»

М. ЗОЛОТОНОСОВ



СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Э. МАТЮНИН

ПЕТРОГРАДСКАЯ ПРЕМЬЕРА КОМИНТЕРНА

Утратив весной 1918 года официальный статус столицы, Петроград, однако, не был отброшен на периферию политической жизни, по-прежнему оставаясь революционным центром международного пролетариата. Сюда, в Смольный, где теперь размещалась резиденция председателя Исполкома Коминтерна (ИККИ) Г. Е. Зиновьева, возглавлявшего одновременно и Петроградский Совет рабочих и красноармейских депутатов, поступала самая различная информация о состоянии дел в международном коммунистическом движении. В Петрограде решено было провести и первое торжественное заседание II конгресса Коминтерна, а уже затем продолжить его работу в Москве. При этом учитывалось не только желание делегатов конгресса увидеть колыбель революции, но и, воспользовавшись случаем, дать ответ тем корреспондентам буржуазных газет, которые твердили о запустении Петрограда, о бегстве жителей из города и чуть ли не о горах трупов на его улицах и площадях.

Слухи эти сбивали с толку даже наших зарубежных друзей. Чтобы хоть как-то рассеять подобные домыслы, Н. И. Бухарин в статье «Мертвый город — для кого?» писал: «Петроград, прежде всего, есть мертвый город для буржуазии. Где все Путиловы, Романовы, Родзянки, биржевые тузы, дипломатические мошенники, придворные проститутки, гвардейские офицеры и прожигатели ренты? „Одних уж нет, а те далече"».

К открытию конгресса был приурочен и выход книги В. И. Ленина «Детская болезнь „левизны" в коммунизме». В связи с этим в 1-й государственной типографии Петрограда состоялся воскресник, на который, однако, не пришли некоторые руководители предприятия. Сообщив через несколько дней, что причина их неявки была в целом уважительной, а потому имена отсутствовавших не будут пока занесены на «черную доску» газеты, «Петроградская правда» тем не менее напомнила, что «в ответственный момент в первых рядах должны быть именно ответственные работники-коммунисты».

Летом 1920 года субботники и воскресники стали характерной чертой петроградской жизни. В начале июля ЦК РКП(б) опубликовал положение о субботниках, в соответствии с которым каждый коммунист должен был участвовать в них не менее двух раз в месяц. Члены партии, уклонявшиеся от работы на субботниках или же недостаточно серьезно относившиеся к ним, подлежали партийному суду. Еще в начале лета В. И. Ленин подписал постановление Совета труда и обороны об использовании летнего периода для снабжения дровами Петрограда. Большинство участников субботников были заняты на разгрузке дров, баржи с которыми непрерывным потоком двигались по Неве. 10 июля, например, на субботник вышли 60 тысяч горожан. В тот день сотрудники аппарата Смольного разгружали дрова с полузатонувшей баржи. Часть служащих, стоя по пояс в воде, сбрасывали поленья в воду, а остальные вплавь толкали их к берегу. Заработанные в тот день средства были перечислены в фонд подготовки II конгресса Коминтерна.

В самом начале июля был учрежден специальный комитет по подготовке пролетарского праздника в связи с открытием всемирного форума коммунистов. Председателем комитета стал руководитель городского Совета профсоюзов Н. М. Анцелович, а членами его — Д. Н. Авров, Ф. С. Аверичкин, М. А. Трилиссер и другие. Помимо этого комитета был создан совет уполномоченных, состоявший из ряда секций: театральной, художественно-декоративной, хореографической, музыкальной, маршрутной, финансовой, хозяйственно-технической, а также отдела печати.

На заседании художественно-декоративной секции были определены ключевые пункты предстоящего праздника: дворец Урицкого, Смольный, площадь Урицкого, Марсово поле, бывшая Фондовая Биржа, Троицкая площадь. Было решено не возводить громоздких архитектурных построек, а руководствоваться формами самих зданий и прилегающих к ним площадей. Те же архитектурные

сооружения, без которых нельзя было обойтись, должны были быть «решены живописно с минимальной затратой строительных материалов». Дома по пути шествия демонстрантов предполагалось украсить портретами революционных вождей.

Под руководством театральной секции на портале Фондовой Биржи шла подготовка мистерии «К мировой коммуне». В репетициях были заняты профессиональные актеры и любители из драматических кружков и студий Балтийского флота и Красной Армии. Кроме того, для участия в массовых сценах широко привлекались красноармейцы и матросы. Остро стояла проблема костюмов, которых требовалось около двух тысяч.

Прибывавших гостей предполагалось разместить в спешно ремонтировавшейся гостинице «Спартак» (бывшем Гранд-отеле). Кроме того, для этой цели отводилось несколько особняков, таких, как дворец «Интернационал» (бывший Нарышкинский), дворец Ксении Александровны на Мойке и некоторые другие. В разных частях города организовывались временные общежития. Большинство иностранных делегатов размещалось в «Интернационале». На острие ружейного штыка сидящего в вестибюле часового было нанизано множество разноцветных пропусков, без которых вход в «Интернационал» запрещался. В ресторане на завтрак подавали немного черного хлеба — такого кислого, что не привыкшие к ржаной муке иностранцы с трудом проглатывали несколько кусочков, две тощие сардины и стакан жидкого чая с тремя-четырьмя маленькими кусочками сахара. Официанты могли предложить также бутылку розового искрящегося напитка стоимостью пятьдесят рублей, который они называли лимонадом, хотя по вкусу он скорее напоминал иоду. Правда, за ту же цену можно было заказать бутылку пурпурной жидкости, приготовленной, очевидно, из перебродивших фруктов. Эти небезопасные для здоровья напитки были единственным, за что нужно было платить.

Когда английский коммунист Р. Вильямс спросил у секретаря Исполкома Коммунистического Интернационала А. Балабановой, почему в соседней небольшой Эстонии такое изобилие в магазинах сыра, масла, яиц, молока и мяса в то время, тогда как в Петрограде нет даже намека на существование этих товаров, та ответила: «Представьте хотя бы на мгновение, что буржуазная система снова возродилась в Петрограде,— как бы по мановению волшебного жезла открылись бы лавки, на прилавках и в окнах появилось бы продовольствие, но оно появилось бы не потому, что его произвели больше, а потому, что то, что выставили для продажи земельные собственники, капиталисты и их главные приспешники, было бы изъято из того, что дается сейчас детям и больным».

Президиум Петросовета постановил считать день открытия конгресса праздником. Было решено заработную плату и паек за этот день выплатить как за рабочий. В газетах публиковались сведения о делегатах конгресса, интервью с ними, их впечатление о городе. Многие иностранные гости стремились побывать в домах отдыха для трудящихся на Каменном острове. Еще 1 мая 1920 года Петросовет постановил превратить Каменный остров в остров Трудящихся, а соседний — Елагин — переименовать в остров Народных гуляний. В тот же день здесь начались ремонтные работы, а уже 15 мая в бывшие барские особняки прибыли первые отдыхающие. Торжественное открытие домов отдыха состоялось 20 июня 1920 года. Занятый подготовкой конгресса Коминтерна В. И. Ленин не смог откликнуться на приглашение Петросовета и приехать тогда в Петроград, но обещал сделать это позже. «Открытие домов отдыха — начало создания новых условий жизни для трудящихся. Это первый камень того грандиозного здания, где со всеми удобствами будут отдыхать те, кто заслужил отдых»,— писала «Петроградская правда».

Среди посетивших острова иностранцев были и члены британской делегации. Прозрачным солнечным утром их автомобиль пересек Неву и медленно покатил по тенистой аллее, украшенной множеством различных плакатов с изображением серпа, молота и плуга, увитых яркими цветами и снопами золотистой пшеницы. Англичане миновали летний театр примерно на тысячу мест, где, как им сказали, Пролеткульт вместе со спортивными клубами уже поставил ряд грандиозных спектаклей.

По мраморной лестнице делегаты конгресса поднялись в один из дворцов. Он сверкал белизной, зеркальные двери вели в роскошную анфиладу комнат, украшенных лепкой, скульптурой и картинами старинных мастеров. Скованные и несколько даже подавленные всей этой роскошью на шикарных, кофейного цвета диванах сидели петроградские грузчики в тяжелых ботинках и чистых, но изрядно уже поношенных рабочих брюках. «Здесь все восхитительно, а главное — все бесплатно,— лепетала на сносном французском одна из отдыхающих — молодая художница.— Мы приезжаем сюда на две недели, ходим на танцы, концерты, в нашем распоряжении приличная библиотека, игры, прогулочные лодки. А прежде, до революции, мы не могли придти сюда даже из простого любопытства».

Гидом англичан на островах был рыжебородый мужчина лет пятидесяти, в полотняной гимнастерке и белых парусиновых туфлях. Это был повар последнего российского императора Степанов, руководивший теперь системой общественного питания в домах отдыха. К своим обязанностям он относился со всей серьезностью: дважды в день посещал столовые, лично инспектируя качество приготовления пищи. Огромное впечатление на гостей произвел мраморный дворец сенатора Половцева, напоминавший удобно и изящно обставленный греческий храм. В конце анфилады комнат находился небольшой, окрашенный в голубое холл с темно-малиновыми занавесями на окнах и огромным мягким диваном, на который, казалось, нельзя было сесть без риска утонуть. Оглушенные увиденным англичане, однако, рискнули присесть, оглядывая зал. Огромная китайская ваза в углу, подлинный Рембрандт на стене, распахнутые в сад окна — все это придавало ему неповторимую прелесть. «Какое чудо! — воскликнул лидер Коммунистической партии Великобритании (Британской секции Коммунистического Интернационала) С. Панкхерст.— И все это принадлежит русским рабочим. Да нам просто не поверят дома. Вот бы все это показать простым англичанам — лучшего довода за революцию не надо».

Между тем по мере приближения даты открытия конгресса в газетах все чаще публиковались лозунги, рекомендованные агитотделом Петроградского губернского комитета РКП(б). В них выражался оптимизм победившей революции и страстная надежда на революцию мировую. «Наша доблестная Красная Армия является вооруженным авангардом возглавляемого III Интернационалом международного пролетариата!», «Торжество Красной Армии разожжет пламя пролетарской революции в Европе в пожар, испепеляющий руины капитализма!», «Венгерские палачи дождутся веревки!». Были и лозунги-советы, адресованные непосредственно зарубежным братьям по классу: «Итальянские рабочие! Гоните в шею реформистов — они предадут вас в самый трудный час!», «Рабочие Франции! Доколе вы будете терпеть в своих рядах предателей, вроде Ренođеля и Тома?», «В 1921 г. исполняется 50-летие великой Парижской Коммуны. К тому времени Франция должна стать советской республикой!».

Уже к семи часам 19 июля площадь Восстания перед Николаевским вокзалом была запружена народом. Подходили все новые колонны представителей различных районов города. Памятник Александру III скрывала белая трибуна, украшенная зеленью. На фронтоне иокзала алым кумачом пылали слова: «Вечная память павшим на всех фронтах революции!». Первый поезд особого назначения с делегатами конгресса под звуки «Интернационала» медленно подошел к перрону, вдоль которого застыл почетный караул от войск петроградского гарнизона. Вид поезда был необычным. Стекла вагонов блестели, их металлические поручни надраены, окна и крыши обвиты гирляндами живых цветов. На паровозе огромными золотыми буквами сияло «Ленин», а сбоку было выгравировано:

В бою с врагами не забудь:
Тебе мы дали имя «Ленин».
Пусть будет прям и неизменен
К коммуне твой победный путь!

Из окон вагонов выглядывали Балабакова, Шляпников, Калинин и другие. Ленина не было видно. Не оказалось его и в прибывшем в девять часов втором поезде особого назначения. Вскоре к соседнему перрону подошел пассажирский поезд, и особая депутация от петроградского гарнизона и Балтийского флота во главе с членом Реввоенсовета 7-й армии М. Лашевичем устремилась вдоль состава, надеясь увидеть специальный вагон-салон. К их удивлению, из обычного вагона второго класса вышел Владимир Ильич в сопровождении Марии Ильиничны и начальника личной охраны А. Беленького.

После митинга на привокзальной площади делегаты расселись в празднично украшенные трамвайные вагоны и по Лиговке, а затем Советскому (ныне Суворовскому) проспекту отправились в Смольный. В те дни перед Смольным стоял ныне не сохранившийся памятник К. Марксу работы скульптора А. Матвеева — тот самый, о котором побывавший в Советской России американский журналист И. Макбрайд писал: «Спереди он вполне хорош, а когда обойдешь его кругом, оказывается, Маркс держит в руке большой цилиндр. Это просто не вяжется: Маркс стоит в Советской России с цилиндром в руке!». Миновав входную деревянную арку, украшенную цветами и плакатами, делегаты конгресса вдоль застывшего почетного караула балтийцев и мимо спрятавшего за спину цилиндр Маркса направились к Смольному, где сводный хор встретил их «Интернационалом».

В зале заседаний гостей приветствовали члены Исполкома Петросовета во главе с Зиновьевым. Делегатов пригласили к столам, где для них был накрыт легкий завтрак. Многие с любопытством разглядывали мраморную доску с выгравированным текстом Конституции Советской республики и просили перевести написанное.

Бурным восторгом встретили делегаты появление в зале улыбающегося В. И. Ленина, не успевавшего пожимать тянущие-

ся к нему руки. Раздалось дружное «ура». Зиновьев предоставил слово в прошлом депутату Петросовета, а ныне председателю ВЦИК М. И. Калинину, который рассказал делегатам конгресса об истории здания, где они находились, подчеркнув, что все, сделанное Советским правительством, уходит корнями именно сюда, в Смольный. Свою речь он закончил вполне в духе времени: «Пожелаем, чтобы Советская власть захватила весь мир в свои руки».

Исполнив «Интернационал», колонной по четыре делегаты по улице Воинова направились во дворец Урицкого (Таврический), превращенный в своеобразный штаб подготовки международного пролетарского праздника.

Площадь перед дворцом представляла собой сплошной детский цветник. По обе стороны центральных ворот были установлены огромные плакаты с изображением великанов-работников, трубными звуками возвещавших светлый час всемирного пролетариата. До начала торжественного заседания Ленин беседовал с делегатами, фотографировался с ними на память. Одна из фотографий — та, где он запечатлен в окружении большой группы делегатов и гостей конгресса у Садового павильона дворца, долгие годы не публиковалась, в лучшем случае — фальсифицировалась, когда из всего окружения Ленина на фото оставался лишь Горький.

По воспоминаниям путиловца А. К. Мирошникова, у входа во дворец А. М. Горький передал В. И. Ленину букет красных роз со словами: «Владимир Ильич, это Ваш подарок, меня просили передать его работницы с „Красного треугольника". Розы сделаны их руками!» Ленин изумился искусности работы — розы были изготовлены из тонкой цветной резины.

К 12 часам дня Большой зал и хоры были переполнены. В первых рядах, на депутатских скамьях разместились делегаты конгресса. Строгие европейские костюмы перемежались с ярко-пестрыми одеяниями азиатских делегатов. У большинства делегатов — красные банты на груди, у многих в руках цветы. В задних рядах и на хорах расположились гости конгресса. Предоставим далее слово А. Свирскому, корреспонденту газеты «Деревенская Коммуна»: «Из тысячи грудей вырывается приветственный крик. Среди прибывших — Владимир Ильич. Он где-то прячется среди подвигающейся к трибуне группы, но множество глаз бросаются на поиски, находят любимого вождя, тонкими невидимыми лучами бесчисленных зрачков впиваются в него и древние стены дворца оглашаются такими кликами, таким всплеском рук, что совсем не слышно оркестра, играющего „Интернационал"...»

Член австрийской делегации Карл Штейнгард вспоминал: «Я сидел в президиуме рядом с Горьким. Горький говорит: „Смотрите, Ленин!" Мы видим, как Ленин пробирается к трибуне. Его приветствуют с обеих сторон. Наконец, Ленин высвобождается и быстрыми, мелкими шагами идет по проходу. Лица вокруг него светлеют, когда люди видят его улыбку. Слышатся приветственные возгласы, царит приподнятое настроение. В зале жарко. Ленин вытирает платком вспотевший лоб. Он пожимает мне руку и говорит: „Нелегко войти в Петроградский Совет!"»

Пушечный выстрел с верков Петропавловской крепости возвестил всему городу о начале исторического события. По поручению ИККИ Г. Е. Зиновьев объявил II конгресс Коминтерна открытым. Обращаясь к присутствовавшим в зале представителям питерского пролетариата, он сказал: «Товарищи, сегодня в Петрограде совершается великое историческое событие: II конгресс Коммунистического Интернационала вошел в историю уже в ту минуту, когда он открыл свои заседания. Помните этот день! Знайте, это награда за все ваши лишения и за всю вашу мужественную и стойкую борьбу. Расскажите и объясните вашим детям значение сегодняшнего дня! Запечатлейте в сердцах ваших настоящую торжественную минуту!»

Затем, говоря словами газетного отчета, «с большим мастерством, крепкими и меткими словами тов. Зиновьев вколачивает осиновый кол на могиле желтого Интернационала; и делает он это с такой умелостью и силой, что этот кол уже не вытащить никаким Шейдеманам, никаким Носке, никаким Аксельродам...»

Резкий, высокий голос Зиновьева прерывался треском кинокамер. Ни микрофонов, ни синхронного перевода, ни достаточно квалифицированных переводчиков не было, поэтому речь Зиновьева переводилась на немецкий язык Радеком, а на французский — Балабановой.

Затем состоялись выборы президиума конгресса. От имени ИККИ Н. И. Бухарин предложил следующие кандидатуры: Леви (Германия), Росмер (Франция), Launch Сератти (Италия), Ленин и Зиновьев (Россия). Слово для доклада «Международное положение и основные задачи Коммунистического Интернационала» было предоставлено В. И. Ленину. Зал взорвался шумной овацией, все встали, дружно аплодируя. Ленин пытался говорить, но аплодисменты и приветственные возгласы на всех языках продолжались. Овация длилась несколько минут и лишь после того, как Ленин достал часы и показал на них, она стала стихать. Ленин начал доклад и, как сообщал корреспондент, «сразу развернул тему в мировом масштабе. Он говорил не о России только, а о человечестве, о земном шаре». «Буржуазный строй во всем мире переживает величайший революционный кризис. Надо „доказать" теперь практикой революционных партий, что у них достаточно сознательности, организованности, связи с эксплуатируемыми массами, решительности, умения, чтобы использовать этот кризис для успешной, для победоносной революции. Для подготовки этого „доказательства" и собрались мы, главным образом, на настоящий конгресс Коммунистического Интернационала» [1].

Докладчик говорил, почти не заглядывая в записи, и лишь изредка брал в руки один из лежащих перед ним листков. Призыв Ленина совместно осуществить «дело всемирной пролетарской революции, дело создания всемирной Советской республики» потонул в бурных овациях.

Конгресс принял приветствия петроградскому пролетариату, Красной Армии, а также обращение к пролетариям всех стран в связи со зверствами контрреволюции в Венгрии.

После принятия документов торжественное заседание II конгресса Коминтерна было объявлено закрытым. В саду Таврического дворца представители петроградского пролетариата торжественно вручили конгрессу Красное знамя, полученное в свое время Петроградским Советом за героическую защиту города от банд Юденича.

В. И. Ленина на этой церемонии не было. После торжественного заседания он на автомобиле отправился на Каменный остров, где осмотрел дома отдыха для трудящихся. По воспоминаниям заместителя директора домов отдыха А. В. Кондратьева, Ленин с интересом ознакомился с убранством комнат, побывал на кухне, беседовал с отдыхающими. Прослышав о приезде гостя, к дворцу Половцева примчались с цветами детишки из расположенного рядом Дома для детей бедноты и сирот.

С Каменного острова В. И. Ленин приехал на площадь Жертв Революции, где вместе с сопровождающими его товарищами посетил могилу В. Володарского. Около 17 часов к площади от Таврического дворца подошла колонна делегатов конгресса. Под звуки исполненного сводным оркестром Петроградского гарнизона «Траурного марша» Вагнера и орудийного салюта с Петропавловской крепости они возложили к могилам венок из живых цветов с надписью «Всемирный конгресс Коммунистического интернационала от пролетариев всех стран павшим в борьбе за социализм». По просьбе художника И. И. Бродского, Ленин подписал рисунок, сделанный во время его доклада при открытии конгресса. Отметив, что не очень похож на себя, Владимир Ильич, а ответ на возражения окружающих добавил: «Первый раз в жизни подписываю то, с чем не согласен».

В 18 часов колонна делегатов конгресса по улице Халтурина прибыла на площадь Урицкого, где состоялись импровизированные митинги. В одном месте выступал с автомобиля германский делегат, в другом — говорил француз, в третьем — итальянец, еще дальше — посланец Индии.

Ближе к улице Халтурина были установлены витрины с тремя лучшими проектами памятника вождям германского пролетариата К. Либкнехту и Р. Люксембург, который должен был быть заложен недалеко от Дворца искусств (Зимнего). Наибольшее впечатление производил эскиз, представлявший гения революции, освещающего факелом потрясенный начавшейся социальной революцией земной шар. На площади были установлены специальные урны для голосования, куда участники митинга должны были опустить бюллетень со своим мнением относительно предложенных проектов памятника.

Напротив дворца была сооружена большая трибуна для делегатов конгресса, вокруг которой группировались спешенные кавалеристы в красных мундирах и зеленых рейтузах, назначенные для несения почетного караула. В 19 часов в сквере Зимнего дворца состоялась закладка памятников вождям германской революции, а также героям Парижской Коммуны. Интернациональный митинг открыл Зиновьев, предоставивший слово Ленину, который выступил с краткой речью о внутреннем и международном положении Советской республики. По окончании митинга В. И. Ленин посетил А. М. Горького в его квартире на Кронверкском проспекте, а затем специальным поездом отбыл в Москву.

Вечером и Митинговом зале Дворца труда состоялся праздничный банкет. Перед гостями выступили ведущие артисты Петрограда, хор Балтийского завода исполнил революционные песни. Затем трамваи доставили делегатов конгресса на стрелку Васильевского острова, к зданию бывшей Фондовой Биржи, на ступенях которой была разыграна грандиозная инсценировка «К мировой Коммуне».

Перед Биржей все было черно от народа, даже на противоположном берегу Невы столпились желающие увидеть грандиозный спектакль. За спинами публики, почти у самой кромки воды, была сооружена вышка, где разместились режиссеры К. Марджанов и С. Радлов, поддерживавшие связь со «сценой» по полевому телефону. О начале инсценировки, состоявшей из трех частей (по числу Интерна-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 228.

ционалов), каждая из которых, в свою очередь, делилась на двенадцать картин, было извещено залпом орудий Петропавловской крепости.

Несколько дней спустя «Красная газета» опубликовала статью Ларисы Рейснер «О Петербурге», где она делилась впечатлениями об увиденном. «Особенно прекрасен бал сытых и сильных у ступеней трона, под шопеновский вальс с бряцанием наручников, которые куют себе рабочие. И расстрел первой коммуны, и начало войны...— все это хорошо до слез, и в толпе, огромной, неподвижной, происходит трепет и содрогание, и ей трудно дышать и безумно хорошо... А какой великолепный смех, какое лукавое, мудрое, уничтожающее улюлюканье при виде книжников и интеллигентов, голосующих своими толстыми и лживыми томами за военные кредиты 1914 года...»

Усталые и счастливые, переполненные впечатлениями, делегаты II конгресса отправились трамваями на вокзал, мечтая поскорее добраться до своих купе. И только жизнерадостные итальянцы, казалось, никуда не спешили и, сидя на гранитных ступенях у самой воды, дружно пели «Бандера росса».

20 июля вечером гости Петрограда отбыли в Москву. Петроградская премьера Коминтерна вполне удалась.

Есть такой анекдот...

«ТАК ЧТО ЖЕ ОНИ ТАМ ПЕРЕСТРАИВАЮТ?!»

Буденного спросили:
— Вам нравится Бабель?
Он лихо покрутил ус и ответил:
— Смотря какой бабель!

Институт Стали переименован в институт Лени.

В Кремль пришла телеграмма: «Переименование города одобряю. Иосиф Волгогрвдский».

— Для чего стали примеси в хлеб добавлять?
— А чтобы скотина не ела.

— Что добавляют в хлеб?
— Муку.

— Где больше всего хлеба?
— В котлетах.

Какой самый дорогой автомобиль? «Запорожец»: на него всю жизнь деньги копят.
Какой самый холодный автомобиль? «Жигули»: на них все в дубленках ездят.
А какой самый тесный? «Волга»: на ней всегда только один пассажир едет.

Если у них все так плохо, а у нас все так хорошо, то почему у них все так хорошо, а у нас все так плохо?

На общем собрании студент восклицал:
— Что за бардак!
Старый профессор поправляет его:
— Молодой человек, в бардаке был порядок!

Вопрос Брежневу:
— Как ваше имя-отчество?
— Зовите меня просто — Ильич!

— Как правильно жить?
— Как ездят в трамвае: не занимать передних мест и не высовываться.

— Что такое оптимист?
— Это тот, кто думает, что хуже уже не будет.

— Что такое пессимист?
— Хорошо информированный оптимист.

— Что такое оптимист?
— Хорошо инструктированный пессимист.

Пессимист говорит:
— Хуже не будет!
А оптимист:
— Нет будет! Нет будет!

— Что такое демократия?
— Это когда тебя пошлют подальше, а ты идешь куда хочешь.

Вопрос армянскому радио:
— Можно ли проскакать на коне из города-героя Волгограда в город-герой Москву?
Отвечаем:
— Можно, если коня по дороге не съедят в городе-герое Туле.

— Что такое сверхдефицит?
— Селедка, завернутая в туалетную бумагу.

Когда будет решена жилищная проблема — к 2000 году от рождества Христова или от начала перестройки?

Петька спрашивает Чапаева:
— Василий Иванович, а что такое — гласность?
— А это, Петька, значит, что ты можешь говорить, что хочешь,— и про меня, и про Фурманова. И ни-че-го тебе, Петька, за это не будет — ни седла нового, ни бурки, ни отпуска!

Штирлиц пошел в лес за грибами. Искал, искал — ничего не нашел. «Да, видно, не сезон»,— подумал Штирлиц и сел в сугроб.

Штирлиц идет по лесу. Видит — в дупле два огонька, два глаза. «Это дятел»,— подумал Штирлиц.
«Сам ты дятел!» — подумал Борман.

Штирлиц шел на встречу со связным... Он узнал его по грязным рукам (нет мыла), по буденовке и по стропам парашюта, волочащимся за ним.

Штирлиц подходит к кассе, лезет вперед. Фашистские офицеры возмущаются:
— Позвольте, господин Штирлиц! По какому праву вы так себя ведете?!
— А Героям Советского Союза без очереди! — отвечает Штирлиц.

Штирлиц в загуле. В косоворотке, в русских сапогах. На столе соленые огурцы и бутылка водки. Он поет русские песни... Напротив, склонив голову, сидит Мюллер и задумчиво смотрит на него. За кадром голос Копеляна:
— В этот день Штирлиц, как никогда, был близок к провалу.

Штирлиц пришел в свой кабинет, тщательно осмотрел его, заперся и вынул из сейфа балалайку. Начал играть. Вдруг ему послышалось, что где-то тоже играют на балалайке. Он выглянул в коридор. Там в одиночестве сидит дежурный офицер Абзера и меланхолически тренькает.
— Вы с ума сошли! — говорит Штирлиц.
— Только вам, что ли, родину вспомнить хочется?

Человек приходит в поликлинику.
— Мне нужен врач по уху и глазу.
— Нет такого врача! — отвечают.— Есть отдельно: ларинголог — это ухо, горло и нос, а по глазам — окулист.
— Нет, мне нужен один — по уху и по глазу!
— А почему? Что у вас за болезнь такая?
— А я слышу одно, а вижу другое.

Грабители напали на прохожего.
— Да что вы, ребята, откуда у меня деньги?!
— А ты кто?
— Инженер.
Тогда главарь шайки говорит:
— Васька, дай ему десять рублей!

Во времена Хрущева вызвали тень Сталина.
— Ну, что нового? — спросил он.
— Да вот тут Даниэль с Синявским все пишут что-то не то...
— Это какой Синявский — который про футбол говорит?
— Нет, другой.
— А надо ли нам два Синявских?

— Как будем жить теперь?
— По-брежнему! — ответила старуха.

Американский президент спрашивает у Брежнева:
— Как это вы снабжаете такую огромную страну?
— А очень просто: привозим все в Москву, а оттуда каждый везет, куда ему нужно.

— Колобок, колобок...
— Я не колобок, я чернобыльский ежик.

Объявление: «Вступлю в партию. КПСС не предлагать».

— Что такое КПСС?
— Глухие согласные.

У Лигачева звонок теперь звонит не «дзинь-дзинь», а «гдлян-гдлян».

Анкета. «Имеете ли правительственные награды?» — «Да. Один раз обедал в цековской столовой».

— Что такое: длинное, черное, питается картофелем?
— Очередь за мясом.

Пессимисты предвидят трудности, а оптимисты их переживают.

В парфюмерный магазин заходит мужик.
— Мне два тройных и одну «Красную гвоздику».

в деревне Славковице, долгие годы жил и работал учитель Йосеф Конерза. Выходец из бедной крестьянской семьи, Йосеф, благодаря незаурядным способностям и поддержке прогрессивных педагогов, смог успешно окончить гимназию, а потом и учительский институт.

Его студенческие годы совпали с бурными событиями на Балканах. Чешская молодежь, подвергавшаяся, как и весь народ, притеснениям и унижениям со стороны австро-венгерских поработителей, глубоко симпатизировала южным славянам, поднявшимся на борьбу против турецкого ига. Развертыванию этой борьбы способствовало вступление России в войну с Турцией. В 1877 году девятнадцатилетний Конерза с тремя товарищами отправился «на помощь славянам против турок». Но изнурительный поход по горам и лесам оказался им не по силам. Трое вскоре вернулись, а Йосеф еще некоторое время продолжал путь. Обессилевшего, его подобрали добрые люди и доставили на родину.

В Брно студент Конерза принимал активное участие в рвботе литературного кружка. Там он занялся основательным изучением славянских языков, особенно русского. И уже в 1879 году опубликовал в одном из сборников перевод повести А. С. Пушкина «Дубровский».

А в 1880—1882 годах познакомил читателей с произведениями Л. Н. Толстого. Это были «Кавказский пленник», «Три смерти» и один из «Севастопольских рассказов».

Потом были «Отцы и дети», «Стихотворения в прозе» и воспоминания о Белинском И. С. Тургенева; «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя; «Сибирские очерки» и «Черкес» В. Г. Короленко; «В бою», «Медведи» и «Сигнал» В. М. Гаршина; «Наезды», «Историческая справка о годе 1813» и «Лейтенант Белозор» А. А. Бестужева-Марлинского... С 1878 по 1906 год Конерза переаел и опубликовал более тридцати произведений русских писателей да еще тридцать два польских, десять болгарских, шесть сербских и хорватских.

Все его скромное учительское жалованье, все доходы от домашнего хозяйства уходили на приобретение книг иностранных писателей и на их поиски. Издательства охотно публиковали его переводы, а гонорар, увы, платили грошовый, да и то не всегда. И он решает: обратиться за помощью к Льву Николаевичу.

Текст письма Конерзы, написанного по-русски, впервые был опубликован журналом «Ческословенска русистика» (1965, № 10) в статье д-ра Штепана Колафы «Из переписки деятелей чешской культуры с Л. Н. Толстым». В публикации точно соблюдены орфография и пунктуация оригинала.

Вот она, копия письма Й. Конерзы, сделанная Шт. Колафой:

«Ваше светлость! Милостивый Государь!

Я прошу извинить, что я осмелюсь от Вашей светлости этим письмом милости требовать.

Занимаясь переводением отличных русских сочннений на чешский язык я перевел в продолжении нескольких уже лет замечательное число романов, повестей и различных статей (граф Лев Николаевич Толстой, Иван С. Тургенев — с которым я переписывался, Дружинин, Ал. Потехин, Погосский, А. Коваленская, Пушкин, А. Н. Пыпин, барон Брамбеус, Масалский, „Вестник Европы" и так далее).

В настоящее время я имею в умысле перевесть Вашей Светлости „Войну и мир", „Первый винокур" и некоторые повести, так как две редакции этих переводов от меня требуют. Но я кроме „Анны Каренины", одного тома „Русской библиотеки" (граф Лев Ник. Толстой) и нескольких меньших повестей других оригиналов и то самых замечательных незнаю, потому что у меня нет средств на покупание нужных дел русских. Гонораров у нас неполучается за переводы иногда совсем, иные разы самые незначительные. Потому я во имя славянской взаимности осмеливаюсь просить Вашей Светлости, милостивый Государь, о подарование самого новейшего полного собрания Ваших сочинений, дабы мне возможно было сделать для чехов лучший выбор относительно переводов Ваших очень занимательных сочинений. Я надеюсь в чувство славянской взаимной благотворительности Вашей Светлости, что, моего желания немилостиво неотвергнете.

Меня очень урадовала звесть о сочинении Вашей Светлостью „Первого винокура". Да, вот, чего наши славянские писатели боятся,— писать для простолюдина, для мужика и т. п. Пьянство я сочетаю за самое роковое зло мира славянского. Вот язва ужасная, на которую нужно безоткладно обратить внимание народных деятелей, всех благонамеренных, честных людей. Потому и я взялся за дело — и устроив в нашей деревне „Общество против пьянству", я составил книгу „Pryč s kořalkou" (Непите водки!) и напечатав в 5.000 экземпляров собственным изданием я распрострвнял их в продолжении нецелого года; книге моей досталось бесчисленных похвал со стороны газет, писателей, посланцев, учителей, духовенства, эпископов и Й. Эксцелленции графа Шенборна, наместника Иего Вел. Императора на Мораве. Духовенство читает эту книжку в церквах! Но я утерпел для меня, незажиточного деревенского учителя с семьей неприятный дефицит. Одно обстоятельство утешает меня, именно, что наш люд чрезвычайно, удивительно рад мою книгу читает и что та самая имеет на нашего простолюдина благое влияние. Это сочинение однако назначено есть и для образованных, особенно для учителей, духовенства, фабрикантов, посланцев, словом для всех чехов. Книга „Pryč s kořalkou!" издана будет в краткое время также на словацком в Уграрии и по немецки. Я дозволю себе послать Вашей Светлости современно 1 экз. моей книги с просьбой:

Извольте, Ваша Светлость, постараться по возможности о русский перевод (обработку) моей книги для пользы русского народа.

Вашей милости надеется покорнейший слуга

Josef Konĕrza
V Slavkovicich u Nového Města na Moravĕ
(25. srpna 1886)».

Автор статьи указывает, что оригинал письма хранится в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве.

Пишу в Музей. Отвечают, что письма Конерзы у них на хранении нет и что оно не упоминается ни в собраниях сочинений Толстого, ни в литературе о нем. Отрицательный ответ пришел и из Пушкинского Дома в Ленинграде. А между тем Штепан Колафа на мой запрос ответил, что в Музее Толстого держал в собственных руках оригинал письма и там же воспроизвел его содержание для будущей статьи.

Снова пишу в Москву и получаю следующий ответ:

«Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого в ответ па Ваше письмо от 6 февраля 1984 года может сообщить следующее:

Письмо Конерза Йосефа к Л. Н. Толстому от 25 августа 1886 года хранится в нашем рукописном отделе среди писем к Л. Н. Толстому иностранных корреспондентов, хотя написано оно по-русски. Видимо, сотрудник, который подготавливал ответ на Ваш запрос в 1982 году, справлялся о письме только в картотеке писем, написанных по-русски, т. к. именно в этой картотеке значатся письма переводчиков, написанные по-русски. И фамилию этого корреспондента в своем запросе 1982 г. Вы написали только в русской транскрипции: Конерза.

Ответил ли Л. Н. Толстой на письмо этого корреспондента, установить не представляется возможным, т. к. никаких помет об этом на письме нет».

Ответ подписала заведующая отделом З. Н. Иванова.

Итак, ответа Конерза не получил. Как мог Лев Николаевич, очень аккуратный в переписке, не ответить своему корреспонденту, тем более зарубежному? Вероятнее всего, это письмо по какой-то причине «не дошло» до него.

Вместе с письмом Конерза посылал Толстому свою книгу. Колафа утверждает — книга хранится в Ясной Поляне, но мне ответили, что ее там не обнаружили. Надеюсь, и она найдется...

Таков итог моего длительного поиска: отправился за внуком, а пришел к деду. Но затраченных усилий и времени не жалею: чувствую, что стал богаче.

Из писем в редакцию

Почти в любой мемуарной книге на иные репутации неизбежно падает какая-то тень, причиняя страдания тем, кому эти репутации дороги. На автора и на издателя обрушиваются упреки, опровержения; от них требуют документальных доказательств...

Когда речь идет о событиях и людях эпохи, официальные документы которой либо засекречены, либо фальсифицированы, свидетельства немногих уцелевших очевидцев сами становятся основополагающими историческими документами.

Приводимые заинтересованными лицами доводы не в силах, по нашему мнению, подорвать доверие к таким значительным произведениям, как «Эпилог» В. Каверина и «Записки об Анне Ахматовой» Л. Чуковской.

Но справедливость требует, чтобы выслушаны были все.

В журнале «Нева» № 2 за 1989 год в материалах Я. Гордина о процессе Иосифа Бродского среди цитируемых им записей Ф. Вигдоровой упомянута моя фамилия в несколько двусмысленном контексте. Этот факт дает повод моим недоброжелателям, а также некоторым, неосведомленным о подробностях процесса читателям упрекать меня в разных грехах и чуть ли не в антисемитизме.

В целях сохранения исторической правды

считаю необходимым заявитъ, что к так называемому «делу Бродского» я лично не имел ни малейшего отношения. Это могут подтвердить свидетели, выступавшие в суде: как Наталья Иосифовна Грудинина, живущая в Ленинграде, так и профессор Ефим Григорьевич Эткинд, ныне проживающий в Париже. Это обстоятельство, наконец, известно и самому Я. Гордину, присутствовавшему на суде.

Что же касается моего тогдашнего отношения к стихам Иосифа Бродсково, то я не столько возмущался (это высказывание относится к вкусовым формулировкам свидетелей), сколько со свойственной молодости несдержанностью действительно искренне смеялся над некоторыми его строчками. Например, над такими:

...на деревьях груши,
Как мужеские признаки, висят...

Признаюсь со всей откровенностью, что и сейчас, по прошествии почти трех десятков лет, эти строчки по-прежнему вызывают у меня улыбку, несмотря на осененность их автора высоким званием Нобелевского лауреата.

Л. КУКЛИН

В «Неве» № 8 опубликованы главы из произведения В. А. Каверина «Эпилог», в котором нанесено жестокое оскорбление чести моего отца — ленинградского писателя Евгения Александровича Федорова, скончавшегося в 1961 г. На мне лежит нравственный долг оградить его память от инсинуаций, помещенных в главе «Один день 1937 года».

Этот год является зловещим символом, поэтому название главы сразу задает читателю вполне определенный эмоциональный настрой. С хронологией, однако, творится что-то неладное.

Е. А. Федоров вступил в Ленинградскую организацию Союза Советских писателей (ЛО ССП) 25 октября 1937 г. и, таким образом, навряд ли мог успеть побывать в 1937 году в писательском доме отдыха вместе с В. Кавериным. Затем в тексте следует временной скачок в 1940 г. (описание заседания Секретариата ЛО ССП). Совсем непонятно, к какому году следует отнести появление недвусмысленного молодого человека «в полувоенной форме», но понятно, что оно связано с Е. А. Федоровым.

Становится очевидным, что построение этой главы преследует определенную цель: создать образ Е. А. Федорова как человека, в присутствии которого люди испытывали «чувство неприятной зависимости», их «слегка прохватывает, как в ознобе», они испытывают также «чувство невольной настороженности».

Кульминацией является описание заседания Секретариата, на котором оглашаются доносы, направлявшиеся Е. А. Федоровым по «определенному адресу» (что это значит, ясно всем).

При этом Е. А. Федоров назван «грязным пройдохой».

Таким образом, имеем в назидание потомству завершенный литературный портрет Е. А. Федорова — Фаддея Булгарина советской эпохи...

В свяэи с этой клеветнической публикацией я просмотрел ряд документов и копий писем, хранящихся в семье покойного Е. А. Федорова, и на основании их делаю следующее заявление.

Е. А. Федоров не сразу же по вступлении в ЛО ССП стал членом Секретариата, а спустя некоторое время, и не по загадочным причинам, на которые намекает В. Каверин, а как человек, уже имевший большой опыт работы на ответственных руководящих должностях. Ему была поручена в ЛО ССП финансово-хозяйственная работа, в процессе которой им был вскрыт ряд серьезных финансовых злоупотреблений (расточительство государственных средств). Все его выступления, направленные на пресечение этих злоупотреблений, привели к тому, что его стали игнорировать и отстранять от работы. В связи с этим 26 января 1939 г. он направил письмо секретарю Ленинградского горкома ВКП(б) тов. Кузнецову А. А., но его обращение осталось без ответа. Тогда 21 июня 1939 г. по тому же вопросу он обратился к отв. секретарю Союза Советских писателей А. А. Фадееву (в письме частного характера, испрашивая совета, как быть). Копия последнего письма у меня имеется. А. А. Фадеев это письмо отправил в распоряжение именно тех лиц, о деятельности которых Е. А. Федоров ему сообщал (в наше время такая практика уже стала привычной; в то время это считалось нарушением этики). В результате Е. А. Федоров стал «персоной нон грата» и 4 сентября 1939 г. (а не в 1940 г.) был отстранен от работы в Президиуме ЛО ССП с весьма расплывчатой формулировкой: «активного участия в работе не принимал», «вносил ненормальности в работу правления своим поведением» (выписка из протокола у меня имеется).

Это все, что мне известно о «толстом пакете доносов». Ни письмо к А. А. Фадееву, ни остальная переписка этого периода не содержит ни малейших признаков каких-либо инсинуаций политического характера, на которые отнюдь не деликатно намекает В. А. Каверин.

Нравы организаций с «определенными адресами» в те времена были весьма крутыми, и полагаю, что если бы имели место доносы политического характера, то навряд ли Правлению ЛО ССП удалось бы так эффективно пресечь «вредную деятельность» Е. А. Федорова.

Поэтому я убежден, что покойный В. А. Каверин не мог бы представить какие-либо документальные свидетельства в подтверждение своей клеветы, да я и сомневаюсь, что редколлегия могла попросить его это сделать, положившись на порядочность широко известного писателя.

Тем самым редколлегией допущена неосмотрительность и безответственность.

О. Е. ФЕДОРОВ

В своем «Эпилоге» («Нева», 1989, № 8), содержащем интересные главы о Тынянове, Солженицыне, Твардовском и других знаменитых литераторах, В. Каверин походя допустил ряд несправедливых выпадов против моего отца. Еще в юности я узнал о резком ухудшении их личных отношений. Это бывает. В таких случаях особенно необходима точность изложения фактов и сдержанность суждений. Поэтому, предлагая к изданию фрагменты отцовских «Дневниковых записей», я не включил в них эпизоды с участием Вениамина Александровича. Теперь же считаю своим долгом ответить на ряд пассажей в его мемуарах.

Начну с характерного умолчания. Рассказывая о собрании, на котором громили писателя Л. Добычина, Каверин пишет: «Не помню других выступлений. Почему никто — и я в том числе — не выступили в защиту Добычина, объяснить легко и в то же время трудно. Конечно, трусили...». Однако на этом собрании в защиту Л. Добычина выступил М. Слонимский. Об этом недавно рассказали в «Огоньке» М. Чуковская и в «Звезде» В. Бахтин в своих очерках о Добычине. Мой отец вспоминает в «Дневнике», что Федин, Н. Чуковский и Г. Гор просили его назвать их фамилии как поддерживавших Добычина. А вот В. Каверин в тот момент действительно сдрейфил. Это тоже бывало со всяким, особенно в страшные сталинские времена. Позже, в конце 50-х, в 60-е годы В. Каверин, как известно, часто и смело выступал с речами и письмами в поддержку сочинений Булгакова, Солженицына и других прославленных корифеев литературы, совместно с рядом авторитетнейших писателей подписывал благородные ходатайства и протесты. В те годы это уже не было столь жизненно опасным, хотя сулило серьезные неприятности.

Я исключил абзац из представленных полтора года назад фрагментов «Дневника», но теперь вынужден привести его целиком:

«Когда я шел к трибуне, вдруг кто-то схватил меня за руку. Я оглянулся и увидел искаженное ужасом лицо Каверина:

— Меня не называй!»

Быть может, не совсем случайно забуксовал автоматизм памяти у мемуариста? Забылось самое стыдное, а неприязнь к человеку, поборовшему страх, усилилась. Между тем кто и как выступил, а кто промолчал на том собрании, где травили малоизвестного, ярко талантливого писателя Добычина — объективный, легко проверяемый факт общественной жизни.

Зато невозможно документально проверить и точно установить другое, больше похожее на сплетню — то, что В. Каверин хорошо запомнил и уверенно цитирует, хотя сам этого не видел. Якобы М. Слонимский «однажды перебежал на другую сторону улицы» при виде Зощенко, оправдывался перед В. Пановой за то, что вместе с ним появился у нее в гостях, а М. Зощенко раздраженно жаловался на это Каверину, приехавшему из Москвы в Ленинград на короткий срок.

Прежде всего, подчеркну, что сам М. Слонимский был обруган в том же Постановлении ЦК 46-го года, что и М. Зощенко (за «ошибочный очерк»), что он никогда и нигде ни разу ни одного слова не сказал против Зощенко и не «отмежевался» от него, хотя ему не раз предлагалось это сделать. Предлагалось и на собрании с участием Жданова, резко критиковавшего «Серапионовых братьев» за «аполитичность» и много раз позже. Отец отказался — и попал в Постановление, несколько лет не печатался и сидел почти без денег, это уж я хорошо помню. Лауреат Сталинской премии, получивший ее в эти же годы, нормально издававшийся Каверин, 40 лет спустя читает мораль покойному Слонимскому, в те годы осужденному в Постановлении ЦК вместе с Зощенко...

Действительность же была гораздо суровее и страшнее расхожей мелодрамы, согласно которой предатели-друзья из трусости перебегали улицу при встрече с одиозным гением. (Кстати, сам Каверин пишет, что Зощенко бывал в гостях у Пановой, знаю, что с ним часто виделись И. Меттер, М. Козаков и другие, не попавшие в Постановление писатели.)

Это было первое постановление ЦК об искусстве. За его жертвами несомненно следили. Вылавливали не просто групповщину, а — нельзя ли состряпать антипартийный, антисоветский «серапионовский» заговор? Ведь и Каверин рассказывает о попытке НКВД соорудить «заговор Тихонова».

Мой отец в «Дневнике» утверждает, что сам Зощенко предложил ему некоторое время не встречаться, а «сноситься через жен» («могут сварить серапионовский заговор»). Возможен ли такой вариант? Вполне.

Не помню, кто из компетентных людей поведал моему отцу после смерти Сталина необыкновенно странную, но достоверную тайну. Оказывается, Сталин дал негласное указание не арестовывать никого из тех, кто раскритикован в постановлениях ЦК по вопросам искусства. Он счел, что они достаточно наказаны и бунтовать не собираются. Факты подтверждают эту версию. Ни Зощенко, ни Шостакович, ни другие деятели искусства, названные и грубо, несправедливо обруганные в тогдашних руководящих документах, не были репрессированы. Об этом секретном указании никто в мире искусства не знал. Мой отец ожидал ареста много раз. Вероятно, упоминание его имени в Постановлении спасло и ему жизнь... Между тем к этому времени уже погибли в лагерях и Мейерхольд, и Мандельштам, а многие писатели, поэты, театральные деятели пребывали в местах отдаленных и вернулись (те, кто выжил) только после 1953 г. Шоферы такси часто спрашивали: «Ведь в этом доме до ареста жил Зощенко?» И удивлялись: «Как, разве он еще не арестован?» При всей трагичности судьбы Михаила Михайловича, слава богу, что он хотя бы избежал ареста, лагерей, расстрела.

(Но жизнь не была бы сохранена, если бы «виновные» общались явно или тайно — в этом случае они бы «готовили заговор» или могли бы его готовить. Для крупных и мелких охранников мнительного «светоча человечества» этого предположения было бы достаточно...)

Мог ли сам Зощенко позже обидеться на отца за его согласие некоторое время не встречаться? Мог, ибо обидчивость и гордость Михаила Михайловича вошли в легенду еще в молодые его годы. Но в этом случае обида не была долгой, отношения не были нарушены, тем более порваны. Мои родители при мне много раз беседовали с Зощенко, они часто встречались (об этом пишет и моя мать в своих воспоминаниях). Сохранились его книги с трогательными надписями, сделанными в последние годы жизни М. М. Когда в середине 50-х годов на встрече с английскими студентами Зощенко выразил несогласие с Постановлением, отец на моих глазах уговаривал тогдашнего председателя Союза В. Кочетова не преследовать смертельно больного писателя.

Однажды я подошел к телефону — отцу позвонил Михаил Михайлович. И он прежде, чем позвать моего отца, доброжелательно поговорил со мной о моем юношеском скрипичном концерте, который не поленился прослушать по радио. Это было в 1955 году. Ясно, что его доброе внимание ко мне, зеленому новичку, определялось лишь одним — добрыми отношениями с моим отцом. Мне же никогда не было дома сказано, что нужно избегать встреч с Зощенко. Я часто видел его и на бульваре, и в поликлинике, почтительно здоровался, в голову не приходило убегать от него. Вульгарная перебежка на другую сторону улицы — не в

характере моего отца. Пусть те, кто это видел, докажут, что так было.

М. Слонимский, как и Зощенко, был участником первой мировой войны, добровольцем. Он не был трусом, предателем, и не стоило Каверину упрекать его в этом. Ведь и самого Зощенко посмели в 46 году обвинить в трусости, что он с негодованием отверг...

Не забудем о презумпции невиновности и в моральных вопросах.

Упоминаемый Кавериным роман Слонимского «Крепость» был написан не после войны, а в 1932—33 годах и вскоре был запрещен к публикации в «Советском писателе» и в Гослитиздате. Печатание романа, начатое в «Красной Нови», было прекращено. Почему? Неужели потому, что роман был «направлен против Бухарина, Зиновьева и Каменева»? Нет, он был запрещен потому, что члены ленинградской оппозиции (ее руководители вообще не выведены в романе, а имя Бухарина названо в числе вождей) изображены не как враги народа, а как нормальные люди. Роман не годился для кампании психологической подготовки репрессий. Посылало ли руководство издательства или союза писателей роман Сталину, я не знаю. Фадеев собирался это сделать, судя по переписке с отцом. Но разрешение на публикацию не было получено. А после убийства Кирова, после того как началось «ленинградское дело», роман был окончательно запрещен. И ничего постыдного, разумеется, в этом нет. Стоило ли наводить тень на никому, кроме меня, не известную неопубликованную рукопись?

И последнее. В. Каверин пишет, что А. Дементьев показал ему «десять отречений» «Серапионов» от своей молодости, что отреклись все, кроме Зощенко и самого Каверина. Но ведь «Серапионов» было вообще всего десять человек! Посчитаем: Зощенко, Лунц, Каверин, Федин, Тихонов, Вс. Иванов, Слонимский, Никитин, Полонская, Груздев. Лунца давным-давно не было в живых, остаются семь «отступников». Но где эти отречения? «Горький среди нас» Федина с апологией «Братства»? Воспоминания М. Слонимского с теплыми рассказами о друзьях молодости, вышедшие в 1965 году? Если кто-либо был не согласен с ними или считал, что отец не имел морального права столь горячо и дружески писать о Зощенко (а ведь именно в 1965 году впервые напечатаны добрые слова о Зощенко — одновременно моим отцом, К. Чуковским и, судя по «Эпилогу», самим В. Кавериным в его «Белых пятнах») — он мог вступить в открытый спор с моим отцом при его жизни.

В. Каверин — последний серапионов брат, он пережил всех своих товарищей молодости. При всех резких изменениях их общественных позиций и личных взаимоотношений, никто из них никогда и нигде публично не оскорбил никого из былых товарищей, не нарушил законов Братства. Жаль, что столь почтенный и авторитетный писатель, чью общественную деятельность 60—80-х годов я высоко ценю, не удержался от посмертного сведения личных счетов. (И жаль, что я не знал его мемуаров раньше и не мог ответить ему при его жизни (публикация-то — посмертная) — я ответил бы тогда резче и короче. Теперь же хочу только призвать к серьезной и неторопливой проверке всех фактов, свидетельств, документов.) Ведь «Серапионовы братья» — это уже история советского искусства, яркая ее страница. Я не литератор, а музыкант, но это ясно и мне как читателю.

Быть может, не так уж важна репутация и честь М. Слонимского, общественная деятельность которого в последние его годы ограничивалась ленинградской литературной жизнью (хотя и он, как и В. А. Каверин, хлопотал о помещении в «Звезде» «Ракового корпуса» Солженицына)? Но ведь это мы уже проходили, и не раз. Каждый человек — не песчинка, не винтик, а личность, пóходя давить которую никто не волен. А честный, талантливый писатель, воспитавший немало ярких коллег (среди них и член редколлегии «Невы» Андрей Битов), заслуживает и внимания, и доброй памяти.

Сергей СЛОНИМСКИЙ

В августовском номере журнала помещены под названием «Эпилог» мемуары известного писателя В. Каверина, в которых он подводит некоторые итоги пережитого, описывает увиденное, рассказывает о встретившихся на его жизненном пути людях. В частности, он упоминает и моего отца, говоря о нем как об авторе книги о Блоке и как о человеке. И в том и в другом случае он отзывается в сугубо отрицательном плане. В сущности, это его бесспорное право иметь свое мнение обо всем и обо всех, и свойственное писателю, как показали мемуары, критическое отношение к окружающим не составляет само по себе никакого криминала, и нечего было бы браться за перо, если ему не понравился такой-то человек, хотя бы это и был мой родной отец. Но я вынужден высказаться по поводу вмененного ему, потому что Каверин не только задевает его честь, но приписывает ему прямо противоположное тому, что он утверждал на самом деле, да и то, что явилось основанием для поношения отца, нельзя снести молча, настолько это возмутительно несправедливо, являясь, в сущности, грубейшим поклепом на его память.

Отец не вводил в заблуждение читателей повествования о своем творческом пути, напечатанном в сборнике «Лауреаты России», когда писал, что оба первые издания его книги «вызвали немало добрых откликов в нашей прессе, которые вместе могли бы составить целую книгу (Лауреаты России. 1973, с. 369). Не нужно искать объяснения этого благоприятного приема в том, что он действительно занимал пост заместителя главного редактора «Советского писателя» и подхалимы хотели ему подыграть в расчете, что их старания будут замечены и вознаграждены. Высокая оценка его труда исходила со стороны тех, чье положение и авторитет гарантировали отсутствие всякого прислужничества. Таким высокоавторитетным лицом безусловно может считаться старейшина наших литературоведов Е. Ф. Книпович, мнение которой, бывшей для Блока «самым близким другом» в самое тяжкое время, имеет, конечно, совершенно особую цену. Она не поскупилась на похвалы, указывая на то достоинство книги, что она «написана так, как будто автор — современник событий, о которых идет речь, как будто он тут же, по горячему следу судит о времени, творчестве поэта, о его друзья и врагах». Пожалуй, не меньшую ценность представляет мнение другого лица, близко знавшего Блока — поэтессы и переводчицы Н. А. Павлович, автора «Воспоминаний об Александре Блоке». Прочитав книгу отца, она обратилась к нему с письмом, которое для любого автора явилось бы источником высшего удовлетворения. Высказав в духе глубочайшего уважения к автору несколько тонких и глубоких соображений, она кончает письмо знаменательными, высоко поднимающими труд отца, идущими от самого сердца словами: «Дорогой Борис Иванович. Ваша книга была моей спутницей все это время. Я говорила с ней, как с живым существом, постоянно ощущая, сколько труда, знания, любви, всего самого заветного в нее вложено. Ко мне иногда приходят люди, любящие и почитающие Блока, и я им говорю о Вашей книге, такой значительной своим своеобразием и проникновенностью, своим подходом к творчеству и личности Александра Александровича» («Звезда», 1980, № 10, с. 178). Не стану скрывать, для меня эти строки, появившиеся спустя несколько лет после смерти отца, были лучшим ему памятником. Мне особенно дороги воспоминания об отце И. Гринберга, знавшего его еще со студенческих времен. В созданном им портрете преобладает то, что он вынес в заголовок своих воспоминаний, дав им название «Постоянство». Эта черта определяла духовный облик отца. Рассказывая об их деловом сотрудничестве в довоенную пору, Гринберг замечает: «Работать с ним было непросто и интересно. Он внимательно прислушивался к замечаниям, касавшимся частностей, подробностей изложения, и был тверд, неуступчив в основном, главном» («Звезда», 1981, № 4, с. 194). Говоря уже о послевоенном времени, когда оба оказались в Москве и отец стал сотрудником «Советского писателя», Гринберг пишет об этом якобы «вялом старике»: «приходилось постоянно дивиться его энергии, его поистине юношеской страстности, его горячности в литературных спорах, его готовности жить без „желтого цвета" — быть бесповоротным в любви и ненависти» (с. 195). Давний эпизод полемики с Луначарским рассматривается как проявление оставшегося неизменным прямого и решительного характера. «Его слова строго соответствовали его чувствам и помыслам,— пишет Гринберг,— его обещания — всегда исполнялись; его доброе отношение к людям, к писателям, ему полюбившимся, устанавливались на десятилетия, на всю жизнь».

Фактическая справка о якобы совершенных отцом служебных злоупотреблениях и повторных «роскошных» изданиях книги о Блоке. Всего с 1965 по 1973 г. вышло три издания плюс издание в особой серии лауреатов Горьковской премии. Оно несколько получше остальных трех, а те не только не отличаются никакой роскошью, но одно из них — второе — напечатано даже на бумаге № 3. О том, что книга пользовалась спросом, свидетельствует и ее переиздание уже в 1980 г., когда отец уже никак не мог «пробивать» ее. Но Каверину ли подсчитывать чужие издания!

Юрий СОЛОВЬЕВ

•

Я, Мишкевич Григорий Иосифович, работал в 1937—38 гг. главным, а затем старшим редактором Лендетиздата, в стенах которого трудились в то время такие известные литераторы, как С. Я. Маршак, Л. К. Чуковская, Т. Г. Габбе и др. История Лендетиздата трагична, в 1938 г. издательство было ликвидировано, а некоторые сотрудники репрессированы. Как было принято в те годы, эти действия сопровождались кампанией травли честных людей, поисками «врагов народа».

В «Записках об Анне Ахматовой», опубликованных Лидией Чуковской в «Неве» (№ 6, 1989), я называюсь «провокатором и доносчиком», загубившим в 1937—38 гг. немало людей и книг в Лендетиздате. Называются фамилии репрессированных Бронштейна М. П., Любарской А. И., Габбе Т. Г. Казалось бы, для того, чтобы такой уважаемый и известный человек, как Лидия Корнеевна Чуковская, смогла выдвинуть столь тяжкие обвинения мне, должны были бы существовать веские доказательства.

Об этой публикации я случайно узнал только в начале 1990 г., так как после сталинских тюрем и лагерей здоровье мое было подорвано и в настоящее время после инсульта я практически не передвигаюсь и ослеп. Мои близкие скрывали от меня эту публикацию, и я познакомился с ней с запозданием.

Мой сын в поисках истины обратился к редакции «Невы», а также к А. И. Любарской и Л. К. Чуковской. Практически никаких доказательств моей причастности к «проработкам», а тем более доносам он не получил. Ознакомление с копией анонимной редакционной статьи из стенгазеты издательства 1938 г., вышедшей уже после арестов, также не подтверждает мою вину. Об этой статье, как впрочем и о стенгазете, я ничего не знал. Ведь если речь идет о 1938 годе, то я уже не являлся главным редактором издательства, а в сентябре 1938 г., еще до выхода стенгазеты, был уволен из Лендетиздата и перешел методистом в Ленинградский Лекторий. Кроме того, как можно неизвестно кем написанную статью в стенгазете инкриминировать мне?

Для того, чтобы выяснить окончательно, какое отношение я имел к делам репрессированных сотрудников Лендетиздата, мой сын без моего ведома обратился в КГБ. В официальном ответе УКГБ Ленинграда указывается на отсутствие в делах репрессированных Бронштейна М. П., Любарской А. И., Габбе Т. Г. не только доносов, подписанных мною, но и вообще каких-либо упоминаний обо мне и об издательстве. Выяснилось, что дела этих людей были сфабрикованы на основании совсем других материалов.

Никаких доносов я не писал. Хотя попытки принудить меня и директора издательства Л. Б. Желдина писать доносы на сотрудников предпринимались неоднократно со стороны НКВД и партийных органов.

Что касается издания однотомника произведений В. В. Маяковского, то и здесь Л. К. Чуковская написала неправду. Сверстанный однотомник был подписан к печати Л. К. Чуковской и мной, но в свет не вышел, так как цензор издательства Д. И. Чевычелов (впоследствии главный редактор) нашел, что составители сборника умалили роль И. В. Сталина в творчестве В. В. Маяковского и запретил выпуск книги. Поэтому моей вины в прекращении издания нет никакой.

Считаю, что в результате необоснованных обвинений Л. К. Чуковской мне нанесено оскорбление и поруганы мои честь и достоинство. Поражен позицией редакции журнала «Нева», опубликовавшей столь серьезные обвинения, не удосужившись проверить их достоверность.

Г. МИШКЕВИЧ

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи объемом менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Сдано в набор 07.03.90. Подписано к печати 27.04.90. М-22012. Формат бумаги $70 \times 108^1/_{16}$. Бумага тип. № 1. Печать высокая. 18,2+2 вкл.=18,55 усл. печ. л. 20,38 усл. кр.-отт. 23,86+2 вкл.—24,27 уч.-изд. л. Тираж 640 000 экз. Заказ № 256. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 321-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15